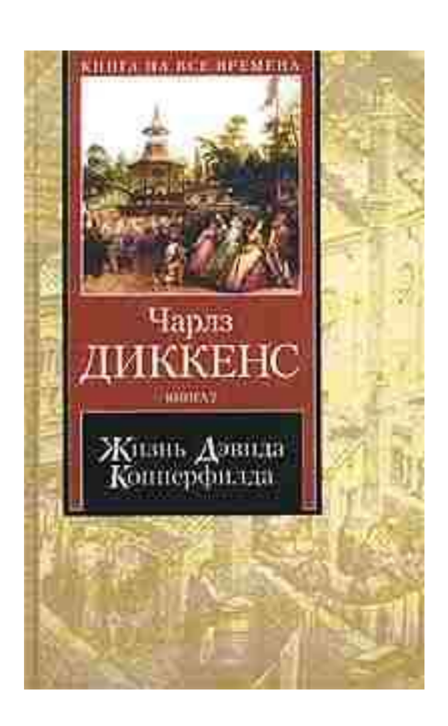
Диккенс Чарльз

Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим. Книга 1



Предисловие автора[1]

В предисловии к первому изданию этой книги я говорил, что чувства, которые я испытываю, закончив работу, мешают мне отступить от нее на достаточно большое расстояние и отнестись к своему труду с хладнокровием, какого требуют подобные официальные предварения. Мой интерес к ней был настолько свеж и силен, а сердце настолько разрывалось меж радостью и скорбью – радостью достижения давно намеченной цели, скорбью разлуки со многими спутниками и товарищами, – что я опасался, как бы не обременить читателя слишком доверительными сообщениями и касающимися только меня одного эмоциями.

Все, что я мог бы сказать о данном повествовании помимо этого, я попытался сказать в нем самом.

Возможно, читателю не слишком любопытно будет узнать, как грустно откладывать перо, когда двухлетняя работа воображения завершена; или что автору чудится, будто он отпускает в сумрачный мир частицу самого себя, когда толпа живых существ, созданных силою его ума, навеки уходит прочь. И тем не менее мне нечего к этому прибавить; разве только следовало бы еще признаться (хотя, пожалуй, это и не столь уж существенно), что ни один человек не способен, читая эту историю, верить в нее больше, чем верил я, когда писал ее.

Сказанное выше в такой мере сохраняет свою силу и сегодня, что мне остается сделать читателю лишь еще одно доверительное сообщение. Из всех моих книг я больше всего люблю эту. Мне легко поверят, если я скажу, что отношусь как нежный отец ко всем детям моей фантазии и что никто и никогда не любил эту семью так горячо, как люблю ее я. Но есть один

ребенок, который мне особенно дорог, и, подобно многим нежным отцам, я лелею его в глубочайших тайниках своего сердца. Его имя – «Дэвид Копперфилд».

Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим

Стану ли я героем повествования о своей собственной жизни, или это место займет кто-нибудь другой – должны показать последующие страницы. Начну рассказ о моей жизни с самого начала и скажу, что я родился в пятницу в двенадцать часов ночи (так мне сообщили, и я этому верю). Было отмечено, что мой первый крик совпал с первым ударом часов.

Принимая во внимание день и час моего рождения, сиделка моей матери и кое-какие умудренные опытом соседки, питавшие живейший интерес ко мне за много месяцев до нашего личного знакомства, объявили, во-первых, что мне предопределено испытать в жизни несчастья и, во-вторых, что мне дана привилегия видеть привидения и духов; по их мнению, все злосчастные младенцы мужского и женского пола, родившиеся в пятницу около полуночи, неизбежно получают оба эти дара.

Мне незачем останавливаться здесь на первом предсказании, ибо сама история моей жизни лучше всего покажет, сбылось оно или нет. О втором предсказании я могу только заявить, что если я не промотал этой части моего наследства в младенчестве, то, стало быть, еще не вступил во владение ею. Впрочем, лишившись своей собственности, я отнюдь не жалуюсь, и, если в настоящее время она находится в других руках, я от всей души желаю владельцу сохранить ее.

Я родился в сорочке, и в газетах появилось объявление о ее продаже по дешевке – за пятнадцать гиней. Но либо в ту пору у моряков было мало денег, либо мало веры и они предпочитали пробковые пояса, – я не знаю; мне известно только, что поступило одно-единственное предложение от некоего ходатая по делам, связанного с биржевыми маклерами, который предлагал два фунта наличными (намереваясь остальное возместить хересом), но дать больше, и тем самым предохранить себя от опасности утонуть, не пожелал. Вслед за сим объявлений больше не давали, сочтя их пустой тратой денег, – что касается хереса, то моя бедная мать распродавала тогда свой собственный херес, – а десять лет спустя сорочка была разыграна в наших краях в лотерее между пятьюдесятью участниками, внесшими по полкроны, причем выигравший должен быть доплатить пять шиллингов. Я сам при этом присутствовал и, припоминаю, испытывал некоторую неловкость и смущение, видя, как распоряжаются частью меня самого. Помнится, сорочка была выиграна старой леди с маленькой корзиночкой, из которой она весьма неохотно извлекла требуемые пять шиллингов монетами по полпенни, не доплатив при этом двух с половиной пенсов; было потрачено немало времени на безуспешные попытки доказать ей это арифметическим путем. В наших краях долго еще будут вспоминать тот примечательный факт, что она и в самом деле не утонула, а торжественно почила девяноста двух лет в своей собственной постели. Как мне рассказывали, она до последних дней особенно гордилась и хвастала тем, что никогда не бывала на воде, разве что проходила по мосту, а за чашкой чаю (к которому питала пристрастие) она до последнего вздоха поносила нечестивых моряков и всех вообще людей, которые самонадеянно «колесят» по свету. Тщетно втолковывали ей, что этому предосудительному обычаю мы обязаны многими приятными вещами, включая, может быть, и чаепитие. Она отвечала еще более энергически и с полной верой в силу своего возражения:

– Не будем колесить!

Дабы и мне не колесить, возвращаюсь к моему рождению.

Я родился в графстве Суффолк, в Бландерстоне или «где-то поблизости», как говорят в Шотландии. Родился я после смерти отца. Глаза моего отца закрылись за шесть месяцев до того дня, как мои раскрылись и увидели свет. Даже теперь мне странно, что он никогда меня не видел, и еще более странным мне кажется то туманное воспоминание, какое сохранилось у меня с раннего детства, о его белой надгробной плите на кладбище и о чувстве невыразимой

жалости, которую я, бывало, испытывал при мысли, что эта плита лежит там одна темными вечерами, когда в нашей маленькой гостиной пылает камин и горят свечи, а двери нашего дома заперты на ключ и на засов, – иной раз мне чудилось в этом что-то жестокое.

Тетка моего отца, а, стало быть, моя двоюродная бабка, о которой будет еще речь впереди, была самой значительной персоной в нашей семье. Мисс Тротвуд, или мисс Бетси, как называла ее моя бедная мать, когда ей случалось преодолеть свой страх перед этой грозной особой и упомянуть о ней (это случалось редко), – мисс Бетси вышла замуж за человека моложе себя, который был очень красив, хотя к нему отнюдь нельзя было применить незамысловатую поговорку: «Красив, кто хорош». Не без основания подозревали, что он поколачивал мисс Бетси и даже принял однажды, во время спора о домашних расходах, срочные и решительные меры к тому, чтобы выбросить ее из окна второго этажа. Такие признаки неуживчивого характера побудили мисс Бетси откупиться от него и расстаться по взаимному соглашению. Он отправился со своим капиталом в Индию, где (если верить нашей удивительной семейной легенде) видели, как он разъезжал на слоне в обществе бабуина;[2] я же думаю, что, вероятно, это был бабу[3] или бегума.[4] Как бы там ни было, лет через десять пришла из Индии весть о его смерти. Никто не знал, как подействовала она на мою бабушку: тотчас после разлуки с ним она снова стала носить свою девичью фамилию, купила далеко от наших мест, в деревушке на морском побережье, коттедж, поселилась там с одной-единственной служанкой и, по слухам, жила в полном уединении.

Кажется, мой отец был когда-то ее любимцем, но его женитьба смертельно оскорбила ее, потому что моя мать была «восковой куклой». Она никогда не видела моей матери, но знала, что ей еще не исполнилось двадцати лет. Мой отец и мисс Бетси больше никогда не встречались. Он был вдвое старше моей матери, когда женился на ней, и не отличался крепким сложением. Спустя год он умер – как я уже говорил, за шесть месяцев до моего появления на свет.

Таково было положение дел под вечер в пятницу, которую мне, быть может, позволительно назвать знаменательной и чреватой событиями. Впрочем, я не имею права утверждать, будто эти дела были мне в то время известны или будто я сохранил какое-то воспоминание, основанное на свидетельстве моих собственных чувств, о том, что последовало.

Моя мать, чувствуя недомогание, в глубоком унынии сидела у камина, сквозь слезы смотрела на огонь и горестно размышляла о себе самой и о лишившемся отца маленьком незнакомце, чье появление на свет, весьма равнодушный к его прибытию, уже готовы были приветствовать несколько гроссов пророческих булавок в ящике комода наверху. Итак, в тот ветреный мартовский день моя мать сидела у камина притихшая и печальная и с тоскою думала о том, что едва ли она выдержит благополучно предстоящее ей испытание; подняв глаза, чтобы осушить слезы, она посмотрела в окно и увидела незнакомую леди, идущую по саду.

Она взглянула еще раз, и ее охватило предчувствие, что это мисс Бетси. Лучи заходящего солнца, скользя над садовой изгородью, озаряли незнакомую леди, а та шествовала к двери, сохраняя суровую осанку и решительный вид, какие могли быть присущи только мисс Бетси.

Подойдя к дому, она предъявила еще одно доказательство в пользу такого заключения. Мой отец не раз давал понять, что она редко поступает, как простые смертные; и теперь, вместо того чтобы позвонить в колокольчик, она приблизилась к упомянутому окну и так крепко прижала кончик носа к стеклу, что он в одно мгновенье стал совсем плоским и белым, как частенько рассказывала потом моя бедная мать.

Она до такой степени испугала мою мать, что, – как я всегда был убежден, – именно мисс Бетси я и обязан своим появлением на свет в пятницу.

Моя мать в волнении встала с кресла и отступила за его спинку, в угол. Мисс Бетси медленно и дотошно обозревала комнату, начав со стены против окна, и вращала глазами, как голова сарацина на голландских часах, пока взгляд ее не остановился на моей матери. Тогда,

как человек, привыкший повелевать, она нахмурилась и жестом предложила моей матери пойти и открыть дверь. Мать повиновалась.

– Миссис Дэвид Копперфилд, если не ошибаюсь? – сказала мисс Бетси; ударение на последних словах вызывалось, быть может, вдовьим трауром моей матери и ее состоянием.

– Да, – слабым голосом ответила моя мать.

– Мисс Тротвуд, – отрекомендовалась гостья. – Вероятно, вы о ней слышали?

Моя мать ответила, что имела это удовольствие. Но с сожалением почувствовала, что ей как будто не удалось выразить, сколь велико было это удовольствие.

– Теперь вы ее видите, – сказала мисс Бетси.

Моя мать склонила голову и попросила ее войти.

Они направились в гостиную, откуда только что вышла моя мать, так как в лучшей комнате, по другую сторону коридора, камин не был затоплен – его не топили со дня похорон моего отца. Когда они обе уселись, а мисс Бетси продолжала молчать, моя мать, после тщетных попыток удержаться, заплакала.

– О, тише, тише! – быстро сказала мисс Бетси. – Не надо. Полно, полно!

Однако моя мать ничего не могла поделать и продолжала плакать, пока не выплакалась.

– Снимите чепчик, дитя мое, – сказала мисс Бетси, – дайте мне посмотреть на вас.

Моя мать слишком боялась ее, чтобы отказать в этой странной просьбе, даже если бы имела такое намерение. Поэтому она повиновалась и сняла чепчик, но руки ее так дрожали, что волосы (они у нее были красивые и пышные) упали ей на лицо.

– Господи помилуй! – воскликнула мисс Бетси. – Да вы еще совсем ребенок!

Несомненно, моя мать выглядела очень юно, даже для своих лет. Бедняжка понурилась, словно была в чем-то виновата, и всхлипывая, пробормотала, что, наверное, у нее слишком ребяческий вид для вдовы и что она опасается, не сохранит ли она тот же ребяческий вид, сделавшись матерью, – если останется в живых. Последовало молчание, и ей почудилось, будто мисс Бетси коснулась ее волос, коснулась ласковой рукою. Но, взглянув на нее с робкой надеждой, она увидела, что та сидит, подобрав подол платья, сложив руки на одном колене, а ноги поставив на каминную решетку, и хмуро смотрит на огонь.

– Скажите на милость, почему Грачевник? – неожиданно произнесла мисс Бетси.

– Вы говорите об этом доме, сударыня? – осведомилась моя мать.

– Почему Грачевник? – повторила мисс Бетси. – Более уместно было бы назвать его Харчевня, если бы у вас или у вашего мужа были здравые понятия о жизни.

– Это название придумал мистер Копперфилд, – сказала моя мать. – Когда он купил дом, ему понравилось, что в саду есть грачи.

В эту минуту вечерний ветер вызвал такое смятение среди высоких старых вязов в конце сада, что моя мать и мисс Бетси невольно посмотрели в окно. Вязы склонялись друг к другу, подобно великанам, которые шепотом переговариваются о каких-то тайнах, а после нескольких секунд затишья приходят в страшное волнение и дико размахивают руками, как будто только что поверенная тайна слишком ужасна и они не в силах сохранять спокойствие духа; пострадавшие от непогоды, растрепанные старые грачиные гнезда, отягчавшие верхние ветви, раскачивались, как обломки разбитых судов на бурных волнах.

– Где птицы? – спросила мисс Бетси.

– Птицы?..

Моя мать думала совсем о другом.

– Грачи? Куда они девались? – спросила мисс Бетси.

– Здесь не было ни одного с тех пор, как мы поселились в этом доме, – отвечала моя мать. – Мы думали… мистер Копперфилд думал, что здесь большой грачевник, но гнезда очень старые, и птицы давно их покинули.

– Узнаю Дэвида Копперфилда! – воскликнула мисс Бетси. – Дэвид Копперфилд с головы до пят! Называет дом Грачевником, когда поблизости нет ни одного грача, и уверен, будто в саду полно птиц, потому что видит гнезда!

– Мистер Копперфилд умер, и если вы посмеете дурно отзываться о нем при мне…

Я думаю, это был момент, когда моя бедная мать намеревалась перейти в наступление и вступить в бой с моей бабушкой, которая легко могла справиться с ней одной рукой, даже если бы моя мать была гораздо лучше подготовлена к единоборству, чем в тот вечер. Но дело кончилось тем, что она только поднялась с кресла; в ту же минуту она смиренно снова опустилась в него и потеряла сознание.

То ли она очнулась сама, то ли мисс Бетси привела ее в чувство, – неизвестно, однако, придя в себя, она увидела, что моя бабушка стоит у окна. Сумерки уже сгустились, но благодаря огню в камине они могли еще различать друг друга.

– Ну, как? – сказала мисс Бетси, возвращаясь к своему стулу, словно встала только для того, чтобы посмотреть в окно. – Когда же вы ожидаете…

– Я вся дрожу, – пролепетала моя мать. – Не понимаю, что со мной. Я умру, я в этом уверена!

– Нет и нет! – заявила мисс Бетси. – Выпейте чая.

– Ах, боже мой, боже мой! – беспомощно воскликнула моя мать. – Вы думаете, мне станет лучше?

– Конечно! – сказала мисс Бетси. – Все это одно воображенье. Как звать вашу девчонку?

– Я еще не знаю, будет ли это девочка, – наивно сказала моя мать.

– Да благословит бог крошку! – воскликнула мисс Бетси, не ведая того, что цитирует второе приветствие, вышитое на подушечке для булавок, которая хранилась в ящике комода наверху, но относя это приветствие не ко мне, а к моей матери. – Я не о том говорю. Я говорю о вашей служанке.

– Пегготи, – сказала моя мать.

– Пегготи! – с некоторым негодованием повторила мисс Бетси. – Неужели вы хотите сказать, дитя, что какое-то человеческое существо получило при крещении имя Пегготи?[5]

– Это ее фамилия, – слабым голосом пояснила моя мать. – Мистер Копперфилд называл ее по фамилии, потому что у нас с ней одинаковые имена.

– Сюда, Пегготи! – крикнула мисс Бетси, открывая дверь гостиной. – Чая! Твоей хозяйке немножко нездоровится. Поскорей!

Отдав это приказание с такою властностью, словно она являлась признанным авторитетом в доме с той поры, как он был выстроен, и выглянув за дверь, чтобы посмотреть на изумленную Пегготи, которая, заслышав незнакомый голос, вышла в коридор со свечой, мисс Бетси снова закрыла дверь и уселась в прежней позе: ноги на каминной решетке, подол платья подобран, руки сложены на одном колене.

– Вы говорили о том, будет ли это девочка… – начала мисс Бетси. – Я нисколько не сомневаюсь, что девочка. У меня есть предчувствие, что должна родиться девочка. И вот, дитя, с момента рождения этой девочки…

– Может быть, мальчика, – осмелилась перебить моя мать.

– Говорю же вам, у меня есть предчувствие, что должна родиться девочка! – возразила мисс Бетси. – Не спорьте. С момента рождения этой девочки, дитя, я намерена быть ее другом. Я намерена быть ее крестной матерью и прошу вас назвать ее Бетси Тротвуд Копперфилд.

Никаких ошибок не должно быть в жизни этой Бетси Тротвуд. Бедный ребенок, ее чувствами никто не будет играть! Ее нужно хорошо воспитать, охраняя от нелепой доверчивости к тем, кто ее не заслуживает. Эту заботу беру на себя я!

После каждой фразы мисс Бетси встряхивала головой, словно ее душило воспоминание об ее собственных былых обидах и она усилием воли подавляла желание намекнуть на них более ясно. Так по крайней мере показалось моей матери, взиравшей на нее при тусклом свете камина, но мать слишком боялась мисс Бетси, слишком плохо себя чувствовала и была слишком подавлена и ошеломлена, чтобы наблюдать внимательно или сообразить, что нужно сказать.

– А Дэвид был добр к вам, дитя? – после недолгого молчания спросила мисс Бетси, перестав мотать головой. – Вам хорошо жилось вместе?

– Мы были очень счастливы, – отвечала моя мать. – Мистер Копперфилд был даже слишком добр ко мне.

– Вот как! Вероятно, он вас избаловал? – воскликнула мисс Бетси.

– Теперь, когда я снова осталась совсем одна в этом суровом мире и должна полагаться только на себя, боюсь, что он и в самом деле меня избаловал, – всхлипывая, промолвила моя мать.

– Полно! Не плачьте! – сказала мисс Бетси. – Вы ему были не пара… не знаю, впрочем, найдется ли на свете хоть одна подходящая пара… Вот почему я задала этот вопрос. Вы сирота?

– Да.

– И были гувернанткой?

– Я была бонной в семействе, которое посещал мистер Копперфилд. Мистер Копперфилд был очень добр ко мне, много занимался мною, уделял мне много внимания и, наконец, сделал предложение. А я приняла его, и вот мы поженились, – простодушно отвечала моя мать.

– Ха! Бедное дитя! – задумчиво проговорила мисс Бетси, по-прежнему не сводя хмурых глаз с огня. – Вы хоть в чем-нибудь смыслите?

– Простите, сударыня?.. – пролепетала моя мать.

– Например, в домашнем хозяйстве, – пояснила мисс Бетси.

– Боюсь, что мало, – ответила моя мать. – Меньше, чем мне бы хотелось. Но мистер Копперфилд учил меня…

– Сам-то он много в этом смыслил! – вставила, в скобках, мисс Бетси.

– И мне очень хотелось научиться, а он был очень терпелив… И я надеюсь, что сделала бы успехи, если бы не это великое несчастье… его смерть…

Моя мать снова потеряла самообладание и не могла продолжать.

– Полно, полно! – сказала мисс Бетси.

– Я аккуратно записывала домашние расходы и каждый вечер подводила итог вместе с мистерам Копперфилдом! – воскликнула моя мать, вновь предаваясь отчаянью и теряя мужество.

– Полно, полно! – сказала мисс Бетси. – Хватит, не плачьте.

– И, право же, никогда не бывало у нас с ним из-за этого никаких размолвок… Только мистеру Копперфилду не правилось, что три и пять у меня слишком похожи, а у семи и девяти закручены хвостики, – с жаром закончила моя мать и снова потеряла самообладание.

– Вы так совсем расхвораетесь, – сказала мисс Бетси. – Вы же знаете, что это не принесет добра ни вам, ни моей крестной дочери. Довольно! Перестаньте плакать!

Такой довод помог моей матери успокоиться, но, пожалуй, главную роль сыграло ее недомогание, которое все усиливалось. Наступило молчание, лишь изредка нарушаемое восклицаниями мисс Бетси: «Ха!» Она сидела, не снимая ног с каминной решетки.

– Я знаю, что Дэвид вложил свой капитал в ценные бумаги, – сказала она наконец. – Что оставил он вам?

– Мистер Копперфилд, – не без труда отвечала моя мать, – был так добр и заботлив, что перевел на меня часть ренты.

– Сколько? – спросила мисс Бетси.

– Сто пять фунтов в год, – промолвила моя мать.

– Могло быть и хуже, – заметила моя бабушка.

Последнее слово пришлось кстати: моей матери стало настолько хуже, что Пегготи, войдя с чайным подносом и свечами и сразу увидев, как ей плохо, – мисс Бетси могла бы увидеть это раньше, если бы в комнате было посветлее, – поспешно проводила ее наверх в спальню; затем она немедленно отправила за сиделкой и доктором своего племянника Хэма Пегготи, который, втайне от моей матери, уже несколько дней проживал в доме, чтобы быть под рукой в случае необходимости.

Эти объединенные силы, явившись через несколько минут почти одновременно, были немало изумлены, обнаружив сидевшую у камина незнакомую леди с внушительной осанкой; подвязав лентами свою шляпку к левой руке, она затыкала себе уши хлопчатой бумагой из ювелирной лавки.[6] Пегготи ничего о ней не знала, и моя мать ничего о ней не сообщила, вот почему она была поистине загадкой, а величественному ее виду отнюдь не мешало то обстоятельство, что у нее в кармане был запас хлопчатой бумаги и она запихивала ее себе в уши.

Доктор поднялся наверх, затем сошел вниз и, удостоверившись, вероятно, что ему предстоит провести несколько часов лицом к лицу с этой незнакомой леди, постарался быть учтивым и общительным. Это был тишайший и кротчайший человечек. Он входил и выходил из комнаты бочком, чтобы занимать поменьше места. Он ступал тихо, как призрак в «Гамлете», но только еще медленнее. Голову он склонял к плечу, отчасти из скромного сознания собственного ничтожества, отчасти из скромного желания умилостивить всех и каждого. Мало того, что он не бросил бы обидного слова собаке: он не мог бы его бросить даже бешеной собаке. Возможно, он ласково сказал бы ей словечко, или полсловечка, или один слог, ибо говорил он так же медленно, как и ходил; но он не обошелся бы с ней грубо и не мог бы расправиться с нею ни за какие блага в мире.

Кротко взглянув на мою бабушку и склонив голову набок, мистер Чиллип слегка поклонился ей и, коснувшись своего левого уха, спросил, намекая на хлопчатую бумагу:

– Местное раздражение, сударыня?

– Что? – откликнулась моя бабушка, вытаскивая, как пробку, бумагу из одного уха.

Мистер Чиллип был так испуган ее резкостью, – о чем рассказывал впоследствии моей матери, – что только по милости небес не потерял присутствия духа. Он вкрадчиво повторил:

– Местное раздражение, сударыня?

– Вздор! – ответила моя бабушка и тотчас же снова закупорилась.

После этого мистеру Чиллипу ничего не оставалось, как сидеть и беспомощно смотреть на нее, – а она тоже сидела и смотрела на огонь, – пока его не позвали наверх. Через четверть часа он вернулся.

– Ну, как? – спросила моя бабушка, вынимая хлопчатую бумагу из ближайшего к нему уха.

– Ну, что ж, сударыня, мы… мы помаленьку подвигаемся, – отвечал мистер Чиллип.

– А-а-а! – протянула моя бабушка, презрительно и энергически тряхнув головой. И снова закупорилась.

Право же, право, – как рассказывал мистер Чиллип моей матери, – он испытал настоящее потрясение; да, если говорить только с профессиональной точки зрения, он испытал именно потрясение! Однако он сидел и смотрел на нее в течение двух часов, а она тоже сидела и смотрела на огонь, пока его снова не вызвали. После вторичной отлучки он опять вернулся.

– Ну, как? – спросила моя бабушка, снова вынимая хлопчатую бумагу из того же уха.

– Ну, что ж, сударыня, мы… мы помаленьку подвигаемся, – отвечал мистер Чиллип.

– А-а-а! – протянула моя бабушка. И так оскалила зубы, что мистер Чиллип не мог этого вынести. Впоследствии он говорил, что таким путем она, несомненно, рассчитывала сломить его дух. Поэтому он предпочел удалиться и сидел на лестнице, в темноте и на сильном сквозняке, пока не послали за ним снова.

Хэм Пегготи – он ходил в начальную школу и катехизис знал назубок, а стало быть, мог почитаться достойным доверия свидетелем, – Хэм Пегготи докладывал на следующий день, что час спустя случайно заглянул в гостиную и был тотчас же замечен мисс Бетси, в волнении шагавшей взад и вперед и набросившейся на него прежде, чем он успел спастись бегством. Теперь сверху доносились иногда голоса и шаги, которых, по его предположению, не могла заглушить хлопчатая бумага, ибо леди вцепилась в него, чтобы дать исход крайнему своему возбуждению, когда звуки становились громче. Держа свою жертву за шиворот и заставляя маршировать по комнате (словно он принял слишком большую дозу опия), она встряхивала его, ерошила ему волосы, рвала на нем рубашку, затыкала уши ему, как будто перепутала их со своими ушами, и всячески тормошила его и мучила. Это показание было отчасти подтверждено его теткой, которая увидела его в половине первого ночи, вскоре после его освобождения, и утверждала, что в тот момент он был так же красен, как и я.

Кроткий мистер Чилипп ни на кого и никогда не мог быть в обиде, тем более в такое время. Едва покончив со своими обязанностями, он бочком проскользнул в гостиную и самым смиренным голосом сказал моей бабушке:

– Ну что ж, сударыня, я имею счастье поздравить вас.

– С чем? – резко спросила моя бабушка.

Чрезвычайно суровый тон моей бабушки заставил вновь затрепетать мистера Чиллипа. Поэтому он слегка поклонился ей и слегка улыбнулся, чтобы ее умилостивить.

– Господи помилуй, что с ним такое? – нетерпеливо вскричала моя бабушка. – Онемел он, что ли?

– Успокойтесь, сударыня, дорогая моя! – самым вкрадчивым тоном сказал мистер Чиллип. – Больше нет никаких оснований волноваться, сударыня.

До сих пор почитается едва ли не чудом, как это моя бабушка не встряхнула его и не вытряхнула из него то, что он должен был сказать. Но она только тряхнула головой, впрочем сделала это так, что он совсем оробел.

– Ну, что ж, сударыня, – едва собравшись с духом, продолжал мистер Чиллип, – я имею счастье поздравить вас. Все кончено, сударыня, и все завершилось благополучно.

В продолжение тех пяти минут, какие мистер Чиллип посвятил произнесению этой речи, моя бабушка смотрела на него в упор.

– Как она себя чувствует? – спросила бабушка, складывая руки; к одной из них была по-прежнему привязана шляпка.

– Надеюсь, сударыня, она скоро будет чувствовать себя прекрасно, – отвечал мистер Чиллип. – Прекрасно, насколько это возможно для молодой матери при столь печальных семейных обстоятельствах. Нет никаких возражений против того, чтобы вы повидали ее сейчас. Это может пойти ей на пользу.

– А она? Как себя чувствует она? – резко спросила моя бабушка.

Мистер Чиллип еще больше склонил голову набок и посмотрел на мою бабушку, словно приветливая птица.

– Новорожденная? Как она себя чувствует? – пояснила моя бабушка.

– Сударыня, я полагал, что вы уже знаете. Это мальчик, – отвечал мистер Чиллип.

Моя бабушка не произнесла ни слова; она схватила свою шляпку, держа ее за ленты, как пращу, прицелилась, хлопнула ею по голове мистера Чиллипа, затем нацепила ее, всю измятую, себе на голову, вышла из дому и больше не вернулась. Она скрылась, как разгневанная фея или те привидения и духи, которых, по общему мнению, мне даровано было видеть, и больше не вернулась.

Да, не вернулась. Я лежал в корзинке, а моя мать лежала в постели, но Бетси Тротвуд Копперфилд навеки осталась в стране грез и теней, в тех страшных краях, откуда я только что прибыл; а свет, падавший из окна комнаты, озарял последнее земное пристанище таких же путников, как я, и холмик над прахом того, кто некогда был человеком, и не будь которого, я никогда не явился бы в этот мир.

Глава II
Я наблюдаю

Первые образы, которые отчетливо встают передо мною, когда я возвращаюсь к далекому прошлому, к окутанным туманом дням моего раннего детства, – это моя мать с ее прекрасными волосами и девической фигурой и Пегготи, вовсе лишенная фигуры, Пегготи с такими темными глазами, что они как будто отбрасывают тень на ее лицо, и с такими твердыми и красными щеками, что я недоумеваю, почему птицы предпочитают клевать не ее, а яблоки.

Мне чудится, я помню их обеих, одну неподалеку от другой – они кажутся мне ниже ростом, потому что наклоняются или стоят на коленях, а я нетвердыми шагами перехожу от матери к Пегготи. В моей памяти хранится впечатление, – я не могу отделить его от отчетливых воспоминаний, – будто я прикасаюсь к указательному пальцу Пегготи, который она, бывало, протягивала мне, и этот исколотый иголкой палец шершав, как маленькая терка для мускатных орехов.

Может быть, это только иллюзия, но, кажется мне, большинство людей хранит воспоминания о давно минувших днях, гораздо более далеких, чем мы предполагаем; и я верю, что способность наблюдать у многих очень маленьких детей поистине удивительна – так она сильна и так очевидна. Мало того, я думаю, что о большинстве взрослых людей, обладающих этим свойством, можно с уверенностью сказать, что они не приобрели его, но сохранили с детства; как мне обычно случалось подмечать, такие люди отличаются душевной свежестью, добротой и умением радоваться жизни, что также является наследством, которого они не растратили с детских лет.

Быть может, предаваясь таким размышлениям, я начинаю «колесить», но должен сказать, что пришел к этим выводам отчасти на основании моего личного опыта; если же из дальнейшего моего повествования можно будет заключить, будто я был ребенком очень наблюдательным, или что в зрелом возрасте я сохраняю слишком яркое воспоминание о своем детстве – то, не стану спорить, я готов притязать на обе эти способности.

Возвращаясь, как я уже сказал, к окутанным туманом дням моего раннего детства, я различаю два образа, возникающие из хаоса воспоминаний, – это моя мать и Пегготи. Что еще могу я припомнить? Посмотрим.

Встает из дымки наш дом – для меня не новый, а очень хорошо знакомый по самым ранним воспоминаниям. В нижнем этаже кухня Пегготи, выходящая на задний двор; посреди двора шест с голубятней без голубей; в углу большая собачья конура без собаки и множество кур, которые кажутся мне ужасно высокими, когда они разгуливают с угрожающим и свирепым

видом. Есть здесь один петух, который взбирается на столб, чтобы прокричать кукареку; он как будто обращает на меня особое внимание, когда я смотрю на него из окна кухни, и заставляет меня вздрагивать – такой он сердитый. Гуси по ту сторону калитки, шествующие вслед за мной вразвалку, вытянув шеи, снятся мне по ночам: так человеку, окруженному дикими зверями, снятся львы.

Вот длинный коридор – какая бесконечная перспектива открывается моему взору! – ведущий от кухни Пегготи к парадной двери. Сюда выходит дверь темной кладовой, и по вечерам нужно быстро пробегать мимо нее: когда там нет никого и не светит тускло горящая свеча, я не знаю, что может таиться среди этих кадушек, банок и старых ящиков из-под чая, а из двери вырывается затхлый воздух, насыщенный запахом мыла, рассола, перца, свечей и кофе. В доме две гостиные: гостиная, где мы сидим по вечерам в будни, – моя мать, я и Пегготи, потому что Пегготи всегда с нами, когда мы одни, а она покончила с работой, – и парадная гостиная, где мы сидим по воскресеньям; здесь торжественно, но не так уютно. Эта комната кажется мне унылой, потому что Пегготи рассказывала мне – не знаю, когда, но, очевидно, ужасно давно – о похоронах моего отца и об участниках процессии в черных плащах. В одно из воскресений мать читает Пегготи и мне в этой гостиной о том, как Лазарь воскрес из мертвых. И мне так страшно, что позднее приходится поднять меня с кроватки и показать мне из окна спальни тихое кладбище, где мертвые тихо покоятся в своих могилах, озаренных торжественной луной.

Нигде нет травы такой зеленой, как трава на этом кладбище; нигде нет таких тенистых деревьев, как там; нет ничего более мирного, чем эти могилы. Ранним утром, когда я поднимаюсь на колени в своей кроватке (она стоит в нише в комнате моей матери), чтобы посмотреть на кладбище, овцы щиплют там траву; я вижу багровый свет, заливающий солнечные часы, и размышляю: «Радуются ли солнечные часы, что они снова могут показывать время?»

Вот наша скамья в церкви. Какая у нее высокая спинка! Неподалеку окно, из которого виден наш дом, и в продолжение утренней службы Пегготи часто поглядывает в это окно, так как хочет удостовериться, не ограблен ли дом, и не охвачен ли пламенем. Но хотя глаза Пегготи блуждают, она очень недовольна, если и мои начинают блуждать, и когда я стою на скамье, она хмурится, давая мне понять, что я должен смотреть на священника. Но не могу же я все время смотреть на него! Я его знаю без этого белого покрывала и боюсь, что он удивится и, пожалуй, прервет службу, чтобы осведомиться, почему я так таращу на него глаза, а что мне тогда делать? Очень нехорошо зевать по сторонам, но я должен чем-то заняться. Я смотрю на мою мать, но она притворяется, будто не видит меня. Я смотрю на мальчика в приделе, а он в ответ корчит рожу. Я смотрю на солнечные лучи, проникающие с паперти в открытию дверь, и там я вижу заблудшую овцу – я имею в виду не грешника, а настоящую овцу, – размышляющую, не войти ли ей в церковь. Я чувствую, что, если сейчас же не перестану смотреть на нее, меня охватит соблазн крикнуть что-нибудь во весь голос, – а что тогда будет со мной? Я поднимаю глаза на мемориальные доски на стене и стараюсь думать о покойном мистере Боджерсе из нашего прихода и думаю о том, что должна была чувствовать миссис Боджерс, когда мистер Боджерс долго и тяжко болел, а врачи были бессильны помочь ему. Я задаю себе вопрос, звали ли к больному мистера Чиллипа и оказался ли он так же бессилен, как все прочие, а если да, то приятно ли ему теперь вспоминать об этом каждое воскресенье. Я перевожу взгляд с мистера Чиллипа и его праздничного галстука на кафедру и думаю о том, какое это чудесное место для игр и какой бы это был замок: кто-нибудь из мальчиков штурмует его, взбегая по ступеням, а ему в голову летит подушка с кисточками. Мало-помалу глаза мои начинают слипаться, я как будто еще слышу в знойном воздухе сонный голос священника, распевающего гимн; потом я уже ничего не слышу и, наконец, с грохотом падаю со скамьи, и меня чуть живого уносит Пегготи.

А теперь я вижу наш дом. В раскрытые настежь окна с частыми переплетами проникает в спальню благовонный воздух, а растрепанные старые грачиные гнезда все еще покачиваются на вязах в конце сада. А вот я в саду за домом, позади двора с пустой голубятней и собачьей конурой; помнится мне, это настоящий заповедник бабочек, окруженный высокой изгородью с калиткой и висячим замком; плоды обременяют ветви деревьев, плоды такие спелые и сочные, каких никогда уже не бывало ни в каком другом саду, и моя мать собирает их в корзинку, а я стою тут же, украдкой срывая крыжовник и стараясь сохранить равнодушный вид. Поднимается сильный ветер, и вот лето уж промелькнуло. В зимних сумерках мы играем и танцуем в гостиной. Когда моя мать, запыхавшись, опускается в кресло, я слежу, как она навивает на пальцы свои светлые локоны и выпрямляется, и никто не знает лучше меня, что ей приятно быть такой миловидной и она гордится своей красотой.

Таковы мои самые ранние впечатления. А вот одно из первых моих умозаключений – если только это можно назвать умозаключением, – составленных на основании того, что я видел: мы оба слегка побаиваемся Пегготи и чаще всего подчиняемся ей.

Однажды вечером Пегготи и я сидели одни у камина в гостиной. Я читал Пегготи о крокодилах. То ли я читал очень выразительно, то ли она была чересчур увлечена книгой, но только я припоминаю, что по окончании чтения у нее осталось смутное представление, будто крокодилы это какой-то сорт овощей. Я устал читать, и меня мучительно клонило ко сну, но, получив в виде великой милости разрешение не ложиться, пока не вернется домой моя мать, проводившая вечер у соседки, я, разумеется, скорее готов был умереть на своем посту, чем лечь спать. Сонливость моя достигла той степени, когда Пегготи начала как будто пухнуть и принимать гигантские размеры. Я поддерживал указательными пальцами веки, чтобы они не сомкнулись, и упорно смотрел, как она работает; смотрел на крохотный кусочек свечи, которым она навацивала нитку, – весь изрезанный морщинками, каким старым он казался! – на маленький домик с тростниковой кровлей, где хранился сантиметр; на ее рабочую шкатулку с выдвижной крышкой, на которой был изображен собор св. Павла (с розовым куполом); на палец с медным наперстком; смотрел на ее лицо, которое я считал восхитительным. Мне так хотелось спать, что я знал: если я хоть на секунду перестану все это видеть – я пропал.

– Пегготи! – неожиданно спросил я. – Ты была когда-нибудь замужем?

– Господи помилуй, мистер Дэви! – воскликнула Пегготи, – Что это вам пришло в голову говорить о замужестве?

При этом она так вздрогнула, что я и думать забыл о сне. Она перестала шить и смотрела на меня, держа в вытянутой руке иголку с ниткой.

– Но ты была когда-нибудь замужем, Пегготи? – повторил я. – Ты очень красивая, правда?

Конечно, я понимал, что красота Пегготти резко отличается от красоты моей матери, но, по моему мнению, она была в своем роде настоящей красавицей. В парадной гостиной стояла красная бархатная скамеечка для ног, на которой моя мать нарисовала букет. Цвет бархата нисколько не отличался от цвета лица Пегготи. Скамеечка была мягкая, а Пегготи – жесткая, но это не имело никакого значения.

– Это я-то красивая, Дэви! – воскликнула Пегготи. – Господь с вами, дорогой мой! Но что это вам пришло в голову говорить о замужестве?

– Не знаю… Нельзя выйти замуж сразу за двоих, ведь правда, Пегготи?

– Конечно, нельзя, – быстро и решительно ответила Пегготи.

– Но если вы вышли за кого-нибудь замуж и этот человек умер, тогда вы можете выйти за другого, правда, Пегготи?

– Можете, если хотите. Все зависит от того, какого вы мнения об этом, – сказала Пегготи.

– А ты какого мнения, Пегготи? – спросил я.

Я задал этот вопрос и посмотрел на нее с любопытством, потому что и она смотрела на меня с нескрываемым любопытством.

– Мое мнение такое, – после недолгого колебания сказала Пегготи, отводя взгляд и снова принимаясь за шитье, – я сама никогда не была замужем, мистер Дэви, и замуж не собираюсь. Вот все, что я об этом знаю.

– Ты на меня не сердишься, правда, Пегготи? – помолчав минутку, спросил я.

Я и в самом деле подумал, что она рассердилась, – так сухо она отвечала. Но, оказывается, я ошибся: она отложила в сторону чулок (это был ее собственный чулок) и, широко раскрыв объятия, обхватила руками мою кудрявую головку и крепко ее сжала. Я знаю, что она сжала ее крепко, потому что Пегготи была очень полная женщина и при малейшем резком движении от ее платья отскакивали сзади пуговицы. И я припоминаю, что две пуговицы отлетели, когда она меня обнимала.

– А теперь почитайте мне еще немного о крокиндилах, – сказала Пегготи, которая не совсем усвоила это слово. – Мне хочется еще о них послушать.

Я хорошенько не понимал, почему у Пегготи такой странный вид и почему она с такой охотой готова вернуться к крокодилам. Однако мы снова принялись за этих чудовищ, я окончательно разгулялся, и мы зарывали их яйца в песок, чтобы детеныши вылупливались на солнце; убегали от них, то и дело сворачивая в сторону, потому что они неуклюжи и не могут поворачиваться быстро; подражая туземцам, мы бросались за ними в воду и вонзали им в глотку заостренные палки; короче, мы прошли всю крокодилью науку. Во всяком случае, я прошел, но у меня остались сомнения касательно Пегготи, которая то и дело в задумчивости задевала себе иглою щеки и нос и колола руки.

Мы покончили с крокодилами и перешли к аллигаторам, когда зазвонил колокольчик у садовой калитки. Мы бросились к двери; там стояла моя мать, показавшаяся мне красивее, чем когда бы то ни было, а с ней джентльмен с прекрасными черными волосами и бакенбардами, который в прошлое воскресенье провожал нас домой из церкви.

Когда моя мать остановилась на пороге, чтобы взять меня на руки и поцеловать, джентльмен сказал, что мальчуган пользуется более высокими привилегиями, чем любой монарх, или что-то в этом роде; я понимаю, что здесь мне на помощь приходят более поздние соображения.

– Что это значит? – спросил я его из-за плеча моей матери.

Он погладил меня по голове, но мне почему-то не понравился ни он сам, ни его низкий голос, и было досадно, что его рука, касаясь меня, коснется и моей матери – так оно и случилось. Я изо всех сил оттолкнул руку.

– О Дэви! – с упреком воскликнула моя мать.

– Милый мальчик! – сказал джентльмен. – Меня не удивляет его привязанность.

Я никогда еще не видел такого чудесного румянца на лице моей матери. Она мягко пожурила меня за грубость и, прижимая меня к своей шали, повернулась, чтобы поблагодарить джентльмена, потрудившегося проводить ее до дому. При этом она протянула ему руку, и, когда он пожимал ее, мне показалось, что она бросила взгляд на меня.

– Пожелаем друг другу спокойной ночи, мой славный мальчуган! – сказал джентльмен после того, как склонил голову – я это видел! – над маленькой перчаткой моей матери.

– Спокойной ночи! – сказал я.

– Так будем же добрыми друзьями! – со смехом сказал джентльмен. – Дай руку!

Моя правая рука была в руке матери, поэтому я протянул ему левую.

– Да ведь ты подаешь не ту руку, Дэви! – засмеялся джентльмен.

Мать хотела протянуть ему мою правую руку, но я решил, по упомянутой выше причине, не подавать ее и не подал. Я протянул ему левую, а он, ласково пожав ее, заявил, что я молодец, и ушел.

Вижу, как сейчас, – он идет по саду и, обернувшись в последний раз, пронизывает нас взглядом своих зловещих черных глаз, прежде чем захлопнулась дверь.

Пегготи, которая не проронила ни единого словечка и не шевельнула ни одним пальцем, медленно задвинула засовы, и мы все прошли в гостиную. Вместо того чтобы сесть в кресло у камина, моя мать, вопреки своему обыкновению, осталась в другом конце комнаты и тихонько что-то напевала.

– Надеюсь, вы приятно провели вечер, сударыня, – сказала Пегготи, стоя с подсвечником в руке посреди комнаты, неподвижная, как бочка.

– Благодарю вас, Пегготи, – весело отвечала моя мать, – я очень приятно провела вечер.

– Новое лицо. Это приятно, – пробормотала Пегготи.

– Да, очень приятно, – подтвердила моя мать.

Пегготи продолжала стоять посреди комнаты, моя мать снова начала напевать, а я заснул, но не так крепко, чтобы не слышать голосов, хотя и не понимал, о чем идет речь. Когда я очнулся от этой тревожной дремоты, оказалось, что Пегготи и моя мать обе в слезах и обе говорят.

– Только не такой, как этот. Он не понравился бы мистеру Копперфилду, – промолвила Пегготи. – Вот что я вам скажу и готова в том поклясться!

– Боже мой! – воскликнула моя мать. – Вы меня с ума сведете! Была ли еще на свете бедная девушка, с которой ее служанка обращалась бы так дурно, как со мной? Но почему я несправедлива сама к себе и называю себя девушкой? Разве я не была замужем, Пегготи?

– Богу известно, что были, сударыня! – отвечала Пегготи.

– Ну, так как же вы смеете, – продолжала моя мать, – нет, я не хотела сказать: «как вы смеете», Пегготи, но как хватило у вас духу расстраивать меня и говорить такие горькие слова, когда вы прекрасно знаете, что у меня здесь нет ни единого друга, к которому я могла бы обратиться?

– Потому-то я и говорю, что это вам не подходит, – возразила Пегготи. – Да! Это вам не подходит. Да! И никак не может подойти. Да!

Я подумал, что Пегготи сейчас швырнет на пол подсвечник – столь энергически она им размахивала.

– Как можете вы так огорчать меня и быть такой несправедливой? – сказала моя мать, плача еще горше. – Как можете вы говорить так, словно все решено и покончено, Пегготи, когда я повторяю вам снова и снова, жестокая вы женщина, что ровно ничего не было, кроме самой обычной учтивости! Вы говорите о восхищении. Но что же мне делать? Или вы хотите, чтобы я сбрила волосы и выкрасила себе лицо в черный цвет, или обезобразила бы себя, обожглась, ошпарилась, или еще что-нибудь в этом роде? Думаю, вы бы этого хотели, Пегготи. Я думаю, вы бы обрадовались!

Мне показалось что Пегготи приняла этот упрек близко к сердцу.

– А мой дорогой мальчик! – воскликнула моя мать, подходя к креслу, в котором я сидел, и ласково меня обнимая. – Мой родной маленький Дэви! Может быть, мне хотят намекнуть, что я мало люблю мое драгоценное сокровище, милого моего мальчика?

– Никто никогда и не заикался об этом, – сказала Пегготи.

– Вы заикались, Пегготи! – возразила моя мать. – И вы это знаете. Какой же еще можно сделать вывод из всего, что вы сказали, недобрая вы женщина, хотя вам известно не хуже, чем мне, что месяц назад я ради него не купила себе нового зонтика, а мой старый зеленый

совсем протерся и бахрома обтрепалась? Вам это известно, Пегготи! Вы не можете отрицать. – Тут она ласково прижалась щекой к моей щеке. – Скажи, я плохая мама, Дэви? Нехорошая, злая, жестокая, дурная мама? Скажи, дитя мое, скажи «да», дорогой мой мальчик, и Пегготи будет любить тебя, а любовь Пегготи стоит куда больше, чем моя, Дэви. Я тебя совсем не люблю, правда?

Вот тут мы все трое заплакали. Кажется, я плакал громче всех, но все плакали непритворно. Я был в полном отчаянии и боюсь, что, оскорбленный в самых нежных своих чувствах, назвал Пегготи «свиньей». Помню, славная женщина была глубоко опечалена и, должно быть, осталась по этому случаю совсем без пуговиц, потому что раздался своего рода залп и эти снаряды отлетели, когда она, помирившись с моей матерью, опустилась на колени перед моим креслом и помирилась со мною.

Мы пошли спать в полном унынии. Рыдания долго мешали мне заснуть, а когда особенно сильный приступ рыданий едва ли не подбросил меня на постели, я увидел мать; она сидела на моей кроватке, склонившись надо мной. После этого я заснул в ее объятиях и спал крепко.

Не могу припомнить, когда я опять встретил этого джентльмена – то ли в следующее воскресенье, то ли прошло больше времени, прежде чем он появился снова. Я не стану утверждать, что в памяти моей точно сохранились даты. Но он опять был в церкви и потом шел с нами до дому. И он вошел в дом, чтобы взглянуть на прекрасную герань, стоявшую у нас в окне гостиной. Мне показалось, что он не обратил на нее особого внимания, но, собираясь уходить, он попросил мою мать дать ему один цветок. Она предложила ему выбрать самому, но он отказался – я не мог понять почему, – тогда она сорвала цветок и подала ему. Он сказал, что никогда, никогда не расстанется с ним, а я счел его попросту дураком, раз он не знает, что через день-два все лепестки осыплются.

Пегготи стала проводить с нами по вечерам меньше времени, чем раньше. Моя мать очень часто обращалась к ней за советом – казалось мне, чаще, чем обычно, – и мы трое оставались закадычными друзьями; однако в чем-то мы изменились, и нам было уже не так хорошо втроем. Иной раз я воображал, будто Пегготи недовольна тем, что моя мать надевает свои красивые платья, хранившиеся у нее в комоде, и слишком часто ходит в гости к соседке, но я не мог толком понять, в чем тут дело.

Мало-помалу я привык видеть джентльмена с черными бакенбардами. Нравился он мне не больше, чем в самом начале, и я испытывал все то же тревожное чувство ревности; если же были у меня для этого какие-нибудь основания, кроме инстинктивной детской неприязни и общих соображений, что мы с Пегготи можем позаботиться о моей матери без посторонней помощи, то, разумеется, не те основания, какие я мог бы найти, будь я постарше. Но ни о чем подобном я тогда не задумывался. Я мог кое-что подмечать, но сплести из этих обрывков сеть и уловить в нее кого-нибудь было мне еще не по силам.

Однажды осенним утром я гулял с матерью в саду перед домом, когда появился верхом мистер Мэрдстон, – теперь я знал, как его зовут. Он остановил лошадь, чтобы приветствовать мою мать, сказал, что едет в Лоустофт повидаться с друзьями, прибывшими туда на яхте, и весело предложил посадить меня перед собой в седло, если я не прочь проехаться.

Воздух был такой чистый и мягкий, а лошади, храпевшей и рывшей копытами землю у садовой калитки, казалось, так нравилась мысль о прогулке, что мне очень захотелось поехать. Меня послали наверх к Пегготи принарядиться, а тем временем мистер Мэрдстон спешился и, перебросив через руку поводья, стал медленно прохаживаться взад и вперед по ту сторону живой изгороди из лесного шиповника, а моя мать медленно прохаживалась взад и вперед по эту сторону, чтобы составить ему компанию. Помню, Пегготи и я украдкой посмотрели на них из моего маленького окошка; помню, как они, прогуливаясь, внимательно разглядывали разделявший их шиповник и как Пегготи, которая была поистине в ангельском расположении

духа, сразу рассердилась и принялась изо всех сил приглаживать мне волосы щеткой – совсем не в ту сторону.

Вскоре мистер Мэрдстон и я тронулись в путь; лошадь пустилась рысью по зеленой траве у обочины дороги. Он слегка придерживал меня одной рукой; непоседливым я не был, но теперь, поместившись перед ним в седле, я не мог удержаться, чтобы не поворачивать голову и не заглядывать ему в лицо. Глаза у него были черные и пустые – не нахожу более подходящего слова, чтобы описать глаза, лишенные глубины, в которую можно заглянуть; в минуты рассеянности благодаря игре света они начинают слегка косить и как-то странно обезображиваются. Бросая на него взгляд, я несколько раз с благоговейным страхом наблюдал это явление и задавал себе вопрос, о чем он так сосредоточенно размышляет. Вблизи его волосы и бакенбарды были еще чернее и гуще, чем казалось мне раньше. Квадратная нижняя часть лица и черные точки на подбородке – следы густой черной бороды, которую он ежедневно тщательно брил, – напоминали мне ту восковую фигуру, какую с полгода назад привозили в наши края. Все это, а также правильно очерченные брови и бело-черно-коричневое лицо – будь проклято его лицо и память о нем! – заставляли меня, несмотря на мои дурные предчувствия, считать его очень красивым мужчиной. Не сомневаюсь, что красивым считала его и моя бедная мать.

Мы приехали в гостиницу на берегу моря, где два джентльмена, расположившись в отдельной комнате, курили сигары. Каждый из них развалился по крайней мере на четырех стульях, и были они одеты в широкие грубошерстные куртки. В углу лежали связанные в огромный узел пальто, морские плащи и флаг.

Когда мы вошли, оба неуклюже поднялись со стульев и сказали:

– Здравствуйте, Мэрдстон! Мы уже боялись, что вы умерли.

– Еще нет, – сказал мистер Мэрдстон.

– А кто этот малыш? – спросил один из джентльменов, положив руку мне на плечо.

– Это Дэви, – ответил мистер Мэрдстон.

– Какой Дэви? – спросил джентльмен. – Дэви Джонс?

– Копперфилд, – ответил мистер Мэрдстон.

– Как? Обуза очаровательной миссис Копперфилд? – воскликнул джентльмен. – Хорошенькой вдовушки!

– Куиньон, пожалуйста, будьте осторожны, – сказал мистер Мэрдстон. – Кое-кто очень не глуп.

– Кто же это? – смеясь, спросил джентльмен. Я с живостью поднял голову, желая узнать, о ком идет речь.

– Всего-навсего Брукс из Шеффилда, – сказал мистер Мэрдстон.

С облегчением я узнал, что это всего-навсего мистер Брукс из Шеффилда; сначала я, право же, подумал, что они говорят обо мне!

Вероятно, было что-то очень забавное в этом мистере Бруксе из Шеффилда, так как оба джентльмена расхохотались от души, и мистер Мэрдстон тоже очень развеселился. Посмеявшись, джентльмен, которого он назвал Куиньоном, спросил:

– А каково мнение Брукса из Шеффилда о затеваемом деле?

– Не думаю, чтобы в настоящее время Брукс был хорошо осведомлен о нем, но как будто он не особенно его одобряет, – ответил мистер Мэрдстон.

Снова раздался смех, а мистер Куиньон сказал, что позвонит и закажет хереса, чтобы выпить за здоровье Брукса. Он так и сделал, а когда принесли вино, налил мне немножко и, дав печенье, заставил встать и произнести: «За погибель Брукса из Шеффилда!» Тост был

встречен громкими аплодисментами и таким хохотом, что я тоже засмеялся, после чего они снова захохотали. Короче говоря, нам было очень весело.

После этого мы гуляли по скалистому берегу, сидели на траве, смотрели в подзорную трубу – когда мне приставили ее к глазу, я ничего не мог разглядеть, но притворился, будто что-то вижу, – а затем вернулись в гостиницу к раннему обеду. Во время прогулки оба джентльмена непрерывно курили – судя по запаху их курток, я заключил, что, должно быть, они предаются этому занятию с того дня, как доставили им на дом куртки от портного. Надобно упомянуть о том, что мы побывали на борту яхты, где они все трое спустились в каюту и занялись какими-то бумагами. Заглянув в застекленный люк, я увидел, что они поглощены работой. Меня они оставили на это время в обществе очень славного человека с большой копной рыжих волос на голове и в маленькой глянцевитой шляпе; на его полосатой рубахе или жилете было написано поперек груди заглавными буквами «Жаворонок». Я решил, что это его фамилия, а так как он живет на борту судна и у него нет двери, где бы он мог повесить табличку с фамилией, то он ее носит на груди; но когда я обратился к нему: «Мистер Жаворонок», – он сказал, что так называется яхта.

В течение всего дня я замечал, что мистер Мэрдстон был солидней и молчаливей, чем два других джентльмена. Те были очень веселы и беззаботны. Они непринужденно шутили друг с другом, но редко обращались с шутками к нему. Мне казалось, что он более умен и сдержан и они питают к нему чувство, сходное с моим. Раза два я подметил, как мистер Куиньон во время разговора искоса посматривал на мистера Мэрдстона, словно желал убедиться, что тот не выражает неудовольствия, а один раз; когда мистер Пасснидж (другой джентльмен) особенно воодушевился, мистер Куиньон наступил ему на ногу и украдкой предостерег взглядом, указывая на мистера Мэрдстона, который был суров и молчалив. И я не припоминаю, чтобы в тот день мистер Мэрдстон хоть разок засмеялся – разве что посмеялся над Бруксом из Шеффилда, да и то была его собственная шутка.

Домой мы вернулись рано. Вечер был прекрасный, и моя мать снова стала гулять с мистером Мэрдстоном вдоль живой изгороди из шиповника, а меня отослали наверх пить чай. Когда он ушел, мать начала расспрашивать меня, как я провел день, о чем говорили джентльмены и что делали. Я упомянул о том, что они сказали о ней, а она засмеялась и назвала их дерзкими людьми, болтавшими вздор, но я понял, что это доставило ей удовольствие. Я это понял не хуже, чем понимаю теперь. Я воспользовался случаем и спросил, знакома ли она с мистером Бруксом из Шеффилда, но она ответила отрицательно и предположила, что это какой-нибудь владелец фабрики ножей и вилок.[7]

Могу ли я сказать о ее лице, – столь изменившемся потом, как я припоминаю, и отмеченном печатью смерти, как знаю я теперь, – могу ли я сказать, что его уже нет, когда вижу его сейчас так же ясно, как любое лицо, на которое мне вздумается посмотреть на людной улице? Могу ли я сказать о ее девичьей красоте, что она исчезла и нет ее больше, если я, как и в тот вечер, чувствую сейчас на своей щеке ее дыхание? Могу ли я сказать, что мать моя изменилась, если в моей памяти она возвращается к жизни всегда в одном обличий? И если память эта, оставшаяся более верной ее нежной юности, чем верен был я или любой другой, по-прежнему хранит то, что лелеяла тогда?

Я вижу ее такой, какою была она, когда я после этого разговора отправился спать, а она пришла пожелать мне спокойной ночи. Она шаловливо опустилась на колени возле кровати, подперла подбородок руками и, смеясь, спросила:

– Так что же они сказали, Дэви? Повтори. Я не могу этому поверить.

– «Очаровательная»… – начал я.

Моя мать зажала мне рот, чтобы я замолчал.

– Нет, только не очаровательная! – смеясь, воскликнула она. – Они не могли сказать «очаровательная», Дэви. Я знаю, что не могли!

– Они сказали: «Очаровательная миссис Копперфилд», – твердо повторил я. – И «хорошенькая».

– Нет! Нет! Этого не могло быть. Только не хорошенькая! – перебила моя мать, снова касаясь пальцами моих губ.

– Сказали: «хорошенькая». «Хорошенькая вдовушка».

– Какие глупые, дерзкие люди! – воскликнула мать, смеясь и закрывая лицо руками. – Какие смешные люди! Правда? Дэви, дорогой мой…

– Что, мама?

– Не рассказывай Пегготи. Пожалуй, она рассердится на них. Я сама ужасно сержусь на них, но мне бы хотелось, чтобы Пегготи не знала.

Конечно, я обещал. Мы еще и еще раз поцеловались, и я крепко заснул.

Теперь, по прошествии такого долгого времени, мне кажется, будто Пегготи на следующий же день сделала мне поразительное и необычайно заманчивое предложение, о котором я собираюсь рассказать; но, вероятно, это было месяца через два.

Однажды вечером мы снова сидели вдвоем с Пегготи (моей матери снова не было дома) в обществе чулка, сантиметра, кусочка воска, шкатулки с собором св. Павла на крышке и книги о крокодилах, как вдруг Пегготи, которая несколько раз посматривала на меня и раскрывала рот, словно собиралась заговорить, но, однако, не произносила ни слова, – я бы встревожился, если бы не думал, что она просто зевает, – Пегготи вкрадчивым тоном сказала:

– Мистер Дэви, вам не хотелось бы поехать со мной недели на две к моему брату в Ярмут? Это было бы чудесным развлечением, правда?

– А твой брат добрый, Пегготи? – предусмотрительно осведомился я.

– Ах, какой добрый! – воздев руки, воскликнула Пегготи. – А потом там море, лодки, корабли, и рыбаки, и морской берег, и Эм – он будет играть с вами…

Пегготи имела в виду своего племянника Хэма, о котором упоминалось в первой главе, но говорила она о нем так, словно он был глаголом из английской грамматики.[8]

Я раскраснелся, слушая ее перечень увеселений, и отвечал, что это и в самом деле было бы чудесным развлечением, но что скажет мама?

– Да я бьюсь об заклад на гинею, что она нас отпустит, – сказала Пегготи, не спуская с меня глаз. – Если хотите, я спрошу ее, как только она вернется домой. Вот и все.

– Но что она будет делать без нас? – спросил я и положил локти на стол, чтобы обсудить этот вопрос. – Она не может остаться совсем одна.

Тут Пегготи начала вдруг разыскивать дырку на пятке чулка, но, должно быть, это была очень маленькая дырочка и ее не стоило штопать.

– Пегготи! Ведь не может же она остаться совсем одна?

– Господи помилуй! – воскликнула, наконец, Пегготи, снова подняв на меня глаза. – Да разве вы не знаете? Она будет гостить две недели у миссис Грейпер. А у миссис Грейпер соберется большое общество.

О, в таком случае я готов был ехать! Я с величайшим нетерпением ждал, когда моя мать вернется от миссис Грейпер (это и была наша соседка), чтобы удостовериться, разрешено ли нам будет привести в исполнение наш замечательный план. Моя мать, удивившаяся гораздо меньше, чем я ожидал, охотно приняла его, и в тот же вечер все было решено; условились, что она заплатит за мой стол и помещение.

Вскоре настал день отъезда. Срок был назначен такой короткий, что этот день настал скоро даже для меня, а я ожидал его с лихорадочным нетерпением и немного опасался, как бы землетрясение, или извержение вулкана, или какое-нибудь другое стихийное бедствие не помешали нашей поездке. Нам предстояло ехать с возчиком, который отправлялся в путь утром

после завтрака. Я готов был отдать что угодно, только бы мне позволили одеться с вечера и лечь спать в шляпе и башмаках.

Хотя я говорю об этом веселым тоном, но и теперь волнуюсь, припоминая, с какой охотой собирался я покинуть дом, где был так счастлив, и даже не подозревал, какая ждет меня утрата.

Когда повозка стояла у калитки и моя мать целовала меня, чувство любви и благодарности к ней и к старому дому, которого я никогда еще не покидал, заставило меня расплакаться, и я с радостью вспоминаю об этом. Мне приятно думать, что заплакала и моя мать, и я почувствовал, как у моего сердца бьется ее сердце.

Я с радостью вспоминаю, что моя мать выбежала за калитку, когда возчик тронулся в путь, и приказала ему остановиться, чтобы она могла поцеловать меня еще раз. Я с радостью припоминаю, с какой горячею любовью приблизила она свое лицо к моему и поцеловала меня.

Когда мы покинули ее одну на дороге, к ней подошел мистер Мэрдстон и, по-видимому, стал упрекать ее за то, что она так взволнована. Я выглядывал из-под навеса повозки и недоумевал, какое ему до этого дело. Пегготи, которая тоже оглянулась назад, казалась не очень-то довольной, о чем свидетельствовало ее лицо, когда она повернулась ко мне.

Я сидел и долго смотрел на Пегготи, погрузившись в размышления: а что, если ей поручили бы потерять меня по дороге, как мальчика в сказке, удалось ли бы мне добраться – до дому с помощью пуговиц, которые она теряла по пути?

Глава III

Перемена в моей жизни

Лошадь, – мне думается, самая ленивая лошадь на свете, – опустив голову, еле передвигала ноги, словно ей было приятно томить ожиданием владельцев багажа, который лежал в повозке. Мне даже показалось, будто она явственно хихикала, размышляя об этом, но возчик сказал, что у нее кашель.

Возчик тоже норовил клюнуть носом, как и его лошадь, и, наконец, голова у него опустилась на грудь; он дремал и правил лошадью, а руки его покоились на коленях. Я говорю «правил», но мне пришло в голову, что повозка могла бы добраться до Ярмута и без него, – лошадь и одна отлично справлялась; что же касается до разговоров, то об этом он и не помышлял и только посвистывал.

На коленях у Пегготи была корзинка с припасами, которых хватило бы нам с избытком до самого Лондона, если бы мы решили отправиться туда в этой же самой повозке. Мы изрядно закусили и неплохо выспались. Пегготи спала, опершись подбородком на ручку корзинки и не переставая караулить ее даже во сне; и если бы я сам не услышал, то не поверил бы, что беззащитная женщина может так громко храпеть.

Мы так долго плутали по проселочным дорогам и так много потратили времени, чтобы доставить кровать в трактир или заехать еще куда-то, что я совсем выбился из сил и очень обрадовался, когда мы увидели Ярмут. Он показался мне мокрым, как губка; мой взор охватил унылое пространство за рекой, и я недоумевал, в самом ли деле земля круглая, как утверждал мой учебник географии, раз одна ее часть может быть такой плоской. Впрочем, я рассудил, что Ярмут, возможно, находится на одном из полюсов, чем все дело и объясняется.

Когда мы подъехали к городу ближе и он представился нам в виде прямой линии, сливающейся с небом, я заметил Пегготи, что какой-нибудь холм или что-нибудь подобное могли бы его приукрасить, и было бы куда приятнее, если бы земля резче отделялась от моря, а город и море не были так перемешаны, как сухари с водой.[9] Но Пегготи заявила более энергически, чем обычно, что надо принимать вещи, как они есть, и она-де очень гордится своим – прозвищем «Ярмутская копченая селедка».

Когда мы въехали в улицу (вид ее показался мне очень странным), когда на нас пахнуло запахом рыбы, дегтя, пакли и смолы и мы увидали снующих моряков и повозки, громыхающие по камням, я почувствовал, что был несправедлив к этому деловому городку, и сказал об этом Пегготи, которую очень порадовало мое восхищение, и она заявила, будто всем хорошо известно (должно быть, тем, кому повезло родиться «копчеными селедками»), что Ярмут, в общем, – лучшее место на белом свете.

– А вот и мой Эм. Вырос так, что его и не узнать, – воскликнула Пегготи.

И в самом деле, он ждал нас у дверей трактира и, на правах старого знакомца, осведомился, как я поживаю. Поначалу я не признал его, потому что он не бывал у нас с того вечера, когда я появился на свет, и, естественно, у него было передо мной преимущество. Но наше знакомство стало более близким, пока он нес меня на спине домой. Это был крупный, крепкий парень шести футов росту, сильный и широкоплечий, но ухмыляющееся мальчишеское лицо и вьющиеся светлые волосы придавали ему застенчивый вид. На нем была парусиновая куртка и штаны из такой жесткой материи, что они могли стоять самостоятельно, не облекая ног. Носит ли он шляпу – этого нельзя было сказать с уверенностью, поскольку его голову, словно старый дом, прикрывал какой-то просмоленный лоскут.

Хэм тащил меня на спине, под мышкой он держал наш сундучок, другой сундучок несла Пегготи, и так мы пробирались какими-то проулками, устланными щепками и засыпанными песком, шли мимо газового завода, канатной фабрики, верфей, плотничьих, бондарных, конопатных, такелажных мастерских, кузниц и великого множества тому подобных заведений, пока не вышли на унылую пустошь, которую я уже видел издали, и тогда Хэм проговорил:

– А вот там наш дом, мистер Дэви.

Я стал глядеть по сторонам, озирая эту пустошь, смотрел и на море и на речку вдали, но никакого дома найти не мог. Неподалеку виднелся темный баркас или какое-то другое судно, отслужившее свой век; оно лежало на суше, железная труба, прилаженная к нему в качестве дымохода, уютно дымила; но ничего другого, напоминавшего жилье, на мой взгляд, здесь не было.

– Это не там? Не тот корабль?

– Вот-вот, он самый, мистер Дэви, – ответил Хэм.

Если бы это был дворец Аладина, яйцо птицы или что-нибудь подобное, едва ли я был бы больше прельщен романтической идеей там поселиться. Сбоку была прорублена восхитительная дверца, была здесь и крыша и маленькие оконца, но самое большое очарование заключалось в том, что это был настоящий корабль, несчетное число раз бороздивший морские волны и отнюдь не предназначенный служить жильем на суше. Вот это меня и пленило. Если бы когда-нибудь он был построен для жилья, я счел бы его тесным, неудобным или расположенным слишком уединенно; но он, конечно, не был создан для такой цели и показался мне самым лучшим пристанищем.

Внутри он отличался чистотой и опрятностью. Был тут и стол, и голландские часы, и комод, а на комоде чайный поднос с изображенной на нем леди под зонтиком, гуляющей с воинственным на вид ребенком, катившим обруч. Поднос, дабы он не упал, подперли библией; если бы поднос низвергся, он вдребезги разбил бы чашки, блюдца и чайник, окружавшие библию. На стенах висели незамысловатые цветные картинки, в рамках и под стеклом, на темы из священного писания; впоследствии, всякий раз, видя такие картинки у разносчиков, я невольно сразу же вспоминал дом брата Пегготи. Авраам в красном одеянии, собирающийся принести в жертву Исаака в голубом, Даниил в желтом, ввергнутый в логово зеленых львов, особенно бросались в глаза. На небольшой каминной доске красовалось изображение люгера «Сара-Джейн», построенного в Сандерленде, с прилаженной к нему настоящей маленькой деревянной кормой, – произведение искусства, сочетавшее художественное мастерство со столярным ремеслом и казавшееся мне одной из самых привлекательных вещей на свете. В

стропилах торчали крюки, назначение которых я не мог в то время угадать; и было там несколько сундучков, ящиков и тому подобных вещей, служивших для сиденья и заменявших стулья.

Все это я охватил с первого взгляда, едва переступив порог, – что, по моей теории, свойственно детям, – а затем Пегготи открыла дверцу и показала мне мою спальню. Это была самая лучшая, самая миленькая спальня, какую только можно себе представить – в корме судна, – с оконцем в гом месте, где прежде руль выходил наружу, с маленьким зеркалом, повешенным на высоте моих плеч н головы и обрамленным устричными ракушками, с небольшой кроватью – как раз по моему росту, а на столе в синем кувшине стоял букет морских водорослей. Выбеленные стены были белы, как молоко, а стеганое лоскутное одеяло так пестро, что у меня зарябило в глазах. В этом замечательном доме я обратил особое внимание на запах рыбы, такой прилипчивый, что, когда я вытащил из кармана носовой платок, чтобы высморкаться, платок успел так пропахнуть, будто я завертывал в него омара. Когда я потихоньку поделился своим открытием с Пегготи, та сообщила, что ее брат промышляет омарами, крабами и лангустами; позднее я обнаружил, что целая куча этих тварей, перемешанных в беспорядке и норовящих ущипнуть все, что им удается захватить клешнями, обычно копошится в маленьком деревянном сарайчике, где стояли чаны и горшки.

Нас учтиво приветствовала женщина в белом переднике: ее реверансы я приметил еще за четверть мили до баркаса, сидя на спине у Хэма. Так же приветствовала нас и очаровательная крошка (во всяком случае, мне она показалась очаровательной) с голубыми бусами на шее; когда я спросил у нее, можно ли мне ее поцеловать, она убежала и где-то спряталась. После того как мы роскошно пообедали вареной камбалой с топленым маслом и картошкой, – для меня была еще особо приготовлена котлета, – вошел человек с густыми длинными волосами и добродушным лицом. Так как он назвал Пегготи «моя девочка» и крепко поцеловал ее в щеку, я, зная, как строго соблюдает она правила приличия, догадался, что это ее брат. Он и в самом деле оказался ее братом – мне представили его как мистера Пегготи, хозяина дома.

– Рад вас видеть, сэр, – сказал мистер Пегготи. – Мы, может, и грубоваты, сэр, но всегда к вашим услугам,

Я поблагодарил его и сказал, что мне будет очень хорошо в таком чудесном доме.

– Как поживает ваша матушка, сэр? – спросил мистер Пегготи. – Вы оставили ее в добром здравии?

Я сообщил мистеру Пегготи, что не могу пожаловаться на ее здоровье и что она передает ему привет – это была ложь, к которой я прибег из вежливости.

– Очень ей признателен, – продолжал мистер Пегготи. – Значит, сэр, коли вы недельки две будете ладить с ней, – он кивнул в сторону сестры, – с Хэмом и малюткой Эмли, нам будет очень приятно…

Поддержав столь гостеприимным манером честь своего дома, мистер Пегготи отправился мыться; чайник с горячей водой уже ждал его, и, уходя, он заметил, что «его грязи холодная вода ни за что не смоет». Вскоре он вернулся, причем внешность его весьма выиграла, но вернулся столь багровым, что мне поневоле пришло в голову, не имеет ли его лицо нечто общее с омарами, крабами и раками, так как оно перед погружением в горячую воду было почти черным, а появилось оттуда совсем красным.

После чаепития, когда дверь заперли, а все окна плотно прикрыли (ночи были холодные и пасмурные), это убежище показалось мне самым привлекательным из всех, какие только может нарисовать воображение. Слушать ветер, дующий с моря, знать, что туман расползается над пустынной равниной, глядеть на огонь камелька и думать о том, что поблизости нет ни одного дома, кроме нашего дома-корабля, – это было похоже на волшебную сказку. Малютка Эмли поборола свою робость и сидела рядом со мной на самом низеньком и маленьком

сундучке, достаточно, однако, просторном для нас обоих и помешавшемся в углу у камелька. Миссис Пегготи в белом переднике вязала на спицах по другую сторону очага. Пегготи со своим шитьем, собором св. Павла и огарком восковой свечи, казалось была у себя дома, словно никакой иной кров не был ей знаком. Хэм, только что преподавший мне первый урок игры во «все четыре», старался припомнить, как гадают на картах, и оставлял рыбный отпечаток большого пальца на каждой замусоленной карте. Мистер Пегготи сосал свою трубку. Мне показалось, что настала пора для доверительной беседы.

– Мистер Пегготи! – начал я.

– Да, сэр? – отозвался он.

– Вы назвали своего сына Хэмом потому, что живете вроде как бы в ковчеге?

Казалось, мистер Пегготи почел эту мысль глубокой, однако он ответил:

– Нет, сэр. Я никогда не давал ему никакого имени.

– Ну, а кто же ему дал это имя? – задал я мистеру Пегготи второй вопрос по катехизису.

– Кто, сэр? Это имя дал ему отец, – сказал мистер Пегготи.

– Я думал, что вы его отец!

– Его отцом был мой брат Джо, – сказал мистер Пегготи.

– Он умер, мистер Пегготи? – почтительно помолчав, осведомился я.

– Утонул, – сказал мистер Пегготи.

Меня очень удивило, что мистер Пегготи не приходится отцом Хэму, и у меня мелькнула мысль, не ошибаюсь ли я касательно родственных отношений между ним и остальными членами семейства. Мне так не терпелось это узнать, что я решил попросить разъяснения у мистера Пегготи.

– Ну, а малютка Эмли? – Тут я взглянул на нее. – Она ваша дочь, мистер Пегготи?

– Нет, сэр. Ее отцом был муж моей сестры, Том.

Я не мог удержаться и снова, после почтительной паузы, спросил:

– Он умер, мистер Пегготи?

– Утонул, – сказал мистер Пегготи.

Было нелегко продолжать разговор на эту тему, но я еще не все выяснил и так или иначе надо было добраться до сути дела. Поэтому я спросил:

– А у вас есть дети, мистер Пегготи?

– Нет, мистер Дэвид, – отозвался он со смешком. – Я холостяк.

– Холостяк? – удивился я. – А кто же тогда она? – указал я на особу в переднике, которая вязала на спицах.

– Это миссис Гаммидж, – сообщил мистер Пегготи.

– Гаммидж, мистер Пегготи?

Но тут Пегготи – я разумею мою родную Пегготи – сделала мне такой явный знак воздержаться от дальнейших расспросов, что оставалось только сидеть и взирать на всю эту безмолвную компанию, пока не пришла пора идти спать. Здесь, в моей маленькой каюте, Пегготи сообщила мне, что Хэм и Эмли – сироты, племянник и племянница, которых мой хозяин усыновил, когда они остались без средств к существованию, а миссис Гаммидж – вдова его компаньона, владевшего вместе с ним баркасом и умершего в нищете. И он сам – бедняк, – сказала Пегготи, – но сердце у него золотое, а надежен он, как сталь, – таковы были ее сравнения. Но есть один предмет, – сообщила она. – который всегда вызывает у него буйное раздражение, и тут он даже начинает ругаться: упоминание о его великодушии; если кто-нибудь из них заговорит об этом, он бьет кулаком по столу (однажды он даже расколол его) и клянется страшной клятвой, что пусть его «разразит» на этом самом месте, если он не удерет,

коли услышит об этом еще раз. Выяснилось также (после моих расспросов), что никто не имеет понятия, каково значение этого страшного глагола «разразит», но все почитают его самым торжественным заклятьем.

Я был растроган добротой моего хозяина и в самом благодушном настроении, усугубленном сонливостью, – прислушивался, как женщины укладываются спать в такой же, как моя, каморке в другом конце баркаса и как мистер Пегготи и Хэм подвешивают койки к тем самым крючьям, какие я заметил в стропилах. Погружаясь мало-помалу в дремоту, я слышал вой ветра, который с такой яростью мчался над равниной, что я стал опасаться, не разверзлась ли пучина морская. Но тут я вспомнил, что нахожусь на баркасе, и если что-нибудь случится, не худо иметь на борту человека, подобного мистеру Пегготи.

Впрочем, ничего не случилось, кроме того, что наступило утро. Как только засияло оно на устричных ракушках, обрамлявших мое зеркало, я уже был на ногах и вместе с Эмли отправился собирать камешки на берегу.

– Ты заправский моряк, верно? – обратился я к Эмли.

Не знаю, был ли я в том уверен, но я почитал необходимым сказать ей какую-нибудь любезность, а сверкающий парус неподалеку от нас отразился в этот момент в ее ясных глазах так красиво, что мне пришло в голову сказать именно это.

– Нет, – покачала головкой Эмли, – я боюсь моря.

– Боишься? – сказал я храбро, взирая с высокомерным видом на могучий океан. – А я не боюсь!

– Что ты! Но оно такое жестокое! Я вижу, как оно жестоко к нам. Я видела, как оно разбило судно, такое же большое, как наш дом…

– Надеюсь, это было не то судно, на котором…

– На котором потонул мой отец? – перебила Эмли. – Нет. Не то. Того я никогда не видела.

– И отца тоже? – спросил я. Малютка Эмли покачала головой:

– Не помню.

Какое совпадение! Я тотчас же сообщил, что никогда не видел своего отца и что мы с матерью всегда жили очень счастливо вдвоем, и так же собираемся жить впредь, а что могила отца находится неподалеку от нашего дома на кладбище, осененная деревом, под которым я часто гулял и много раз слушал в ясное утро пение птичек. Но, оказывается, сиротство Эмли не совсем походило на мое. Она лишилась матери раньше, чем отца, да к тому же никто не знал, где находится его могила, – знали только, что он покоится где-то на дне моря.

– И вот что еще, – сказала Эмли, разыскивая раковины и камешки, – твой отец – джентльмен, а мать – леди, а мой отец – рыбак, и мать – дочь рыбака, и мой дядя Дэн – рыбак.

– Дэн – это мистер Пегготи? – спросил я.

– Дядя Дэн. Вон там, – кивнула Эмли, указывая на дом-баркас.

– Вот-вот. Я о нем и говорю. Должно быть, он очень хороший?

– Хороший? – переспросила Эмли. – Будь я леди, я подарила бы ему небесно-голубой сюртук с алмазными пуговицами, нанковые штаны, красный бархатный жилет, треуголку, большие золотые часы, серебряную трубку и ящик с деньгами.

Я заявил, что, несомненно, мистер Пегготи вполне достоин этих сокровищ. Но должен сознаться, что мне было трудновато представить его в наряде, предназначенном для него благодарной маленькой племянницей; в особенности вызывала у меня сомнения треуголка; но об этом я умолчал.

Малютка Эмли притихла и подняла глаза к небу, словно перечисленные предметы предстали перед ней как прекрасное видение. Мы пошли дальше, собирая ракушки и камешки.

– Тебе хочется быть леди? – спросил я. Эмли взглянула на меня, засмеялась и кивнула:

– Очень хочется. Тогда мы бы все стали леди и джентльменами. И я, и дядя, и Хэм, и миссис Гаммидж. Тогда бы мы не боялись бурной погоды. Не боялись бы за себя, я хочу сказать. Но, конечно, за бедных рыбаков боялись бы и давали им деньги, когда им приходилось бы плохо.

Это показалось мне совершенно правильным, а стало быть, и не вполне невероятным. Подумав, я похвалил ее, и приободренная этим Эмли нерешительно спросила:

– Ты и теперь уверен, что не боишься моря?

Оно было достаточно спокойным, чтобы рассеять мои опасения, но я не сомневаюсь, что, покажись только волна, даже не слишком большая, – и я пустился бы наутек при страшном воспоминании об утонувших родственниках Эмли. Тем не менее я сказал «да» и добавил: «Но и ты, кажется, не боишься, хотя и говоришь совсем другое», так как она шла по самому краю старой деревянной дамбы, и я опасался, что она сорвется.

– Я не боюсь, когда оно такое, – сказала малютка Эмли. – Но я просыпаюсь, когда поднимается ветер, и дрожу, когда думаю о дяде Дэне и о Хэме, и мне все чудится, что они зовут на помощь. Вот почему мне хочется быть леди. Но сейчас я не боюсь! Ничуть! Погляди!

Она побежала в сторону по неровным бревнам, тянувшимся от того места, где мы стояли, и наклонилась над пучиной, ничем не защищенная. Эта картина так запомнилась мне, – что, будь я рисовальщиком, я мог бы, думается, точно изобразить ее: малютка Эмли летит навстречу своей гибели (так мне тогда казалось), взгляд устремлен в открытое море, а выражения ее лица мне никогда не забыть.

Легкая, смелая, порхающая фигурка повернулась и прибежала ко мне целая и невредимая, и скоро я уже смеялся над моим страхом и над воплем, вырвавшимся у меня, – воплем бесцельным и бессмысленным, так как никого поблизости не было. Но с той поры не раз, в годы моей зрелости, не один, а много раз, размышляя о тайнах жизни, я думал и о том, что в неожиданном безрассудном поступке малютки и в ее безумном взгляде вдаль проявилась, быть может, некое благостное тяготение к опасности, какой-то соблазн уйти к покойному ее отцу – с его разрешения, дабы ее жизнь могла пресечься тогда же. С той поры нередко я думал о том, что, если бы предстоящая ей жизнь открылась мне сразу в тот момент, открылась, доступная моему детскому пониманию, и ее спасение зависело от одного только движения моей руки, я должен был бы удержаться от попытки спасти ее. С той поры не раз – я не скажу, в течение долгого времени, но тем не менее так было, – я задавал себе вопрос, не лучше ли было бы для малютки Эмли, если бы в то утро волны сомкнулись над ее головой на моих глазах; и я отвечал: «Да».

Быть может, я предвосхищаю события. Может быть, я слишком рано пишу об этом. Но все равно, пусть будет так, как есть.

Бродили мы долго, нагрузились разными вещами, которые показались нам занимательными, бережно пускали назад в воду выброшенные на берег морские звезды – я и сейчас слишком мало знаю об их природе и не уверен, следовало ли им благодарить нас или как раз наоборот, – и, наконец, отправились домой, к мистеру Пегготи. Мы замешкались под сенью сарая с омарами, чтобы обменяться невинным поцелуем, и, бодрые и веселые, явились к утреннему завтраку.

«Как два молоденьких камышника», – сказал мистер Пегготи. Я знал, что на местном диалекте это означает: «Как два молоденьких дрозда», и принял его слова за комплимент.

Разумеется, к влюбился в малютку Эмли. Я уверен, что моя любовь к этой крошке была такой же преданной, такой же нежной, но более чистой и самозабвенной, чем самая прекрасная любовь в моей последующей жизни, сколь бы эта любовь ни была высокой и облагораживающей. Я уверен, что мое воображение создавало вокруг этой голубоглазой малютки какой-то ореол, превращало ее в эфирное существо, в настоящего ангела. Если бы в

какое-нибудь солнечное утро она раскрыла крылышки и на моих глазах упорхнула, я не думаю, чтобы это намного превзошло мои ожидания.

Мы гуляли по туманной древней равнине близ Ярмута, как влюбленные, целыми часами. Весело текли для нас дни, словно само Время еще не подросло, и оставалось ребенком, и всегда готово было играть. Я говорил Эмли, что обожаю ее и что, если она не признается в любви ко мне, я буду вынужден заколоть себя шпагой. Она сказала, что тоже обожает меня, и я в этом не сомневался.

Что касается сознания неравенства, молодости или иных трудностей на нашем пути, малютка Эмди и я не задумывались над этим, так как о будущем не помышляли. О том, что мы станем взрослыми, мы думали ничуть не больше, чем о том, что можем стать еще моложе. Когда по вечерам мы нежно восседали рядышком на своем сундучке, миссис Гаммидж и Пегготи восхищались нами и перешептывались: «Господи, ну что за прелесть!» Мистер Пегготи ухмылялся, взирая на нас из-за своей трубки, а Хэм целый вечер только и делал, что скалил зубы от удовольствия. Мне кажется, они нами забавлялись, как могли бы забавляться красивой игрушкой или миниатюрной моделью Колизея.

Вскоре я пришел к заключению, что миссис Гаммидж не всегда бывает так любезна, как можно было бы ожидать, принимая во внимание, на каком положении она жила в доме мистера Пегготи. У миссис Гаммидж был характер раздражительный, и по временам она хныкала больше, чем могло прийтись по вкусу остальным обитателям такого маленького домика. Мне было очень жаль ее, но бывали минуты, когда я сетовал, что у миссис Гаммидж нет своего жилья, куда она могла бы удаляться, оставаясь там, пока ее расположение духа не улучшится.

Время от времени мистер Пегготи захаживал в трактир «Добро пожаловать». Об этом я узнал на второй или третий день после нашего приезда, узнал от миссис Гаммидж, взглянувшей на голландские часы между восемью и девятью часами вечера и заявившей, что он находится именно там и, более того, что она знала еще утром о его намерении туда пойти.

Целый день миссис Гаммидж была в дурном расположении духа и разразилась слезами около полудня, когда очаг стал дымить.

– Я женщина одинокая, покинутая, и все против меня! – вот что сказала миссис Гаммидж, когда случилось это неприятное происшествие.

– Ничего! Дым скоро выйдет, да к тому же и нам не лучше, чем тебе, – заметила Пегготи – я снова имею в виду нашу Пегготи.

– Я более чувствительна, – сказала миссис Гаммидж.

День был очень холодный, с резкими порывами ветра. Обычное место миссис Гаммидж у камелька было, как мне казалось, самое теплое и уютное, а стул – самый удобный, но в тот день ничто не приходилось ей по вкусу. Она жаловалась все время на холод и на каких-то «мурашек», бегавших у нее по спине. Наконец она пустила слезу по этому поводу и снова заявила, что она «женщина одинокая, покинутая и все против нее».

– Очень холодно, это верно, – согласилась Пегготи. – Все это чувствуют.

– Я более чувствительна, чем другие, – проговорила миссис Гаммидж.

Так было и за обедом; миссис Гаммидж получала свою порцию тотчас же после меня, а мне оказывали это предпочтение как почетному гостю. Рыба попалась мелкая и костистая, а картошка слегка пригорела. Все мы были не очень довольны, но миссис Гаммидж сообщила, что она более чувствительна, чем мы, снова пролила слезу и снова повторила с великим раздражением свою жалобу.

Итак, когда мистер Пегготи вернулся около девяти часов домой, эта злополучная миссис Гаммидж вязала на спицах в своем углу, пребывая в весьма мрачном состоянии. Пегготи весело работала. Хэм чинил пару огромных: непромокаемых сапог, а я, сидя рядом с малюткой Эмли

читал им вслух. После чая миссис Гаммидж, не делая больше никаких замечаний, издавала только жалобные вздохи и ни разу не подняла глаз.

– Ну, как вы поживаете, друзья? – усаживаясь, осведомился мистер Пегготи.

Все мы ответили что-то или приветствовали его взглядом – все, за исключением миссис Гаммидж, которая только покачала головой над своим вязаньем.

– Что за беда стряслась? – спросил мистер Пегготи, хлопнув в ладоши. – Смотри веселей, мамаша! (Мистер Пегготи имел в виду старую вдову.)

Похоже было на то, что миссис Гаммидж не обнаруживает желания смотреть веселей. Она достала старый черный шелковый платок и вытерла им глаза; но вместо того чтобы спрятать его в карман, подержала в руках, снова вытерла глаза и продолжала держать его наготове.

– Что за беда стряслась, черт побери, миссис Гаммидж? – повторил мистер Пегготи.

– Никакой. Ты пришел из «Добро пожаловать», Дэниел?

– Вот-вот. Малость посидел сегодня вечерком в «Добро пожаловать», – сказал мистер Пегготи.

– Жаль, что я тебя туда загоняю, – сказала миссис Гаммидж.

– Загоняешь? Меня незачем загонять, – возразил мистер Пегготи и от души расхохотался. – Я хожу в трактир даже слишком охотно.

– Слишком охотно! – повторила миссис Гаммидж, покачивая головой и вытирая глаза. – Да, да, очень охотно. Жаль, что это из-за меня ты так охотно туда ходишь.

– Из-за тебя? Вовсе не из-за тебя. Неужто ты, в самом деле, так думаешь?

– Да, да, думаю! – воскликнула миссис Гаммидж. – Я знаю, кто я такая. Я знаю, что я женщина одинокая, покинутая и не только все против меня, но и я всем стою поперек дороги. Да, да! Я более чувствительна, чем другие, и этого не скрываю. Это мое несчастье.

Я сидел, прислушивался и не мог не прийти к выводу, что это несчастье де только миссис Гаммидж, но и других членов семьи. Однако мистер Пегготи не привел такого возражения, он снова обратился к миссис Гаммидж с увещанием «смотреть веселей».

– Я не такая, какой хотелось бы мне быть, – сказала миссис Гаммидж. – Совсем не такая. Я знаю, какая я. Мои невзгоды сделали меня непокладистой. Я чувствительна к моим невзгодам, а они делают меня непокладистой. Хотела бы я быть не такой чувствительной, но не могу. Я хочу привыкнуть к ним и не могу. Дома из-за меня неуютно. Я это понимаю. Целый день я надоедала и твоей сестре и мистеру Дэви.

Тут я внезапно растрогался и закричал вне себя от волнения:

– Что вы, миссис Гаммидж, совсем нет!

– Нехорошо я поступаю, – продолжала миссис Гаммидж. – Неблагодарная я. Лучше мне уйти в работный дом и там умереть. Я женщина одинокая, покинутая, и лучше мне не стоять здесь всем поперек дороги. Если все против меня, и даже я сама против себя, то пусть уж лучше это будет в моем приходе. Дэниел, мне нужно бы уйти в работный дом и там умереть, и все избавятся от меня.

С этими словами миссис Гаммидж удалилась и легла спать. Когда она ушла, мистер Пегготи, который не проявлял никаких других чувств, кроме глубокого сострадания, окинул нас взглядом, покачал головой и все с тем же состраданием, освещавшим его лицо, прошептал:

– Это она думает о старике!

Я не совсем понимал, о каком старике думает миссис Гаммидж, пока Пегготи, укладывая меня спать, не объяснила, что речь идет о покойном мистере Гаммидже и что ее брат в подобных случаях считает такое объяснение непреложной истиной и всегда приходит в умиление. Немного погодя, когда он улегся в свою койку, я услышал, как он говорит Хэму:

– Бедняжка! Она думает о старике!

И когда бы на миссис Гаммидж ни находил такой стих (а за время нашего там пребывания это случалось несколько раз), мистер Пегготи всегда приводил тот же довод как смягчающее обстоятельство, и всегда с самым трогательным сочувствием.

Так прошли две недели, в однообразное течение которых только морские приливы и отливы вносили некоторое разнообразие, изменяя часы ухода и прихода мистера Пегготи, а также рабочие часы Хэма. Когда Хэм бывал свободен, он гулял с нами и показывал парусные и гребные суда, а один или два раза катал нас в шлюпке. Не знаю почему, но одни впечатления связаны с тем или иным местом больше, чем другие, хотя это бывает почти со всеми людьми, в особенности если речь идет о впечатлениях детства. И каждый раз, когда я слышу или читаю слово «Ярмут», в моей памяти возникает воскресное утро на берегу, звонят колокола, призывая в церковь, малютка Эмли прислонилась к моему плечу, Хэм лениво швыряет камешки в воду, а солнце высоко над морем только что пробилось сквозь густой туман, и перед нами предстают корабли, похожие на собственные свои тени.

Наконец наступил день отъезда. Я еще мирился с мыслью о разлуке с мистером Пегготи и миссис Гаммидж, но мучительно страдал, расставаясь с малюткой Эмли – Мы шли рука об руку к трактиру, где ждал возчик, и на пути туда я обещал ей писать. (Это обещание я исполнил – выводя буквы более крупные, чем те, какими обычно бывают написаны объявления о сдаче внаем квартир.) Прощаясь, мы были убиты горем, и если когда-нибудь я чувствовал в своем сердце зияющую пустоту, то это было в тот день.

Все время, покуда я там гостил, я не скучал по родному дому и думал о нем очень мало или вовсе не думал.

Но мои мысли сразу же обратились к нему, как только чуткая детская совесть уверенным перстом указала мне этот путь, а уныние заставило еще сильнее почувствовать, что там мое родное гнездо и моя мать – мой друг и утешитель.

Эти чувства овладели мною в дороге, и, по мере приближения к дому, чем более знакомыми становились места, мимо которых мы проезжали, тем сильней жаждал я добраться до дому и упасть в объятия матери. Однако Пегготи не только не разделяла моего волнения, но пыталась (впрочем, очень ласково) его сдержать и казалась смущенной и расстроенной.

Тем не менее бландерстонский «Грачевник» должен был появиться (как скоро – это зависело от желания лошади возчика) – и он появился. Я хорошо помню его в тот холодный серый день, под хмурым небом, угрожавшим дождем!

Дверь отворилась, и в радостном волнении, не то плача, не то смеясь, я искал взглядом мать. Но это была не она, а незнакомая служанка.

– Пегготи! Разве она не вернулась домой? – воскликнул я горестно.

– Нет, нет, она вернулась. Подождите немного, мистер Дэви, и я… я вам кое-что расскажу… – ответила Пегготи.

Вылезая из повозки, Пегготи от волнения и по врожденной своей неловкости зацепилась и повисла, словно самой неожиданной формы гирлянда, но я был слишком огорчен и растерян и ничего ей не сказал. Спустившись наземь, она взяла меня за руку, повела в кухню и закрыла за собой дверь.

– Пегготи, что случилось? – спросил я, перепугавшись.

– Ничего не случилось, дорогой мистер Дэви, – ответила она, притворяясь веселой.

– Нет, нет, я знаю, что-то случилось! Где мама?

– Где мама, мистер Дэви? – повторила Пегготи.

– Да! Почему она не вышла мне навстречу и зачем мы здесь, Пегготи?

Слезы застлали мне глаза, и я почувствовал, что вот-вот упаду.

– Что с вами, мой мальчик? – воскликнула Пегготи, подхватывая меня. – Скажите, мой миленький!

– Неужели она тоже умерла? Пегготи, она не умерла?

Пегготи крикнула необычайно громко «нет!», опустилась на стул, начала тяжело вздыхать и сказала, что я нанес ей тяжелый удар.

Я обнял ее, чтобы исцелить от удара или, быть может, нанести его в надлежащее место, затем остановился перед ней, тревожно в нее вглядываясь.

– Дорогой мой, – сказала Пегготи, – следовало бы сообщить вам об этом раньше, но не было удобного случая. Может быть, я должна была это сделать, но китагорически, – на языке Пегготи это всегда означало «категорически», – не могла собраться с духом.

– Ну, говори же, Пегготи! – торопил я, пугаясь все более и более.

– Мистер Дэви, – задыхаясь, продолжала Пегготи, дрожащими руками снимая шляпку. – Ну, как вам это понравится? У вас теперь есть папа.

Я вздрогнул и побледнел. Что-то, – не знаю, что и как, – какое-то губительное дуновение, связанное с могилой на кладбище и с появлением мертвеца, пронизало меня.

– Новый папа, – сказала Пегготи.

– Новый? – повторил я.

Пегготи с трудом открыла рот, словно проглотив что-то очень твердое, и, протянув мне руку, сказала:

– Пойдите поздоровайтесь с ним.

– Я не хочу его видеть.

– И с вашей мамой, – сказала Пегготи.

Я перестал упираться, и мы пошли прямо в парадную гостиную, где Пегготи меня покинула. По одну сторону камина сидела моя мать, по другую – мистер Мэрдстон. Моя мать уронила рукоделие и поспешно – но, мне показалось, неуверенно – встала.

– Клара! Моя дорогая! Помните: сдерживайте себя! Всегда сдерживайте, – проговорил мистер Мэрдстон. – Ну, Дэви, как поживаешь?

Я подал ему руку. Поколебавшись одно мгновение, я подошел и поцеловал мать; она поцеловала меня, нежно погладила по плечу и, усевшись, снова принялась за работу. Я не мог смотреть на нее, не мог смотреть на него, я знал, что он глядит на нас обоих; и, повернувшись к окну, я стал смотреть на поникшие от холода кусты.

Как только я почувствовал, что мне можно уйти, я пробрался наверх. Моей старой милой спальни уже не было, и я должен был спать в другом конце дома. Я спустился вниз, чтобы найти хоть что-нибудь, оставшееся неизменным, – настолько, казалось мне, все стало другим, – и вышел во двор. Очень скоро я убежал, так как в доселе пустовавшей конуре обитал огромный пес с большущей пастью и с такой же черной шерстью, как у него. Мой вид разъярил пса, и он выскочил и бросился на меня.

Глава IV

Я впадаю в немилость

Если бы комната, куда переставили мою кровать, – хотел бы я знать, кто живет в ней теперь, – была существом разумным и способным давать показания, я призвал бы ее в свидетели того, с каким тяжелым сердцем отправился я спать в ту ночь. Взбираясь наверх по лестнице, я все время слышал за собой лай собаки во дворе; озирая комнату таким же печальным и чуждым взглядом, каким комната озирала меня, я сел, скрестив руки, и задумался.

Задумался я о самых странных вещах. О размере комнаты, о трещинах в потолке, об обоях на стене, о неровном стекле, сквозь которое ландшафт казался подернутым рябью, о расшатанном трехногом умывальнике, словно чем-то недовольном; он вызывал у меня в памяти миссис Гаммидж, когда она тосковала о «старике». Все это время я плакал, но почему я плачу – не думал, сознавая лишь, что мне грустно и холодно. И, наконец, мое отчаяние

завершилось размышлениями о том, что я безумно влюблен в малютку Эмли и оторван от нее ради того, чтобы приехать сюда, где я, наверное, никому не нужен так, как нужен Эмли, и где никто не любит меня. Тут мое отчаяние стало совсем нестерпимым, я натянул на себя краешек одеяла и плакал, пока не заснул.

Меня разбудил чей-то голос: «Вот он!» – и с моей разгоряченной головы сняли одеяло. Это мать и Пегготи пришли ко мне, и кто-то из них откинул одеяло.

– Дэви, что случилось? – спросила моя мать.

Странным мне показался ее вопрос, и я ответил: «Ничего». Помню, я лег лицом вниз, чтобы скрыть дрожащие губы, которые могли бы дать более правдивый ответ.

– Дэви! Дэви, дитя мое! – сказала мать.

Не знаю, какое другое слово могло бы растрогать меня больше, чем этот возглас: «Дитя мое». Я уткнулся заплаканным лицом в одеяло и оттолкнул ее руку, когда она попыталась поднять меня.

– Это ваша вина, Пегготи, жестокая вы женщина! – сказала мать. – Мне это ясно. Как вам позволила совесть восстановить моего родного сына против меня или против того, кто мне дорог? Чего вы добивались, Пегготи?

Бедняжка Пегготи возвела глаза к небу, всплеснула руками и могла только ответить, перефразируя молитву, которую я всегда повторял после обеда:

– Да простит вам бог, миссис Копперфилд, пусть никогда не придется вам пожалеть о том, что вы сейчас сказали!

– Есть от чего прийти в отчаяние! – воскликнула мать. – И это в мой медовый месяц, когда, кажется, даже злейший мой враг и тот смягчился бы и не захотел отнять у меня крупицу покоя и счастья! Дэви, злой мальчик! Пегготи, какая вы жестокая! О боже! – раздраженно и капризно восклицала моя мать, поворачиваясь то ко мне, то к ней. – Сколько огорчений, и как раз тогда, когда можно было бы ждать одних только радостей!

Я почувствовал прикосновение руки, которая не могла быть рукой матери или Пегготи, и соскользнул с кровати. Это была рука мистера Мэрдстона, он положил ее на мою руку и произнес:

– Что это значит? Клара, любовь моя, вы забыли? Твердость, дорогая моя!..

– Простите, Эдуард, – проговорила моя мать. – Я хотела держать себя как можно лучше, но мне так неприятно…

– Неужели? Печально услышать это так скоро, Клара, – произнес мастер Мэрдстон.

– Я и говорю, что тяжело в такое время… – сказала моя мать, надувая губки. – Это… это очень тяжело… не правда ли?

Он привлек ее к себе, шепнул ей что-то на ухо и поцеловал. И когда я увидел голову моей матери, склонившуюся к его плечу, и ее руку, обвивавшую его шею, я понял, что он способен придать ее податливой натуре любую форму по своему желанию, – я знал это тогда не менее твердо, чем знаю теперь, после того как он этого добился.

– Идите вниз, любовь моя. Мы с Дэвидом придем вместе, – проговорил мистер Мэрдстон. – А вы, мой друг, – тут он обратился к Пегготи, проводив сначала мою мать улыбкой и кивками, – знаете ли вы, как зовут вашу хозяйку?

– Она уже давно моя хозяйка, сэр. Я должна бы знать, как ее зовут, – отвечала Пегготи.

– Совершенно верно. Но когда я поднимался по лестнице, мне послышалось, будто вы называете ее по фамилии, которая уже ей не принадлежит. Знайте, что она носит мою фамилию. Вы это запомните?

Пегготи в замешательстве взглянула на меня, присела и молча покинула комнату, понимая, мне кажется, что ее ухода ждут, а мешкать нет ни малейшего повода.

Когда мы остались вдвоем с мистером Мэрдстоном, он закрыл дверь, уселся на стул, поставил меня перед собой и пристально посмотрел мне в глаза. Я чувствовал, что смотрю ему в глаза не менее пристально. И когда я вспоминаю, как мы остались с ним лицом к лицу, сердце мое и теперь начинает колотиться в груди.

– Дэвид! – начал он, сжав губы и растянув рот в ниточку. – Если мне приходится иметь дело с упрямой лошадью или собакой, как, по-твоему, я поступаю?

– Не знаю.

– Я ее бью.

Я что-то беззвучно пробормотал и почувствовал, как у меня перехватило дыхание.

– Она у меня дрожит от боли. Я говорю себе: «Ну, с этой-то я справлюсь». И хотя бы мне пришлось выпустить всю кровь из ее жил, я все-таки добьюсь своего! Что это у тебя на лице?

– Грязь, – сказал я.

Мы оба знали, что это следы слез. Но если бы он повторил свой вопрос двадцать раз и при каждом вопросе наносил мне двадцать ударов, я уверен, мое детское сердце разорвалось бы, но другого ответа я бы не дал.

– Ты очень понятлив для своих лет, – продолжал он со своей обычной мрачной улыбкой, – и, вижу, ты очень хорошо понял меня. Умойтесь, сэр, и пойдем вниз.

Он указал на умывальник, напоминавший мне миссис Гаммидж, и кивком головы приказал немедленно повиноваться.

Я почти не сомневался, как не сомневаюсь и сейчас, что он сбил бы меня с ног без малейших угрызений совести, если бы я замешкался.

– Клара, дорогая, – начал он, когда я исполнил его требование и он привел меня в гостиную, причем его рука покоилась на моем плече, – Клара, дорогая, теперь, я надеюсь, все уладится. Скоро мы отучимся от наших детских капризов.

Видит бог, что я отучился бы от них на всю жизнь, и на всю жизнь, быть может, стал бы другим, услышь я в то время ласковое слово! Слово ободряющее, объясняющее, слово сострадания моему детскому неведению, слово приветствия от родного дома, заверяющее, что это мой родной дом, – такое слово родило бы в моем сердце истинную покорность мистеру Мэрдстону вместо лицемерной и могло бы внушить мне уважение к нему вместо ненависти. Кажется, моя мать была огорчена, видя, как я стою посреди комнаты, такой испуганный, сам на себя непохожий, а когда я бочком пробирался к стулу какой-то скованной, несвойственной детям походкой, она следила за мной взглядом еще более печальным, но слово не было сказано, и все сроки для него миновали.

Мы пообедали одни – мы трое. Казалось, он был очень влюблен в мою мать – боюсь, что по этой причине он не стал мне более приятен, – и она была очень влюблена в него. Из их разговора я понял, что его старшая сестра поселится у нас и ее ждут сегодня вечером. Не знаю, тогда ли, или позднее я узнал, что мистер Мэрдстон, не принимая сам участия в делах, был совладельцем либо просто получал ежегодно какую-то часть прибылей лондонского торгового дома по продаже вин, с которым был связан еще его прадед, и из тех же доходов получала свою долю его сестра; упоминаю теперь об этом между прочим.

После обеда, когда мы сидели у камина и я помышлял о бегстве к Пегготи, но не решался ускользнуть, опасаясь нанести обиду хозяину дома, к садовой калитке подъехала карета, и мистер Мэрдстон вышел встретить гостя. Моя мать последовала за ним. Я неуверенно двинулся за нею, как вдруг она круто повернулась в дверях полутемной гостиной и, обняв меня, как бывало прежде, шепнула мне, чтобы я любил своего нового отца и слушался его. Сделала она это быстро, как бы тайком, словно совершала нечто запретное, но очень ласково, сжала мою руку и удерживала в своей, пока мы не подошли к мистеру Мэрдстону, стоявшему в саду, после чего она отпустила мою руку и взяла под руку его.

Оказывается, это приехала мисс Мэрдстон, мрачная на вид леди, черноволосая, как ее брат, которого она напоминала и голосом и лицом; брови у нее, почти сросшиеся над крупным носом, были такие густые, словно заменяли ей бакенбарды, которых, по вине своего пола, она была лишена. Она привезла с собой два внушительных твердых черных сундука со своими инициалами из твердых медных гвоздиков на крышках. Расплачиваясь с кучером, она достала деньги из твердого металлического кошелька, а кошелек, словно в тюремной камере, находился в сумке, которая висела у нее через плечо на тяжелой цепочке и защелкивалась, будто норовя укусить. Я никогда еще не видел такой металлической леди, как мисс Мэрдстон.

С чрезвычайным радушием ее провели в гостиную, и здесь она церемонно приветствовала мою мать как новую близкую родственницу. Затем она взглянула на меня и спросила:

– Это ваш мальчик, невестка?

Моя мать ответила утвердительно.

– Вообще говоря, я не люблю мальчиков, – сообщила мисс Мэрдстон. – Как поживаешь, мальчик?

После такого ободряющего вступления я ответил, что поживаю очень хорошо и надеюсь, что и она поживает очень хорошо; но сказал я это столь равнодушно, что мисс Мэрдстон расправилась со мной двумя словами.

– Плохо воспитан!

Произнеся эти слова очень отчетливо, она попросила указать ей ее комнату, которая с той поры стала для меня местом, наводящим страх и ужас; там стояли оба черных сундука, каковые я никогда не видел открытыми или оставленными не на запоре, и где висели (я подглядел, когда хозяйки не было) в боевом порядке вокруг зеркала многочисленные стальные цепочки, надеваемые мисс Мэрдстон, когда она наряжалась.

Я выяснил, что она приехала к нам навсегда и вовсе не собиралась уезжать. На следующее утро она принялась «помогать» моей матери, весь день возилась в кладовой и перевернула все вверх дном, наводя там порядок. Чуть ли не сразу меня поразила в ней одна особенность: она была словно одержима подозрением, что служанки прячут где-то в доме мужчину. Пребывая в таком заблуждении, она совала нос в подвал для угля в самое неподходящее время и, открывая дверцы темного шкафа, почти всегда тотчас же захлопывала их в полной уверенности, что наконец-то она поймала его.

Хотя в мисс Мэрдстон не было ничего воздушного, но просыпалась она вместе с жаворонками. Она была на ногах (подстерегая неизвестного мужчину, как я и теперь убежден), когда все в доме еще спали. Пегготи полагала, что она и спит, оставляя один глаз открытым, но я не разделял ее мнения, так как, выслушав предположение Пегготи, попытался это сделать, и у меня ничего не вышло.

Уже на следующее утро она встала с петухами и тотчас же позвонила в колокольчик. Когда моя мать спустилась вниз к утреннему завтраку и собиралась заварить чай, мисс Мэрдстон клюнула ее в щеку, – это означало поцелуй, – и сказала:

– Вы знаете, дорогая Клара, я приехала сюда освободить вас по мере сил от хлопот. Вы слишком хорошенькая и беззаботная, – тут моя мать покраснела и засмеялась, как будто ей пришлось по вкусу такое мнение, – чтобы исполнять обязанности, которые я могу взять на себя. Если вы, моя дорогая, дадите мне ключи, я позабочусь обо всем сама.

С этой минуты мисс Мэрдстон держала ключи в своей сумочке-тюрьме днем и под подушкой ночью, а мать имела к ним не большее касательство, чем я.

Моя мать отнеслась к потере власти не без возражений. Однажды, когда мисс Мэрдстон развивала планы ведения домашнего хозяйства в беседе с братом, одобрившим их, моя мать вдруг расплакалась и сказала, что, по ее мнению, с ней могли бы посоветоваться.

– Клара! – строго произнес мистер Мэрдстон. – Клара, я удивляюсь вам.

– О! Хорошо вам говорить, Эдуард, что вы удивляетесь! – воскликнула моя мать. – И хорошо вам говорить о твердости, но будь вы на моем месте, это не понравилось бы и вам.

Твердость, должен я заметить, была самым важным качеством, которым мистер и мисс Мэрдстон козыряли. Не знаю, как бы я объяснил это слово в то время, если бы меня спросили, но, на свой лад, я понимал ясно, что оно означает тиранический, мрачный, высокомерный, дьявольский нрав, отличавший их обоих. Их символ веры, как сказал бы я теперь, был таков: мистер Мэрдстон – тверд; никто из окружающих его не смеет быть столь твердым, как мистер Мэрдстон; вокруг него вообще нет твердых людей, так как перед его твердостью должны преклоняться все. Исключение – мисс Мэрдстон. Она может быть твердой, но только по праву родства, она зависит от него и менее тверда, чем он. Моя мать – также исключение. Она может и должна быть твердой, но только покоряясь их твердости и твердо веря, что на белом свете другой твердости нет.

– Очень тяжело, что в моем доме… – начала моя мать.

– В моем доме? – перебил мистер Мэрдстон. – Клара!

– Я хочу сказать: в нашем доме! – поправилась моя мать, явно испугавшись. – Мне кажется, вы должны знать, что я хотела сказать, Эдуард. Очень, я говорю, тяжело, что в вашем доме я не могу сказать ни слова о домашнем хозяйстве. Право же, я хозяйничала очень хорошо до нашей свадьбы! Есть свидетели… – всхлипывала моя мать. – Спросите Пегготи… Разве я не справлялась с домашним хозяйством, когда в мои дела не вмешивались?

– Эдуард, прекратите это! – произнесла мисс Мэрдстон. – Завтра же я уезжаю.

– Джейн Мэрдстон! Помолчите! Можно подумать, что вы плохо знаете мой характер, – сказал ее брат.

– Право же, я не хочу, чтобы кто-нибудь уезжал! – продолжала моя бедная мать, теряя почву под ногами и заливаясь горючими слезами. – Я буду чувствовать себя очень несчастной, если кто-нибудь уедет… Я не прошу многого. Я не безрассудна. Я только хочу, чтобы со мной иногда советовались. Я очень благодарна тем, кто мне помогает, я только хочу, чтобы со мной иногда советовались, хотя бы для виду. Прежде я думала, что моя молодость и неопытность нравятся вам, Эдуард. Я помню, вы это говорили… А теперь, мне кажется, вы меня за это ненавидите. Вы так суровы…

– Эдуард, прекратите это, – сказала мисс Мэрдстон. – Завтра я уезжаю.

– Джейн Мэрдстон! – загремел мистер Мэрдстон. – Вы будете молчать? Как вы осмелились?

Мисс Мэрдстон извлекла из тюрьмы, носовой платок и поднесла его к глазам.

– Клара, вы меня удивляете, – продолжал мистер Мэрдстон, глядя на мою мать. – Вы меня поражаете! Да, меня радовала мысль о женитьбе на неопытной и простодушной особе, мысль о том, что я могу сформировать ее характер, придать ей немного твердости и решительности, чего ей так не хватало. Но когда Джейн Мэрдстон по доброте своей согласилась помочь мне в этом и, ради меня, принять на себя обязанности… скажу прямо… экономки, и когда ей хотят отплатить черной неблагодарностью…

– Эдуард! Прошу вас, прошу, не обвиняйте меня о неблагодарности! – вскричала моя мать. – Я не повинна в неблагодарности. И раньше никто меня этим не попрекал. У меня много недостатков, но этого нет! О, не говорите так, мой дорогой!

– Когда Джейн Мэрдстон, говорю я, – продолжал он, выждав, чтобы моя мать умолкла, – хотят отплатить черной неблагодарностью, мои чувства охладевают и изменяются.

– О, не надо так говорить, любовь моя! – жалобно умоляла моя мать, – Не надо, Эдуард! Я не могу это слышать. Какова бы я ни была, но сердце у меня любящее, я знаю. Я не говорила бы так, если бы не была уверена, что сердце у меня любящее. Спросите Пегготи! Я знаю, она вам скажет, что у меня любящее сердце.

– Никакая слабость не имеет в моих глазах оправдания. Но вы слишком волнуетесь, – сказал в ответ мистер Мэрдстон.

– Прошу вас, давайте жить дружно! – продолжала моя мать. – Я не могу вынести холодного и сурового обращения. Мне так горько! Я знаю, у меня много недостатков, и с вашей стороны очень хорошо, Эдуард, что вы, такой сильный, помогаете мне избавиться от них. Джейн, я ни в чем вам не перечу. Если вы решили уехать, это разобьет мне сердце…

Она не в силах была продолжать.

– Джейн Мэрдстон, – обратился мистер Мэрдстон к сестре, – нам несвойственно обмениваться резкими словами. Не моя вина, что сегодня произошел столь необычайный случай. Меня на это вызвали. И не ваша вина. Вас также вызвали на это. Постараемся о нем забыть.

После таких великодушных слов он добавил:

– Но эта сцена не для детей. Дэвид, иди спать.

Я с трудом нашел дверь, так как глаза мои заволоклись слезами. Я глубоко страдал, видя горе матери. Вышел я ощупью, ощупью же пробрался в темноте к себе в комнату, даже не решившись зайти к Пегготи, чтобы пожелать ей доброй ночи или взять у нее свечу. Когда приблизительно через час Пегготи заглянула ко мне и ее приход разбудил меня, она сообщила, что моя мать ушла спать очень грустная, а мистер и мисс Мэрдстон остались одни.

Наутро, спустившись вниз раньше, чем обычно, я остановился перед дверью в гостиную, заслышав голос матери. Она униженно вымаливала у мисс Мэрдстон прощение и получила его, после чего воцарился полный мир.

Впоследствии я никогда не слышал, чтобы моя мать выражала по какому-нибудь поводу свое мнение, не справившись предварительно о мнении мисс Мэрдстон или не установив сперва по каким-нибудь явным признакам, что думает та по сему поводу. И я видел, что моя мать приходила в ужас всякий раз, когда мисс Мэрдстон, пребывая в дурном расположении духа (в этом смысле она отнюдь не была твердой), протягивала руку к своей сумке, делая вид, будто собирается достать оттуда ключи и вручить их матери.

Мрачность, отравлявшая кровь Мэрдстонов, бросала тень и на их набожность, которая была суровой и злобной. Теперь мне кажется, что эти качества неизбежно вытекали из твердости мистера Мэрдстона, не допускавшего мысли, будто кто-нибудь может ускользнуть от самого жестокого возмездия, какое он почитал себя вправе измыслить. Как бы то ни было, но я хорошо помню наши испуганные лица, когда мы идем в церковь, помню, как изменилась для меня сама церковь. И снова и снова я вижу эти страшные воскресенья: я прохожу к нашей старой скамье первым, будто арестант под конвоем, которого привели на церковную службу для заключенных. Снова идет позади меня, почти вплотную, мисс Мэрдстон в черном бархатном платье, словно скроенном из нагробного покрова; вслед за ней моя мать; затем ее супруг. Пегготи нет с нами, как это бывало в прошлые времена. Снова я прислушиваюсь к мисс Мэрдстон, которая бормочет молитвы, с какой-то кровожадностью смакуя все грозные слова. Снова я вижу ее черные глаза, озирающие церковь, когда она произносит: «несчастные грешники», как будто осыпает бранью всех прихожан. Снова я посматриваю изредка на мою мать, она робко шевелит губами, а справа и слева от нее те двое гудят ей в уши, будто гром рокочет вдали. Снова меня внезапно пронзает страх: что, если не прав наш добрый старый священник, а правы мистер и мисс Мэрдстон, и все ангелы небесные – ангелы разрушения? Снова, когда я пошевельну пальцем или ослаблю мускулы лица, мисс Мэрдстон пребольно тычет меня молитвенником в бок…

И снова я замечаю, как перешептываются соседи, глазея на мою мать и на меня, когда мы шествуем из церкви домой. Снова, когда те трое идут рука об руку, а я плетусь один позади, я ловлю эти взгляды и думаю: неужели и впрямь так сильно изменилась легкая походка матери и увяла радость на ее прекрасном лице. И снова я стараюсь угадать, не вспоминают ли,

подобно мне, соседи о тех днях, когда мы возвращались с ней вдвоем домой, и я тупо размышляю об этом в течение целого дня, дня угрюмого и пасмурного.

Стали поговаривать, не отправить ли меня в пансион. Подали эту мысль мистер и мисс Мэрдстон, а моя мать, конечно, с ними согласилась. Однако ни к какому решению не пришли. И покуда я учился дома.

Забуду ли я когда-нибудь эти уроки? Считалось, что их дает мне мать, но в действительности моими наставниками были мистер Мэрдстон с сестрой, которые всегда присутствовали на этих занятиях и не упускали случая, чтобы не преподать матери урок этой пресловутой твердости – проклятья нашей жизни. Мне кажется, именно для этого меня и оставили дома. Я был понятлив и учился с охотой, когда мы жили с матерью вдвоем. Теперь мне смутно вспоминается, как я учился у нее на коленях азбуке. Когда я гляжу на жирные черные буквы букваря, их очертания кажутся мне и теперь такими же загадочно-незнакомыми, а округлые линии О, С, З такими же благодушными, как тогда. Они не вызывают у меня ни вражды, ни отвращения. Наоборот, мне кажется, я иду по тропинке, усеянной цветами, к моей книге о крокодилах, и всю дорогу меня подбадривают ласки матери и ее мягкий голос. Но эти торжественные уроки, последовавшие за теми, прежними, я вспоминаю как смертельный удар, нанесенный моему покою, как горестную, тяжкую работу, как напасть. Они тянулись долго, их было много, и были они трудны, – а некоторые и вовсе не понятны, – и наводили на меня страх, такой же страх, какой, думается мне, наводили они и на мою мать.

Мне хочется припомнить, как все это происходило, и описать одно такое утро.

После завтрака я вхожу в маленькую гостиную с книгами, тетрадью и грифельной доской. Моя мать уже ждет меня за своим письменным столом, но совсем не так охотно, как мистер Мэрдстон в кресле у окна (хотя он делает вид, будто читает), или мисс Мэрдстон, которая восседает возле матери, нанизывая стальные бусы. Одно только присутствие их обоих оказывает на меня такое действие, что я чувствую, как уплывают неведомо куда все слова, которые я с превеликим трудом втиснул себе в голову. Кстати говоря, мне хочется узнать, куда же они деваются.

Я протягиваю матери первую книгу. Это грамматика, а быть может, история или география. Прежде чем оставить книгу в ее руках, я кидаю на страницу последний взгляд утопающего и сразу, галопом, начинаю отвечать урок, пока страница еще свежа в памяти. Но вот я спотыкаюсь. Мистер Мэрдстон поднимает глаза. Я спотыкаюсь вторично. Поднимает глаза мисс Мэрдстон. Я краснею, перескакиваю через полдюжину слов и останавливаюсь. Я думаю, что мать показала бы мне книгу, если бы посмела, но она не смеет и только произносит тихо:

– О! Дэви, Дэви!..

– Клара, будьте тверды с мальчиком! – вмешивается мистер Мэрдстон. – Не говорите: «О! Дэви, Дэви!» Это ребячество. Он либо знает урок, либо не знает.

– Он его не знает, – грозно говорит мисс Мэрдстон.

– Боюсь, что так, – соглашается моя мать.

– В таком случае, Клара, верните ему книгу, и пусть он выучит! – продолжает мисс Мэрдстон.

– Да, да, конечно, дорогая Джейн, я так и хотела сделать… Дэви, начни сначала и не будь таким тупицей, – говорит моя мать.

Я подчиняюсь первому приказу и начинаю сначала, но что касается второго, то тут меня постигает неудача, ибо я ужасный тупица. Я спотыкаюсь еще раньше, чем в первый раз, спотыкаюсь на том самом месте, которое только что благополучно миновал, и замолкаю, чтобы подумать. Но думаю я не об уроке. Я думаю о том, сколько ярдов тюля пошло на чепец мисс Мэрдстон, сколько стоит халат мистера Мэрдстона или о других подобных же нелепых вещах, к которым я не имею никакого отношения и не желаю иметь. Мистер Мэрдстон делает

нетерпеливый жест, которого я давно ждал. Так же поступает и мисс Мэрдстон. Моя мать смотрит на них покорно, закрывает книгу и кладет ее возле себя, словно это недоимка, по которой мне придется рассчитаться, когда я покончу с другими уроками.

Количество этих недоимок растет, как снежный ком. Чем больше их становится, тем тупей становлюсь я. Дело безнадежное, я чувствую, что барахтаюсь в трясине чепухи и решительно не могу выкарабкаться, а потому покоряюсь судьбе. Есть нечто глубоко печальное в тех, полных отчаяния, взглядах, какими мы обмениваемся с матерью, когда я делаю все новые и новые ошибки. Но самый страшный момент этих злосчастных уроков наступает тогда, когда мать (полагая, будто ее не слышат) пытается, едва шевеля губами, подсказать мне. В это мгновение мисс Мэрдстон, давно уже подстерегавшая нас, произносит внушительно:

– Клара!

Мать вздрагивает, краснеет и слабо улыбается. Мистер Мэрдстон встает с кресла, хватает книгу и швыряет в меня или дает мне ею подзатыльник, а затем берет за плечи и выталкивает из комнаты.

Даже в том случае, если урок проходит благополучно, меня ждет самое худшее испытание в образе устрашающей арифметической задачи. Она придумана для меня и продиктована мне мистером Мэрдстоном: «Если я зайду в сырную лавку и куплю пять тысяч глостерских сыров по четыре с половиной пенса каждый и заплачу за них наличными деньгами…»

Тут я замечаю, как мисс Мэрдстон втайне ликует. Над этими сырами я ломаю себе голову без всякого толка и превращаюсь, наконец, в мулата, забив все поры лица грязью с моей грифельной доски; так продолжается до самого обеда, когда мне дают кусок хлеба, чтобы помочь мне справиться с моими сырами, и весь вечер я пребываю в немилости.

Теперь, по прошествии многих лет, мне кажется, будто все эти несчастные уроки обычно кончались именно так. Я готовил бы их превосходно, не будь Мэрдстонов. Но Мэрдстоны зачаровывали меня взглядом, словно две змеи – жалкую птичку. Даже тогда, когда утреннее испытание проходило благополучно, я достигал этим только того, что не оставался без обеда. Мисс Мэрдстон не могла видеть меня свободным от занятий, и как только это случалось, она обращала на меня внимание своего братца говорила:

– Клара, дорогая, нет ничего лучше работы, задайте вашему сыну какие-нибудь упражнения.

И меня снова засаживали за книгу.

Игр со сверстниками я почти не знал, так как мрачная теология Мэрдстонов превращала всех детей в маленьких ехидн (хотя был в далекие времена некий ребенок, которого окружали ученики!)[10] и внушала, что они портят друг друга.

От такого обращения я через полгода, естественно, стал печален, мрачен и угрюм. Этому способствовало также и то, что я чувствовал, как меня ежедневно отстраняют, оттесняют от матери. «И, мне кажется, я, и в самом деле, превратился бы в тупицу, если бы одно обстоятельство этому не помешало.

После моего отца осталось небольшое собрание книг, находившихся в комнате наверху, куда я имел доступ (она примыкала к моей комнате); никто из домашних никогда о них не вспоминал. Из этой драгоценной для меня комнатки вышли Родрик Рэндом, Перигрин Пикль, Хамфри Клинкер, Том Джонс, векфильдский священник,[11] Дон-Кихот, Жиль Блаз и Робинзон Крузо – славное воинство, составившее мне компанию. Они не давали потускнеть моей фантазии и моим надеждам на совсем иную жизнь в будущем, где-то в другом месте. Эти книги, так же как и «Тысяча и одна ночь» и «Сказки джинов», не принесли мне вреда; если некоторые из них и могли причинить какое-то зло, то, во всяком случае, не мне, ибо я его просто не понимал. Теперь я удивляюсь, как ухитрялся я находить время для чтения, несмотря на то, что корпел над своими тягостными уроками. Мне кажется странным, как мог я утешаться в своих маленьких горестях (для меня они были большими), воплощаясь в своих любимых героев, а

мистера и мисс Мэрдстон превращая во всех злодеев. Я был Томом Джонсом в течение недели (Томом Джонсом в представлении ребенка – самым незлобивым существом) и целый месяц крепко верил в то, что я Родрик Рэндом. Я жадно проглотил стоявшие на полках несколько книг о путешествиях – я забыл, какие это были книги; припоминаю, как в течение нескольких дней я ходил по дому, вооруженный бруском из старой стойки для сапожных колодок, – превосходное подобие капитана королевского британского флота, который окружен дикарями и решил дорого продать свою жизнь. Но капитан никогда не терял своего достоинства, получая подзатыльники латинской грамматикой. Что до меня, то я его терял. Тем не менее капитан оставался капитаном и героем, невзирая на все грамматики всех языков в мире – живых и мертвых.

Эти книги были единственным и неизменным моим утешением. Когда я думаю об этом, передо мной всегда возникает картина летнего вечера, на кладбище играют мальчики, а я сижу у себя на постели и читаю с таким рвением, словно от этого зависит все мое будущее. Каждый амбар по соседству, каждый камень церкви и каждый уголок кладбища были связаны у меня с этими книгами и вызывали в памяти отдельные прославленные сцены. Я видел, как Том Пайпс взбирается на колокольню, я наблюдал, как Стрэп со своим мешком за плечами присаживается на изгородь отдохнуть, и я знаю, что коммодор Траньон встречается с мистером Пиклем в зальце нашего деревенского трактирчика.

Теперь читатель столь же хорошо, как и я, представляет себе, кем я был в ту пору моего детства, к которой я снова возвращаюсь.

Однажды утром, когда я со своими книгами вошел в гостиную, моя мать была чем-то обеспокоена, мисс Мэрдстон казалась особенно твердой, а мистер Мэрдстон что-то привязывал к концу своей трости, – тонкой, гибкой тросточки; когда я вошел, он замахнулся и рассек ею воздух.

– Говорю же вам, Клара, меня самого нередко секли, – произнес мистер Мэрдстон.

– Совершенно верно, – подтвердила мисс Мэрдстон.

– Вполне… возможно, дорогая Джейн, – робко пролепетала моя мать. – Но… вы думаете, это принесло пользу Эдуарду?

– А вы, Клара, думаете, что это принесло Эдуарду вред? – хмуро спросил мистер Мэрдстон.

– Вот-вот, в том-то и дело! – сказала мисс Мэрдстон. Моя мать промолвила только: «Вы правы, дорогая Джейн», – и умолкла.

Я почувствовал, что этот разговор имеет прямое касательство ко мне, и поймал взгляд мистера Мэрдвтона, устремленный на меня.

– Дэвид, сегодня ты должен быть более внимателен, чем всегда, – сказал мистер Мэрдстон, снова метнув в меня взгляд и снова рассекая тросточкой воздух; затем, закончив свои приготовления, положил ее около себя с многозначительным видом и взялся за книжку.

Это было недурное начало и недурное средство подбодрить меня. Я почувствовал, как мой урок улетучивается из головы – не одно слово за другим и не строчка за строчкой, а вся страница сразу, целиком. Я попытался поймать слова, но, казалось, если можно так выразиться, они скользили прочь от меня на коньках, плавно и быстро, и задержать их было невозможно.

Плохое было начало, а дальше пошло еще хуже. Я явился с намерением отличиться, уверенный в том, что сегодня выучил урок превосходно, но, увы, я заблуждался. Груда отложенных в сторону учебников все росла, возвещая о моих ошибках, а мисс Мэрдстон не сводила с нас глаз. И когда в конце концов мы пришли к пяти тысячам сыров (помню, в тот день он заменил их палками), моя мать залилась слезами.

– Клара! – предостерегла мисс Мэрдстон.

– Мне что-то нездоровится, дорогая Джейн, – отозвалась моя мать.

Я увидел, как он важно подмигнул сестре, встал и, взяв трость, сказал:

– Едва ли, Джейн, можно ожидать, что Клара с достойной твердостью вынесет терзания и мучения, которые причинил ей сегодня Дэвид. Это было бы стоицизмом. Клара весьма укрепилась и сделала успехи, но едва ли можно ждать от нее так много. Мы пойдем с тобой наверх, Дэвид.

Когда он уводил меня из комнаты, мать рванулась к нам. Мисс Мэрдстон сказала:

– Клара, вы с ума сошли! – и удержала ее. Мать заткнула уши и заплакала.

Он вел меня наверх в мою комнату медленно и важно – я уверен, ему доставлял удовольствие этот торжественный марш правосудия, – и, когда мы там очутились, внезапно зажал под мышкой мою голову.

– Мистер Мэрдстон! Сэр! – закричал я. – Не надо! Пожалуйста, не бейте меня! Я так старался, сэр! Но я не могу отвечать уроки при вас и мисс Мэрдстон! Не могу!

– Не можешь, Дэвид? Ну, мы попробуем вот это средство.

Он зажимал рукой мою голову, словно в тисках, но я обхватил его обеими руками и помешал ему нанести удар, умоляя его не бить меня. Помешал я только на мгновение, через секунду он больно ударил меня, и в тот же момент я вцепился зубами в руку, которой он держал меня, и прокусил ее. До сих пор меня всего передергивает, когда я вспоминаю об этом.

Он сек меня так, будто хотел засечь до смерти. Несмотря на шум, который мы подняли, я услышал, как кто-то быстро взбежал по лестнице – то были моя мать и Пегготи, и я слышал, как мать закричала. Затем он ушел и запер дверь на ключ. А я лежал на полу, дрожа как в лихорадке, истерзанный, избитый и беспомощный в своем исступлении.

Как ясно помню я, какая странная тишина царила во всем доме, когда постепенно я пришел в себя! Как ясно вспоминаю, каким преступником почувствовал я себя, когда ярость и боль чуть-чуть утихли!

Я сел и долго прислушивался, но не было слышно ни звука. С трудом я поднялся с пола и увидел в зеркале свое лицо, такое красное, опухшее и безобразное, что я ужаснулся. Боль во всем теле, когда я двигался, была мучительна, и я заплакал снова. Но эта боль была ничто по сравнению с сознанием моей вины. Оно тяготило мое сердце больше, чем если бы я был самым страшным преступником.

Начинало темнеть, я закрыл окно (почти все время я лежал, припав головой к подоконнику, то плача, то задремывая или тупо глядя в окно), как вдруг в двери щелкнул ключ и появилась мисс Мэрдстон с хлебом, молоком и мясом. Молча поставив все это на стол и взглянув на меня с примерной твердостью, она ретировалась, и снова в двери щелкнул ключ.

Долго я сидел после того, как спустились сумерки, и гадал, придет ли кто-нибудь еще. Когда ждать было уже нечего, я разделся и лег в постель; и тут я со страхом подумал о том, что сделают со мной. Является ли преступлением совершенный мной поступок? Арестуют ли меня, и заключат ли в тюрьму? Не угрожает ли мне опасность попасть на виселицу?

Никогда не забуду своего пробуждения на следующее утро, бодрого и радостного расположения духа, уже в следующий момент изменившегося под гнетом горестных, тяжелых воспоминаний. Не успел я встать, как появилась мисс Мэрдстон, коротко сказала, что я могу полчаса, но не дольше, походить по саду, и удалилась, не заперев двери, чтобы я мог воспользоваться этим разрешением.

Я так и сделал и поступал так каждое утро в течение пяти дней, пока пребывал, в заключении. Если бы я увидел мою мать одну, я бросился бы перед ней на колени, умоляя простить меня, но в течение всего этого времени я не видел никого, кроме мисс Мэрдстон; правда, мисс Мэрдстон приводила меня на вечернюю молитву в гостиную, когда все были уже в сборе, но там я стоял одиноко, как юный изгой, у двери, и мой тюремщик торжественно

уводил меня, покуда никто еще не поднимался с колен. Я замечал только, что моя мать стоит, как можно дальше от меня, и смотрит в другую сторону, так что лица ее я не мог видеть, а у мистера Мэрдстона рука обвязана широким полотняным платком.

Как долго длились эти пять дней, я не могу передать. В моих воспоминаниях они мне кажутся годами. Вот я прислушиваюсь ко всему, что происходит в доме, ко всему, что доносится до меня: позвякивают колокольчики, открываются и закрываются двери, слышатся голоса, шаги на лестнице, смех, посвистывание и пение за окном (они кажутся мне особенно невыносимыми в моем позорном заточении), неуловимое скольжение часов, особенно в темноте, когда, просыпаясь, я принимал вечер за утро, а потом убеждался, что домашние еще не ложились спать и меня еще ждет длинная-длинная ночь, печальные сновидения и кошмары… Снова утро, полдень и вечер, мальчики играют на церковном дворе, а я слежу за ними из комнаты, стараясь не подходить близко к окну, чтобы они не узнали о моем заточении… Непривычное сознание, что я не слышу собственного голоса… Короткие промежутки, когда я почти бодр, – ощущение это приходит за едой, но вот с ней покончено и снова нет бодрости… Дождь, однажды вечером, дождь, несущий свежие ароматы; от льет все сильней и сильней, между моим окном и церковью, и, наконец, вместе с наступающей ночью, словно обволакивает меня унынием, страхом и раскаянием, – все это, кажется мне, длилось не дни, а годы, так глубоко врезалось оно мне в память.

В последнюю ночь моего заключения меня разбудил шепот – кто-то окликал меня по имени. Я вскочил с постели и, протягивая в темноте руки, сказал:

– Пегготи, это ты?

Ответа не было, но скоро я снова услышал свое имя, произнесенное таким таинственным и страшным шепотом, что со мной сделался бы припадок, если бы у меня не мелькнула догадка – не доносится ли шепот из замочной скважины.

Я пошел ощупью к двери и, приникнув к замочной скважине, прошептал:

– Пегготи, милая, это ты?

– Я, мой дорогой Дэви! Но тише, тише, будьте как мышка, а то кошка услышит! – ответила она.

Она имела в виду мисс Мэрдстон, и я понял, сколь основательны ее опасения: комната мисс Мэрдстон была смежная с моей.

– Что с мамой, милая Пегготи? Она очень на меня сердится?

Мне было слышно, как Пегготи беззвучно заплакала по ту сторону двери, а я плакал по эту сторону, пока не услышал:

– Нет, не очень.

– Милая Пегготи, что со мной сделают? Ты не знаешь?

– Школа. Недалеко от Лондона, – был ответ Пегготи.

Я попросил ее повторить, так как позабыл приложить ухо и отнять губы от замочной скважины, и в первый раз она говорила прямо мне в рот, и потому слова щекотали мне губы, но я не расслышал их.

– Когда, Пегготи?

– Так вот почему мисс Мэрдстон достала мой костюм из комода! – Она именно так и сделала, но я забыл упомянуть об этом.

– Да, – сказала Пегготи, – уложила в сундучок.

– Я увижусь с мамой?

– Да. Завтра. – Затем Пегготи вплотную прижала губы к замочной скважине и с горячностью, с нежностью, к которой замочные скважины, смею думать, не были привычны,

произнесла следующие фразы, разбив их на части, которые судорожно проскакивали одна за другой:

– Дэви, дорогой! Если я не была ласкова с вами… как бывало раньше… это не потому, что я вас не люблю… так же, и даже больше, мой маленький… это потому, что так лучше для вас… и еще кое для кого… Дэви, дорогой, вы меня слушаете? Вы слышите?..

– Да-а-а, Пегготи! – всхлипывал я.

– Сокровище мое! – продолжала Пегготи с бесконечной жалостью. – Вот что я хотела сказать… никогда не забывайте меня… Я вас никогда не забуду… и я буду очень заботиться о вашей маме… как заботилась о вас… и я не покину ее… может, наступит день, когда ей снова захочется приклонить свою бедную головку… к плечу глупой Пегготи… и я буду писать вам, дорогой… хоть я и не ученая… и я… и я…

И Пегготи, не имея возможности поцеловать меня, принялась целовать замочную скважину.

– О, спасибо, дорогая Пегготи! Спасибо, спасибо! Ты обещаешь мне одну вещь? Ты напишешь мистеру Пегготи, и малютке Эмли, и миссис Гаммидж, и Хэму, что я совсем не такой плохой, как им может показаться? И что я посылаю им самый нежный привет, в особенности малютке Эмли – Ты напишешь, Пегготи?

Добрая душа обещала мне это, мы оба горячо поцеловали замочную скважину – помню, я погладил ее рукой, словно это было милое лицо Пегготи, – и мы расстались. С той ночи в моей душе зародилось новое чувство к Пегготи, которое мне трудно определить. Нет, она не заменила мне мать, этого никто не смог бы сделать, но она заполнила пустоту в моем сердце, и во мне возникло такое чувство к ней, которого я не испытывал ни к одному человеческому существу. Было что-то забавное в этой привязанности к ней, и, однако, умри Пегготи – я не знаю, как бы я вел себя и какой трагедией это бы для меня было.

Поутру мисс Мэрдстон появилась, как обычно, и сказала, что я отправляюсь в школу (что уже не было для меня новостью, как она полагала). Она сообщила также, что, одевшись, я должен спуститься в гостиную и позавтракать. Там я застал мою мать, очень бледную, с покрасневшими глазами; я упал в ее объятия и от всего исстрадавшегося моего сердца умолял простить меня.

– О Дэви! – сказала она. – Как ты мог причинить боль тому, кого я люблю! Старайся исправиться, молись, чтобы исправиться! Я тебя прощаю, но мне так горько, Дэви, что у тебя в сердце таятся такие недобрые чувства.

Они убедили ее в том, что я никуда не годный мальчишка, и это ее печалило больше, чем мой отъезд. Я с горечью это почувствовал. Я старался проглотить свой прощальный завтрак, но слезы капали на бутерброд и струились в чашку с чаем. Я видел, как моя мать время от времени посматривает на меня, затем, бросив взгляд на бдительную мисс Мэрдстон, опускает глаза или отворачивается.

– Сундучок мистера Копперфилда! – распорядилась мисс Мэрдстон, когда у калитки послышался стук колес.

Я искал взглядом Пегготи, но это была не она; ни Пегготи, ни мистер Мэрдстон не появлялись. В дверях стоял возчик, мой старый знакомый; принесли сундучок и поставили в повозку.

– Клара! – произнесла мисс Мэрдстон предостерегающим тоном.

– Сейчас, милая Джейн! – ответила мать. – До свиданья, Дэви. Ты уезжаешь, но это для твоей же пользы. До свиданья, дитя мое. Ты будешь приезжать домой на каникулы. Постарайся исправиться.

– Клара! – повторила мисс Мэрдстон.

– Да, да, милая Джейн! – отозвалась мать, обнимая меня. – Я прощаю тебя, мой мальчик. Да благословит тебя бог!

– Клара! – снова повторила мисс Мэрдстон.

Мисс Мэрдстон любезно вызвалась проводить меня до повозки и по дороге выразила надежду, что я раскаюсь и избегну плохого конца; затем я взобрался в повозку, и лошадь лениво тронулась в путь.

Глава V

Меня отсылают из родного дома

Мы проехали, быть может, около полумили, и мой носовой платок промок насквозь, когда возчик вдруг остановил лошадь.

Выглянув, чтобы узнать причину остановки, я, к изумлению своему, увидел Пегготи, которая выбежала из-за живой изгороди и уже карабкалась в повозку. Она обхватила меня обеими руками и с такой силой прижала к своему корсету, что очень больно придавила мне нос, хотя я заметил это гораздо позднее, обнаружив, каким он стал чувствительным. Ни единого слова не сказала Пегготи. Освободив одну руку, она погрузила ее по локоть в карман и извлекла оттуда несколько бумажных мешочков с пирожными, которые рассовала по моим карманам, а также и кошелек, который сунула мне в руку, но ни единого слова не сказала она. Еще раз, в последний раз обхватив меня обеими руками, она вылезла из повозки и побежала прочь; и я убежден теперь, и всегда придерживался такого мнения, что у нее не осталось ни одной пуговицы на платье. Одну из тех, что отлетели, я подобрал и долго хранил как память о ней.

Возчик посмотрел на меня, словно спрашивая, вернется ли она. Я покачал головой и сказал, что вряд ли.

– Ну, так пошла! – обратился возчик к своей ленивой лошади, и та пошла.

Выплакав все свои слезы, я стал подумывать, стоит ли плакать еще, тем более что, насколько я мог припомнить, ни Родрик Рэндом, ни капитан королевского британского флота, попав в тяжелое положение, никогда не плакали. Возчик, видя, что я утвердился в этом решении, предложил расстелить мой носовой платочек на спине лошади, чтобы он просох. Я поблагодарил и согласился, и каким маленьким показался он тогда!

Теперь я мог на досуге рассмотреть кошелек. Это был кошелек из толстой кожи, с застежкой, а в нем лежали три блестящих шиллинга, которые Пегготи, очевидно, начистила мелом для вящего моего удовольствия. Но в этом кошельке была еще большая драгоценность: две полукроны, завернутые в бумажку, на которой было написано рукою моей матери: «Для Дэви. С любовью». Я пришел в такое волнение, что спросил возчика, не будет ли он так любезен и не достанет ли мой носовой платок, но он сказал, что лучше мне обойтись без него, и я решил, что, пожалуй, это так; поэтому я вытер глаза рукавом и перестал плакать.

Да, перестал; впрочем, после недавних потрясений, я все еще изредка громко всхлипывал. Мы протрусили рысцой еще некоторое время, и я спросил возчика, будет ли он везти меня всю дорогу.

– Всю дорогу куда? – осведомился возчик.

– Туда! – сказал я.

– Куда туда? – спросил возчик.

– Туда, недалеко от Лондона, – объяснил я.

– Да ведь эта лошадь, – тут возчик дернул вожжой, чтобы указать мне, какая именно, – эта лошадь свалится, как околевшая свинья, раньше чем мы проедем полпути.

– Значит, вы едете только до Ярмута? – спросил я.

– Правильно, – сказал возчик. – А там я вас доставлю к почтовой карете, а почтовая карета доставит вас туда… куда понадобится…

Так как для возчика (звали его мистер Баркис) это была длинная речь – я уже заметил в одной из предшествующих глав, что он был темперамента флегматического и отнюдь не словоохотлив, – я предложил ему, в знак внимания, пирожное, которое он проглотил целиком, точь-в-точь как слон, и его широкая физиономия осталась такой же невозмутимой, какою была бы в подобных обстоятельствах физиономия слона.

– Это она их делала? – спросил мистер Баркис, ссутулившийся на передке повозки и упершийся локтями в колени.

– Вы говорите о Пегготи, сэр?

– Вот-вот. О ней, – сказал мистер Баркис.

– Да, она делает всякие пирожные и все для нас готовит.

– Да ну? – вымолвил мистер Баркис.

Он выпятил губы так, будто собирался свистнуть, однако не свистнул. Он сидел и смотрел на уши лошади, словно увидел там что-то до сей поры невиданное; так сидел он довольно долго. Затем он спросил:

– А любимчиков нет?

– Вы говорите о блинчиках, мистер Баркис? – Я решил, что он не прочь закусить и явно намекает на это лакомство.

– Любимчиков, – повторил мистер Баркис. – Она ни с кем не гуляет?

– Кто? Пегготи?

– Да. Она.

– О нет! У нее никогда не было никаких любимчиков.

– Вот оно как! – сказал мистер Баркис.

Снова он выпятил губы так, как будто собирался свистнуть и снова не свистнул, но по-прежнему смотрел на уши лошади.

– Так, значит, она, – сказал мистер Баркис после долгого раздумья, – так, значит, она делает все эти яблочные пироги и стряпает все что полагается?

Я отвечал, что так оно и есть.

– Ну, так вот что я вам скажу, – начал мистер Баркис. – Может, вы будете ей писать?

– Я непременно ей напишу, – ответил я.

– Так. Ну, так вот, – сказал он, медленно переводя взгляд на меня. – Если вы будете ей писать, может не забудете сказать, что Баркис очень не прочь, а?

– Что Баркис очень не прочь, – наивно повторил я. – И это все, что я должен передать?

– Да-а… – раздумчиво сказал он. – Да-а-а… Баркис очень не прочь.

– Но вы завтра же вернетесь в Бландерстон, мистер Баркис, – сказал я и запнулся, вспомнив о том, что я тогда буду уже очень далеко, – и сами сможете передать это гораздо лучше, чем я.

Однако он, мотнув головой, отверг это предложение и снова повторил свою прежнюю просьбу, с величайшей серьезностью сказав:

– Баркис очень не прочь. Вот какое поручение.

Я охотно взялся его выполнить. В тот же день, дожидаясь кареты в ярмутскои гостинице, я раздобыл лист бумаги и чернильницу и написал такую записку Пегготи: «Дорогая моя Пегготи. Я приехал сюда благополучно. Баркис очень не прочь. Передай маме мой горячий привет. Твой любящий Дэви. P. S. Он говорит, что непременно хочет, чтобы ты знала: Баркис очень не прочь».

Когда я взял это дело на себя, мистер Баркис снова погрузился в глубокое молчание, а я, совершенно измученный всеми недавними событиями, улегся на мешке в повозке и заснул. Я спал крепко, пока мы не прибыли в Ярмут, который показался мне таким незнакомым и чужим, когда мы въехали во двор гостиницы, что я сразу распрощался с тайной надеждой встретить кого-нибудь из членов семейства мистера Пегготи, – может быть, даже малютку Эмли.

Карета, вся сверкающая, стояла во дворе, но лошадей еще не впрягали, и благодаря такому ее виду казалось совершенно невероятным, чтобы она когда-нибудь отправилась в Лондон. Я размышлял об этом и недоумевал, что станется в конце концов с моим сундучком, который мистер Баркис поставил на мощеном дворе возле шеста (он въехал во двор, чтобы повернуть свою повозку), и что станется в конце концов со мной, когда из окна, в котором висели битая птица и части мясной туши, выглянула какая-то леди и спросила:

– Это и есть юный джентльмен из Бландерстона?

– Да, сударыня, – ответил я.

– Как фамилия? – осведомилась леди.

– Копперфилд, сударыня, – сказал я.

– Это не то, – возразила леди. – Ни для кого с такой фамилией не заказывали здесь обеда.

– Может быть, Мэрдстон, сударыня? – сказал я.

– Если вы мистер Мэрдстон, то почему же вы называете сначала другую фамилию? – спросила леди.

Я объяснил этой леди положение дел, после чего она позвонила в колокольчик и крикнула:

– Уильям, покажи ему, где столовая!

Из кухни в другом конце двора выбежал лакей и, по-видимому, очень удивился, что показать столовую он должен всего-навсего мне.

Это была большая, длинная комната с большими географическими картами на стене. Вряд ли я почувствовал бы себя более бесприютным, если бы эти карты были настоящими чужеземными странами, а меня забросило судьбою в одну из них. Мне казалось непростительной вольностью сидеть с шапкой в руках на краешке стула у двери, а когда лакей накрыл стол скатертью специально для меня и поставил судки, я, должно быть, весь покраснел от смущения.

Он принес мне отбивных котлет и овощей и так порывисто снял крышки с блюд, что я испугался, не обидел ли я его. Но опасения мои рассеялись, когда он придвинул мне стул к столу и очень приветливо сказал:

– Ну-с, великан, пожалуйте!

Я поблагодарил его и занял место за столом, но убедился, что чрезвычайно трудно управляться ножом и вилкой и не обливаться соусом, когда он стоит тут же, против меня, смотрит в упор и заставляет меня заливаться жгучим румянцем всякий раз, как я встречаюсь с ним глазами. Когда я приступил ко второй котлете, он сказал:

– Для вас заказано полпинты эля. Не желаете ли выпить его сейчас?

Я поблагодарил его и сказал:

– Да.

Он налил мне эля из кувшина в большой стакан и поднял его, держа против света, чтобы я мог полюбоваться.

– Ей-ей, многовато как будто, – сказал он.

– В самом деле многовато, – согласился я, улыбаясь: я был в восторге от того, что он оказался таким любезным. Он был прыщеват, глаза у него блестели, волосы на голове стояли

торчком, и вид он имел очень дружелюбный, когда, подбоченившись одной рукой, держал в другой руке против света стакан.

– Был здесь вчера один джентльмен, – сказал он, – дородный джентльмен по фамилии Топсойер – может быть, вы его знаете?

– Нет, не думаю… – сказал я.

– В коротких штанах и гамашах, широкополой шляпе, сером сюртуке, на шее платок с крапинками, – объяснил лакей.

– Нет, я не имею удовольствия… – смущенно вымолвил я.

– Он явился сюда, – продолжал лакей, глядя на свет сквозь стакан, – заказал стакан этого эля – требовал во что бы то ни стало, как я его ни отговаривал! – выпил и… упал мертвый. Эль оказался слишком старым для него. Не следовало и нацеживать, что правда то правда.

Я был поражен, услыхав о таком печальном событии, и заявил, что, пожалуй, лучше выпью воды.

– Видите ли, – сказал лакей, который, закрыв один глаз, по-прежнему смотрел на свет сквозь стакан, – у нас здесь не любят, когда что-нибудь заказано зря. Хозяйка и повар обижаются. Но, если хотите, я выпью этот эль. Я-то к нему привык, а привычка – это все. Не думаю, чтобы он мне повредил, если я запрокину голову и выпью залпом. Не возражаете?

Я отвечал, что он окажет мне большую услугу, выпив эль, но только в том случае, если, по его мнению, это для него безопасно. Признаюсь, когда он запрокинул голову и залпом выпил стакан, я ужасно боялся, что его постигнет судьба злополучного мистера Топсойера и он бездыханный упадет на ковер. Но эль ему не повредил. Наоборот, мне показалось, что он даже повеселел и приободрился.

– Что у нас тут такое? – осведомился он, тыча вилкой в блюдо. – Не котлеты ли?

– Котлеты, – подтвердил я.

– Помилуй бог! – воскликнул он. – А я и не знал, что это котлеты! Да ведь котлета как раз и нужна, чтобы это пиво не имело дурных последствий! Вот удача!

Одной рукой он взял за косточку котлету, а другой картофелину и уплел их с большим аппетитом, к величайшему моему удовольствию. После этого он взял еще одну котлету и еще одну картофелину, а потом еще котлету и еще картофелину. Покончив с ними, он принес пудинг и, поставив его передо мной, как будто призадумался и несколько минут предавался размышлениям.

– Ну, как пирог? – спросил он, очнувшись.

– Это пудинг, – возразил я.

– Пудинг! – воскликнул он. – Ах, боже мой, и в самом деле. Как? – Он придвинулся ближе. – Неужели вы хотите сказать, что это слоеный пудинг?

– Да, совершенно верно.

– Слоеный пудинг! – повторил он, беря столовую ложку. – Да ведь это мой любимый пудинг! Вот удача! А ну-ка, малыш, посмотрим, кому больше достанется.

Ему, несомненно, досталось больше. Несколько раз он умолял меня приналечь и выйти победителем, но так велика была разница между его столовой ложкой и моей чайной, его быстротой и моей, его аппетитом и моим, что я после первого же глотка остался далеко позади и не имел никаких шансов догнать его. Мне кажется, я не видывал человека, который так наслаждался бы пудингом; а когда с пудингом было покончено, он все еще посмеивался, словно продолжал наслаждаться.

Вот тогда-то, убедившись в его дружелюбии и общительности, я и попросил у него перо, чернила и лист бумаги, чтобы написать Пегготи. Он не только принес все это немедленно, но

и был так внимателен, что смотрел через мое плечо, пока я писал. Когда я закончил письмо, он спросил меня, в какую школу я еду.

Я отвечал: «Недалеко от Лондона» – это было все, что я знал.

– Ах, боже мой! – воскликнул он, впадая в уныние. – Вот жалость-то!

– Почему? – спросил я его.

– О господи! – сказал он, покачивая головой. – Это та самая школа, где мальчику сломали ребра… два ребра… Маленькому мальчику. Я думаю, ему было… позвольте-ка, вам примерно сколько лет?

Я отвечал, что мне пошел девятый год.

– Как раз ровесник ему, – сказал он. – Ему было восемь лет и восемь месяцев, когда сломали второе и покончили с ним.

Я не мог скрыть ни от самого себя, ни от лакея, что это весьма неприятное совпадение, и осведомился, как это случилось. Его ответ не улучшил моего расположения духа, ибо состоял из двух мрачных слов: «Его секли».

Звук рожка во дворе раздался как раз вовремя, чтобы отвлечь меня от моих мыслей, я встал и с чувством гордости и смущения от того, что у меня есть кошелек (который я достал из кармана), нерешительно осведомился, нужно ли за что-нибудь платить.

– За лист почтовой бумаги, – ответил лакей. – Вы покупали когда-нибудь лист почтовой бумаги?

Я не мог припомнить такого случая.

– Он стоит дорого из-за налогов, – пояснил лакей. – Три пенса. Вот какими налогами нас обкладывают в этой стране. Больше ничего платить не надо, разве что лакею. О чернилах нечего говорить. На этом теряю я.

– Скажите, пожалуйста, а сколько бы вы… сколько я… сколько следовало бы мне… какую сумму полагается заплатить лакею? – краснея и заикаясь, осведомился я.

– Не будь у меня семьи и не заболей эта семья ветряной оспой, – сказал лакей, – я не взял бы и шести пенсов. Если бы я не содержал престарелой мамаши и хорошенькой сестры, – тут лакей пришел в крайнее волнение, – я не взял бы и фартинга. Если бы я служил на хорошем месте и со мной обращались здесь по-хорошему, я попросил бы сам принять от меня какую-нибудь мелочь, вместо того чтобы брать чаевые. Но я питаюсь объедками и сплю на мешках с углем…

Тут лакей залился слезами.

Я был очень огорчен его невзгодами и почувствовал, что дать ему меньше, чем девять пенсов, было бы поистине жестоко и бессердечно. Поэтому я вручил ему один из моих блестящих шиллингов, который он принял очень смиренно и почтительно и немедленно вслед за этим подбросил монету большим пальцем, чтобы убедиться в ее полноценности.

Когда мне помогли взобраться на заднее сидение на крыше кареты, я пришел в некоторое замешательство, обнаружив, что меня заподозрили в том, будто я съел весь обед без всякой посторонней помощи. Узнал я об этом, услышав, как леди, высунувшись из окна, сказала кондуктору: «Последи за этим ребенком, Джордж, как бы он не лопнул!» Кроме того, я заметил, что служанки, работавшие в доме, вышли, чтобы похихикать и поглазеть на меня как на юного феномена. Мой несчастный друг, лакей, который уже совсем пришел в себя, не проявляя ни малейших признаков смущения, дивился вместе со всеми. Если бы могли возникнуть у меня какие-нибудь сомнения на его счет, они должны были возникнуть именно тогда, но я склонен думать, что благодаря простодушному доверию ребенка и присущему детям уважению к старшим (качества, которые, к сожалению, у иных детей слишком рано уступают место житейской мудрости) у меня даже в ту минуту не мелькнуло никаких серьезных подозрений.

Признаюсь, мне было совсем несладко, когда я, отнюдь того не заслуживая, стал мишенью шуток, которыми обменивались кучер и кондуктор, утверждая, что карета оседает на задние колеса, – поскольку я сижу сзади, – и что куда правильнее было бы, если бы я путешествовал в фургоне. Весть об обжорстве, в котором меня заподозрили, разнеслась среди наружных пассажиров, и они также стали подсмеиваться надо мной, осведомлялись, будут ли платить за меня в школу вдвойне или втройне, заключен ли особый договор, или же я поступаю на обычных условиях, и задавали другие подобного рода вопросы. Но вот что было хуже всего: я знал, что, когда представится случай, мне стыдно будет есть, и после весьма легкого обеда я обречен страдать от голода всю ночь, так как второпях оставил свои пирожные в гостинице. Мои опасения оправдались. Когда мы сделали остановку, чтобы поужинать, у меня не хватило храбрости принять участие в ужине, хотя я был очень не прочь это сделать, и я уселся у камина и сказал, что ничего не хочу. Это не спасло меня от новых насмешек; джентльмен с хриплым голосом и обветренным лицом, почти всю дорогу жевавший сандвичи, а в промежутках прикладывавшийся к бутылке, заявил, что я похож на пятнистого удава, который за один прием поглощает столько, чтобы потом уже долго не есть. Вслед за этими словами он сам покрылся пятнами от съеденной им вареной говядины.

Мы выехали из Ярмута в три часа дня, а в Лондон должны были прибыть часов в восемь утра. Стояла середина лета, и вечер был погожий. Когда мы проезжали через какую-нибудь деревню, я мысленно представлял себе, что делается в домах и чем занимаются жители; а когда мальчишки бежали вслед за нами и подвешивались сзади к нашей карете, я задавал себе вопрос, живы ли их отцы, и счастливо ли живется им дома. Да, мне было о чем подумать; к тому же мысли мои постоянно обращались к цели моего путешествия – и это были страшные мысли. Помню, несколько раз я принимался думать о родном доме и о Пегготи и смутно, неуверенно пытался восстановить в памяти, что я чувствовал и каким был до того дня, как укусил мистера Мэрдстона; однако я никак не мог прийти к сколько-нибудь удовлетворяющему меня заключению – мне казалось, что укусил я его в давно минувшие времена.

Ночью было не так хорошо, как вечером, потому что похолодало; меня посадили между двумя джентльменами (тем самым, у кого было обветренное лицо, и еще одним), чтобы я не свалился с крыши кареты, и они, засыпая, едва меня не задушили, так как навалились на меня с обеих сторон. По временам они так сильно меня стискивали, что я невольно вскрикивал: «Ох, прошу вас!» – а это им совсем не нравилось, потому что я их будил. Против меня сидела пожилая леди в широкой меховой ротонде, походившая в темноте скорее на стог сена, чем на леди, – так была она укутана. У нее была корзинка, и она долго не знала, что с ней делать, пока не решила подсунуть ее мне под ноги, даром, что ли, они у меня такие короткие? Я больно ударялся об эту корзинку и чувствовал себя совсем несчастным, но стоило мне пошевельнуться, как стакан, находившийся в корзине, обо что-то стукался и дребезжал (иначе и быть не могло), а леди пребольно толкала меня ногой и говорила:

– Да перестань же вертеться! Ведь у тебя-то кости молодые!

Наконец взошло солнце, и мои спутники заснули более спокойным сном. Трудно вообразить себе те мученья, какие они претерпевали всю ночь, давая о них знать самыми устрашающими вздохами и храпеньем. По мере того как солнце все выше поднималось над горизонтом, сон их становился более чутким, и постепенно, одни за другим, они стали просыпаться. Помню, меня очень удивило, что каждый притворялся, будто вовсе не спал, и с величайшим негодованием отвергал подобное обвинение. Я и по сей день не перестаю дивиться, неизменно замечая, что люди готовы признаться в любой слабости, свойственной человеческой природе, но всегда отрицают (неведомо почему), что они спали в карете.

Нет нужды пересказывать, каким изумительным местом показался мне Лондон, когда я увидел его издали, и как я воображал, будто здесь вновь и вновь повторяются все приключения всех моих любимых героев, и как я пришел к туманному заключению, что чудес и пороков здесь больше, чем во всех столицах мира. Мы приблизились к городу не сразу и в

положенный час подъехали к гостинице в Уайтчепле – к месту нашего назначения. Я забыл, называлась ли гостиница «Синий Бык» или «Синий Боров»; знаю только, что это было нечто синее, чье изображение было намалевано на задней стенке кареты.

Когда кондуктор спускался с козел, взгляд его упал на меня, и он объявил, заглянув в дверь конторы:

– Кто-нибудь пришел за мальчиком, который значится как Мэрдстон из Бландерстона в Суффолке? Мальчик должен ждать здесь, пока его не затребуют.

Никто не отвечал.

– Будьте добры, сэр, попробуйте назвать Копперфилда, – сказал я, беспомощно посматривая вниз.

– Кто-нибудь пришел за мальчиком, который значится как Мэрдстон из Бландерстона в Суффолке, но откликается на фамилию Копперфилд? Мальчик должен ждать здесь, пока его не затребуют, – повторил кондуктор. – Чего молчите? Пришел кто-нибудь за ним или нет?

Нет. Никто не пришел. Я с тревогой озирался, но вопрос кондуктора не произвел ни малейшего впечатления на присутствующих, если не считать одноглазого человека в гетрах, который посоветовал надеть мне медный ошейник и поставить меня в конюшню.

Принесли лестницу, и я спустился вниз вслед за леди, походившей на стог сена: пока не убрали ее корзинку, я не осмеливался двинуться с места. Пассажиры вышли из кареты, багаж был очень скоро убран, лошадей выпрягли, и конюхи уже откатили карету в сторонку. Но все еще никто не появлялся, чтобы затребовать покрытого пылью мальчика из Бландерстона в Суффолке.

Более одинокий, чем Робинзон Крузо – на того хотя бы никто не смотрел и никто не видел, что он одинок, – я отправился в контору, прошел, по приглашению дежурного клерка, за прилавок и присел на весы, на которых взвешивали багаж. Тут, пока я сидел и смотрел на свертки, тюки и конторские книги и вдыхал запах конюшни (с той поры навеки связанный с этим утром), меня начали осаждать самые мрачные мысли, сменяя, одна другую. Если допустить, что никто так и не зайдет за мной, долго ли согласятся держать меня здесь? Может быть, до тех пор, пока я не истрачу свои семь шиллингов? Придется ли мне ночевать в одном из этих деревянных ящиков, вместе с другим багажом, а утром умываться во дворе под насосом? Или меня будут выгонять на ночь, чтобы по утрам, когда открывается контора, я возвращался и ждал, не затребуют ли меня? А если допустить, что никакой ошибки не случилось и мистер Мэрдстон придумал этот план с целью избавиться от меня, что мне тогда делать? Если мне и разрешат оставаться здесь, пока я не истрачу моих семи шиллингов, то ведь у меня нет надежды остаться, когда я начну голодать! Ну да, ведь это будет неудобно и неприятно для посетителей и вдобавок введет в расходы по похоронам этого «Синего Быка» или как его там зовут! Если же я немедленно уйду и постараюсь добраться до дому пешком, разве удастся мне найти дорогу, разве есть у меня надежда благополучно проделать такое большое путешествие, а если даже я и вернусь домой, разве я могу положиться на кого-нибудь, кроме Пегготи? Если бы я обратился к надлежащим властям где-нибудь по соседству и выразил бы желание пойти в солдаты или в матросы, то, по всей вероятности, меня бы не приняли – слишком я был еще мал. От этих и сотни других подобных мыслей меня бросило в жар, и голова начала кружиться от страха и тоски. Лихорадка моя была в самом разгаре, когда вошел какой-то человек и шепотом заговорил с клерком, который наклонил весы и подтолкнул меня к нему, словно я был взвешен, куплен, выдан и оплачен.

Когда я выходил из конторы, держась за руку этого нового знакомца, я украдкой посмотрел на него. Это был худощавый, бледный молодой человек со впалыми щеками и подбородком, почти таким же черным, как у мистера Мэрдстона; но на этом сходство и заканчивалось, так как щеки он брил, а волосы у него были не глянцевитые, а сухие и рыжеватые. На нем был черный костюм, также сухой и порыжевший, причем рукава и брюки

были слишком коротки, а белый шейный платок не очень чист. Я не предполагал тогда – да и теперь не предполагаю, – что, кроме этого платка, он не носил никакого белья, но только один платок и был виден.

– Вы новый ученик? – спросил он.

– Да, сэр, – сказал я.

Я полагал, что это так. Точно я не знал.

– Я один из учителей Сэлем-Хауса, – сказал он.

Я отвесил ему поклон и почувствовал благоговейный страх. Мне было так неловко сообщать ученому мужу и наставнику из Сэлем-Хауса о таких пустяках, как мой сундучок, что мы уже вышли со двора и прошли некоторое расстояние, прежде чем я собрался с духом и о нем упомянул. Когда я смиренно заикнулся о том, что впоследствии оп может мне пригодиться, мы повернули назад, и учитель сказал клерку, что возчик получил приказ заехать за ним в полдень.

– Простите, сэр, это далеко отсюда? – спросил я, когда мы снова прошли примерно тот же путь.

– Близ Блекхита,[12] – ответил он.

– А это далеко, сэр? – робко осведомился я.

– Порядочно, – сказал он. – Мы поедем в почтовой карете. Примерно шесть миль.

Я так ослабел и устал, что перспектива продержаться еще шесть миль была мне не по силам. Набравшись храбрости, я сказал, что со вчерашнего дня ничего не ел и что я буду ему очень признателен, если он позволит мне купить чего-нибудь съестного. Он как будто удивился (я как сейчас вижу – он остановился и посмотрел на меня) и, подумав, сказал, что намерен зайти к одной пожилой особе неподалеку, и лучше всего, если я куплю себе хлеба или чего-нибудь другого по собственному выбору, только бы это было полезно для здоровья, и позавтракаю у нее в доме, где мы можем достать молока.

Итак, мы заглянули в окно булочной, и после того как я сделал ряд предложений, намереваясь закупить все, что было здесь вредного для желудка, а он отверг их одно за другим, мы остановили наш выбор на аппетитном хлебце из непросеянной муки, который стоил мне три пенса. Потом мы купили в бакалейной лавке яйцо и кусок копченой грудинки, после чего у меня, по моему мнению, осталось еще немало сдачи со второго из блестящих шиллингов, и я пришел к заключению, что в Лондоне жизнь очень дешева. Закупив провизию, мы продолжали путь среди оглушительного шума и грохота, отчего усталая моя голова совсем помутилась, прошли по мосту, который, несомненно, был Лондонским мостом (кажется, учитель так мне и сказал, но я почти что спал на ходу), и подошли к жилищу пожилой особы; это был один из нескольких домов для призрения бедных, о чем я догадался по их виду и по надписи на камне над воротами, гласившей, что они построены для двадцати пяти бедных женщин.

Учитель из Сэлем-Хауса приподнял щеколду одной из многочисленных маленьких черных дверей, похожих одна на другую, – подле каждой двери было оконце с частым переплетом и такое же оконце с частым переплетом наверху, – и мы вошли в маленький домик одной из этих бедных старух, которая раздувала огонь в камельке, чтобы вскипятить воду в кастрюльке. При виде вошедшего учителя старуха положила раздувальные мехи на колени, и мне послышалось, будто она сказала что-то вроде: «Мой Чарли!» – но, видя, что я вхожу вслед за ним, она встала, потирая руки, и в смущении сделала нечто похожее на реверанс.

– Скажите, не можете ли вы приготовить завтрак для этого молодого джентльмена? – спросил учитель из Сэлем-Хауса.

– Завтрак? – повторила старуха. – Да, конечно, могу!

– Как себя чувствует сегодня миссис Фиббетсон? – спросил учитель, взглянув на другую старуху, которая сидела в большом кресле перед камином и чрезвычайно походила на узел с тряпьем, я и по сей день благодарен судьбе, что не уселся на нее по ошибке.

– Ох, ей неможется, – ответила первая старуха. – Сегодня у нее плохой день. Право же, если бы огонь в камине случайно угас, она тоже угасла бы и уже не вернулась к жизни.

Они оба посмотрели на нее, и вслед за ними взглянул и я. Хотя день был теплый, старуха, по-видимому, была поглощена одной только мыслью – о затопленном очаге. Мне показалось, что она завидует даже стоящей на огне кастрюле; и у меня есть основания думать, что она пришла в негодование, когда этот огонь заставили служить мне, чтобы сварить для меня яйцо и поджарить грудинку: я с удивлением увидел, как она один раз погрозила мне кулаком, пока происходили эти кулинарные операции и никто на нее не смотрел. Солнце светило в оконце, но она сидела, повернувшись к нему спиной, и заслоняла огонь спинкой большого кресла, словно заботилась о том, чтобы согреть его, вместо того чтобы он ее согревал, и следила за ним с величайшим недоверием. Когда приготовление завтрака закончилось и его сняли с огня, она пришла в такое восхищение, что громко засмеялась, причем смех ее, должен сказать, был совсем не мелодический.

Я принялся за мой хлебец из непросеянной муки, за яйцо и грудинку, запивая молоком из миски, и чудесно поел. Пока я еще наслаждался этим завтраком, старая хозяйка дома спросила учителя:

– Ты захватил с собой флейту?

– Да, – отвечал он.

– Подуй-ка в нее, – ласково попросила старуха. – Пожалуйста.

Учитель сунул руку под фалды фрака, извлек флейту, состоявшую из трех колен, которые он свинтил вместе, и тотчас начал играть. После многих лет раздумья у меня сохранилась уверенность, что не было еще на свете человека, который бы играл хуже. Он извлекал такие заунывные звуки, каких не производило еще ни одно существо – ни натуральным, ни искусственным способом. Не знаю, каковы были мелодии – если он вообще исполнял какую-нибудь мелодию, в чем я сомневаюсь, – но влияние на меня этой музыки выразилось сначала в размышлениях о моих горестях, так что я едва мог удержаться от слез; затем я лишился аппетита и, наконец, почувствовал такую сонливость, что не в силах был раскрыть глаза. Даже теперь, когда я вспоминаю об этом, глаза мои слипаются, и я начинаю клевать носом. Маленькая комнатка с открытым шкафом для посуды в углу, стулья с квадратными спинками, и кривая лесенка, ведущая на второй этаж, и три павлиньих пера, красующихся над каминной полкой, – войдя сюда, я задал себе вопрос, что подумал бы павлин, если бы знал, какая участь суждена его наряду, – все это постепенно уплывает, и я клюю носом и засыпаю. Не слышно больше флейты, вместо нее грохочут колеса кареты, и я снова в пути. Карета тряская, вздрогнув, я просыпаюсь, и снова слышится флейта, и учитель из Сэлем-Хауса сидит, положив ногу на ногу, и жалобно наигрывает, а старуха, хозяйка дома, смотрит на него с восхищением. Но и она уплывает, уплывает и он, уплывает все, и нет ни флейты, ни учителя, ни Сэлем-Хауса, ни Дэвида Копперфилда, нет ничего, кроме тяжелого сна.

Мне показалось, что я вижу во сне, будто один раз, когда он дул в эту унылую флейту, старая хозяйка дома, которая придвигалась к нему в экстазе все ближе и ближе, наклонилась над спинкой его стула и нежно обняла его за шею, вследствие чего он на секунду перестал играть. То ли тогда, то ли в следующее мгновение я был между сном и явью, потому что, когда он снова заиграл, – а он и в самом деле на секунду перестал играть, – я видел и слышал, как все та же старуха обратилась с вопросом к миссис Фиббетсон – не правда ли, это чудесно? (имея в виду флейту), – на что миссис Фиббетсон ответила: «А! А! Да!» – и закивала головой, глядя на огонь, который, я уверен, она считала виновником этого концерта.

Я дремал, по-видимому, очень долго; наконец учитель из Сэлем-Хауса развинтил свою флейту на три части, спрятал их и увел меня. Тут же поблизости мы нашли карету и заняли места на крыше; но мне смертельно хотелось спать, и когда мы по дороге остановились, чтобы забрать еще кого-то, меня посадили в карету, где не было ни одного пассажира и где я спал крепким сном, пока не обнаружил, что карета ползет вверх по крутому холму среди зеленой листвы. Вскоре она остановилась, добравшись до места своего назначения.

Мы – я говорю об учителе и о себе – прошли небольшое расстояние, отделявшее нас от Сэлем-Хауса, огороженного высокой кирпичной стеной и весьма хмурого на вид. Над дверью в этой стене была доска с надписью: Сэлем-Хаус, а сквозь решетку в двери мы, позвонив, увидели обращенное к нам угрюмое лицо, которое – как убедился я, когда открылась дверь, – принадлежало коренастому человеку с бычьей шеей, деревяшкой вместо ноги, впалыми висками и коротко остриженными волосами.

– Новый ученик, – сказал учитель.

Человек с деревяшкой осмотрел меня с головы до пят – это заняло немного времени, потому что я был очень мал, – запер за нами калитку и вынул ключ. Мы шли к дому среди темных, мрачных деревьев, когда он крикнул вслед моему спутнику:

– Эй, послушайте!

Мы оглянулись: он стоял в дверях маленькой сторожки, где жил, а в руке у него была пара башмаков.

– Вот! – сказал он. – Когда вас не было, мистер Мелл, приходил сапожник. Он говорит, что больше не может их чинить. Говорит, что от прежних башмаков не осталось ни кусочка, и он не понимает, чего вы хотите.

С этими словами он швырнул башмаки в сторону мистера Мелла, который вернулся, чтобы подобрать их, и когда мы двинулись дальше, стал их рассматривать, насколько я помню, с безутешным видом. Тут только я заметил, что надетые на нем башмаки были сильно изношены и в одном месте носок вылезал наружу, словно бутон.

Сэлем-Хаус, квадратное кирпичное здание с флигелями, казался пустым и необитаемым. Вокруг была такая тишина, что я высказал мистеру Меллу предположение, не ушли ли все мальчики, но его как будто удивило мое неведение, что теперь каникулы, что все ученики разъехались по домам, что мистер Крикл, владелец пансиона, уехал на морское побережье вместе с миссис и мисс Крикл и что меня прислали во время каникул в наказание за мои прегрешения. Все это он объяснил мне, пока мы шли.

Классная комната, куда он меня привел, мне показалась самым унылым и заброшенным местом, какое мне когда-либо приходилось видеть. Я вижу ее и сейчас. Длинная комната с тремя длинными рядами пюпитров и шестью рядами скамеек, стены ощетинились гвоздями для шляп и грифельных досок. На грязном полу обрывки старых тетрадей для чистописания и сочинений. Домики для шелковичных червей, сделанные из того же материала, разбросаны по партам. Две несчастные белые мышки, покинутые своим хозяином, бегают вверх и вниз по старому замку из картона и проволоки и заглядывают красными глазками во все уголки в поисках чего-нибудь съестного. Птица в клетке, которая немногим больше, чем она сама, горестно мечется, то вспрыгивая на свою жердочку на высоте двух дюймов, то соскакивая с нее, но она не поет и не чирикает. В комнате какой-то странный, нездоровый запах, как будто пахнет прелой одеждой, залежавшимися яблоками и книжной плесенью. Столько здесь чернильных пятен, словно с первого дня постройки комната оставалась без крыши, а небеса во все времена года поливали ее чернилами, вместо того чтобы ниспосылать дождь, снег, град или ветер.

Когда мистер Мелл понес наверх свои башмаки, которые уже невозможно было починить, и оставил меня одного, я стал осторожно пробираться в дальний конец комнаты, разглядывая

все, что попадалось мне на пути. И вдруг я увидел лежавший на парте картонный плакат с красиво выведенными словами: «Осторожно! Кусается!»

Уже через секунду я очутился на пюпитре, решив, что где-то внизу прячется громадная собака. С тревогой я озирался по сторонам, но ее нигде не было видно. Я все еще занимался этими поисками, когда вернулся мистер Мелл и спросил меня, что я тут делаю.

– Простите, сэр, но… я… с вашего разрешения я ищу собаку, – сказал я.

– Собаку? – переспросил он. – Какую собаку?

– Разве это не собака, сэр?

– Кто? Какая собака?

– Которой нужно остерегаться? Которая кусается?

– Нет, Копперфилд, это не собака. Это мальчик, – внушительно произнес он. – Я получил распоряжение, Копперфилд, повесить этот плакат вам на спину. Сожалею, что приходится так поступать с вами с первого же дня, но я должен это сделать.

С этими словами он снял меня с пюпитра и привязал к моим плечам, как ранец, приспособленный для этой цели плакат. И с той поры, куда бы я ни шел, я имел удовольствие носить его.

Сколько я выстрадал из-за этого плаката, немыслимо себе представить. Видел ли кто-нибудь меня или нет, все равно мне всегда чудилось, что его читают. Я не чувствовал никакого облегчения, когда оборачивался и обнаруживал, что никого нет: куда бы я ни повернулся, все равно мне мерещилось, что за моей спиной кто-то стоит. Жестокий человек с деревяшкой усугублял мои страдания. Он был облечен властью, и стоило ему увидеть, что я прислонился к стене, к дереву или к дому, как он уже орал оглушительным голосом из дверей своей сторожки:

– Эй, вы, сэр! Вы, Копперфилд! Носите этот ярлык так, чтобы всем было видно, а не то я на вас пожалуюсь!

Площадкой для игр служил пустынный, усыпанный гравием двор, куда выходили все задние окна дома и служб: и я знал, что слуги читают мой плакат, и мясник читает, и булочник читает. Короче говоря, каждый, кто приходил или уходил из дома утром, в часы, когда мне было приказано гулять во дворе, читал, что меня нужно остерегаться, потому что я кусаюсь. Припоминаю, что я положительно начал бояться самого себя, словно я был бешеный мальчик, который и в самом деле кусается.

Выходила на эту площадку одна старая дверь, на которой ученики имели обыкновение вырезывать свои имена. Она была сплошь покрыта такими надписями. Страшась окончания каникул и возвращения учеников, я не мог прочесть ни одного имени, не задав себе вопроса, каким тоном и с каким выражением будет он читать: «Осторожно! Кусается!» Был тут один ученик, некий Стирфорт, – его имя было вырезано особенно глубоко и встречалось особенно часто, – который, по моим предположениям, зычно прочитает плакат, а потом дернет меня за волосы. Был другой мальчик, некий Томми Трэдлс, который, как я опасался, будет потешаться над этой надписью и сделает вид, будто ужасно меня боится. Был еще третий, Джордж Демпл, который, чудилось мне, станет гнусавить ее нараспев. Я, маленькое запуганное создание, разглядывал эту дверь до тех пор, пока мне не начинало мерещиться, что обладатели всех этих имен – по словам мистера Мелла, их было тогда в пансионе сорок пять человек – при всеобщем одобрении изгоняют меня из своей среды и орут, каждый на свой лад: «Осторожно! Кусается!»

Так же обстояло дело и с партами. Так же обстояло дело и с рядами покинутых кроватей, на которые я посматривал, когда проходил мимо и ложился в свою кровать. Помню, ночь за ночью мне снилось, что я снова с матерью, такою, какой бывала она прежде, или еду гостить к мистеру Пегготи, или путешествую на крыше почтовой кареты и вновь обедаю с моим

злополучным приятелем лакеем, и всякий раз окружающие вскрикивают и с испугом смотрят на меня, когда на мою беду обнаруживают, что на мне нет ничего, кроме ночной рубашонки и этого плаката.

При однообразии моей жизни и вечном страхе перед возобновлением занятий в школе это была нестерпимая мука: каждый день я подолгу занимался с мистером Мэллом, но я справлялся с уроками, не покрывая себя позором, потому что не было ни мистера, ни мисс Мэрдстон. До и после уроков я гулял – под надзором, как я уже упоминал, человека с деревяшкой. Как живо вспоминаю я плесень повсюду вокруг дома, позеленевшие плиты во дворе, все в трещинах, старую протекавшую бочку с водой и облезлые стволы хмурых деревьев, на долю которых, казалось, приходилось больше дождя и меньше солнечных лучей, чем на долю других деревьев! В час дня мы обедали – мистер Мелл и я – в конце длинной столовой с голыми стенами, заставленной сосновыми столами и пропитанной запахом сала.

Затем мы снова занимались – до чая, который мистер Мелл пил из синей чашки, а я из оловянного котелка. Весь долгий день, до семи-восьми часов вечера, мистер Мелл сидел за особым пюпитром в классной комнате и трудился, вооружившись перьями, чернилами, линейкою, книгами и писчей бумагой – он составлял (как узнал я) счета за последнее полугодие. Спрятав все это на ночь, он доставал свою флейту и дул в нее, пока у меня не начинала мелькать мысль, что он постепенно вдунет всего себя в широкое отверстие, а потом просочится наружу сквозь клапаны.

Я вижу себя, совсем маленького, в тускло освещенной комнате, – я сижу, подперев голову рукой, прислушиваюсь к заунывной игре мистера Мелла и зубрю урок к завтрашнему дню. Вот я вижу себя – книги мои закрыты, я все еще прислушиваюсь к заунывной игре мистера Мелла, а сквозь нее прислушиваюсь к тому, что бывало дома, к завыванию ветра на ярмутском побережье, и чувствую себя печальным и одиноким. Вот я вижу, как иду ложиться спать, минуя пустые комнаты, присаживаюсь на край кровати и плачу, тоскуя о ласковом слове Пегготи. Вижу, как опускаюсь поутру вниз, смотрю в длинную мрачную щель – лестничное окно – на школьный колокол над крышей сарая с флюгером и страшусь той минуты, когда он зазвонит, призывая к урокам Стирфорта и остальных. Но зловещие опасения мои еще усиливаются при мысли о той минуте, когда человек с деревяшкой отопрет калитку, чтобы впустить ужасного мистера Крикла. Я не могу всерьез поверить, что способен показаться кому-нибудь из них опасным преступником, однако как бы там ни было, а я ношу на спине все тот же предостерегающий плакат.

Мистер Мелл никогда не бывал со мной словоохотлив, но не был он также и суров со мной. Мне кажется, что, и не вступая в разговор, мы составляли друг другу компанию. Я забыл упомянуть о том, что иногда он разговаривал сам с собой, ухмылялся, сжимал кулаки, скрежетал зубами, и каким-то странным образом ерошил себе волосы. Но такие уж были у него причуды. Сначала они пугали меня, но скоро я к ним привык.

Глава VI
Я расширяю круг знакомых

Я вел такую жизнь почти целый месяц, когда однажды человек с деревяшкой заковылял по дому со шваброй и ведром воды, из чего я заключил, что готовятся к встрече мистера Крикла и учеников. Я не ошибся, так как швабра скоро вторглась в классную и изгнала мистера Мелла вместе со мной, и в течение нескольких дней мы жили неведомо где и как, но все время оказывались помехой двум-трем женщинам, которых прежде я видел всего раза два-три, и постоянно находились в таком облаке пыли, что я чихал так, словно Сэлем-Хаус был огромной табакеркой.

Наступил день, когда мистер Мелл сказал, что сегодня вечером приезжает мистер Крикл. Вечером, после чая, я услышал, что он прибыл. Я еще не ложился спать, когда явился человек с деревяшкой и повел меня к нему.

Та часть дома, где обитал мистер Крикл, была куда лучше нашей; перед нею был разбит уютный садик, казавшийся очень привлекательным после пыльной площадки для игр, столь напоминавшей пустыню в миниатюре, что только верблюд или дромадер мог чувствовать себя на ней как дома. Я так боялся предстать перед мистером Криклом, что считал дерзостью даже поднять глаза и осмотреть красивый широкий коридор, по которому мы шли: присутствие мистера Крикла, когда меня поставили перед ним, привело меня в такое замешательство, что я вряд ли заметил миссис и мисс Крикл (они обе находились в гостиной) или вообще что-нибудь, кроме мистера Крикла, тучного джентльмена с гроздью брелоков и печаток на часовой цепочке, восседавшего в кресле рядом с бутылкой и рюмкой.

– А! Так это тот молодой человек, которому нужно подпилить зубы! Поверни-ка его, – произнес мистер Крикл.

Человек с деревяшкой повернул меня, выставляя напоказ плакат, и, когда прошло достаточно времени, чтобы с ним ознакомиться, снова повернул меня лицом к мистеру Криклу, а сам поместился рядом с ним. У мистера Крикла было багровое лицо и крохотные, глубоко сидящие глазки: на лбу его вздувались вены, нос был маленький, а подбородок тяжелый. На макушке у него красовалась плешь, редкие сальные волосы, начинавшие седеть, он зачесывал на виски так, чтобы концы их встречались на лбу. Но особенно сильное впечатление произвело на меня то, что он был почти лишен голоса и не говорил, а сипел. То ли ему трудно было так сипеть, то ли он досадовал на свой недостаток, но, когда он говорил, его злое лицо становилось еще злей, а вены на лбу вздувались еще больше; и, оглядываясь назад в прошлое, я не удивляюсь, что эта странность поразила меня больше всего.

– Так, так, – сказал мистер Крикл. – Что же ты можешь мне сообщить об этом мальчике?

– Еще ничего сказать против него не можем, – ответил человек с деревяшкой, – пока не было случая.

Мне кажется, мистер Крикл был разочарован. Но мне показалось, что миссис и мисс Крикл (тут я взглянул на них в первый раз, и они обе оказались худыми и молчаливыми) не были разочарованы.

– Подойдите сюда, сэр, – поманил меня пальцем мистер Крикл.

– Подойдите сюда! – повторил за ним человек с деревяшкой, также поманив меня пальцем.

– Я имею честь быть знакомым с вашим отчимом, человеком достойным и обладающим твердым характером, – просипел мистер Крикл, беря меня за ухо. – Он знает меня, а я знаю его. А вы знаете меня? А?

И он ущипнул мое ухо с жестокой игривостью.

– Еще нет, сэр, – ответил я, скорчившись от боли.

– Еще нет? А? – повторил мистер Крикл. – Ну, так скоро узнаете.

– Скоро узнаете! – повторил человек с деревяшкой. Позднее я выяснил, что, обладая громким голосом, он был посредником между мистером Криклом и учениками.

Я очень испугался и сказал, что, с его разрешения, надеюсь на это. При этих словах я чувствовал, как пылает мое ухо – очень уж сильно он стиснул его.

– Я вам скажу, каков я! – засипел он, выпуская, наконец, мое ухо, и напоследок крутнул его так, что слезы показались у меня на глазах. – Я – зверь!

– Зверь! – повторил человек с деревяшкой.

– Когда я говорю, что сделаю то-то и то-то, я это делаю, – продолжал мистер Крикл, – а когда я говорю, что то-то должно быть сделано, оно будет сделано.

– Должно быть сделано и будет сделано, – повторил человек с деревяшкой.

– У меня характер решительный, – сипел мистер Крикл. – Вот я каков! Я исполняю свой долг… Вот что я делаю! Если моя плоть и кровь, – тут он взглянул на миссис Крикл, – восстают против меня, значит это не моя плоть и кровь! Я отрекаюсь от нее! Этот парень приходил еще сюда? – обратился он к человеку с деревяшкой.

– Нет, – ответил тот.

– Нет! – повторил мистер Крикл. – Он знает, что делает. Он знает меня. Пусть носа сюда не показывает. Я говорю: пусть носа сюда не показывает! – Тут мистер Крикл ударил кулаком по столу и посмотрел на миссис Крикл. – Потому что он меня знает. Ну, а теперь и вы также начинаете меня узнавать, мой молодой друг, и можете идти. Уведи его!

Я очень обрадовался этому приказанию, так как миссис и мисс Крикл обе утирали слезы, и мне было так же неловко за них, как и за самого себя. Но у меня была просьба, столь для меня важная, что я не удержался, удивляясь сам своей храбрости.

– Сэр, если позволите…

Мистер Крикл засипел: «Что такое?» – и воззрился на меня так, будто хотел испепелить меня своим взглядом.

– Если позволите, сэр… – я запнулся. – Если бы можно было… я очень раскаиваюсь, сэр, что я это сделал… снять эту надпись прежде, чем ученики вернутся…

Не знаю, всерьез или только для того, чтобы попугать меня, но мистер Крикл рванулся с кресла, а я стремительно ретировался, не дожидаясь человека с деревяшкой, и без остановки мчался до моей спальни, где, убедившись в том, что погони нет, улегся в постель – ибо пора было ложиться спать – и часа два дрожал.

Наутро вернулся мистер Шарп. Мистер Шарп был старший учитель, начальник мистера Мелла. Мистер Мелл столовался с учениками, а мистер Шарп обедал и ужинал за столом мистера Крикла. Это был хилый джентльмен с крупным носом, и голова его свисала набок, словно ему трудно было ее носить. Его волнистые волосы красиво блестели, но от первого же мальчика, который появился в школе, я узнал, что это парик (к тому же подержанный, как тот утверждал) и мистер Шарп каждую субботу днем отправляется завивать его.

Мне это сообщил не кто иной, как Томми Трэдлс. Он вернулся первым. Он представился мне, сообщив, что его имя я могу найти в правом углу ворот над верхним засовом, и на мой вопрос: «Трэдлс?» – ответил: «Он самый», а затем попросил меня дать полный отчет о себе и о моей семье.

Мне повезло, что Трэдлс вернулся первым. Ему так понравился мой плакат, что он избавил меня от неуверенности – скрывать его или показывать, – ибо каждому вновь прибывшему ученику немедленно представлял меня так:

– Погляди-ка! Вот так умора!

К счастью, большинство учеников возвращались в весьма плохом расположении духа и, вопреки моим ожиданиям, не склонны были чрезмерно потешаться надо мной. Правда, некоторые плясали вокруг меня наподобие диких индейцев, а большинство поддались искушению и стали забавляться, словно я был настоящей собакой, – они ласкали и поглаживали меня, чтобы я их не укусил, командовали: «Куш, сэр!» – и называли меня «дворняга». Разумеется, мне было стыдно, и я всплакнул, но, в общем, все обошлось куда лучше, чем я ожидал.

Однако меня сочли формально принятым только после приезда Стирфорта. К этому ученику, слывшему многоученым, к этому мальчику, бывшему лет на шесть старше меня и очень красивому, меня привели, словно к судье. Он допросил меня под навесом на площадке для игр, почему я подвергся такому наказанию, и объявил, что подобное обхождение со мной – «стыд и срам», чем завоевал навсегда мою преданность.

– Сколько у тебя денег, Копперфилд? – спросил он, шагая рядом со мной после того, как вынес свой приговор по моему делу.

Я отвечал, что у меня семь шиллингов.

– Тебе бы лучше дать их мне на сохранение, – сказал он. – Конечно, если хочешь. Если не хочешь, не давай.

Я поспешил принять это дружеское предложение и, достав кошелек Пегготи, высыпал содержимое ему на ладонь.

– Ты ничего не собираешься теперь тратить? – спросил он.

– О нет, благодарю вас, – ответил я.

– Но если захочешь, это очень легко… Скажи только слово.

– Нет, благодарю вас, сэр, – повторил я.

– Может быть, ты хочешь на один-два шиллинга купить бутылочку черносмородиновой наливки? Мы попивали бы ее в спальне. Оказывается, мы с тобой в одной спальне.

По правде говоря, эта мысль раньше не приходила мне в голову, но я сказал: «Да, мне бы хотелось».

– Прекрасно! – произнес Стирфорт. – А не хотелось бы тебе купить миндальных пирожных, скажем, на шиллинг?

Я сказал, что и против этого не возражаю.

– Затем бисквитов на шиллинг и еще на шиллинг фруктов? – продолжал Стирфорт. – Э? Да ты собираешься кутнуть, Копперфилд!

Я улыбнулся, потому что улыбался он, но все же я был чуть-чуть встревожен.

– Отлично! – воскликнул Стирфорт. – Постараемся, чтобы денег хватило. Я сделаю для тебя все, что в моих силах. Я могу выходить, когда мне вздумается, и пронесу покупки тайком.

С этими словами он положил деньги в карман и любезно попросил меня не беспокоиться; он позаботится о том, чтобы все обошлось благополучно.

Он сдержал слово, если только можно было считать, что все обошлось благополучно, ибо в глубине души я чувствовал, что все далеко не благополучно, и опасался, что две полукроны моей матери истрачены зря, хотя я и сохранил бумажку, в которую они были завернуты. Драгоценное сбережение!.. Когда мы поднялись вечером в дортуар, Стирфорт показал мне покупки, на которые ушли все мои семь шиллингов, и, раскладывая их при свете луны на моей кровати, сказал:

– Получай, юный Копперфилд! У тебя будет королевское угощение!

Принимая во внимание свой возраст, я не помышлял о том, чтобы возглавить пир, когда налицо был Стирфорт; при одной этой мысли у меня задрожали руки. Я попросил его оказать мне честь и взять на себя председательство; моя просьба была поддержана всеми присутствовавшими в спальне учениками, он соизволил согласиться, уселся на мою подушку, роздал яства – должен признаться, всем поровну – и каждому наливал смородиновой настойки в свою собственную маленькую рюмку без ножки. Что касается меня, то я сидел по левую его руку, а остальные разместились вокруг нас на полу и на ближайших кроватях.

Как хорошо я помню наше пиршество, разговор шепотом – вернее, их разговор и мое почтительное молчание! Лунный свет пробивается сквозь окно и рисует бледный его силуэт на полу, мы сидим в тени, но когда Стирфорт погружает спичку в коробок с фосфором, чтобы отыскать что-нибудь на столе, нас озаряет голубое сияние и исчезает в то же мгновение. Снова испытываю я таинственный страх, да и как же ему не быть, если вокруг тьма, у нас идет тайная пирушка, все вокруг шушукаются, а я прислушиваюсь к ним с благоговением и легким страхом, заставляющим меня радоваться, что они сидят так близко, и пугаюсь (хотя я делаю вид, будто смеюсь), когда Трэдлсу чудится привидение в углу комнаты.

Я узнал множество подробностей о жизни в пансионе и о его обитателях. Я узнал, что мистер Крикл с полным основанием утверждал, будто он зверь; что он самый строгий, самый жестокий из учителей, что он каждый день расправляется со всеми направо и налево, налетает на учеников, как рубака-кавалерист, и безжалостно их сечет. Узнал я, что он ничего не знает, кроме искусства порки, и более невежествен (по словам Стирфорта), чем самый последний ученик в школе; что в прошлом он торговал хмелем в Боро,[13] а после банкротства открыл пансион на деньги миссис Крикл. Услышал я и много других подробностей такого же рода и только дивился, откуда они все это знают.

Я узнал, что человек с деревяшкой, которого звали Тангей, был круглый неуч, раньше помогал мистеру Криклу торговать хмелем, а затем, по предположению учеников, пошел вместе с ним по ученой стезе потому, что сломал себе ногу у него на службе, занимался вместе с ним грязными делишками и знал все его тайны. Узнал я, что Тангей относится ко всем ученикам и учителям, за исключением мистера Крикла, как к своим исконным врагам, и единственная его радость – злобствовать и делать пакости. Узнал я, что у мистера Крикла есть сын, который недолюбливал Тангея, а в один прекрасный день этот сын, помогавший мистеру Криклу в школе, попрекнул его в жестоком обращении с учениками и, кроме этого, кажется, протестовал против обхождения отца с матерью. В результате мистер Крикл выгнал его из дому, и с той поры миссис и мисс Крикл ведут невеселую жизнь.

Но больше всего удивило меня в этих рассказах о мистере Крикле то, что в школе есть один ученик, на которого он не смеет поднять руку, и этот ученик – Стирфорт. Сам Стирфорт подтвердил это и заявил, что хотелось бы ему поглядеть, как тот на это осмелится. Один робкий ученик (не я) спросил, что бы он сделал, если бы это случилось, и Стирфорт, погрузив спичку в коробок с фосфором, дабы придать своему ответу больший блеск, объявил, что первым делом он бахнул бы мистера Крикла по голове семишиллинговой бутылкой чернил, всегда стоявшей на каминной доске. Затаив дыхание, мы сидели некоторое время молча, во тьме.

Я узнал, что мистер Шарп и мистер Мелл, должно быть, получают ничтожное жалованье, и, когда за столом у мистера Крикла подают жаркое и холодную говядину, полагается, чтобы мистер Шарп предпочитал холодную говядину; это было также подтверждено Стирфортом, единственным учеником, столовавшимся у мистера Крикла. Узнал я еще, что парик мистера Шарпа ему не впору, и было бы куда лучше, если бы он не так чванился им (кто-то сказал – «Не так задирал нос»), потому что сзади из-под парика торчат его собственные рыжие волосы.

Я узнал и о том, что один из учеников, сын торговца углем, принят в пансион взамен уплаты за уголь и получил по этому случаю прозвище «Товарообмен», взятое из того раздела в учебнике арифметики, где толкуется о подобных сделках. Узнал я, что пиво, подаваемое за столом, – просто-напросто грабеж родителей, а пудинг – сплошное мошенничество. Я узнал, что, по мнению всех, мисс Крикл влюблена в Стирфорта, что показалось мне весьма возможным, когда, сидя в темноте, я думал о его звучном голосе, красивом лице, любезных манерах и вьющихся волосах. Узнал я также, что мистер Мелл – неплохой человек, но у него нет за душой и шести пенсов, а старая миссис Мелл, его мать, конечно, бедна, как Иов. Тут я вспомнил свой завтрак и возглас: «Мой Чарли!» – но промолчал и притаился, как мышь, о чем мне приятно теперь упомянуть.

Беседа продолжалась еще некоторое время после того, как пир окончился. Большая часть гостей отправилась спать, как только все было съедено и выпито, а мы, полураздетые, все еще сидели и шушукались, а затем последовали примеру остальных.

– Спокойной ночи, юный Копперфилд! – сказал Стирфорт. – Я о тебе позабочусь.

– Вы очень добры. Я вам очень признателен, – ответил я с благодарностью.

– У тебя нет сестры? – спросил Стирфорт, зевая.

– Нет, – сказал я.

– Жаль. Если бы у тебя была сестра, мне кажется, глаза у нее были бы блестящие, а сама она была бы хорошенькая, робкая малютка. Мне хотелось бы с ней познакомиться. Спокойной ночи, юный Копперфилд!

– Спокойной ночи, сэр, – отозвался я.

Улегшись в постель, я долго о нем думал, и, помнится, привстал, чтобы взглянуть на него, – он спал, освещенный луной, красивое его лицо обращено было ко мне, а руку он подложил под голову. Мне он казался всесильным, именно потому я был поглощен мыслями о нем. Даже смутного намека на сокрытое от нас будущее нельзя было увидеть на его лице при лунном свете. И тень не падала от него, когда во сне я гулял с ним всю ночь по саду.

Глава VII

Мое «первое полугодие» в школе Сэлем-Хаус

На следующий день ученье началось всерьез. Вспоминаю, как я был потрясен, когда внезапно стих шум и гам в классной комнате при появлении мистера Крикла, который вошел после завтрака и остановился у порога, озирая нас, словно великан в сказке, обозревающий своих пленников.

Тангей стоял рядом с мистером Криклом. Незачем было ему так грозно рявкать: «Молчать!» – ученики и без того застыли, безгласные и недвижимые.

Видно было, что мистер Крикл говорит, а от мистера Тангея мы услышали следующее:

– Итак, мальчики, начинается новое полугодие. Хорошенько приготовьтесь к тому, что вы будете делать в этом новом полугодии. Советую вам со всем рвением приступить к урокам, потому что я со всем рвением приступаю к наказаниям. Я не стану делать никаких поблажек. Напрасно вы будете почесывать да потирать спину – все равно вам не удастся стереть следы моих ударов. А теперь за работу!

Когда это страшное вступление закончилось и Тангей заковылял из комнаты, мистер Крикл подошел ко мне и сказал, что если я горазд кусаться, то и он на это дело мастер. Затем он помахал тростью и спросил, что я думаю насчет такого зуба? Что это, клык? Или коренной зуб? Достаточно ли острый? Может он укусить? Может, а? При каждом вопросе он ударял меня тростью так, что я корчился от боли. И очень скоро я получил (по словам Стирфорта) права гражданства в Сэлем-Хаусе, а заодно, столь же скоро, залился слезами.

Я отнюдь не хочу сказать, что отмечен был я один. По мере того как мистер Крикл обходил классную комнату, такие знаки внимания получило большинство учеников (в особенности младших). Добрая половина мальчиков корчилась и заливалась слезами, прежде чем начались уроки, а сколько их корчилось и заливалось слезами, прежде чем уроки кончились, право, я не решаюсь припомнить, опасаясь, как бы меня не обвинили в преувеличении.

Мне кажется, на свете никто и никогда не любил своей профессии так, как любил ее мистер Крикл. Он бил мальчиков с таким наслаждением, словно утолял волчий голод. Я уверен, что особенно неравнодушен был он к толстощеким ученикам; такой мальчик казался ему чрезвычайно лакомым, и он не находил себе места, если не принимался лупцевать его с самого утра. У меня были пухлые щеки – следовательно, кому же и знать, как не мне! Теперь, когда я думаю об этом человеке, кровь закипает в моих жилах от негодования, которое – я уверен – я испытал бы даже, если бы знал о нем только понаслышке и никогда не был в его власти. Кровь закипает у меня в жилах, ибо я знаю, что это невежественное животное имело столько же прав на то великое доверие, какое ему оказали, сколько на пост генерал-адмирала и главнокомандующего. Вполне вероятно, что на том и на другом посту он принес бы куда меньше зла!

А мы, несчастные, юные жертвы этого безжалостного идола, как пресмыкались мы перед ним! «Хороша заря жизни, – думаю я, оглядываясь назад, – ползать и унижаться перед человеком с такими наклонностями и притязаниями!»

Вот я снова сижу за партой и слежу за его взглядом, слежу смиренно за его взглядом, пока он разлиновывает тетрадку по арифметике для другой жертвы, которая, пытаясь утишить боль, обвязывает носовым платком пальцы, только что исхлестанные той же линейкой. Дела у меня много. Нет, не от безделья я слежу за взглядом мистера Крикла, этот взгляд болезненно притягивает меня, и я мучительно хочу знать, что будет дальше и мне ли придет черед страдать или кому-нибудь другому. Мальчуганы, сидящие за мной, следят за его взглядом с таким же томлением. Мне кажется, он это знает, хотя притворяется, будто не обращает на нас никакого внимания. Он зверски кривит рот, разлиновывая тетрадь, но вот он искоса поглядывает на нас, а мы все склоняемся над учебниками и дрожим. Еще секунда – и мы снова впиваемся в него глазами. Злосчастный преступник, сделавший ошибку в упражнении, приближается к нему по его команде. Преступник, заикаясь, бормочет что-то в свою защиту и уверяет, что завтра исправится. Мистер Крикл, прежде чем прибить его, издевается над ним, а мы смеемся, несчастные собачонки, мы смеемся, бледные как полотно, и душа у нас уходит в пятки.

Снова сижу я за партой в летний, навевающий дремоту день. Слышу гул и жужжание, словно вокруг меня не ученики, а навозные мухи. Смутно ощущаю тяжесть в желудке от застывшего говяжьего жира (обедали мы часа два назад), и голова у меня налита свинцом. Я отдал бы весь мир за то, чтобы поспать. Я сижу, не отрывая глаз от мистера Крикла, и моргаю, как сова, а когда дремота на миг одолевает меня, я все-таки вижу, будто сквозь туман, как он разлиновывает тетрадки… Но тут он подкрадывается ко мне сзади и побуждает увидеть его ясней, оставляя у меня на спине багровую полосу.

А вот я на площадке для игр, и снова перед моими глазами маячит он, хотя я его не вижу. Окно неподалеку, за которым, как мне известно, он сейчас обедает, заменяет мне его, и я не спускаю глаз с окна. Если его лицо показывается за стеклом, на моем лице появляется выражение покорное и умоляющее. Если он смотрит в окно, самый храбрый мальчуган (за исключением Стирфорта), только что оравший во все горло, умолкает и погружается в раздумье. Однажды Трэдлс (самый злополучный мальчик в мире) нечаянно разбил это окно мячом. Я и теперь содрогаюсь и с ужасом вижу, как это произошло и как мяч угодил в священную голову мистера Крикла.

Бедняга Трэдлс! В костюмчике небесно-голубого цвета, таком узком, что руки его и ноги походили на немецкие сосиски или на рулет с вареньем, он был самым веселым и самым несчастным из учеников. Он всегда был излупцован тростью: мне кажется, его лупцевали ежедневно в течение всего полугодия, – за исключением только одного понедельника (в тот понедельник занятий не было), когда ему попало линейкой по обеим рукам, – и он все время собирался писать об этом своему дяде, но так и не написал. Опустив голову на парту и посидев некоторое время, он слова приободрялся, начинал смеяться и рисовал на своей грифельной доске скелеты, хотя на глазах у него еще стояли слезы. Сперва я недоумевал, какое утешение находит Трэдлс в рисовании скелетов, и некоторое время взирал на него, как на своего рода отшельника, который напоминает себе этими символами бренности о том, что лупцовка палкой не может продолжаться вечно. Впрочем, вероятно, он их рисовал просто потому, что это было легко и они не нуждались ни в какой отделке.

Он был очень благороден, этот Трэдлс, и почитал священным долгом учеников стоять друг за друга. За это ему неоднократно приходилось расплачиваться, в частности – однажды, когда Стирфорт расхохотался в церкви, а бидл[14] заподозрил Трэдлса и вывел его вон. Как теперь, вижу его, шествующего под стражей и сопровождаемого презрительными взглядами прихожан. Он так и не выдал истинного виновника, хотя жестоко пострадал за это на следующий день и просидел в заключении так долго, что вышел оттуда с целым кладбищем скелетов, кишма кишевших в его латинском словаре. Но награду он получил. Стирфорт сказал, что он совсем не ябеда, и мы все сочли эти слова высшей похвалой. Что касается меня, то я готов был пойти

на все, только бы заслужить такое отличие (хотя был гораздо моложе Трэдлса и отнюдь не так смел, как он).

Стирфорт рука об руку с мисс Крикл идет в церковь впереди всех нас – это зрелище было одно из самых знаменательных в моей жизни. В моих глазах мисс Крикл не могла равняться красотою с малюткой Эмли и я не был в нее влюблен (на это я не осмеливался); но мне она казалась замечательно миловидной леди, никем не превзойденной в деликатности обращения. Когда Стирфорт в белых брюках нес ее зонтик, я гордился знакомством с ним и был убежден, что она не может не обожать его всем сердцем. Мистер Шарп и мистер Мелл тоже были значительными особами, но Стирфорт затмевал их, как солнце затмевает звезды,

Стирфорт продолжал покровительствовать мне и оказался очень полезным другом, так как никто не смел задевать того, кого он почтил своим расположением. Он не мог, – да и не пытался, – защитить меня от мистера Крикла, обращавшегося со мной весьма сурово, но когда тот бывал более жесток, чем обычно, Стирфорт говорил, что мне не хватает его смелости и что он, Стирфорт, ни в коем случае не потерпел бы такого обращения; этим он хотел подбодрить меня, за что я был ему очень благодарен. Жестокость мистера Крикла имела, впрочем, одно хорошее для меня последствие – единственное, насколько я могу припомнить. Он нашел, что мой плакат мешает ему, когда он, разгуливая позади моей парты, собирается огреть меня тростью по спине, а потому плакат скоро был снят, и больше я его не видел.

Благоприятный случай скрепил узы дружбы между мной и Стирфортом, преисполнив меня гордостью и удовлетворением, хотя он и повлек за собой некоторые неудобства. Однажды, когда он почтил меня беседой на площадке для игр, я, между прочим, сказал, что кто-то или что-то – теперь уже не помню, что именно, – напоминает кого-то или что-то в «Перегрине Пикле». Он промолчал, но вечером, когда мы ложились спать, спросил, есть ли у меня эта книга.

Я ответил, что нет, и рассказал, как я прочел ее, а также и другие книги, упомянутые мною выше.

– И ты помнишь их? – спросил Стирфорт.

– О да, – ответил я, – у меня хорошая память, и я помню их очень хорошо.

– Так знаешь что, юный Копперфилд, ты будешь их мне рассказывать. Я не могу сразу заснуть, а по утрам всегда просыпаюсь слишком рано. Рассказывай все книги по очереди, одну за другой. Это будет точь-в-точь, как в «Тысяче и одной ночи».

Я почувствовал себя очень польщенным таким предложением, и в тот же вечер мы приступили к делу. Какие опустошения я произвел в произведениях любимых мной писателей, пересказывая их по-своему, определить я не могу да, признаться, и не хотел бы этого знать; но у меня была глубокая вера в то, что я рассказывал, а рассказывал я, как мне кажется, с воодушевлением и безыскусственно, и эти качества скрашивали многое.

Однако была и оборотная сторона медали: по вечерам меня часто клонило ко сну или я бывал не в духе и не расположен рассказывать; в таких случаях это была нелегкая работа, но ее надо было исполнять, ибо, разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы вызвать разочарование или неудовольствие Стирфорта. И по утрам, когда, утомленный, я хотел бы поспать еще часок, было нелегко просыпаться и, подобно султанше Шахразаде, вести длинный рассказ, пока не раздастся звон колокола. Но Стирфорт был настойчив; и, поскольку он в свою очередь объяснял мне арифметические задачи, примеры и вообще все, что было для меня слишком трудно, я ничего не потерял при такой сделке. Впрочем, надо отдать мне справедливость. Мною руководили не желание извлечь пользу и не себялюбие, да и не страх перед Стирфортом. Я восхищался им, любил его, и одно его одобрение являлось для меня достаточной наградой. Оно было так для меня драгоценно, что и теперь, когда я вспоминаю об этих пустяках, сердце у меня сжимается.

Стирфорт был ко мне внимателен; свое внимание он проявил по одному поводу весьма открыто и причинил, как я подозреваю, огорчение бедняге Трэдлсу и остальным мальчикам. Обещанное письмо от Пегготи – какое это было для меня утешение! – прибыло через несколько недель после начала занятий, а с ним прибыли пирог, лежавший, как в гнезде, среди апельсинов, и две бутылочки смородиновой настойки. Как повелевал мне долг, я сложил эти сокровища к ногам Стирфорта и просил ими распоряжаться.

– Вот что я скажу, юный Копперфилд, – заявил он, – вино надо сохранить, ты будешь смачивать им горло, когда рассказываешь.

Я покраснел и, по скромности своей, просил его об этом не беспокоиться. Но, по его словам, он давно заметил, что я иногда начинаю хрипеть – как он выразился, у меня «скребет в глотке» – и потому каждую каплю надлежит употребить для упомянутой им цели. Итак, настойка была заперта в его сундучок, он собственноручно отливал ее в пузырек и давал мне глотнуть через гусиное перо, просунутое в пробочку, когда, по его соображениям, я нуждался в подкреплении. Иногда, дабы усилить ее действие, он бывал так мил, что выжимал в пузырек апельсинный сок, подбавлял имбирю или мятных капель. И хотя я не уверен, выигрывало ли на вкус питье от этих экспериментов и можно ли было рекомендовать перед сном и рано утром такую смесь как целительное для желудка средство, но я выпивал его с благодарностью, и такая заботливость очень трогала меня.

Кажется, Перегрин занял у нас не один месяц и еще много месяцев другие произведения. Нашей затее, я уверен, не угрожал конец из-за недостатка книг, а настойки хватило почти на все это время. Бедняга Трэдлс – когда я думаю об этом мальчугане, мне почему-то всегда хочется смеяться, хотя на глазах у меня слезы, – бедняга Трэдлс играл роль хора: он делал вид, будто корчится от смеха в комических местах повествования и трясется от страха, когда речь идет о волнующих событиях. Но очень часто это было мне помехой. Помню, чтобы нас рассмешить, он стучал зубами при каждом упоминании об альгвазиле, участвовавшем в приключениях Жиль Блаза, а однажды этот злосчастный шутник так шумно изобразил приступ ужаса, когда Жиль Блаз встретился в Мадриде с главарем шайки разбойников, что его услышал бродивший по коридору мистер Крикл, который и высек нарушителя порядка в спальне.

Все, что было в моей душе романтического и мечтательного, укрепилось благодаря этим рассказам в темноте, и в этом отношении наша затея могла причинить мне вред. Но меня воодушевляло то обстоятельство, что в моем дортуаре ко мне относились как к своеобразной игрушке, а мой дар рассказчика приобрел в пансионе широкую известность и привлек ко мне внимание, хотя я был самым юным учеником. В школах, где царит неприкрытая жестокость, вряд ли могут обучать хорошо, даже безотносительно к тому, стоит ли во главе их тупица или человек знающий. Мне кажется, ученики моего пансиона были так же невежественны, как любые другие школяры; их слишком много запугивали и колотили, чтобы учение пошло впрок, и они могли добиться успехов не больше, чем тот, кто, живя среди постоянных мучений, терзаний и невзгод, старается добиться преуспеяния в жизни. Но мое детское тщеславие и помощь Стирфорта все-таки побуждали меня трудиться, и хотя это не избавляло меня от наказания, тем не менее я представлял собою исключение среди учеников, так как настойчиво подбирал крохи школьной премудрости.

Большею помощь мне оказал мистер Мелл, питавший ко мне слабость, о чем я вспоминаю с благодарностью. Мне всегда было тяжело видеть, как Стирфорт старается унизить его, не упуская случая оскорбить его чувства или подбить, на это других. Долгое время это мучило меня еще и потому, что Стирфорт, от которого я не мог скрыть тайну точно так же, как не мог утаить от него пирог или какой-нибудь другой осязаемый предмет, – Стирфорт очень скоро узнал от меня о двух старухах, к которым водил меня мистер Мелл; и я всегда опасался, как бы он не разболтал об этом и не начал его допекать.

Когда я завтракал в то первое утро и заснул под сенью павлиньих перьев и под звуки флейты, никто из нас, я уверен, не думал о возможных последствиях посещения богадельни

столь незначительной, как я, особой. Но этот визит имел непредвиденные последствия, и вдобавок очень серьезные.

Однажды, когда мистер Крикл по нездоровью оставался у себя, что, натурально, вызвало великую радость учеников, в классе во время утренних занятий было очень шумно. Трудно было справиться с мальчиками, вздохнувшими радостно и облегченно; и хотя ужасный Тангей два-три раза появлялся со своей деревяшкой и брал на заметку главных нарушителей тишины, это не произвело никакого впечатления, ибо ученики знали, что завтра им все равно попадет, как бы они себя ни вели, и, несомненно, считали более мудрым насладиться сегодняшним днем.

День был полупраздничный – суббота. Но шум на площадке для игр мог потревожить мистера Крикла, а для прогулки погода была неподходящая, и потому после полудня нам приказали идти в класс, хотя и задали более легкие уроки, чем обычно. В этот день, как всегда по субботам, мистер Шарп уходил завивать свой парик, и мистеру Меллу, привыкшему выполнять подсобную работу, пришлось управляться с учениками одному.

Если образ быка или медведя может прийти на ум в связи с таким кротким созданием, как мистер Мелл, то в этот день, когда шум и гам достигли самой высшей точки, я уподобил бы мистера Мелла одному из упомянутых животных, которого травит тысяча собак. Я вижу его – вот он склоняет над книгой, лежащей на пюпитре, голову, которая трещит от боли, поддерживает ее костлявой рукой и тщетно старается продолжать урок, несмотря на рев и гвалт, от которых даже у спикера палаты общин закружилась бы голова. Мальчишки вскакивают со своих мест, играют в «четыре угла», одни хохочут, поют, болтают, другие пляшут, улюлюкают, шаркают ногами по полу, третьи вертятся вокруг мистера Мелла, скалят зубы, строят рожи, передразнивают его и за его спиной и прямо перед его носом, издеваются над его бедностью, над его ботинками, над его фраком, над его матерью, надо всем, что с ним связано и что они должны были бы уважать.

– Тише! – восклицает мистер Мелл, вдруг подымаясь и хлопая книгой по пюпитру. – Что это? Это же невыносимо! Можно с ума сойти! Мальчики! Как вы смеете держать себя так со мной?!

Это была моя книга. Я стою возле него, слежу за его взглядом, озирающим комнату, и вижу, как все замерли, – одни от изумления, другие чуть-чуть испугавшись, а некоторые, быть может, смущенные.

Место Стирфорта – в глубине длинной комнаты, в противоположном углу. Он стоит, прислонившись спиной к стене и заложив руки в карманы, и когда взор мистера Мелла останавливается на нем, он складывает губы так, словно только что свистел.

– Тише, мистер Стирфорт! – говорит мистер Мелл.

– Сами вы тише! – отвечает, покраснев, Стирфорт. – Кому вы это говорите?

– Садитесь! – приказывает мистер Мелл.

– Сами садитесь и занимайтесь своим делом! – отвечает Стирфорт.

Слышится хихиканье и аплодисменты, но мистер Мелл так бледен, что мгновенно воцаряется тишина, а один из учеников, собравшийся за его спиной снова изобразить его мать, передумывает и делает вид, будто ему нужно очинить перо.

– Если вы думаете, Стирфорт, что мне неизвестно о вашем влиянии на них, – тут мистер Мелл кладет мне на голову руку, сам того не замечая, как мне кажется, – или что я не видел, как вы всего несколько минут назад подбивали малышей на разные наглые выходки против меня, то вы ошибаетесь.

– Я вообще о вас не думаю, – не стоит труда, – а потому и не могу ошибаться, – холодно отвечает Стирфорт.

– И если вы пользуетесь здесь своим положением фаворита, – губы у мистера Мелла начинают дрожать, – чтобы оскорблять джентльмена…

– Джентльмена? А где он? – перебивает Стирфорт. Тут кто-то восклицает:

– Стыдно, Стирфорт! Очень нехорошо!

Это кричит Трэдлс. Немедленно мистер Мелл приказывает ему замолчать.

– …оскорблять, сэр, того, кому в жизни не повезло и кто не причинил вам ни малейшей обиды… Вы уже не ребенок и достаточно умны, чтобы понять и этого не делать… – губы мистера Мелла дрожат все больше, – значит, вы поступаете низко и подло… Можете сесть или стоять, как вам будет угодно. Копперфилд, продолжайте.

– Погоди, Копперфилд, – говорит Стирфорт, выходя на середину комнаты, – погоди… Вот что я вам скажу, мистер Мелл, раз и навсегда: вы осмеливаетесь называть меня низким и подлым, но вы-то сами – наглый нищий! Нищим вы были всегда, вы это знаете, но теперь оказывается, что вы наглый нищий!

Собирался ли он ударить мистера Мелла, или мистер Мелл – его, а может быть, у обоих было такое намерение – не знаю, но я вижу, как все каменеют, и вдруг среди нас появляется мистер Крикл рядом с Тангеем, а в дверь заглядывают испуганные миссис и мисс Крикл. Мистер Мелл облокачивается на пюпитр, закрывает лицо руками и сидит неподвижно.

– Мистер Мелл! – произносит мистер Крикл, хватая его за плечо, и сипенье мистера Крикла слышно столь отчетливо, что Тангею нет нужды повторять его слова: – Мистер Мелл, надеюсь, вы не забылись?

– Нет, сэр… нет, – говорит учитель, открывая лицо, покачивая головой и судорожно потирая руки. – Нет, сэр… нет. Я опомнился, я… нет, я не забылся, сэр. Я опомнился, я… я бы хотел только, чтобы вы пораньше вспомнили обо мне, мистер Крикл. Это, – это было бы более великодушно, более справедливо, сэр. Это избавило бы меня, сэр, от многого…

Мистер Крикл, не спуская глаз с мистера Мелла, опирается рукой на плечо Тангея, ставит ногу на скамейку и усаживается на пюпитр. Бросив с этого трона суровый взгляд на мистера Мелла, который, все еще в страшном возбуждении, качает головой и потирает руки, мистер Крикл поворачивается к Стирфорту и говорит:

– Раз он не снисходит до объяснений, может быть, вы, сэр, скажете, что это все значит?

Сначала Стирфорт уклоняется от ответа, гневно и пренебрежительно смотрит на своего противника и молчит. Помню, даже в этот момент я не мог не подумать о том, какая благородная у него осанка и каким неказистым и простоватым кажется по сравнению с ним мистер Мелл.

– Что он подразумевал, когда говорил о фаворитах? – произносит, наконец, Стирфорт.

– О фаворитах?! – повторяет мистер Крикл, и вены у него на лбу сразу вздуваются. – Кто говорил о фаворитах?

– Он! – произносит Стирфорт.

– Объясните, сэр, что вы под этим подразумевали? – раздраженно спрашивает мистер Крикл, поворачиваясь к своему помощнику.

– Я подразумевал, мистер Крикл, то, что сказал, а именно, что никто из ваших учеников не имеет права пользоваться своим положением фаворита, чтобы унижать меня, – тихо говорит мистер Мелл.

– Унижать вас?! – сипит мистер Крикл. – Бог ты мой! Но позвольте-ка вас спросить, мистер… как вас там зовут… – тут мистер Крикл скрещивает на груди руки и так сдвигает брови, что почти не видно его маленьких глазок, – позвольте вас спросить, оказываете ли вы должное уважение мне, говоря о фаворитах? Мне, сэр? – Мистер Крикл вдруг наклоняется к нему, словно хочет его боднуть, и снова выпрямляется. – Мне, главе этого заведения и вашему хозяину?!

– Готов признать, что это было неуместно, сэр. Будь я поспокойнее, я не поступил бы так, – говорит мистер Мелл.

Тут вмешивается Стирфорт:

– Потом он сказал, что я низок, сказал, что я подл, и тогда я назвал его нищим. Если бы я был спокоен, возможно я не назвал бы его нищим. Но я назвал и готов отвечать за последствия!

Меня бросает в жар от этой смелой речи, хотя, быть может, я не задумываюсь над тем, угрожают ли ему какие-нибудь последствия. Столь же сильное впечатление она производит на учеников; среди них легкое движение, хотя никто не произносит ни слова.

– Меня удивляет, Стирфорт, – говорит мистер Крикл, – хотя ваша искренность делает вам честь, да, делает вам честь, меня все же удивляет, Стирфорт, что вы могли так назвать человека, служащего, сэр, и получающего жалованье в Сэлем-Хаусе.

Стирфорт усмехается.

– Это не ответ на мое замечание, сэр. От вас, Стирфорт, я жду большего, – сипит мистер Крикл.

Если мистер Мелл казался мне неказистым по сравнению с красивым юношей, то невозможно описать, сколь неказист был мистер Крикл.

– Посмотрим, как он будет это отрицать, – говорит Стирфорт.

– Отрицать, что он нищий? – восклицает мистер Крикл. – Да где же он просил милостыню?

– Если не он сам, то его ближайшая родственница. Это одно и то же, – заявляет Стирфорт.

Тут он взглядывает на меня, а рука мистера Мелла ласково поглаживает меня по плечу. Лицо у меня пылает, раскаяние гнетет мне сердце, я смотрю на мистера Мелла, но тот не сводит глаз со Стирфорта. Он не перестает ласково поглаживать меня по плечу, но смотрит на Стирфорта.

– Так как вы ждете от меня оправданий и объяснения, то я могу сказать, мистер Крикл, что я имел в виду: его мать живет на подаяния в богадельне! – говорит Стирфорт.

Мистер Мелл все еще смотрит на него и все еще поглаживает меня по плечу, и – если я не ослышался, – он тихо шепчет:

– Да, я так и знал.

Грозно нахмурившись, мистер Крикл с притворной вежливостью обращается к своему помощнику:

– Мистер Мелл! Вы слышите этого джентльмена? Не будете ли вы так любезны, прошу вас, опровергнуть перед всеми учениками справедливость его утверждения?

– Он прав, сэр… То, что он сказал, – чистая правда, – раздается в мертвой тишине ответ Мистера Мелла.

– Будьте добры, сообщите во всеуслышание, знал ли я об этом вплоть до сего момента? – спрашивает мистер Крикл, склонив голову набок и обводя взглядом комнату.

– Я не думаю, что вам это было достоверно известно, – говорит тот.

– Не думаете?! Да разве вы этого не знаете точно?

– Мне кажется, вы никогда не считали мое положение завидным. Вы знаете, каковы мои дела, и всегда это знали, – отвечает помощник.

– А мне кажется, уж коли на то пошло, что вы сильно ошибались и принимали мой пансион за бесплатную школу для бедняков, – говорит мистер Крикл, и вены у него на лбу вздуваются еще больше. – Мистер Мелл, мы должны расстаться. И чем скорей, тем лучше.

– Раз так, то лучше всего сделать это сейчас, – отвечает мистер Мелл и встает.

– Для вас это будет лучше всего, сэр! – говорит мистер Крикл.

– Я ухожу от вас, мистер Крикл, и покидаю вас всех, – говорит мистер Мелл, обводя взглядом комнату и снова ласково поглаживает меня по плечу. – Лучшее, что я могу вам пожелать, Джеймс Стирфорт, это устыдиться содеянного сегодня. А в настоящее время я меньше всего желал бы считать вас своим другом или другом тех, к кому я расположен.

Снова он кладет руку мне на плечо, а затем, вынув из пюпитра свою флейту и стопку книг и оставив ключ для своего преемника, покидает пансион, унося под мышкой свое имущество. Вслед за этим мистер Крикл с помощью Тангея произносит речь, в которой благодарит Стирфорта за защиту (может быть, слишком горячую) независимости и репутации Сэлем-Хауса и в заключение пожимает ему руку, а мы трижды кричим «ура», – я не совсем понимаю почему, но полагаю, что в честь Стирфорта, – и я тоже кричу восторженно, хотя на сердце у меня тяжело. Потом мистер Крикл расправляется тростью с Томми Трэдлсом, когда обнаруживается, что тот не кричал «ура», а плакал по поводу ухода мистера Мелла. Наконец мистер Крикл возвращается к своему дивану или в постель, во всяком случае туда, откуда пришел.

Теперь мы предоставлены самим себе и смущенно посматриваем друг на друга. Я так огорчен и так укоряю себя за участие в происшедшем, что от слез меня удерживают только опасения, как бы Стирфорт, часто поглядывающий на меня, не почел недружелюбием или, вернее, непочтительностью – принимая во внимание разницу в возрасте и мое отношение к нему – проявление чувств, которые меня мучают. Он был очень рассержен на Трэдлса и выразил удовольствие, что того наказали.

Бедняга Трэдлс, чья голова уже поднялась с пюпитра, а сам он, как всегда, принялся утешаться вереницей скелетов, – бедняга Трэдлс заявил, что это ровно ничего не значит. С мистером Меллом поступили плохо.

– Кто же с ним плохо поступил, отвечай, девчонка? – спросил Стирфорт.

– Кто? Ты, вот кто! – был ответ.

– Что же я сделал?

– Что ты сделал? Оскорбил его и лишил службы! – немедленно ответил Трэдлс.

– Оскорбил? – презрительно повторил Стирфорт. – Ручаюсь, он недолго будет об этом помнить. У него не такое чувствительное сердце, как у вас, мисс Трэдлс. А что до службы – ах, какая у него была превосходная служба! – неужто ты думаешь, что я не напишу домой и не позабочусь о том, чтобы ему послали денег? Эх ты, девчонка!

Намерение Стирфорта мы сочли весьма благородным; его мать была богатая вдова и, по слухам, исполняла почти все, о чем бы он ни просил. Мы очень радовались поражению Трэдлса и до небес превозносили Стирфорта, в особенности когда он удостоил нас заявления, что сделал это только ради нас и ради нашего блага и этим бескорыстным деянием оказывает нам великую милость.

Но когда в тот вечер, как обычно, я начал в темноте свое повествование, то, сознаюсь, мне не раз слышались унылые звуки флейты мистера Мелла; когда же Стирфорт, наконец, устал, а я улегся в постель, мне чудилось, флейта звучит где-то так скорбно, что я почувствовал себя совсем несчастным.

Однако я скоро забыл о мистере Мелле, созерцая Стирфорта, который легко и охотно, без единой книжки (мне казалось, он знает все наизусть), готовил с нами некоторые уроки, пока не нашли нового учителя.

Новый учитель пришел из грамматической школы[15] и, прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей, обедал один раз у мистера Крикла, чтобы познакомиться со Стирфортом. Стирфорт отозвался о нем очень одобрительно и назвал его «хватом». Я не знал точно, какие ученые заслуги обозначает это слово, но проникся к нему большим уважением и не сомневался в его великой учености, хотя он никогда не уделял моей ничтожной особе столько внимания, сколько уделял мистер Мелл.

В то полугодие произошло еще одно событие, нарушившее течение школьной жизни и запечатлевшееся в моей памяти. Запечатлелось оно по многим причинам.

Однажды, когда мы дошли до полного отупения, а мистер Крикл свирепо колотил тростью направо и налево, вошел Тангей и провозгласил своим зычным голосом:

– Гости к Копперфилду!

Он обменялся несколькими словами с мистером Криклом, сообщил, кто такие эти гости, и осведомился, где их принять; я встал, как полагалось в таких случаях, и, едва держась на ногах от изумления, получил приказ идти через черный ход, надеть чистую манишку и отправиться в столовую. Я повиновался с такой стремительностью, которой не знал за собой раньше. Но когда я подошел к двери приемной, у меня вдруг мелькнула мысль, не приехала ли ко мне моя мать, – раньше я думал только о мистере и мисс Мэрдстон, – и я отнял руку от двери и остановился на минуту, чтобы справиться со слезами, прежде чем войти.

Вначале я не увидел никого, но кто-то стоял за дверью, потому что она не открылась до конца, я заглянул за дверь и там, к моему удивлению, обнаружил мистера Пегготи и Хэма, которые махали мне шляпами, прижимая друг друга к стене. Я не мог удержаться от смеха, который был вызван не столько их видом, сколько радостью свидания. Мы пожали друг другу руки с большим чувством, а я все смеялся и смеялся, пока не вытащил носовой платок, чтобы вытереть глаза.

Мистер Пегготи (помнится, в течение всего визита он стоял с разинутым ртом) страшно взволновался, увидев меня плачущим, и подтолкнул Хэма, чтобы тот сказал мне что-нибудь.

– Веселей, мистер Дэви! – подбодрил меня Хэм, по своему обыкновению осклабившись. – Как вы выросли!

– Разве я вырос? – переспросил я, снова вытирая глаза. Не знаю, почему я плакал, должно быть от радости при виде старых друзей.

– Выросли, мистер Дэви! Еще как выросли! – сказал Хэм.

– Еще как выросли! – подтвердил мистер Пегготи.

И они начали смеяться, глядя друг на друга, и снова рассмешили меня, и так мы смеялись все трое, пока я не почувствовал, что вот-вот снова заплачу.

– Как поживает мама? Вы что-нибудь о ней знаете, мистер Пегготи? – спросил я. – И моя милая, добрая Пегготи?

– Как полагается, – ответил мистер Пегготи.

– А малютка Эмли и миссис Гаммидж?

– Как полагается! – сказал мистер Пегготи.

Наступило молчание. Дабы прервать его, мистер Пегготи вытащил из карманов двух огромных омаров, гигантского краба, большой мешок с креветками и нагрузил всем этим Хэма.

– Видите ли, мы помним, что вы не прочь были полакомиться, когда жили у нас, и потому решились… А старуха сварила их. Я хочу сказать – миссис Гаммидж сварила. Вот именно, миссис Гаммидж сварила их, будьте уверены… – медленно говорил мистер Пегготи, по-видимому уцепившись за эту тему потому, что не знал, как ухватиться за другую.

Я горячо поблагодарил их, а мистер Пегготи, бросив взгляд на Хэма, растерянно взиравшего на всех этих ракообразных и даже не помышлявшего прийти ему на помощь, – мистер Пегготи сказал:

– Изволите видеть, мы, значит, шли из Ярмута в Грейвзенд. А тут как раз отлив и попутный ветер… Моя сестра мне написала, где вы проживаете, и еще написала, что когда попаду я в Грейвзенд, то чтобы обязательно повидал мистера Дэви, сказал, что она кланяется, и еще сказал, что все семейство поживает как полагается. Изволите видеть, малютка Эмли напишет

сестре, как я вернусь домой, что я, мол, вас повидал и вы тоже поживаете как полагается. Вот так у нас и пойдет карусель…

Мне пришлось немного подумать, прежде чем я понял, что мистер Пегготи под этим выражением разумеет передачу сообщений от одного к другому по кругу. Я поблагодарил его от всего сердца и спросил, чувствуя, что краснею, не изменилась ли малютка Эмли с той поры, как мы собирали с ней на берегу ракушки и камешки.

– Да она стала совсем взрослой, вот как! – ответил мистер Пегготи. – Спросите-ка его.

Он имел в виду Хэма, который расплылся в улыбку и радостно закивал головой, прижимая к груди мешок с креветками.

– А личико-то какое красивое! – сказал мистер Пегготи, сияя от удовольствия.

– А какая ученая! – прибавил Хэм.

– А как пишет! – продолжал мистер Пегготи. – Буквы-то черные, как смола, и такие большие, что их видать откуда хочешь!

Приятно было наблюдать, в какой восторг пришел мистер Пегготи, вспоминая свою любимицу! Вот он словно стоит передо мной. Я вижу его добродушное, обросшее бородой лицо, светящееся такой любовью и гордостью, что и описать невозможно. Честные глаза сверкают, словно в глубине их вспыхивает огонек. Широкая грудь вздымается от удовольствия. Возбужденный, он стискивает свои сильные кулаки и, когда говорит, для пущей выразительности размахивает правой рукой, которая кажется мне, пигмею, огромным молотом.

Хэм был в таком же возбуждении, как и он. Мне кажется, они рассказали бы еще немало о малютке Эмди, если бы их не смутило внезапное появление Стирфорта, который, увидев меня в углу беседующим с незнакомцами, оборвал песенку и, бросив: «Я не знал, что ты здесь, Копперфилд» (гостей обычно принимали в другой комнате), повернулся, чтобы уйти.

Не знаю, захотел ли я похвастать таким другом, как Стирфорт, или объяснить ему, каким образом я приобрел такого друга, как мистер Пегготи, но я робко сказал (боже мой, как ясно припоминаю я все это столько времени спустя!):

– Пожалуйста, не уходите, Стирфорт. Это два моряка из Ярмута, очень славные, добрые люди, родственники моей няни, они приехали из Грейвзенда повидать меня.

– Ах, вот что! – промолвил, возвращаясь, Стирфорт. – Рад познакомиться. Как поживаете?

В его обращении с людьми была какая-то простота, какая-то веселая, но отнюдь не развязная непринужденность, которая – я и теперь так думаю – просто очаровывала. Я и теперь думаю, что благодаря его обхождению, жизнерадостности, приятному голосу, красивому лицу, фигуре и врожденному дару привлекать людей (обладают им очень немногие) казалось вполне естественным поддаться его чарам, которым мало кто мог противостоять. Я видел, как понравился он им обоим, немедленно открывшим ему свои сердца.

– Когда вы будете посылать свое письмо, мистер Пегготи, – сказал я, – пожалуйста, сообщите, что мистер Стирфорт очень добр ко мне, и я не знаю, что бы я здесь делал, не будь его.

– Пустяки! – засмеялся Стирфорт. – Не пишите этого.

– И если мистер Стирфорт приедет в Норфолк или Суффолк, когда я там буду, то можете не сомневаться, мистер Пегготи, мне удастся привезти его в Ярмут посмотреть ваш дом. Вы никогда не видели такого чудесного дома. Стирфорт. Он сделан из баркаса!

– Сделан из баркаса? – переспросил Стирфорт. – Это самый подходящий дом для такого заправского моряка!

– Вот именно, сэр, – ухмыльнулся Хэм. – Вы совершенно правы, молодой джентльмен. Джентльмен прав, мистер Дэви! Заправский моряк! Здорово! Прямо в точку!

Мистер Пегготи был так же доволен, как и его племянник, но скромность мешала ему выразить свое одобрение столь же красноречиво.

– Спасибо вам, сэр, спасибо… – проговорил он, отвешивая поклоны, сияя от удовольствия и комкая концы шейного платка. – Делаю все, что полагается по моей части, сэр.

– Большего никто и не может сделать, мистер Пегготи, – сказал Стирфорт, который уже запомнил, как его зовут.

– Бьюсь об заклад, сэр, что и вы так делаете! – потряхивая головой, сказал мистер Пегготи. – И что бы вы ни делали – вы делаете хорошо. Спасибо вам, сэр. Очень признателен вам, сэр, за ваше доброе слово. Может, я и грубоват, сэр, но зато человек я покладистый, смею думать, я хочу сказать – надеюсь, сэр… Мой-то дом нечего смотреть, но он весь к вашим услугам, сэр, если бы вы приехали вместе с мистером Дэви. Но, право, я слизень! – продолжал он, разумея под этим словом улитку, ибо медлил уходить, хотя после каждой фразы порывался уйти, но почему-то оставался. – Желаю вам обоим удачи, желаю счастья…

Хэм, как эхо, повторил эти слова, и мы распростились с ними самым сердечным образом. В этот вечер я чуть было не рассказал Стирфорту о милой малютке Эмли, но постеснялся заговорить о ней и не был уверен, не поднимет ли он меня на смех. Помнится, я много и с беспокойством размышлял о словах мистера Пегготи, будто она стала совсем взрослой, но решил, что это вздор.

Мы незаметно пронесли крабов и креветок, – которых мистер Пегготи скромно назвал лакомством, – в нашу спальню, и перед сном у нас был превосходный ужин. Но Трэдлсу это пиршество не пошло на пользу, не в пример всем остальным. Ему и тут не повезло. Ночью он заболел – он совсем обессилел, – и все из-за краба. А проглотив черную микстуру и синие пилюли в количестве вполне достаточном, по словам Демпла (его отец был доктор), чтобы свалить с ног лошадь, он, в дополнение, отведал трости и получил, сверх обычных уроков, шесть глав Нового завета по-гречески за нежелание сознаться во всем.

Конец полугодия оставил у меня сумбурное воспоминание о повседневных жизненных испытаниях: проходит лето, и наступает осень; морозные утра, когда нас будит колокол, и холодные-холодные вечера, когда снова звонит колокол и надо ложиться спать; классная комната по вечерам, тускло освещенная и почти нетопленная, и классная комната по утрам, напоминающая огромный ледник; чередование вареной говядины с жареной говядиной, вареной баранины и жареной баранины, гора бутербродов с маслом, зачитанные до дыр учебники, треснувшие грифельные доски, закапанные слезами тетради, расправа тростью и линейкой, стрижка, дождливые воскресенья, пудинги на сале, и все это пропитано противным запахом чернил.

Однако я хорошо помню, как далекие каникулы, столь долго казавшиеся неподвижной точкой, начинают приближаться к нам, и точка все растет и растет. Помню, как сперва мы ведем счет месяцами, затем неделями и, наконец, днями, помню, как я начинаю сомневаться, вызовут ли меня домой, а когда узнаю от Стирфорта, что меня вызвали и я непременно поеду домой, меня начинают томить мрачные предчувствия: а что, если я сломаю ногу до наступления каникул? И вот уже стремительно надвигается последний день занятий! На той неделе, на этой, послезавтра, завтра, сегодня, сегодня вечером… и вот я в ярмутской почтовой карете и еду домой.

В ярмутской почтовой карете я спал урывками, и в неясных сновидениях возникало передо мной все, что за это время произошло. Но когда я просыпался, за окном кареты уже не было площадки для игр Сэлем-Хауса, и до меня доносились не удары, расточаемые мистером Криклом Трэдлсу, а щелканье бича, которым кучер понукал лошадей.

Глава VIII

Мои каникулы. Один день, особенно счастливый

Когда мы прибыли еще до зари в гостиницу, где останавливалась почтовая карета, – не в ту гостиницу, в которой служил мой приятель лакей, – меня проводили наверх, в уютную маленькую спальню с нарисованным на двери дельфином.[16] Помню, мне было очень холодно, хотя меня и напоили внизу горячим чаем перед ярко пылавшим камином, и я с радостью улегся в постель Дельфина, Закутался с головой одеялом Дельфина и заснул.

Возчик, мистер Баркис, должен был заехать за мной в девять часов утра. Я встал в восемь, голова у меня слегка кружилась, потому что я не выспался, и я был готов к отъезду раньше назначенного срока. Он встретил меня так, словно и пяти минут не прошло с тех пор, как мы расстались, и я только заглянул в гостиницу разменять шестипенсовик, или что-нибудь в этом роде.

Как только я очутился со своим сундучком в повозке и возчик занял свое место, ленивая лошадка тронулась в путь привычным своим шагом.

– У вас прекрасный вид, мистер Баркис, – сказал я, полагая, что ему приятно будет это услышать.

Мистер Баркис потер щеку обшлагом рукава и посмотрел на обшлаг, словно ожидал увидеть на нем следы румянца, но ничего не сказал в ответ на мой комплимент.

– Я исполнил ваше поручение, мистер Баркис, я написал Пегготи, – сказал я.

– А! – отозвался мистер Баркис.

У мистера Баркиса был хмурый вид, и ответил он сухо.

– Что-нибудь я не так сделал, мистер Баркис? – нерешительно спросил я.

– Нет, ничего, – сказал мистер Баркис.

– И поручение исполнено?

– Поручение-то, может, и исполнено, да толку никакого нет, – отозвался мистер Баркис.

Не понимая, о чем он говорит, я стал допытываться:

– Никакого толку нет, мистер Баркис?

– Ничего из этого не вышло, – пояснил он, искоса посмотрев на меня. – Никакого ответа.

– Так, значит, нужен был ответ, мистер Баркис? – спросил я, широко раскрыв глаза: дело представилось мне в новом освещении.

– Если человек говорит, что он не прочь, – начал мистер Баркис еще раз поглядев на меня, – значит, это все равно, что сказать: человек ждет ответа.

– И что же, мистер Баркис?

– А человек и по сю пору ждет ответа, – произнес мистер Баркис, опять уставившись на уши своей лошади.

– Вы ей об этом сказали, мистер Баркис?

– Н-нет, – подумав, проворчал мистер Баркис. – Незачем мне было заезжать туда и говорить. Сам-то я никогда и полдесятка слов ей не сказал. И уж я-то не собираюсь с ней говорить.

– Вы бы хотели, чтобы я это сделал, мистер Баркис? – поколебавшись, спросил я.

– Можете сказать ей, коли хотите, – промолвил мистер Баркис, снова медленно переводя на меня взгляд, – можете сказать, что Баркис ждет ответа. Как, вы говорите, ее зовут?

– Как ее зовут?

– Да, – кивнул головой мистер Баркис.

– Пегготи.

– Это фамилия у нее такая или имя? – спросил мистер Баркис.

– О нет, не имя. Ее имя Клара.

– Вот оно как! – сказал мистер Баркис.

Казалось, это обстоятельство дало ему обильную пищу для размышлений, и некоторое время он сидел в раздумье и насвистывал себе под нос.

– Ну так вот, – произнес он наконец, – вы скажете: «Пегготи! Баркис ждет ответа». А она, может, скажет: «Какого ответа?» А вы скажете: «Ответа на то, что я вам передал». – «А что вы передали?» – скажет она. «Баркис не прочь», – скажете вы.

После такого хитроумного предложения мистер Баркис толкнул меня локтем в бок, причинив весьма ощутительную боль. Затем он, по своему обыкновению, ссутулился перед крупом лошади и больше не возвращался к затронутой теме, но через полчаса достал из кармана кусок мела и написал с внутренней стороны навеса над повозкой: «Клара Пегготи», – очевидно, чтобы не запамятовать.

Ах, какое это было странное чувство – возвращаться в родной дом, уже переставший быть родным, убеждаясь, что каждый попадающийся мне на глаза предмет напоминает о счастливом старом доме, как о сне, который больше никогда не может мне присниться! Дни, когда моя мать, я и Пегготи жили друг для друга и между нами никто не стоял, – дни эти я вспоминал с такой тоской, пока ехал, что не был уверен, рад ли я своему возвращению и не лучше ли было мне остаться вдалеке от дома и забыть о нем в обществе Стирфорта. Но я уже вернулся; и скоро я подъехал к нашему саду, где в холодном зимнем воздухе ломали себе бесчисленные руки оголенные старые вязы, а по ветру неслись прутики старых грачиных гнезд.

Возчик поставил мой сундучок у калитки и уехал. Я пошел по дорожке к дому, посматривая на окна и на каждом шагу опасаясь увидеть в одном из них мрачную физиономию мистера Мэрдстона или мисс Мэрдстон. Но никто не появлялся; подойдя к дому и зная, что до наступления сумерек можно открыть дверь самому, без стука, я вошел тихими, робкими шагами.

Бог весть какие далекие, младенческие воспоминания могли пробудиться у меня при звуках голоса моей матери, доносившихся из старой гостиной, когда я вошел в холл. Мать тихонько напевала. Должно быть, давным-давно, когда я был еще младенцем, я лежал у нее на руках и слушал, как она мне поет… Напев показался мне новым и в то же время таким знакомым, что сердце мое переполнилось до краев, как будто старый друг вернулся после долгого отсутствия.

Одиноко и задумчиво звучала эта песенка, и я решил, что мать одна. Я тихо вошел в комнату. Она сидела у камина, кормила грудью младенца и придерживала у себя на шее его крошечную ручонку. Ее глаза были опущены и устремлены на личико ребенка, и она пела ему. Но больше никого с ней не было – отчасти моя догадка оказалась правильной.

Я заговорил с ней, а она встрепенулась и вскрикнула. Но увидев, что это я, она назвала меня своим дорогим Дэви, своим родным мальчиком, пошла мне навстречу, опустилась на колени, поцеловала меня, положила мою голову себе на грудь рядом с маленьким существом, приютившимся там, и поднесла его ручонки к моим губам.

Почему не умер я тогда? Как хотел бы я умереть в ту минуту, когда мое сердце было переполнено! Больше чем когда-либо я достоин был в эту минуту быть взятым на небеса.

– Это твой брат, – сказала мать, лаская меня. – Дэви, милый мой мальчик! Мое бедное дитя!

Снова и снова она целовала меня и обнимала. Она все еще меня ласкала, когда вбежала Пегготи, бросилась перед нами на колени и минут на десять как будто сошла с ума.

Выяснилось, что меня не ждали так рано, – возчик приехал гораздо раньше, чем обычно. Выяснилось также, что мистер и мисс Мэрдстон ушли в гости к соседям и вернутся только к ночи. На это я и надеяться не смел. Мне даже в голову не приходило, что мы трое сможем посидеть еще разок вместе, без помех, и теперь я почувствовал себя так, словно вернулись былые дни.

Мы обедали вместе у камина. Пегготи хотела прислуживать нам, но моя мать не позволила и заставила ее пообедать с нами. Мне подали мою собственную старую тарелку с изображенным на ней коричневым военным кораблем, плывущим на всех парусах, – тарелку, которую Пегготи все время где-то хранила, пока меня не было, и, как утверждала она, не разбила бы ее и за сто фунтов. Мне подали мою собственную старую кружку, украшенную надписью: «Дэвид», и мою собственную маленькую вилку и ножик, который ничего не резал.

Пока мы сидели за столом, я решил, что настал удобный момент сообщить Пегготи о мистере Баркисе, но не успел я договорить, как Пегготи начала смеяться и закрыла лицо передником.

– В чем дело, Пегготи? – спросила моя мать.

Но Пегготи захохотала еще громче, а когда мать попыталась сдернуть передник, она плотно закуталась в него, и голова ее очутилась как будто в мешке.

– Что вы делаете, глупое вы создание? – смеясь, осведомилась моя мать.

– Ох, пропади он пропадом! – воскликнула Пегготи. – Он хочет на мне жениться.

– Для вас это была бы очень хорошая партия, – сказала мать.

– Ох, уж и не знаю! – отозвалась Пегготи. – Не просите меня! Я бы за него не пошла, будь он весь из золота. Да и ни за кого бы не пошла.

– Так почему же вы ему этого не скажете, смешная вы женщина? – спросила мать.

– Да как же ему сказать? – возразила Пегготи, выглядывая из-под передника. – Он со мной и словечком об этом не обмолвился. Уж он-то знает! Посмей он только заикнуться, я бы влепила ему пощечину.

У самой Пегготи щеки были такие красные, каких я никогда еще не видывал ни у нее, ни у кого бы то ни было другого; но она снова прикрыла их на несколько мгновений, потому что снова разразилась неудержимым смехом, а после двух-трех таких приступов опять принялась за обед.

Я заметил, что моя мать стала более серьезной и задумчивой, хотя она и улыбнулась, когда Пегготи посмотрела на нее. Я сразу увидел, что она изменилась. Она по-прежнему была очень хорошенькой, но казалась озабоченной и слишком слабой, а рука у нее была такая тонкая и белая, почти прозрачная. Но сейчас я имею в виду другую перемену: изменилась ее манера держать себя, в ней чувствовалось какое-то беспокойство, какая-то тревога. Наконец она протянула руку и, ласково коснувшись руки своей старой служанки, сказала:

– Пегготи, милая, вы не собираетесь замуж?

– Это я-то, сударыня? – вздрогнув, отвечала Пегготи. – Нет, господь с вами!

– Еще не собираетесь сейчас? – мягко спросила моя мать.

– Никогда! – воскликнула Пегготи. Моя мать взяла ее за руку и сказала:

– Не покидайте меня, Пегготи. Останьтесь со мной. Теперь, может быть, уже недолго ждать. Что бы я без вас делала?

– Это я-то вас покину, мое сокровище? – вскрикнула Пегготи. – Да ни за какие блага в мире! И как это пришла такая мысль в вашу глупенькую головку?

Дело в том, что Пегготи издавна привыкла говорить иной раз с моей матерью, как с ребенком.

Моя мать только поблагодарила ее в ответ, а Пегготи, по своему обыкновению, продолжала не переводя духа:

– Это я-то вас покину? Как бы не так! Пегготи от вас уйдет? Хотела б я изловить ее на этом деле! Нет, нет, нет! – воскликнула Пегготи, качая головой и складывая руки. – Уж она-то не уйдет, дорогая моя! Правда, есть такие кошки, которые были бы очень довольны, если бы она ушла, но этого удовольствия они не получат. Пусть себе шипят! Я останусь с вами, пока не

превращусь в сердитую, сварливую старуху. А когда я буду глухой, и хромой, и слепой и шамкать начну, потому что все зубы растеряю, и вовсе уже ни на что не буду годна, даже на то, чтобы придираться ко мне, тогда я пойду к моему Дэви и попрошу его принять меня.

– А я, Пегготи, буду рад тебе и приму тебя как королеву, – заявил я.

– Да благословит бог ваше доброе сердечко! – воскликнула Пегготи. – Я знаю, что вы меня примете!

И она поцеловала меня, заранее благодаря за радушный прием. Потом она снова закрыла голову передником и еще раз посмеялась над мистером Баркисом. Потом она вынула младенца из колыбельки и стала нянчиться с ним. Потом убрала со стола, потом пришла уже в другом чепце и со своей рабочей шкатулкой, сантиметром и огарком восковой свечи – точь-в-точь как в былые времена. Мы расположились у камина и чудесно беседовали. Я рассказал им о том, какой жестокий учитель мистер Крикл, а они очень жалели меня. Рассказал я и о том, какой превосходный человек Стирфорт и как он мне покровительствует, а Пегготи объявила, что готова пройти пешком двадцать миль, только бы поглядеть на него. Я взял на руки малютку, когда он проснулся, и нежно баюкал его. Когда он опять заснул, я, по старой своей привычке, от которой давно уже отвык, примостился около матери, обнял ее, прижался румяной щекой к ее плечу и снова почувствовал, что ее прекрасные волосы осеняют меня – словно ангельское крыло, как думал я в былые времена, – какое это было для меня счастье!

Когда я так сидел подле нее, смотрел на огонь и мне мерещились призрачные картины в раскаленных углях, я почти верил, что никогда не уезжал отсюда, что мистер и мисс Мэрдстон были такими же призраками, которые исчезнут вместе с угасающим огнем, и что нет в моих воспоминаниях ничего истинного, кроме моей матери, Пегготи и меня.

Пегготи штопала чулок, пока не стемнело, а потом, натянув его на левую руку, как перчатку, сидела и держала в правой руке иголку, готовая сделать стежок, как только вспыхнут угли. Понять не могу, чьи это чулки вечно штопала Пегготи и откуда брался этот неистощимый запас чулок, нуждавшихся в штопке. Мне кажется, с самого раннего моего детства она всегда занималась только таким видом рукоделья и никаким другим.

– Любопытно мне знать, – начала Пегготи, которая иной раз начинала ни с того ни с сего любопытствовать о самых неожиданных вещах, – что сталось с бабушкой Дэви.

– Ах, боже мой, Пегготи, какой вздор вы говорите! – воскликнула моя мать, очнувшись от грез.

– Нет, право же, любопытно было бы знать, сударыня, – повторила Пегготи.

– Почему это вам взбрела в голову мысль об этой особе? Разве вам больше не о ком думать? – осведомилась мать.

– Не знаю, почему оно так случилось, – отвечала Пегготи, – разве что по глупости, но моя голова не умеет выбирать, о ком ей думать. Мысли приходят в нее или не приходят, как им заблагорассудится. Мне любопытно, что сталось с ней.

– Какая вы странная, Пегготи! Можно подумать, что вы были бы рады, если бы она посетила нас еще раз.

– Не дай бог! – воскликнула Пегготи.

– Ну, так будьте добры, не говорите о таких неприятных вещах, – попросила мать. – Несомненно, мисс Бетси живет затворницей в своем коттедже на берегу моря да там уж и останется. Во всяком случае, вряд ли она потревожит нас снова.

– Да-а-а, вряд ли, – задумчиво промолвила Пегготи. – Любопытно мне знать, оставит ли она что-нибудь Дэви, когда умрет.

– О, господи, Пегготи, какая вы неразумная женщина! – воскликнула моя мать. – Ведь вы же знаете, как она разобиделась на то, что бедный мальчик вообще на свет родился!

– Пожалуй, она и теперь не захотела бы его простить, – предположила Пегготи.

– А почему ей должно захотеться прощать его теперь? – довольно резко спросила моя мать.

– Я хочу сказать – теперь, когда у него есть брат, – пояснила Пегготи.

Моя мать тотчас же расплакалась и выразила удивление, как осмеливается Пегготи говорить такие вещи.

– Как будто этот бедный невинный малютка, спящий в своей колыбельке, причинил какое-то зло вам или кому-нибудь еще, ревнивая вы женщина! – вскричала она. – Было бы куда лучше, если бы вы вышли замуж за возчика, мистера Баркиса. Почему бы вам не пойти за него?

– Уж очень обрадовалась бы мисс Мэрдстон, если бы я за него пошла, – сказала Пегготи.

– Какой у вас плохой характер, Пегготи! – сказала моя мать. – Вы завидуете мисс Мэрдстон, как может завидовать только самое нелепое в мире существо. Должно быть, вам хочется держать у себя ключи и самой выдавать провизию? Меня бы это не удивило. А ведь вы знаете, что она это делает только по доброте своей и с самыми лучшими намерениями. Вы это знаете, Пегготи, вы это прекрасно знаете!

Пегготи пробормотала что-то вроде: «Провалиться бы этим самым наилучшим намерениям!» – и еще что-то о том, что не слишком ли уж много этих самых лучших намерений.

– Я знаю, что у вас на уме, недобрая вы женщина, – продолжала моя мать. – Я все прекрасно понимаю, Пегготи. И вы это знаете, а я удивляюсь, как это вы только со стыда не сгорите. Но сейчас речь идет о другом. Речь идет о мисс Мэрдстон, Пегготи, и вы это не можете отрицать. Разве вы не слышали, как она снова и снова повторяла, что, по ее мнению, я слишком легкомысленная и ну и… слишком…

– Хорошенькая, – подсказала Пегготи.

– Ну, да, – улыбнувшись, подтвердила моя мать, – и если она говорит такие глупости, разве я в этом виновата?

– Никто не говорит, что вы виноваты, – возразила Пегготи.

– Надеюсь! – воскликнула моя мать. – Разве вы не слыхали, как она повторяла снова и снова, что по этой причине она и хочет избавить меня от хлопот и обязанностей, к которым, по ее словам, я не приспособлена… И, право же, я сама не уверена, приспособлена ли я к ним. И разве она не на ногах с утра до поздней ночи, не ходит то туда, то сюда, всегда что-то делает, заглядывает во все углы, и в угольный погреб, и в кладовую, и бог весть куда еще, а ведь это совсем не так приятно… И почему вы стараетесь намекнуть мне, что ни капли преданности во всем этом нет?

– Ни на что я не намекаю, – сказала Пегготи.

– Нет, вы намекаете, Пегготи! – возразила моя мать. – Когда вы не работаете, вы только и делаете, что намекаете. Вам это доставляет удовольствие. А когда вы говорите о добрых намерениях мистера Мэрдстона…

– Никогда я о них не говорила, – перебила Пегготи.

– Да, вы не говорили, но вы намекали, Пегготи, – продолжала моя мать. – Вот об этом-то я и толкую. Это самая плохая черта у вас. Вы намекаете! Я сказала, что прекрасно вас понимаю, и вы сами это видите. Когда вы говорите о добрых намерениях мистера Мэрдстона и делаете вид, будто относитесь к ним с неуважением, а я не верю, чтобы в глубине души вы их не уважали, Пегготи, вы убеждены так же, как и я, что намерения у него добрые и что именно этими намерениями он руководствуется во всех своих поступках. Если он с виду и бывает строг с кем-нибудь – вы понимаете, Пегготи, и Дэви тоже, конечно, понимает, что ни на кого из присутствующих я не намекаю, – то поступает он так в полной уверенности, что тому человеку это пойдет на пользу.

Да, он любит этого человека ради меня и поступает подобным образом только ради его блага. В таких делах он лучше разбирается, чем я: мне прекрасно известно, что я слабое,

легкомысленное, ребячливое создание, а он – солидный, твердый, серьезный мужчина. И он так много трудов положил на меня, – продолжала моя мать, и слезы, заструившиеся у нее по щекам, свидетельствовали о ее привязчивой натуре, – что я должна быть ему благодарна и подчиняться ему даже в помыслах. И если бывает иначе, Пегготи, тогда я мучаюсь, обвиняю себя, начинаю сомневаться в своих собственных чувствах и не знаю, что делать.

Пегготи сидела, опустив подбородок на пятку чулка, и молча смотрела на огонь.

– Так не будем же ссориться, Пегготи, потому что я этого не вынесу, – сказала моя мать, меняя тон. – Если есть у меня друзья на свете, я знаю – вы мой преданный друг! А если я называю вас нелепым созданием, или несносной женщиной, или еще как-нибудь в этом роде, я хочу только сказать, Пегготи, что вы мой преданный друг и всегда были мне другом, с того самого вечера, когда мистер Копперфилд впервые привел меня в этот дом, а вы вышли встретить меня у калитки.

Пегготи не замедлила откликнуться на этот призыв и крепко-крепко обняла меня, скрепляя договор о дружбе. Думаю, в ту пору я смутно понимал истинный смысл этого разговора; теперь же я уверен, что добрая женщина вызвала его и поддерживала только для того, чтобы моя мать могла утешиться, завершив его этим противоречивым заключением. Замысел ее возымел свое действие, ибо я помню, что весь вечер мать казалась более спокойной и Пегготи не так пристально следила за ней.

Когда с чаепитием было покончено, зола из камина выметена и нагар со свечей снят, я, в память былых времен, прочитал Пегготи главу из книги о крокодилах, – она достала книгу из кармана, и, кто знает, может быть, все время хранила ее там; а потом мы заговорили о Сэлем-Хаусе, что снова побудило меня вернуться к Стирфорту, о котором я главным образом и говорил. Мы были очень счастливы, и этот вечер, последний из таких счастливых вечеров, которому суждено было заключить этот период моей жизни, никогда не изгладится из моей памяти.

Было уже часов десять, когда мы услышали стук колес. Мы все встали, и мать торопливо сказала, что, пожалуй, лучше мне пойти спать, так как уже поздно, а мистер и мисс Мэрдстон считают нужным, чтобы дети ложились рано. Я поцеловал ее, и прежде чем они успели войти в дом, я уже отправился со свечой наверх. Когда я поднимался в спальню, где сидел когда-то под замком, моему ребяческому воображению представилось, будто вместе с ними ворвался в дом холодный порыв ветра, который унес, как перышко, все старые, привычные чувства.

Утром я побаивался идти вниз к завтраку, так как еще не видел мистера Мэрдстона с того памятного дня, когда совершил преступление. Однако делать было нечего, и после двух-трех неудачных попыток, когда я останавливался на полпути и на цыпочках бежал назад в свою комнату, я, наконец, спустился вниз и вошел в гостиную.

Он стоял, повернувшись спиной к камину, а мисс Мэрдстон разливала чай. Он пристально посмотрел на меня, когда я вошел, но больше никак не отозвался на мое появление.

После недолгого замешательства я подошел к нему и сказал:

– Я прошу прощения, сэр. Я очень раскаиваюсь в своем поступке и надеюсь, что вы меня простите.

– Рад слышать, что ты раскаиваешься, Дэвид, – ответил он.

Он подал мне руку, ту самую руку, которую я укусил. Я не мог удержаться, чтобы не всмотреться в красный след, оставшийся на ней; но он был не таким красным, каким стал я, когда увидел мрачное выражение его лица.

– Как поживаете, сударыня? – обратился я к мисс Мэрдстон.

– Ах, боже мой! – вздохнула мисс Мэрдстон, протягивая мне вместо пальцев лопаточку для печенья. – Долго продолжаются каникулы?

– Месяц, сударыня.

– Начиная с какого дня?

– С сегодняшнего, сударыня.

– О! – сказала мисс Мэрдстон. – Значит уже на один день меньше.

Именно таким образом она завела что-то вроде календаря моих каникул и каждое утро неизменно вычеркивала еще один день. Проделывала она это со зловещим видом, пока не дошла до десяти, но, перейдя к двухзначным цифрам, приободрилась и, по мере того как убывало время, стала даже шутить.

В первый же день я имел несчастье привести ее в неописуемый ужас, хотя она и не была подвержена подобным слабостям. Я вошел в комнату, где она сидела с моей матерью; малютка (ему было всего несколько недель) лежал у матери на коленях, и я очень бережно взял его на руки. Вдруг мисс Мэрдстон взвизгнула так, что я чуть было не уронил его.

– Джейн, дорогая! – воскликнула моя мать.

– Боже мой, Клара, разве вы не видите? – вскричала мисс Мэрдстон.

– Что такое, дорогая Джейн? Где? – спросила мать.

– Он его схватил! – закричала мисс Мэрдстон. – Мальчик схватил малютку!

Она оцепенела от ужаса, но все же набралась сил, чтобы метнуться ко мне и выхватить у меня из рук младенца. После этого ей стало дурно, и пришлось дать ей вишневой настойки. Когда она оправилась, я получил от нее приказ никогда и ни под каким видом не прикасаться к моему братцу, а бедная моя мать, которая – я это видел – желала как раз обратного, покорно подтвердила ее приказ, сказав:

– Конечно вы правы, дорогая Джейн.

В другой раз, когда мы трое были вместе, этот дорогой малютка – он и в самом деле был дорог мне ради нашей матери – снова послужил невинной причиной страстного негодования мисс Мэрдстон. Он лежал на коленях моей матери, и она, всматриваясь в его глазки, сказала:

– Дэви! Подойди-ка сюда! – и пристально взглянула на меня.

Я заметил, что мисс Мэрдстон опустила свои бусы.

– Ну, право же, глаза у них совсем одинаковые, – нежно сказала мать. – Должно быть, у меня такие же глаза. Мне кажется, они такого же цвета, как мои. Нет, они удивительно похожи.

– О чем это вы толкуете, Клара? – спросила мисс Мэрдстон.

– Дорогая Джейн, я нахожу, что у малютки такие же глаза, как у Дэви, – пролепетала моя мать, слегка смущенная резким тоном, каким был задан вопрос.

– Клара! – сказала мисс Мэрдстон, гневно вставая с места. – Иногда вы бываете просто-напросто дурой.

– Дорогая моя Джейн! – укоризненно сказала мать.

– Просто-напросто дурой! – повторила мисс Мэрдстон. – Кто еще мог бы сравнить ребенка моего брата с вашим сыном? Они совсем не похожи! Они ничуть не похожи! Между ними нет ни малейшего сходства. Надеюсь, что такими они и останутся. Не желаю я сидеть здесь и выслушивать подобные сравнения.

С этими словами она величественно вышла из комнаты и хлопнула дверью.

Короче говоря, я не пользовался расположением мисс Мэрдстон. Короче говоря, я не пользовался здесь ничьим расположением, даже своим собственным, ибо те, кто любил меня, не могли это показывать, а те, кто не любил, показывали это слишком открыто, и я мучительно сознавал, что всегда кажусь скованным, неуклюжим и глуповатым.

Я чувствовал, что им со мной так же не по себе, как и мне с ними. Если я входил в комнату, где они сидели, беседуя, и моя мать казалась веселой, ее лицо омрачалось тревогой при моем появлении. Если мистер Мэрдстон бывал в наилучшем расположении духа, я портил ему настроение. Если мисс Мэрдстон была в наихудшем, я раздражал ее еще больше. Я был не

лишен наблюдательности и видел, что жертвой всегда бывает моя мать; что она не решается заговорить со мной или приласкать меня, не желая вызвать их неудовольствие своим поведением, а позднее выслушать нотацию; что она вечно опасается не только за себя, но и за меня, как бы я не вызвал их неудовольствия, и с беспокойством следит за выражением их лиц, стоит мне пошевельнуться. Поэтому я решил как можно реже попадаться им на глаза и много раз в эти зимние дни прислушивался к бою церковных часов, когда сидел за книгой в своей неуютной спальне, закутанный в пальтишко.

Иногда, по вечерам, я шел в кухню и сидел с Пегготи. Там я чувствовал себя хорошо и не боялся быть самим собой. Но такое времяпрепровождение, так же как и уединение у себя в комнате, не было одобрено в гостиной. Страсть к мучительству, господствовавшая там, наложила и на то и на другое свой запрет. Мое присутствие все еще почиталось необходимым для воспитания моей бедной матери, и так как я был нужен, чтобы подвергать ее испытанию, мне было запрещено отлучаться.

– Дэвид, я с сожалением замечаю, что у тебя угрюмый нрав, – сказал мистер Мэрдстон однажды после обеда, когда я, по обыкновению, собирался уйти.

– Мрачен, как медведь! – вставила мисс Мэрдстон. Я стоял неподвижно, понурившись.

– Самый худший нрав, Дэвид, это нрав угрюмый и строптивый, – продолжал мистер Мэрдстон.

– А такого непокладистого, упрямого нрава, как у этого мальчика, я еще не видывала, – заявила его сестра. – Я думаю, Клара, даже вы не можете этого не признать?

– Простите, дорогая Джейн, – сказала мать, – но вполне ли вы уверены, – конечно, вы примете мои извинения… я надеюсь, вы простите меня, дорогая, – вполне ли вы уверены, что понимаете Дэви?

– Клара, я бы стыдилась самой себя, – заявила мисс Мэрдстон, – если бы не понимала этого мальчика или какого-нибудь другого мальчишку. Я не притязаю на глубокий ум, но на здравый смысл я почитаю себя вправе притязать.

– Ну, конечно, дорогая моя Джейн, вы наделены очень острым умом, – сказала моя мать.

– Ах, нет! Боже мой! Пожалуйста, не говорите этого, Клара! – сердито перебила ее мисс Мэрдстон.

– Но я в этом не сомневаюсь, и все это знают, – продолжала моя мать. – Я сама извлекаю из него столько пользы во всех отношениях – во всяком случае, должна была бы извлекать, – что убеждена в этом больше, чем кто бы то ни было. Вот почему я и говорю так нерешительно, дорогая Джейн, поверьте мне.

– Ну, скажем, я не понимаю этого мальчика, – Клара, – произнесла мисс Мэрдстон, поправляя свои цепочки на запястьях. – Если вам угодно, допустим, что я его совсем не понимаю. Для меня он – натура слишком сложная. Но, может быть, проницательный ум моего брата помог ему отчасти разгадать этот характер. И, мне кажется, мой брат как раз говорил на эту тему, когда мы – не очень-то вежливо – перебили его.

– Я думаю, Клара, что в данном случае найдутся более беспристрастные судьи, которым больше следует верить, чем вам, – тихим, торжественным голосом изрек мистер Мэрдстон.

– Эдуард, – робко отозвалась моя мать, – вам, как судье, во всех случаях следует больше верить, чем мне. И вам и Джейн. Я сказала только…

– Вы сказали только слова необдуманные и малодушные, – перебил он. – Постарайтесь, чтобы впредь этого не было, дорогая моя Клара, и следите за собой.

Губы моей матери как будто прошептали: «Хорошо, дорогой Эдуард», – но вслух она не сказала ничего.

– Итак, Дэвид, – продолжал мистер Мэрдстон, оборачиваясь ко мне и устремляя на меня холодный взгляд, – я с сожалением заметил, что у тебя угрюмый нрав. Я не могу допустить,

сэр, чтобы такой характер развивался у меня на глазах, а я не прилагал бы никаких усилий к его исправлению. Вы, сэр, должны постараться изменить его. Мы должны постараться изменить его ради тебя.

– Простите, сэр… я вовсе не хотел быть угрюмым, когда вернулся домой, – пролепетал я.

– Не прибегайте ко лжи, сэр! – крикнул он так злобно, что – я видел – моя мать невольно подняла дрожащую руку, словно хотела протянуть ее между нами. – Со свойственной тебе угрюмостью ты уединялся в своей комнате. Ты сидел в своей комнате, когда тебе следовало находиться здесь. Запомни теперь раз навсегда: я требую, чтобы ты был здесь, а не там! И еще я требую от тебя повиновения. Ты меня знаешь, Дэвид. Этого повиновения я добьюсь.

Мисс Мэрдстон хрипло засмеялась.

– Я хочу, чтобы ты почтительно, быстро и охотно повиновался мне, Джейн Мэрдстон и твоей матери, – продолжал он. – Я не хочу, чтобы по прихоти ребенка этой комнаты избегали, как зачумленной. Садись!

Он мне приказывал, как собаке, и я повиновался, как собака.

– Добавлю еще, – продолжал он, – что у тебя заметно пристрастие к людям низкого происхождения. Ты не должен общаться со слугами. Кухня не поможет искоренить те многочисленные твои недостатки, какие надлежит искоренить. Об этой женщине, которая тебе потворствует, я не скажу ни слова, раз вы, Клара, – обратился он, понизив голос, к моей матери, – по старым воспоминаниям и давней причуде питаете к ней слабость, которую еще не смогли преодолеть.

– Совершенно непонятное заблуждение! – воскликнула мисс Мэрдстон.

– Скажу лишь одно, – заключил он, обращаясь ко мне, – я не одобряю того, что ты оказываешь предпочтение обществу таких особ, как госпожа Пегготи, и с этим должно быть покончено. Теперь ты меня понял, Дэвид, и знаешь, каковы будут последствия, если ты не намерен повиноваться мне беспрекословно.

Я это знал хорошо, – пожалуй, лучше, чем он предполагал, поскольку дело касалось моей бедной матери, – и повиновался ему беспрекословно. Больше я не уединялся в своей комнате, больше не искал прибежища у Пегготи, но день за днем уныло сидел в гостиной, дожидаясь ночи и часа, когда можно идти спать.

Какому мучительному испытанию подвергался я, когда часами просиживал в одной и той же позе, не смея пошевельнуть ни рукой, ни ногой из страха, как бы мисс Мэрдстон не пожаловалась (а это она делала по малейшему поводу) на мою непоседливость, и не смея смотреть по сторонам из боязни встретить неприязненный или испытующий взгляд, который обнаружит в моем взгляде новую причину для жалоб! Как нестерпимо скучно было сидеть, прислушиваясь к тиканию часов, следить за мисс Мэрдстон, нанизывающей блестящие металлические бусинки, размышлять о том, выйдет ли она когда-нибудь замуж и, если выйдет, кто будет этот несчастный, пересчитывать лепные украшения камина и рассеянно блуждать взором по потолку, по завитушкам и спиралям на обоях!

Какие одинокие прогулки предпринимал я по грязным проселочным дорогам в промозглые зимние дни, всюду таская за собой эту гостиную с мистером и мисс Мэрдстон! Чудовищное бремя, которое приходилось мне нести, кошмар, от которого я не мог очнуться, груз, давивший на мой мозг и его притуплявший!

А это сиденье за столом, когда я, безмолвный и смущенный, неизменно чувствовал, что есть здесь лишние нож и вилка, и они – мои, есть лишний рот, и это – мой, лишние тарелка и стул, и они – мои, лишний человек, и это – я!

А эти вечера, когда приносили свечи и мне полагалось чем-нибудь заниматься, а я, не смея читать интересую книгу, корпел над учебником арифметики, иссушающим мозг и душу! Эти вечера, когда таблицы мер и весов сами ложились на мотив «Правь, Британия» или

«Прочь, уныние», но не задерживались, чтобы можно было их заучить, но, подобно бабушкиной спице, проходящей сквозь петли, пронизывали мою несчастною голову, входя в одно ухо и выходя в другое!

Как я зевал и засыпал вопреки всем моим стараниям, как вздрагивал, очнувшись от дремоты, которую пытался скрыть, как не получал я никогда ответа на редкие свои вопросы! Каким казался я пустым местом, которого никто не замечал, хотя всем оно было помехой! С каким мучительным облегчением я слушал в девять часов вечера, как мисс Мэрдстон приветствует первый удар колокола и приказывает мне идти спать!

Так тянулись каникулы, пока не настало утро, когда мисс Мэрдстон провозгласила: «Вот, наконец, и последний день!» – и подала мне последнюю чашку чаю, завершающую каникулы.

Я не жалел о том, что уезжаю. Я уже давно впал в состояние отупения, но тут слегка приободрился и мечтал о встрече со Стирфортом, хотя за его спиной и маячил мистер Крикл. Снова появился у садовой калитки мистер Баркис, и снова мисс Мэрдстон сказала предостерегающее: «Клара!» – когда моя мать наклонилась ко мне, чтобы попрощаться.

Я поцеловал ее и малютку-брата, и мне стало очень грустно. Но я грустил не о том, что уезжаю, ибо между нами уже зияла пропасть и каждый день был днем разлуки. И в памяти моей живет не ее прощальный поцелуй, хотя он и был очень горячим, но то, что за этим поцелуем последовало.

Я уже сидел в повозке, когда услышал, что она окликает меня. Я выглянул; она стояла одна у садовой калитки, высоко поднимая малютку, чтобы я посмотрел на него. Был холодный безветренный день, и ни один волосок на ее голове, ни одна складка ее платья не шевелилась, когда она пристально глядела на меня, высоко поднимая свое дитя.

Такой покинул я ее, покинул навсегда. Такой снилась она мне потом в школе… безмолвная фигура близ моей кровати. Она смотрит на меня все тем же пристальным взглядом и высоко поднимает над головою свое дитя.

Глава IX

Памятный день рождения

Пропускаю все, что происходило в школе, вплоть до дня моего рождения, который был в марте. Помню только, что Стирфорт вызывал во мне восхищение еще больше, чем прежде. Он должен был уехать в конце полугодия, если не раньше, и казался мне еще более смелым и более независимым, чем когда бы то ни было, а, значит, – и еще более для меня привлекательным; только это я и помню. Тяжелое воспоминание, отмечающее этот период жизни, по-видимому, поглотило все другие воспоминания и одиноко хранится в душе.

Мне даже трудно поверить, что два месяца отделяли возвращение в Сэлем-Хаус от дня моего рождения. Я должен это признать, ибо мне известно, что так именно оно и было; но в противном случае я был бы убежден, что между двумя этими событиями не было никакого промежутка и одно наступило немедленно вслед за другим.

Как ясно помню я тот день! Я вдыхаю туман, нависший над школой. Сквозь него я смутно вижу изморозь; я чувствую, как прилипают к щеке мои заиндевевшие волосы. Я гляжу на тускло освещенную классную комнату, где там и сям потрескивают свечи, зажженные в это туманное утро, и вижу пар от дыхания учеников, клубящийся в холодном воздухе, когда они дуют себе на пальцы и стучат ногами.

Это было после утреннего завтрака, мы только что вернулись с площадки для игр, как вдруг вошел мистер Шарп и объявил:

– Дэвид Копперфилд, пожалуйте в гостиную!

Я надеялся получить от Пегготи корзинку с угощением и, услышав приказ, расплылся в улыбке. Когда я поспешно вскочил с места, несколько мальчиков стали наперебой просить меня, чтобы я не забыл о них при раздаче гостинцев.

– Не торопитесь, Дэвид. Вы не опоздаете, мой мальчик, не торопитесь, – сказал мистер Шарп.

Его ласковый тон поразил бы меня, если бы у меня было время поразмыслить о нем, но эта мысль пришла мне в голову гораздо позднее.

Я поспешил в гостиную; там сидел за завтраком мистер Крикл, перед ним лежали его трость и газета, а в руках у миссис Крикл было распечатанное письмо. Но нигде никакой корзинки.

– Дэвид Копперфилд! – обратилась ко мне миссис Крикл, подводя меня к дивану и усаживаясь рядом со мной. – Мне нужно кое-что сообщить вам. У меня, мой мальчик, есть для вас важные известия…

Мистер Крикл, на которого я, конечно, посмотрел, кивнул головой, не глядя на меня, и заглушил вздох большим гренком с маслом.

– Вы еще слишком малы для того, чтобы знать, как все в мире меняется и как люди покидают этот мир, – продолжала миссис Крикл. – Но всем нам, Дэвид, суждено об этом узнать, одним в юности, другим в старости – в ту или иную пору жизни.

Я не сводил с нее глаз.

– Дома все было благополучно, когда вы уезжали после каникул? – спросила она, помолчав. – Все были здоровы? – Снова она сделала паузу. – Ваша мама была здорова?

Не знаю почему, я вздрогнул и продолжал пристально смотреть на нее, не пытаясь ответить.

– Видите ли, к сожалению, я должна сообщить вам, что утром получила известие о серьезной болезни вашей мамы.

Миссис Крикл заволокло туманом; на миг мне показалось – она ушла далеко-далеко. Я почувствовал, как слезы обожгли мне лицо, и потом я снова увидел ее рядом с собой.

– Она очень опасно больна, – добавила миссис Крикл.

Теперь я все знал.

– Она умерла.

Этого мне можно было не говорить. У меня вырвался страшный крик… Я был один-одинешенек на белом свете.

Миссис Крикл была очень ласкова со мной; она не отпускала меня от себя весь день; лишь ненадолго она оставляла меня одного, а я плакал, засыпал в изнеможении, просыпался и плакал снова. Когда я уже не мог больше плакать, я начал думать о том, что случилось, и тут тяжесть на сердце стала совсем невыносимой, и печаль перешла в тупую, мучительную боль, от которой не было исцеления.

Но мысли мои были еще смутны. Они не были сосредоточены на горе, отягчавшем мое сердце, а кружились где-то близ него. Я думал о том, что наш дом заперт и безмолвен. Я думал о младенце, который, по словам миссис Крикл, все слабел и слабел и тоже должен был умереть. Я думал о могиле моего отца на кладбище неподалеку от нашего дома и о матери, лежащей рядом с ним под деревом, которое я так хорошо знаю. Когда я остался один, я встал на стул и поглядел в зеркало, чтобы узнать, очень ли покраснели мои глаза и очень ли грустное у меня лицо. Прошло несколько часов, и я стал размышлять, неужели действительно слезы у меня иссякли, и это предположение, в связи с моей потерей, показалось особенно тягостным, когда я подумал о том, как буду я подъезжать к дому, ибо мне предстояло ехать домой на похороны. Помню, я чувствовал, что должен держать себя с достоинством среди учеников и что моя утрата как бы придает моей особе некоторую значительность.

Если ребенок когда-нибудь испытывал истинное горе, то таким ребенком был я. Но припоминаю, что сознание этой значительности доставляло мне какое-то удовлетворение, когда я прохаживался в тот день один на площадке, покуда остальные мальчики находились в

доме. Когда я увидел, как они глазеют на меня из окон, я почувствовал, что выделяюсь из общей среды, принял еще более печальный вид и стал замедлять шаги. Когда же занятия окончились и мальчики высыпали на площадку и заговорили со мной, я в глубине души одобрял себя за то, что ни перед кем не задираю нос и отношусь ко всем точно так же, как и раньше.

На следующий вечер я должен был ехать домой. Не в почтовой, а громоздкой ночной карете, называвшейся «Фермер», которой пользовались главным образом деревенские жители, не предпринимавшие далеких путешествий. В ту ночь я не рассказывал никаких историй, и Трэдлс настоял на том, чтобы я взял его подушку. Не знаю, какую, по его мнению, пользу она могла мне принести, так как подушка у меня была; но это было все, что бедняга мог ссудить мне, если не считать листа почтовой бумаги, испещренного скелетами, который он вручил мне на прощанье, чтобы утишить мою печаль и помочь мне обрести душевный покой.

Я покинул Сэлем-Хаус под вечер. Тогда я еще не подозревал, что покидаю его навсегда. Ехали мы всю ночь очень медленно и добрались до Ярмута утром между девятью и десятью часами. Я выглянул из кареты, ища глазами мистера Баркиса, но его не было, а вместо него толстый, страдающий одышкой, жизнерадостный старичок в черном, в черных чулках, в коротких штанах с порыжевшими пучками лент у колен и в широкополой шляпе приблизился, пыхтя, к окну кареты и спросил:

– Мистер Копперфилд?

– Да, сэр!

– Пожалуйте со мною, юный сэр, и я с удовольствием доставлю вас домой, – сказал он, открывая дверцу.

Я взял его за руку, недоумевая, кто это такой, и мы направились по узкой уличке к заведению, над которым была вывеска:

ОМЕР

Торговля сукном и галантереей,

портняжная мастерская,

похоронная контора и пр.

Это была тесная, душная лавка, битком набитая готовым платьем и тканями, с одним окошком, увешанным касторовыми шляпами и дамскими капорами. Мы вошли в комнату позади лавки, где три девушки шили что-то из черной материи, наваленной на столе, а весь пол был усыпан лоскутами и обрезками. В комнате пылал камин и стоял удушливый запах нагревшегося черного крепа; тогда я не знал, что это за запах, но теперь знаю.

Три девушки, которые показались мне очень веселыми и трудолюбивыми, подняли головы, чтобы взглянуть на меня, а затем снова принялись за работу. Стежок, еще стежок, еще стежок! В то же время со двора за окном доносились однообразные удары молотка, выстукивавшего своего рода мелодию без всяких вариаций: тук, тук-тук… тук, тук-тук… тук, тук-тук!..

– Ну, как идут дела, Минни? – спросил мой спутник одну из девушек.

– Все будет готово к примерке, – ответила она весело, – не беспокойся, отец.

Мистер Омер снял широкополую шляпу, сел на стул и стал пыхтеть и отдуваться. Он так был толст, что должен был несколько раз тяжело перевести дыхание, прежде чем смог выговорить:

– Это хорошо.

– Отец, ты толстеешь, как морская свинка! – заявила шутливо Минни.

– Не знаю, почему оно так получается, моя милая, – отозвался мистер Омер, призадумавшись. – Я и в самом деле толстею.

– Ты такой благодушный человек. Ты так спокойно относишься ко всему, – сказала Минни.

– Бесполезно было бы относиться иначе, дорогая моя, – сказал мистер Омер.

– Вот именно! – подтвердила дочь. – Слава богу, мы здесь все люди веселые. Правда, отец?

– Надеюсь, что правда, моя дорогая, – сказал мистер Омер. – Ну, теперь я отдышался и могу снять мерку с этого юного ученого. Не пройдете ли вы в лавку, мистер Копперфилд?

Я последовал его приглашению и вернулся с ним в лавку. Здесь, показав мне рулон материи, по его словам наивысшего качества и самой пригодной для траура по умершим родителям, он снял с меня мерку и записал ее в книгу. Делая свои записи, он обратил мое внимание на товары в лавке и указал на какие-то вещи, которые, по его словам, «только что вошли в моду», и на другие, которые «только что вышли из моды».

– По этой причине мы очень часто теряем довольно много денег, – заметил мистер Омер. – Но моды подобны людям. Они появляются неведомо когда, почему и как и исчезают неведомо когда, почему и как. Все на свете, я бы сказал, подобно жизни, если поглядеть на вещи с такой точки зрения.

Мне было слишком грустно, чтобы я мог обсуждать этот вопрос, который, при любых обстоятельствах, пожалуй, превосходил мое понимание; и мистер Омер, тяжело дыша, повел меня назад, в комнату позади лавки.

Затем он крикнул в отворенную дверь, за которой начиналась ведущая вниз лестница, где нетрудно было сломать себе шею.

– Принесите чая и хлеба с маслом!

Покуда я сидел, осматриваясь по сторонам и прислушиваясь к поскрипыванию иглы в комнате и ударам молотка во дворе, появился поднос, и мне предложено было закусить.

– Я знаю вас, – начал мистер Омер, разглядывая меня в течение некоторого времени, пока я неохотно приступал к завтраку, ибо черный креп лишил меня аппетита, – я вас знаю давно, мой юный друг.

– Давно знаете, сэр?

– С самого рождения. Можно сказать, еще до того, как вы родились, – продолжал мистер Омер. – До вас я знал вашего отца. Он был пяти футов девяти с половиной дюймов росту, и ему отведено двадцать пять квадратных футов земли.

Тук, тук-тук… тук, тук-тук… тук, тук-тук… – неслось со двора.

– Ему отведено двадцать пять квадратных футов земли, ни на дюйм меньше, – благодушно повторил мистер Омер. – Было ли это сделано по его желанию, или он сам так распорядился – не помню.

– Что с моим маленьким братцем, вы не знаете, сэр? – спросил я.

Мистер Омер кивнул головой.

Тук, тук-тук… тук, тук-тук… тук, тук-тук…

– Он в объятиях своей матери, – ответил он.

– Значит, бедный крошка умер?

– Слезами горю не поможешь, – сказал мистер Омер. – Да. Малютка умер.

При этом известии мои раны снова открылись. Я оставил завтрак почти нетронутым, пошел в угол комнаты и положил голову на столик, с которого Минни поспешно сняла траурные материи, чтобы я не закапал их слезами. Это была миловидная, добродушная девушка, ласковой рукой отвела она упавшие мне на глаза волосы. Но она радовалась, что работа приближается к концу и все будет готово к сроку; как несходны были наши чувства!

Вдруг песенка молотка оборвалась, красивый молодой человек пересек двор и вошел в комнату. В руках он держал молоток, а рот его был набит гвоздиками, которые он должен был выплюнуть, прежде чем мог заговорить.

– Ну, а у тебя подвигается дело, Джорем? – спросил мистер Омер.

– Все в порядке. Кончил, сэр, – ответил Джорем. Минни слегка покраснела, а две другие девушки с улыбкой переглянулись.

– Как? Значит, ты вчера работал вечером при свече, когда я был в клубе? Работал? – прищурив один глаз, спросил мистер Омер.

– Да. Ведь вы сказали, что мы сможем поехать… отправиться туда вместе, если все будет готово… Минни, и я и… вы…

– О! А я уж было подумал, что меня вы не возьмете! – сказал мистер Омер и захохотал так, что раскашлялся.

– Раз вы это сказали, то, видите ли, я и приложил все силы… – продолжал молодой человек. – Может, вы изволите поглядеть?

– Погляжу, милый, – сказал мистер Омер, вставая. Тут он повернулся ко мне. – Не хотите ли посмотреть…

– Нет, не надо, отец! – перебила Минни.

– Я подумал, дорогая моя, что ему это будет приятно. Но, пожалуй, ты права.

Не знаю, почему я догадался, что они пошли поглядеть на гроб моей дорогой, моей горячо любимой матери. Я никогда не слышал, как сколачивают гробы. Я никогда еще не видел ни одного гроба. Но когда я услышал стук молотка, у меня мелькнула мысль о гробе, а как только молодой человек вошел, я уже твердо знал, что он мастерил.

Но вот работа была завершена, две девушки, чьих имен при мне не называли, стряхнули со своих платьев нитки и обрезки и пошли в лавку, чтобы, в ожидании заказчиков, привести ее в порядок. Минни осталась в комнате, чтобы сложить все, над чем они трудились, и упаковать в две корзины. Занималась она этим делом, стоя на коленях и напевая какую-то веселую песенку. Джорем – ее возлюбленный, в чем я не сомневался, – вошел в комнату, и пока она занималась делом, сорвал у нее поцелуй (не обращая на меня никакого внимания) и сказал, что отец пошел за повозкой, а ему надо поскорей все приготовить. Затем он вышел снова; Минни сунула в карман наперсток и ножницы, ловко воткнула иголку с черной ниткой в свой корсаж и быстро надела салоп и шляпку, глядясь в повешенное за дверью зеркальце, в котором я видел отражение ее улыбающегося личика.

Я наблюдал все это, сидя за столом в углу комнаты и подперев голову рукой, а думал я о самых различных предметах. Вскоре перед лавкой появилась повозка, сперва в нее поместили корзины, потом меня и, наконец, уселись трое остальных. Помнится, это была не то почтовая карета, не то фургон, в котором перевозят фортепьяно, окрашенный в темный цвет и запряженный вороной лошадью с длинным хвостом. Места в ней хватило для всех нас.

Не думаю, чтобы когда-либо в жизни (может быть, со временем я стал опытнее и умнее) я испытал чувство, подобное тому, какое испытывал в обществе этих людей, помня, чем они были раньше заняты, и видя, как они радуются поездке. Я на них не сердился: скорее всего я их боялся, словно очутился среди каких-то существ, с которыми от природы у меня нет ничего общего. Им было весело. Старик сидел впереди и правил лошадью, а молодые люди сидели за его спиной и, когда он к ним обращался, наклонялись к нему так, что их лица приходились по обе стороны его толстой физиономии, и, казалось, болтовня с ним очень их занимала. Они не прочь были поговорить и со мной, но я хмуро забился в свой угол; меня пугали их взаимные ухаживания и их смех, правда не очень громкий, и я едва ли не удивлялся, как это они не несут возмездия за свое жестокосердие.

Поэтому, когда они остановились, чтобы покормить лошадь, а сами пили и веселились, я не мог прикоснуться к тому, чего касались они, и не нарушил своего поста. И потому-то, когда мы доехали до дому, я поспешил выскочить сзади из повозки, чтобы не оказаться в их компании перед этими печальными окнами, взиравшими теперь на меня, как глаза слепца,

некогда такие ясные. О, напрасно задумывался я в школе о том, что вызовет слезы у меня на глазах, когда я вернусь домой, – я в этом убедился, увидев окна комнаты матери и еще одно, рядом с ними, которое когда-то было моим окном!

Не успел я подойти к двери, как уже очутился в объятиях Пегготи, и она повлекла меня в дом. Ее горе прорвалось, как только она завидела меня, но скоро она взяла себя в руки, заговорила шепотом и пошла, неслышно ступая, словно можно было нарушить покой мертвеца! Я узнал, что уже очень много времени она не ложилась спать. Ночью она сидела неподвижно, не смыкая глаз. Пока ее бедную, милую красоточку не опустят в землю, она ни за что ее не покинет, – так сказала она.

Мистер Мэрдстон не обратил на меня внимания, когда я вошел в гостиную, где он сидел в кресле перед камином, беззвучно плакал и о чем-то размышлял. Мисс Мэрдстон, что-то писавшая за своим письменным столом, покрытым письмами и бумагами, протянула мне кончики холодных пальцев и спросила металлическим шепотом, сняли ли с меня мерку для траурного костюма. Я ответил:

– Да.

– А ты привез домой свои рубашки? – спросила мисс Мэрдстон.

– Да, сударыня, я привез все мои вещи.

И это было все, что могла предложить мне, в виде утешения, эта твердая духом особа. Несомненно, она испытывала особое удовольствие, выставляя в данном случае напоказ все те качества, какие называла своим самообладанием, своей твердостью, своей силой духа, своим здравым смыслом, – словом, весь дьявольский каталог своих приятных свойств. Особенно она гордилась своей деловитостью и проявляла ее в том, что, ничем не возмутимая, не расставалась с пером и чернилами. Весь остаток дня и с утра до вечера на следующий день она просидела за своим письменным столом и скрипела очень твердым пером, разговаривая со всеми бесстрастным шепотом, и ни один мускул не дрогнул на ее лице, и ни на одно мгновение голос ее не стал мягче, и ничто в ее туалете не пришло в беспорядок.

Ее брат по временам брал книгу, но я не видел, чтобы он читал ее. Он раскрывал книгу и смотрел в нее так, что казалось, будто он читает, но в течение целого часа не переворачивал ни страницы, а затем откладывал ее в сторону и начинал ходить по комнате. Часами я сидел, скрестив руки, и наблюдал за ним, считая его шаги. Он очень редко обращался к сестре и ни разу не обратился ко мне. Во всем замершем доме только он один, если не считать часов, не знал покоя.

В эти дни до похорон я мало видел Пегготи; только спускаясь или поднимаясь по лестнице, я всегда находил ее перед комнатой, где лежала моя мать со своим младенцем, да вечерами она приходила ко мне и сидела у изголовья, пока я засыпал. За день или два до погребения – мне кажется, за день или два, но я могу спутать, когда речь идет об этом печальном времени, которое не было отмечено никакими событиями, – Пегготи повела меня в комнату моей матери. Я помню только, что мне казалось, будто под белым покрывалом на кровати – а вокруг была такая чистота и такая прохлада! – покоится воплощение торжественной тишины, царившей в доме. И когда Пегготи начала бережно приподнимать покрывало, я закричал:

– О нет! Нет!

И схватил ее за руку.

Я помню эти похороны так, будто они были вчера. Помню даже вид нашей парадной гостиной, когда я вошел туда, ярко пылающий камин, вино, сверкающее в графинах, бокалы и блюда, легкий сладковатый запах пирога, аромат, источаемый платьем мисс Мэрдстон, наши черные костюмы… Мистер Чиллип здесь, в комнате, он подходит ко мне.

– Как поживаете, мистер Дэвид? – ласково спрашивает он.

Я не могу ответить: «Очень хорошо». Я подаю ему руку, которую он задерживает в своей.

– Ох, боже мой! – говорит мистер Чиллип, кротко улыбаясь, а слезы блестят у него на глазах. – Наши юные друзья все растут и растут… Скоро мы их не узнаем, сударыня!

Эти слова обращены к мисс Мэрдстон, которая ничего не отвечает.

– Я вижу перемену к лучшему, сударыня. Не так ли? – говорит мистер Чиллип.

Мисс Мэрдстон только хмурит лоб и сухо кивает головой; мистер Чиллип, растерянный, уходит в угол комнаты, прихватив меня с собой, и больше не открывает рта.

Я замечаю это, ибо замечаю все, что происходит, но не потому, что я занят собой или занимался собой хотя бы минуту с той поры, как вернулся домой. Но вот звон колокола, входит мистер Омер и еще кто-то, чтобы закончить последние приготовления. Много лет назад, – как об этом не раз говорила мне Пегготи, – в той же самой гостиной собрались те, кто провожал к могиле, к той же самой могиле, моего отца.

Теперь здесь мистер Мэрдстон, наш сосед мистер Грейпер, мистер Чиллип и я. Когда мы подходим к двери, носильщики со своей ношей уже в саду. И они идут перед нами по тропинке, и мимо вязов, и к воротам, и входят на кладбище, где я так часто слушал летним утром пение птиц.

Мы стоим вокруг могилы. Мне кажется, что день не похож на все другие дни и свет совсем не такой – более печальный. Здесь торжественная тишина, которую мы принесли из дому вместе с тем, что покоится сейчас в сырой земле; мы стоим с обнаженными головами, и я слышу голос священника; он доносится словно издалека и звучит в чистом воздухе, отчетлив и внятен: «Аз есмь воскресение и жизнь, говорит господь». И я слышу рыдания. И – я вижу ее – она стоит в стороне среди зрителей, – верная и добрая служанка, которую я люблю больше всех на свете, и детское мое сердце уверено, что господь скажет о ней: «Ты исполнила свой долг».

В кучке людей я узнаю много знакомых лиц – лиц, которые я видел в церкви, где всегда глазел по сторонам, лиц, которые знали мою мать, когда она приехала в эту деревню в расцвете своей юности. Я о них не думаю, я думаю только о своем горе, и все же я вижу и узнаю их всех; и я вижу даже там – вдали – Минни, которая посматривает на своего возлюбленного, стоящего около меня.

Но вот все кончено, могила засыпана землей, и мы уходим. Перед нами наш дом, он такой же красивый, он не изменился, но в моем детском сознании он так связан с мыслью о моей утрате, что горе, меня постигшее, ничто, по сравнению с тем горем, которое я испытываю, глядя на него. Но меня ведут дальше, мистер Чиллип что-то говорит мне, и когда мы приходим домой, он дает мне выпить воды; когда я прошу у него позволения подняться в свою комнату, он прощается со мной ласково, как женщина.

Все это словно произошло вчера. Последующие события уплыли от меня к тем берегам, где забытое появится вновь; но тот день моей жизни встает передо мной, как высокий утес в океане.

Я знал, что Пегготи придет ко мне, в комнату. Воскресный покой этого дня (он так напоминал воскресенье, я забыл об этом сказать) соблюдался словно бы нарочито для нас двоих. Она села рядом со мной на моей кроватке, взяла мою руку и то нежно целовала ее, то поглаживала – так утешала бы она моего маленького братца – и рассказала на свой лад обо всем, что произошло.

– Уже давно она прихварывала, – рассказывала Пегготи. – На душе у нее было тревожно, и она не чувствовала себя счастливой. Когда у нее родился малютка, я было подумала, что ей как будто лучше, но она стала такой слабенькой и таяла с каждым днем. До рождения малютки она любила сидеть в одиночестве и часто плакала. А когда он родился, она напевала ему так нежно, что однажды мне почудилось, будто это райское пение, которое звучит где-то высоко-высоко в воздухе и уносится к небу.

В последнее время, мне кажется, она еще больше робела, ходила какая-то запуганная, и каждое грубое слово было для нее как удар. Но со мной она оставалась все такой же. Она, моя девочка, относилась по-прежнему к своей глупой Пегготи.

Тут Пегготи примолкла и тихонько похлопала меня по руке.

– В день вашего приезда, мой дорогой, я видела ее в последний раз такой, как в былые времена. Когда вы уехали, она сказала мне: «Я никогда больше не увижу моего любимого, милого мальчика. Что-то подсказывает мне это, и я знаю – это так».

Она изо всех сил старалась держаться, и часто, когда они упрекали ее, что она легкомысленная и беззаботная, делала вид, будто она и в самом деле такая; но она была уже совсем не такой. Своему мужу она никогда не говорила того, что сказала мне, – она боялась говорить об этом кому-нибудь, кроме меня, – но однажды вечером, за неделю до своей смерти, сказала ему: «Мой милый, мне кажется, я скоро умру».

В тот вечер, когда я укладывала ее в постель, она сказала мне: «Теперь у меня на душе спокойно, Пегготи. За те несколько дней, которые остались, он, бедный, свыкнется с этой мыслью, а потом все уже будет кончено. Я очень устала. Если я засну, посидите возле меня, пока я буду спать; не уходите от меня. Господь да благословит обоих моих мальчиков! Господь да поможет моему сыну, потерявшему отца!»

После этого дня я от нее не отходила, – продолжала Пегготи. – Она часто беседовала с теми двумя, которые жили внизу, она их любила, потому что она ведь любила всех, кто был возле нее, но когда они отходили от ее постели, она поворачивалась ко мне, как будто ей было покойно только рядом с Пегготи; и никогда она не засыпала без меня.

В последний вечер она поцеловала меня и сказала: «Если мой малютка тоже умрет, Пегготи, пожалуйста, пусть его положат в мои объятия и похоронят нас вместе. (Так это и было сделано, потому что бедный крошка пережил ее только на один день.) И пусть дорогой мой Дэви проводит нас к месту нашего упокоения, и скажите ему, что его мать на своем смертном одре благословляла его не один, а тысячу раз».

Снова наступила пауза, и снова Пегготи нежно похлопала меня по руке.

– Был уже поздний час, когда она попросила пить, – продолжала Пегготи, – и, сделав несколько глотков, она, моя родная, так кротко мне улыбнулась… так хорошо.

Наступил рассвет, солнце уже всходило, и тут она стала мне рассказывать, как мистер Копперфилд был всегда терпелив с ней, заботлив и ласков и всегда говорил, когда она сомневалась в себе, что любящее сердце стоит больше, чем вся мудрость на свете, и что он счастлив с ней. «Пегготи, дорогая моя, придвиньтесь ко мне поближе, – прибавила она, так как была очень слаба. – Пусть ваша добрая рука обнимет меня за шею, и поверните меня к себе, потому что ваше лицо куда-то уплывает, а я хочу его видеть». Я уложила ее, как она просила… О Дэви! И вот наступило время, когда сбылись мои слова, которые я говорила вам на прощанье: ей снова захотелось приклонить свою головку на плечо глупой, ворчливой, старой Пегготи… И она скончалась, как засыпает дитя!

Так Пегготи закончила свой рассказ. С того момента, когда я узнал о смерти моей матери, воспоминание о том, какой она была в последнее время перед своей смертью, изгладилось из моей памяти. С того самого мгновения я видел ее всегда только совсем молодой, в пору моего раннего детства, видел, как она накручивает свои глянцевитые локоны на пальцы и танцует со мной в гостиной по вечерам. Рассказ Пегготи, вместо того чтобы напомнить о последнем периоде жизни моей матери, лишь закрепил в памяти прежний ее образ. Может быть, это странно, но это так. Скончавшись, моя мать унеслась ко дням своей спокойной, ничем не возмутимой юности и зачеркнула все остальное.

Мать, которая покоится в могиле, – это мать моего детства, а малютка в ее объятиях – это я, каким я некогда был, уснувший навсегда у нее на груди.

Глава X

Сначала обо мне позабыли, а потом позаботились

Когда печальный день миновал и когда дневному свету был вновь открыт доступ в дом, мисс Мэрдстон сделала первый деловой шаг – предупредила Пегготи о том, что через месяц она увольняется. Как ни тяжела была для Пегготи эта служба, но, думаю, она осталась бы здесь ради меня, предпочитая ее самому выгодному месту. Она сообщила мне о предстоящей разлуке и о причине ее, и мы оба горевали от всей души.

Что касается меня и моего будущего – об этом не говорили ни слова и ничего не предпринимали. Мне думается, они были бы счастливы, если бы могли уволить через месяц также и меня. Я набрался храбрости и как-то спросил мисс Мэрдстон, когда я вернусь в школу; на это она сухо ответила, что, по ее мнению, я никогда туда не вернусь. Больше мне ничего не говорили. Меня очень беспокоила мысль о том, что же будет со мной; об этом тревожилась и Пегготи, но ни мне, ни ей ничего не удалось разузнать.

В моем положении, впрочем, произошла перемена, которая, хоть и избавила меня от многих неудобств, но, если бы я над ней задумался, могла бы навести меня на еще более тревожные размышления о будущем. Дело в том, что меня решительно освободили от возложенных на меня обязанностей. Меня не только не старались удержать на моем постылом посту в гостиной, но часто, когда я занимал свое место, мисс Мэрдстон хмурилась, отсылая меня таким образом прочь. И мне не только не запрещали общаться с Пегготи, но, если я не находился в обществе мистера Мэрдстона, никто меня не искал и никому не было до меня дела. Вначале я ежедневно трепетал, как бы он снова не взялся за мое обучение или как бы мисс Мэрдстон не посвятила себя сему делу, но скоро я убедился, что мои опасения лишены всяких оснований и ждать мне нечего, – обо мне совсем забыли.

Вряд ли это огорчило меня тогда. Я все еще был потрясен смертью матери и относился безучастно ко всему остальному. Однако, помнится, по временам я размышлял о том, что меня решили больше не обучать и не заботиться обо мне и что в будущем мне суждено печально, без дела, слоняться по деревне оборванцем; размышлял я и о том, не лучше ли мне, во избежание такой участи, уехать отсюда, подобно герою романа, на поиски своей фортуны. Но это были фантазии, сны наяву, которые изредка появлялись и исчезали, словно вычерченные или нарисованные бледными красками на стене моей комнаты, а когда они расплывались, стена по-прежнему оставалась голой.

– Пегготи, мистер Мэрдстон любит меня еще меньше, чем раньше, – задумчиво прошептал я однажды вечером, грея руки перед очагом в кухне. – Он всегда недолюбливал меня, Пегготи, а теперь предпочел бы меня вовсе не видеть, если бы это было возможно.

– Может быть, это потому, что у него горе, – сказала Пегготи, гладя меня по голове.

– У меня тоже горе, Пегготи. Если бы я верил, что он с горя стал таким, ясовсем не думал бы об этом. Но это не то, нет, не то!

– Отчего вам кажется, что это не то? – помолчав, спросила Пегготи.

– О! Его горе не имеет к этому никакого отношения. Сейчас он горюет, сидя у камина рядом с мисс Мэрдстон, но стоит мне войти, Пегготи, как он становится совсем другим…

– Каким же? – спросила Пегготи.

– Сердитым! – ответил я и невольно нахмурил брови, подражая ему. – Если бы это было только горе, он не глядел бы на меня так. Вот у меня горе, и от него я становлюсь добрей…

Пегготи помолчала, а я тоже молчал, грея руки у огня.

– Дэви! – окликнула она меня.

– Что, Пегготи?

– Я старалась, мой дорогой, всячески старалась, чего только я не делала, чтобы подыскать себе здесь, в Бландерстоне, подходящее место, и ничего из этого не вышло.

– А что ты намерена теперь делать, Пегготи? – задумчиво спросил я. – Собираешься уехать в поисках фортуны?

– Думаю, что мне придется ехать в Ярмут и там остаться.

– Если бы ты уехала куда-нибудь подальше, тогда бы я тебя совсем потерял, – сказал я, слегка оживившись, – но там я смогу тебя видеть хотя бы изредка, дорогая моя Пегготи. Ведь это не на другом конце света, правда?

– Да нет же! Что вы, господь с вами! – воскликнула в страшном возбуждении Пегготи. – Покуда вы здесь, мой мальчик, я буду приезжать непременно раз в неделю, чтобы на вас поглядеть! Раз в неделю непременно!

Я почувствовал, что это обещание освободило мою душу от тяжкого бремени; но это было еще не все, ибо Пегготи продолжала:

– Видите ли. Дэви, сначала я поеду к брату, как и в прошлый раз недели на две, поеду, чтобы оглядеться и хоть немножко прийти в себя. Вот я и подумала: раз они теперь не нуждаются в вас, пожалуй, вам позволят поехать со мной.

Если что-нибудь могло доставить мне удовольствие в это время, – не считая перемены в отношении ко мне окружавших меня людей, кроме, конечно, Пегготи, – то это был именно такой план. Мысль о том, что снова я увижу вокруг себя открытые, честные лица, обращенные ко мне с такою доброжелательностью, мысль о том, что вновь наступит мирное, радостное воскресное утро, когда звонят колокола, шуршат камешки, скатывающиеся в воду, и сквозь туман видны очертания кораблей, мысль о наших прогулках с малюткой Эмли и о том, как я буду рассказывать ей о своих горестях, отвлекаясь и забывая о них в поисках ракушек и камешков на морском берегу, – эта мысль осенила мою душу покоем. И тотчас же меня охватила тревога, даст ли свое согласие мисс Мэрдстон. Но вскоре тревога рассеялась, ибо мисс Мэрдстон как раз во время нашей беседы производила свой вечерний осмотр кладовой, и Пегготи, не мешкая, затронула эту тему с храбростью, меня поразившей.

– Мальчик там совсем разленится, а лень – корень всех зол, – сказала мисс Мэрдстон, заглядывая в банку с пикулями. – Но, по моему мнению, решительно все равно, где он будет лентяйничать – здесь или там.

У Пегготи – я это видел – был наготове резкий ответ, но ради меня она проглотила его и ничего не сказала.

– Гм… – промычала мисс Мэрдстон, все еще созерцая пикули. – Но более важно, я бы сказала – значительно более важно, чтобы мой брат был избавлен от неприятностей и волнения. И потому я готова дать свое согласие.

Я поблагодарил ее, не выражая никакой радости, чтобы она не отреклась от своих слов. Это было благоразумно, в чем я убедился, когда она бросила на меня из-за банки с пикулями такой кислый взгляд, словно ее черные глаза вобрали в себя все содержимое банки. Однако разрешение было дано и оставалось в силе. И когда месяц истек, Пегготи вместе со мной была готова к отъезду.

Мистер Баркис вошел в дом за пожитками Пегготи. Я никогда еще не видывал, чтобы он входил в садовую калитку, но на сей раз он вошел в дом. Взвалив на спину самый большой сундук и выходя с ним из дому, он бросил на меня взгляд, показавшийся мне многозначительным, если допустить, впрочем, что лицо мистера Баркиса могло выражать нечто многозначительное.

Пегготи, конечно, была грустна, покидая дом, где она провела столько лет и к двум обитателям которого – к моей матери и ко мне – она была привязана больше всех на свете. Да к тому же рано утром она побывала на кладбище и теперь уселась в повозку, прикрывая глаза носовым платком.

Покуда она пребывала в таком состоянии, мистер Баркис не подавал признаков жизни. Он сидел на своем обычном месте в обычной своей позе, похожий на огромное чучело. Но когда Пегготи начала поглядывать по сторонам и заговорила со мной, он кивнул головой и несколько раз ухмыльнулся. Я не имел ни малейшего понятия, кем или чем это было вызвано.

– Какой прекрасный день, мистер Баркис, – сказал я, желая быть учтивым.

– Неплохой, – сказал мистер Баркис, который был весьма сдержан в своих речах и часто уклонялся от прямого ответа.

– Пегготи уже совсем оправилась, мистер Баркис, – заметил я, чтобы доставить ему удовольствие.

– Да ну? – сказал мистер Баркис. Поразмыслив об этом с видом крайне проницательным, мистер Баркис вперил в нее взгляд и спросил:

– Совсем оправились?

Пегготи засмеялась и ответила утвердительно.

– В самом деле? А? – проворчал мистер Баркис, подсаживаясь к ней на скамейку и подталкивая ее локтем. – В самом деле оправились? А? Как?

При каждом вопросе мистер Баркис придвигался к ней все ближе и все подталкивал ее локтем. В конце концов мы все очутились в левом углу повозки, и меня так притиснули, что сил не было выносить.

Пегготи обратила внимание мистера Баркиса на мои страдания, и он тотчас же стал помаленьку отодвигаться. Но я не мог не заметить, что, по его мнению, он напал на прекрасный способ выражать свои мысли и чувства тонко, изящно и ясно, избавляясь вместе с тем от необходимости придумывать тему для разговора. В течение некоторого времени он явственно посмеивался по сему поводу. Затем он снова повернулся к Пегготи и, повторяя: «В самом деле оправились?» – навалился на нас, как и раньше, так что я чуть было не задохнулся. Вскоре он снова навалился на нас, задавая все тот же вопрос и все с теми же результатами.

В конце концов я начал вскакивать со скамейки, едва завидев, что он приближается, и спускался на подножку, якобы для того, чтобы полюбоваться окрестностями; и это очень меня выручало.

Он был так любезен, что остановился у харчевни, исключительно ради нас, и угостил нас вареной бараниной и пивом. Невзирая на то, что Пегготи пила в эту минуту пиво, он возобновил свой натиск, от чего она чуть было не захлебнулась. Но, по мере того как мы приближались к цели путешествия, у него все больше прибавлялось дела и все меньше оставалось времени для любезностей, а когда мы загромыхали по ярмутской мостовой, всех нас так растрясло, что не было уже ни досуга, ни возможности заниматься чем бы то ни было.

Мистер Пегготи и Хэм поджидали нас на том же месте, что и в прошлый раз. Они встретили меня и Пегготи очень радушно и пожали руку мистеру Баркису, который, сдвинув на затылок шляпу, конфузливо ухмылялся; даже ноги его и те казались сконфуженными, и, на мой взгляд, он имел глуповатый вид. Каждый из них взял по сундуку из пожитков Пегготи, и мы двинулись в путь, как вдруг мистер Баркис торжественно поманил меня пальцем, приглашая уединиться с ним в подворотне.

– Я говорю: все идет на лад! – пробурчал мистер Баркис.

Я взглянул на него, пытаясь принять глубокомысленный вид, и сказал:

– А!

– Дело тогда еще не было кончено, – сказал мистер Баркис и доверительно кивнул головой. – Но все пошло на лад.

Снова я промолвил:

– А!

– Вы-то знаете, кто был не прочь. Баркис, один только Баркис! – продолжал мой приятель. Я утвердительно кивнул головой.

– Все идет на лад. Я ваш друг. Благодаря вам все сразу пошло хорошо, – сказал Баркис и потряс мне руку. – Все идет на лад.

Стараясь выражаться как можно яснее, мистер Баркис был так загадочен, что я мог бы простоять целый час, взирая на его лицо, и прочел бы на нем не больше, чем на циферблате остановившихся часов; но тут меня окликнула Пегготи. Дорогой она спросила меня, что он сказал, а я ей ответил, что он сказал: «Все идет на лад!»

– Ну и бесстыдник! – заявила Пегготи. – Но это не беда… Дэви, дорогой мой, что бы вы сказали, если бы я решила выйти замуж?

– Что ж… Разве ты любила бы меня меньше, чем теперь, Пегготи? – отозвался я после некоторого раздумья.

К великому изумлению прохожих, а также ее родственников, шедших впереди, добрая душа внезапно остановилась и тут же обняла меня, заверяя в своей неизменной любви.

– Ну так ответьте, мой ненаглядный, что бы вы на это сказали? – снова спросила она, когда с этими заверениями было покончено и мы пошли дальше.

– Если бы ты решила выйти замуж за мистера Баркиса?

– Да, – ответила Пегготи.

– Я сказал бы, что это хорошо. Потому что, знаешь ли, Пегготи, у тебя всегда была бы лошадь с повозкой, и ты могла бы приезжать, чтобы проведать меня, и непременно приезжала бы, да еще бесплатно.

– Какой он у меня умница! – воскликнула Пегготи. – Да ведь об этом самом я думала целый месяц! Да, да, драгоценный мой! Мне кажется, я буду куда больше сама себе хозяйка, буду охотней работать в своем доме, чем у кого-нибудь чужого. Не знаю даже, гожусь ли я теперь в служанки. И я всегда буду жить поблизости от могилы моей милочки, – продолжала Пегготи задумчиво. – И стоит мне захотеть, я смогу ее навестить, а когда я сама упокоюсь навеки, может быть меня положат недалеко от моей ненаглядной девочки!

Мы оба помолчали.

– Но, право, я и думать бы об этом не стала, – весело заговорила Пегготи, – если бы это было не по душе моему Дэви! Хотя бы в церкви было не три, а сто оглашений и в кармане у меня лежало кольцо!

– Ну, взгляни же на меня, Пегготи, – отозвался я, – и скажи, разве я этому не рад и разве я этого не хочу? И в самом деле я радовался всей душой.

– Да, да, мой милый! – сказала Пегготи и снова стиснула меня в своих объятиях. – Я думала об этом днем и ночью, думала и так и этак, и, надеюсь, все будет хорошо. Но я еще подумаю и потолкую с братом, а покуда что, Дэви, будем об этом помалкивать. Баркис – добрый, простой человек, и если я постараюсь исполнять свой долг по отношению к нему, моя будет вина, если… если я совсем не оправлюсь! – заключила Пегготи, расхохотавшись от всей души.

Эта цитата из мистера Баркиса так была уместна и так нас позабавила, что мы смеялись без конца и были в прекрасном расположении духа, когда завидели дом мистера Пегготи.

Он был таким же, как и раньше, разве что – мне показалось – чуть-чуть съежился. И так же ждала нас у двери миссис Гаммидж, словно с той поры не сходила с места. И в доме ничто не изменилось, даже морские водоросли в синем кувшине стояли у меня в спальне. Я пошел в сарай поглядеть, что там делается, и в том же самом углу сбившиеся в кучу омары, крабы и креветки были одержимы все тем же желанием ущипнуть за палец весь свет.

Но нигде не было видно малютки Эмли, и я спросил мистера Пегготи, где она.

– Она в школе, сэр, – ответил мистер Пегготи, отирая пот со лба после того, как опустил на пол сундук Пегготи, – и она вернется (он взглянул на голландские часы) этак через полчасика. Нам всем ее не хватает, будьте уверены.

Миссис Гаммидж застонала.

– Смотри веселей, мамаша! – воскликнул мистер Пегготи.

– Ох, я такая чувствительная! – сказала миссис Гаммидж. – Я одинокое, бедное создание, и только ей одной не стою поперек дороги.

Хныкая и покачивая головой, миссис Гаммидж принялась раздувать огонь. Покуда она занималась этим делом, мистер Пегготи окинул нас взглядом и прошептал, прикрывая рот рукой:

– Это она думает о старике.

Я правильно заключил, что расположение духа миссис Гаммидж отнюдь не изменилось к лучшему со времени моего пребывания здесь.

Итак, дом по-прежнему был – вернее, должен был быть – очаровательным, но почему-то мне он показался иным. Я в нем как будто разочаровался. Может быть, потому, что малютки Эмли не было дома. Я знал, какой дорогой она пойдет домой, и тотчас же отправился ей навстречу по тропинке.

Скоро вдали показалась какая-то фигурка, и я узнал Эмли; она была все еще мала ростом, хотя и подросла с той поры. Но когда она приблизилась и я увидел ее синие глаза, ставшие еще синее, ее щечки с ямочками, лицо, еще более ясное, чем раньше, когда я увидел всю ее, похорошевшую и повеселевшую, – я внезапно почувствовал странное желание прикинуться, будто не знаю ее, и пройти мимо с таким видом, словно я смотрю куда-то вдаль. Если не ошибаюсь, я не раз так поступал в дальнейшей моей жизни.

Малютка Эмли ничуть не смутилась. Видела она меня прекрасно, но, вместо того чтобы повернуться и окликнуть меня, со смехом убежала. Мне ничего не оставалось делать, как побежать за ней, а она бежала так быстро, что я нагнал ее только у самого дома.

– Ах, это ты! – воскликнула малютка Эмли.

– Но ты-то знала, что это я, Эмли! – сказал я.

– А ты не знал? – сказала Эмли.

Я хотел было ее поцеловать, но она прикрыла алый ротик руками и заявила, что теперь она уже не маленькая, и, еще громче смеясь, вбежала в дом.

Казалось, ей нравилось меня дразнить, и перемена в ее обращении со мной меня очень удивляла. Чай был уже на столе, наш сундучок стоял там же, где раньше, но, вместо того чтобы подсесть ко мне, она уселась рядом с ворчавшей миссис Гаммидж, а когда мистер Пегготи осведомился о причине, она тряхнула головой, так что волосы упали ей на лицо, и только засмеялась.

– Кошечка! – сказал мистер Пегготи, ласково поглаживая ее своей огромной рукой.

– Так оно и есть, кошечка! Так оно и есть, мистер Дэви! – вскричал Хэм, затем уселся и, ухмыльнувшись, уставился на нее с изумлением, в котором сквозил восторг, вследствие чего лицо его стало багровым.

Да, все баловали малютку Эмли, а больше всех мистер Пегготи, от которого она могла добиться чего угодно – стоило ей только подойти к нему и прижаться щечкой к его жестким бакенбардам. Такое мнение сложилось у меня, когда я увидел, как она это проделывает; и, по-моему, мистер Пегготи был совершенно прав. Она была так мила, так нежна по натуре, в ее манере держать себя было такое лукавство, а вместе с тем такая застенчивость, что она пленила меня еще сильней, чем прежде. И у нее было доброе сердце. Когда мы уселись после чая у камелька и мистер Пегготи, попыхивая трубкой, намекнул на понесенную мной утрату,

слезы показались на глазах малютки Эмли и она бросила на меня через стол такой сочувственный взгляд, что я был бесконечно ей признателен.

– Но здесь, сэр, есть еще сирота, – сказал мистер Пегготи, забирая в ладонь кудри малютки Эмли и пропуская их между пальцев, словно это была вода. – А вот и еще один, – тут он ткнул рукой в грудь Хэма, – хотя уж он-то мало похож на сироту.

– Если бы вы были моим опекуном, мистер Пегготи, я не чувствовал бы себя сиротою, – сказал я, тряхнув головой.

– Здорово сказано, мистер Дэви, ох, как здорово! – восторженно воскликнул Хэм. – Ура! Здорово сказано! Лучше и нельзя сказать. Ура!

И он в свою очередь ткнул мистера Пегготи рукой в грудь, а малютка Эмли встала и поцеловала мистера Пегготи.

– А как поживает ваш друг, сэр? – обратился ко мне мистер Пегготи.

– Стирфорт? – осведомился я.

– Так вот как его зовут! – воскликнул мистер Пегготи, поворачиваясь к Хэму. – Я знал, что это как-нибудь в этом роде.

– Вы говорили – «Раддерфорд», – смеясь, возразил Хэм.

– Ну, если не «раддер», так «стир». А это все равно,[17] – отпарировал мистер Пегготи. – Как он поживает, сэр?

– Когда я уезжал, мистер Пегготи, он был здоров.

– Вот это друг! – сказал мистер Пегготи, помахивая трубкой. – Если уж говорить о друзьях, так это друг! Клянусь богом, на него приятно смотреть.

– Он красивый, не правда ли? – спросил я, радуясь этой похвале.

– Красивый! – вскричал мистер Пегготи. – Да, он умеет покрасоваться, как… как… прямо слова не подберешь… Он такой смелый!

– Да, да! Вы совершенно правы, – подтвердил я. – Он храбр, как лев, а если бы вы знали, какой он искренний и прямой, мистер Пегготи!

– И мне кажется, – продолжал мистер Пегготи, глядя на меня сквозь дым трубки, – что, коли говорить об ученье, так он все превзошел.

– О, он знает решительно все! – подтвердил я, приходя в восхищенье. – Он ужасно умный.

– Вот это друг! – пробормотал мистер Пегготи, важно покачивая головой.

– Ему все дается легко! – сказал я. – Стоит ему только заглянуть в книгу, и он уже знает урок. А такого игрока в крикет вы никогда и не видывали! И он даст вам вперед столько шашек, сколько вы захотите, и все-таки вас обыграет.

Мистер Пегготи снова покачал головой, будто хотел сказать: «Разумеется, обыграет».

– А как он говорит! – продолжал я. – Каждого он может убедить в чем угодно. И я уж и не знаю, мистер Пегготи, что бы вы сказали, если бы услышали, как он поет.

Снова мистер Пегготи качнул головой, будто хотел сказать: «Я в этом не сомневаюсь».

– И он такой великодушный, такой благородный, что как бы его ни хвалить, все будет мало! – говорил я, увлекаясь моей любимой темой. – Я никогда не смогу его отблагодарить за великодушие, с каким он оказывал мне покровительство, а я ведь гораздо моложе его и так мало знаю по сравнению с ним!

Я говорил с большим одушевлением, как вдруг мой взгляд упал на малютку Эмли, которая сидела за столом и, наклонившись вперед, слушала с глубочайшим вниманием; она затаила дыхание, голубые глаза ее сверкали, как алмазы, а щечки раскраснелись. Вид у нее был такой серьезный, а она сама была так прелестна, что от удивления я умолк; и все они тоже загляделись на нее, ибо, когда я замолчал, они засмеялись и обернулись к ней.

– Эмли – точь-в-точь я: ей тоже хочется на него поглядеть, – сказала Пегготи.

Заметив, что все глядят на нее, Эмли смутилась, опустила головку и густо покраснела. Затем она бросила на нас быстрый взгляд сквозь рассыпавшиеся кудри и, убедившись, что на нее все еще смотрят (что касается меня, то я готов был смотреть на нее часами), убежала и больше не показывалась, пока не пришла пора спать.

Я улегся, как и в былые времена, в кроватку в кормовой части баркаса, и так же, как тогда, ветер стенал над равниной. Но теперь мне казалось, будто он стенает о тех, кто ушел навеки; теперь я не думал о том, что море нахлынет в ночи и унесет баркас, теперь я думал, что с той поры, когда я в последний раз прислушивался здесь к стенаниям ветра, море уже нахлынуло и затопило мой родной дом. Помнится, когда шум ветра и моря стал затихать, я вставил в свою молитву просьбу о том, чтобы мне дано было вырасти и жениться на малютке Эмли; так, мечтая, я скоро заснул.

Дни текли почти так же, как и в первое мое посещение, произошла только одна перемена, но перемена весьма важная: теперь мы с малюткой Эмли редко гуляли по берегу моря. Она была занята приготовлением уроков и шитьем, а большую часть дня ее не было дома. Но и не будь этого, я чувствовал, что нашим прогулкам не возобновиться. Своевольная и еще по-детски капризная, она походила на маленькую женщину больше, чем я предполагал. Не прошло и года, а она отошла от меня очень далеко. Она была ко мне привязана, но смеялась надо мной и дразнила меня; бывало, я шел ее встречать, а она украдкой прибегала домой другой дорогой, и когда я возвращался разочарованный, ждала меня у двери и хохотала. Лучшее время дня наступало тогда, когда она шила у порога дома, а я сидел у ее ног на деревянной ступеньке и читал ей вслух. Сейчас мне кажется, что я никогда не видел такого сверкающего апрельского дня, что никогда не видел такой светлой маленькой фигурки, как та, что склонялась над работой у входа в старый баркас, что никогда не было такого неба, такого моря, таких чудесных кораблей, уплывающих в золотую даль.

В первый же вечер появился мистер Баркис, крайне растерянный и неуклюжий, а в руках у него был узелок с апельсинами, которые он увязал в носовой платок. Поскольку он не сделал никаких намеков касательно сего имущества, мы подумали, не забыл ли он его случайно, уходя от нас, пока Хэм, побежавший за ним, чтобы передать узелок, не вернулся и не возвестил, что апельсины предназначаются Пегготи. После этой выходки мистер Баркис являлся каждый вечер в один и тот же час и всегда с узелком, который он оставлял за дверью, ни единым словом о нем не упоминая. Эти любовные приношения были чрезвычайно разнообразны и весьма необычны. Помнится, в числе их была двойная порция свиных ножек, гигантская подушка для булавок, с полбушеля яблок, серьги в виде колец из черного янтаря, испанский лук, ящичек с домино, клетка с канарейкой и засоленный свиной окорок.

Помнится, ухаживание мистера Баркиса было крайне своеобразно. Говорил он очень мало, восседал у камелька в той же позе, что и на передке своей повозки, и таращил глаза на Пегготи, сидевшую против него. Однажды вечером, должно быть в порыве любви, он схватил огарок восковой свечи, которым она вощила нитку, положил его в карман жилета и унес с собой. В последующие вечера он испытывал огромное удовольствие, доставая прилипший к карману, размякший кусочек воска, когда возникала в нем нужда, а затем снова совал его в карман. По-видимому, он был весьма доволен и не чувствовал ни малейшей потребности говорить. Даже в тех случаях, когда он приглашал Пегготи прогуляться по берегу, он, полагаю я, не затруднял себя разговором и довольствовался только тем, что спрашивал время от времени Пегготи, оправилась ли она. Помню, иной раз, после его ухода, Пегготи закрывала лицо передником и смеялась добрых полчаса. Мы все тоже забавлялись, исключая злосчастную миссис Гаммидж, за которой некогда ухаживали, должно быть, точь-в-точь так же, ибо поведение мистера Баркиса неизменно заставляло ее вспоминать об ее «старике».

Мое пребывание приближалось уже к концу, когда было объявлено, что Пегготи и мистер Баркис предпримут увеселительную прогулку, а мы с малюткой будем их сопровождать. Я

плохо спал в ту ночь, предвкушая удовольствие провести весь день с Эмли. Спозаранку мы уже были на ногах и не успели еще позавтракать, как вдали показался мистер Баркис, направлявшийся в двуколке к предмету своих нежных чувств.

Пегготи была в своем обычном, скромном, опрятном траурном платье, но мистер Баркис был ослепителен в новом синем костюме, который портной сшил ему на вырост, так что в самую холодную погоду обшлага вполне заменяли перчатки, а воротник был так высок, что волосы мистера Баркиса стояли торчком. Огромны были и блестящие пуговицы. Темные штаны и желтый жилет довершали наряд, в котором мистер Баркис показался мне образцом респектабельности.

Когда мы все высыпали за дверь, я увидел, что мистер Пегготи приготовил старую туфлю, чтобы бросить ее на счастье нам вслед, для каковой цели он и пожелал вручить ее миссис Гаммидж.

– Нет! Пусть лучше сделает это кто-нибудь другой, Дэниел, – сказала миссис Гаммидж. – Я женщина одинокая, покинутая, а как вспомню, что не все люди на свете одиноки и покинуты, так я знаю – это мне наперекор!

– Полно, мамаша, бери туфлю и бросай! – воскликнул мистер Пегготи.

– Нет, Дэниел! – захныкав, покачала головой миссис Гаммидж. – Будь я не так чувствительна, я бы и не то могла сделать. Ты не чувствителен, Дэниел. Никто тебе не идет наперекор, и ты никому не идешь. Лучше брось-ка ее сам.

Но тут Пегготи, которая второпях уже перецеловала всех, крикнула из двуколки, куда мы к тому времени уселись (мы с Эмли рядком, на двух узких сиденьях), что миссис Гаммидж должна бросить туфлю. Так миссис Гаммидж и поступила, но, к сожалению, должен сказать, она омрачила наш праздничный отъезд, немедленно залившись слезами, после чего сникла на руки Хэма и объявила, что она бремя и что лучше всего отвезти ее сразу в работный дом. По моему мнению, это была разумная мысль, и Хэму надлежало бы так и сделать.

И вот началась наша увеселительная поездка. Первым делом мы остановились у церкви, где мистер Баркис привязал лошадь к забору, а сам с Пегготи вошел в церковь, оставив в двуколке меня и малютку Эмли – Я воспользовался этим, чтобы обвить рукой талию Эмли и заявить, что ввиду моего близкого отъезда мы должны быть очень ласковы друг с другом и провести этот день как можно веселей. Малютка Эмли со мной согласилась, позволила себя поцеловать, и тогда я совсем расхрабрился и, насколько мне помнится, уведомил ее, что никогда не буду любить другую и готов заколоть каждого, кто вздумает домогаться ее расположения.

Как это позабавило малютку Эмли! С каким важным видом эта маленькая фея старалась казаться куда более взрослой и рассудительной, чем я, когда говорила: «Какой глупый мальчик!» – и смеялась так очаровательно, что я забыл об обиде, заключенной в этих словах, и только радовался, любуясь ею.

Мистер Баркис и Пегготи оставались в церкви довольно долго, но в конце концов вышли, и мы тронулись дальше по проселочной дороге. Тут мистер Баркис повернулся ко мне и сказал, подмигивая (кстати говоря, прежде я никак не предполагал, что он умеет подмигивать):

– Какое имя я написал тогда на повозке?

– Клара Пегготи, – ответил я.

– А теперь какое имя я бы написал, будь здесь навес?

– Клара Пегготи? – повторил я вопросительно.

– Клара Пегготи Баркис! – заявил он и разразился таким смехом, что двуколка затряслась.

Короче говоря, они поженились; для того-то они и ходили в церковь. Пегготи решила, что все должно совершиться тихо и спокойно, и во время церемонии не было никаких свидетелей, а посаженого отца заменил церковный клерк. Она немного сконфузилась, когда мистер Баркис

столь внезапно возвестил об их союзе, и крепко обняла меня в знак неизменной своей любви, но скоро успокоилась и выразила удовольствие, что теперь все уже позади.

Мы подъехали к маленькой придорожной гостинице где нас ожидали и где, после вкусного обеда, мы провели день очень весело. Если бы Пегготи выходила замуж в течение последних десяти лет ежедневно, то и в этом случае она не могла бы держаться более непринужденно: никакой перемены в ней не произошло, она была такой же, как всегда, и перед чаем пошла прогуляться с малюткой Эмли и со мной; а тем временем мистер Баркис философически курил трубку и, должно быть, ублажал себя размышлениями о своем счастье. Если это так, то такие размышления весьма возбудили его аппетит, ибо я отчетливо помню, что, невзирая на съеденную за обедом добрую порцию свинины с овощами, которую он закусил не то одним, не то двумя цыплятами, мистер Баркис вынужден был потребовать к чаю холодной вареной грудинки, каковую и уплел в большом количестве и в полном спокойствии.

С той поры я не раз думал о том, какая это была чудная, умилительная, необыкновенная свадьба! Когда стемнело, мы снова уселись в двуколку и в самом благодушном настроении покатили домой, любуясь звездами и болтая о них. Показывать их выпало на долю мне, и я открыл мистеру Баркису неведомые горизонты. Я рассказал ему все, что знал, а он поверил бы решительно всему, что мне взбрело бы в голову ему сообщить, ибо проникся благоговением к моим познаниям, и, обращаясь к своей жене, во всеуслышание назвал меня «юным Рошусом», разумея под этим чудо из чудес.

Когда вопрос о звездах был исчерпан или, вернее, исчерпаны умственные способности мистера Баркиса, я сделал плащ из старой холстины, и мы сидели под ним с малюткой Эмли до конца путешествия. О, как я любил ее! Какое было бы счастье, думал я, если бы поженились мы и удалились в леса и поля; там жили бы мы и не старели и не умнели, вечно оставались бы детьми, бродили бы рука об руку под ярким солнцем по лугам, усеянным цветами, ночью склоняли бы наши головы на мягкий мох, погружаясь в сладкий, невинный, безмятежный сон, а когда нам пришлось бы умереть, нас схоронили, бы птицы! Вот какие картины вставали передо мной всю дорогу – картины, ничего общего не имеющие с реальной жизнью, озаренные светом нашей невинности, неясные, как звезды там вверху… Радостно думать, что на свадьбе Пегготи присутствовали два таких чистых существа, как малютка Эмли и я. Радостно думать, что в обычной свадебной церемонии участвовали Амуры и Грации, принявшие вид таких воздушных созданий.

Поздно вечером мы благополучно подъехали к старому баркасу; здесь мистер и миссис Баркис попрощались с нами и мирно отправились к себе домой. Вот тогда-то я впервые почувствовал, что лишился Пегготи. Под любым другим кровом я пошел бы спать с опечаленным сердцем, но только не здесь, где рядом со мною жила малютка Эмли.

Мистер Пегготи и Хэм знали не хуже меня о моих мыслях и с особым радушием ждали меня к ужину, чтобы их разогнать. Малютка Эмли подсела ко мне на сундучок – один-единственный раз в этот мой приезд; это было чудесное завершение чудесного дня.

Был ночной прилив, и вскоре после того, как мы пошли спать, мистер Пегготи и Хэм отправились на рыбную ловлю. Я чувствовал себя очень смелым, оставшись в этом уединенном доме единственным защитником малютки Эмли и миссис Гаммидж, и жаждал только нападения на нас льва, змеи или какого-нибудь отвратительного чудовища, дабы я мог его уничтожить и покрыть себя славой. Но в ту ночь никто из них не избрал для прогулок ярмутскую равнину, и мне оставалось лишь до утра грезить о драконах.

Утром появилась Пегготи и, как обычно, окликнула меня, стоя под окном, словно и возчик, мистер Баркис, и все, что вчера произошло, было также лишь сновидением. После завтрака она взяла меня к себе домой; это был чудесный маленький домик. Из всех находящихся там вещей мое особое внимание привлекло старое бюро из какого-то темного дерева, стоявшее в гостиной (обычно все собирались в кухне с кафельным полом), бюро с откидной крышкой,

превращавшей его в конторку; на нем лежала огромная, в четвертую долю листа «Книга мучеников» Фокса.[18]Этот достойный всяческого уважения том, из которого я не помню теперь ни единого слова, я немедленно обнаружил и немедленно в него погрузился. И когда бы я ни приходил сюда впоследствии, я всегда взбирался на стул, открывал ларец, заключавший сию драгоценность, затем становился на колени и, положив локти на конторку, снова и снова начинал пожирать страницу за страницей. Боюсь, что главным образом я поучался, разглядывая многочисленные иллюстрации, на коих были изображены разнообразные и неслыханные ужасы, но с тех времен и по сию пору дом Пегготи и «Мученики» неразрывно связаны между собой.

В тот день я попрощался с мистером Пегготи и Хэмом, с миссис Гаммидж и малюткой Эмли; ночь я провел у Пегготи в крохотной комнатке в мансарде (с книгой о крокодилах, лежавшей на полке у изголовья кровати), в комнатке, которая, по словам Пегготи, предназначена для меня и всегда будет сохраняться в таком же точно виде.

– И в молодости и в старости, дорогой мой Дэви, пока я жива и этот дом мой, – говорила Пегготи, – вы найдете комнату такой, словно я вас поджидаю с минуты на минуту. Я стану убирать ее ежедневно, как убирала вашу прежнюю комнатку, мое сокровище! И если бы вы уехали в Китай, можете быть уверены, что я буду ее убирать все время, пока вас нет.

Всем сердцем чувствовал я верность и преданность моей милой старой няни и благодарил ее, как только мог. Но мне не удалось поблагодарить ее хорошенько, ибо говорила она об этом утром (нежно обнимая меня), и в то же утро я отправлялся домой, куда и прибыл также утром в повозке вместе с Пегготи и мистером Баркисом. Они покинули меня у калитки, покинули с тяжелым сердцем. И как странно было мне следить за удаляющейся повозкой, увозившей Пегготи, когда я остался здесь, под старыми вязами, перед домом, где никто уже и никогда не взглянет на меня с любовью!

И вот я оказался совсем забытым, о чем и теперь не могу думать без сострадания к самому себе. Моим уделом стало полное одиночество – я жил вдали от друзей с их теплым участием, вдали от своих сверстников, вдали от чего бы то ни было, кроме моих горестных размышлений, тень которых, мне чудится, падает на бумагу даже теперь, когда я об этом пишу.

Чего бы я только не дал, чтобы меня послали в самую строгую школу и чтобы хоть чему-нибудь, как-нибудь и где-нибудь обучали! Но на это не было у меня надежды. Меня не любили. Меня просто не замечали – неизменно, сурово и жестоко. Мне кажется, мистер Мэрдстон к тому времени стал испытывать денежные затруднения, но не это являлось причиной. Он не выносил меня и, отстраняя от себя, старался, я думаю, прогнать мысль о том, что я могу предъявить какие бы то ни было претензии к нему… и своей цели он достиг.

Со мной не обходились жестоко. Меня не били, не морили голодом, но обиду, мне наносимую, я чувствовал всегда, обиду наносили мне изо дня в день с полным безучастием. Проводили дни, недели, месяцы – обо мне не думали и не вспоминали. Иногда, размышляя об этом, я задаю себе вопрос, что бы они стали делать, если бы я заболел: предоставили бы мне захиреть от болезни в моей комнатке, как обычно, в полном одиночестве, или кто-нибудь пришел бы мне на помощь?

Когда мистер и мисс Мэрдстон были дома, я ел и пил вместе с ними, в их отсутствие садился за стол один. В любое время я мог бродить вокруг дома и по окрестностям, и никто не обращал на это никакого внимания, за одним только исключением: мне запрещалось заводить друзей, вероятно из опасения, что я могу кому-нибудь пожаловаться. Поэтому, хотя мистер Чиллип часто приглашал меня к себе (он был вдов, несколько лет назад он потерял жену, маленькую белокурую женщину, которая в моих воспоминаниях всегда связывается с представлением о светло-рыжей кошечке), я редко позволял себе удовольствие заглянуть под вечер в его врачебный кабинет; там я читал книги, совсем для меня новые, вдыхая запах

всевозможных лекарств, или растирал что-нибудь в ступке под наблюдением кроткого мистера Чиллипа.

По той же причине – в добавление, конечно, к старой неприязни, питаемой ими к моей няне, – меня редко отпускали в гости к Пегготи. Строго блюдя свое обещание, она раз в неделю являлась проведать меня или встречалась со мной где-нибудь неподалеку от дома и никогда не приходила с пустыми реками. Но сколько раз я испытывал горькое разочарование, когда мне не разрешали ее посетить! Все же несколько раз, но с большими промежутками, я получал позволение поехать к ней. Оказалось, что мистер Баркис был в некотором роде скрягой или, как выражалась вежливо Пегготи, «чуточку скуповат» и хранил кучу денег у себя под кроватью, в сундуке, в котором, по его словам, не было ничего, кроме курток и штанов. Его богатства прятались в этом сундуке с таким упорством и такой застенчивостью, что даже малую толику их удавалось оттуда извлечь лишь хитростью; и Пегготи приходилось каждую неделю изобретать хитроумнейший план, – нечто вроде Порохового заговора,[19] – чтобы получить в субботу деньги на расходы.

Все это время я так глубоко чувствовал крушение всех надежд, которые прежде подавал, и полную свою заброшенность, что, несомненно, почитал бы себя совсем несчастным, не будь у меня старых моих книг. Они были единственным моим утешением, я был верен им так же, как и они мне, и я перечитывал их снова и снова, бог весть сколько раз.

Но вот я подхожу к тому периоду моей жизни, который никогда не сотрется в моей памяти, доколе я буду хоть что-нибудь помнить. Воспоминание о нем, часто помимо моей воли, встает передо мной, как привидение, и отравляет воспоминания о более счастливых временах.

Однажды я вышел из дому и слонялся вокруг с задумчивым и вялым видом, который был порождением моей праздности, как вдруг, за поворотом проселочной дороги, неподалеку от нашего дома, наткнулся на мистера Мэрдстона, который прогуливался с каким-то джентльменом. Я смутился и хотел пройти мимо, но джентльмен воскликнул:

– А! Брукс!

– Нет, сэр, Дэвид Копперфилд, – сказал я.

– Какой вздор! Ты Брукс, – возразил джентльмен. – Ты – Брукс из Шеффилда. Вот твое имя.

При этих словах я поглядел на джентльмена более внимательно. Его смех укрепил мою уверенность, что это мистер Куиньон, которого я видел, когда ездил с мистером Мэрдстоном в Лоустофт, прежде чем… впрочем, это неважно, нет нужды вспоминать, когда это было…

– Ну, как дела, где ты учишься, Брукс? – спросил мистер Куиньон.

Он положил руку мне на плечо и повернул меня, чтобы я пошел с ними. Я не знал, что ему отвечать, и растерянно взглянул на мистера Мэрдстона.

– Теперь он живет дома, – сказал мистер Мэрдстон. – Он нигде не учится. Не знаю, что с ним делать. Он трудный субъект.

На мгновение знакомый косой взгляд остановился на мне; затем мистер Мэрдстон нахмурился и с ненавистью отвернулся.

– Гм… – произнес мистер Куиньон, поглядывая, как мне показалось, на нас обоих. – Прекрасная погода.

Наступило молчание, и я стал думать о том, как бы мне половчее освободиться от его руки, лежавшей у меня на плече, и улизнуть, как вдруг он сказал:

– А ты по-прежнему очень не глуп, Брукс?

– О! Он-то не глуп, – нетерпеливо отозвался мистер Мэрдстон. – Лучше отпустите его. Он вас не поблагодарит за то, что вы его смущаете.

При таком намеке мистер Куиньон отпустил меня, и я поспешил домой. Войдя в палисадник, я оглянулся и увидел, что мистер Мэрдстон прислонился к кладбищенской ограде

и мистер Куиньон что-то говорит ему. Оба смотрели мне вслед, и я понял, что речь идет обо мне.

Мистер Куиньон переночевал у нас. Наутро после завтрака я отодвинул свой стул и направился к двери, но мистер Мэрдстон окликнул меня. Он важно уселся за другой стол, его сестра – за свое бюро. Мистер Куиньон, заложив руки в карманы, смотрел в окно, а я стоял и глядел на них.

– Дэвид, – обратился ко мне мистер Мэрдстон, – в этом мире молодежь должна работать, а не хандрить и не слоняться без дела.

– Как ты! – вставила его сестра.

– Джейн Мэрдстон! Не вмешивайтесь, прошу вас. Итак, говорю я, Дэвид, в этом мире молодежь должна работать, а не хандрить и слоняться без дела. Это в особенности справедливо по отношению к такому мальчику, как ты, с характером, нуждающимся в исправлении; и лучшей услугой такому мальчику будет заставить его приноровиться к трудовой жизни, согнуть его и сломить.

– Потому что упрямство ни к чему не поведет, – вставила его сестра. – Его нужно сокрушить. Оно должно быть сокрушено. И будет сокрушено.

Он бросил на нее взгляд укоризненный и вместе с тем одобрительный и затем продолжал:

– Полагаю, Дэвид, тебе известно, что я не богат. Во всяком случае, говорю это тебе теперь. Ты уже получил неплохое образование. Образование стоит дорого, но даже если бы оно стоило дешево и я мог бы за него платить, я держусь того мнения, что пребывание в пансионе не может пойти тебе на пользу. Тебе предстоит борьба за существование, и чем раньше ты начнешь ее, тем лучше.

Кажется, я подумал тогда, что уже начал эту борьбу, несмотря на свои слабые силы; как бы то ни было, но именно такого мнения я придерживаюсь теперь.

– Тебе уже приходилось слышать о «торговом доме»? – продолжал мистер Мэрдстон.

– О торговом доме, сэр? – спросил я.

– Да, о конторе «Мэрдстон и Гринби», о виноторговле?

Кажется, вид у меня был растерянный, ибо он с раздражением продолжал:

– Ты что-нибудь слышал о «торговом доме», о предприятиях, о погребах, о верфях или о чем-нибудь подобном?

– Мне кажется, я слыхал о «предприятии», сэр, – ответил я, вспоминая все, что знал об источнике доходов мистера Мэрдстона и его сестры. – Но не помню когда.

– Неважно, когда ты слышал, – оборвал он меня. – Мистер Куиньон управляет этим предприятием.

Я почтительно взглянул на мистера Куиньона, продолжавшего смотреть в окно.

– Мистер Куиньон говорит, что там работают несколько мальчиков, и он не видит оснований, почему бы на тех же условиях не принять на работу и тебя.

– Если у него, Мэрдстон, нет никаких других видов на будущее, – заметил вполголоса мистер Куиньон, слегка повернувшись к нему.

Мистер Мэрдстон нетерпеливо, даже гневно отмахнулся от него и продолжал, не обращая внимания на его слова:

– Эти условия таковы, что ты сможешь заработать себе на пропитание и карманные расходы. Что касается твоего жилья, о котором я уже позаботился, то за него буду платить я. Так же как и за стирку твоего белья.

– Я определю, какая сумма на это потребуется, – вставила его сестра.

– Одеваться ты тоже будешь за мой счет, пока ты еще не можешь купить себе платье сам. Итак, Дэвид, ты отправишься в Лондон с мистером Куиньоном, чтобы отныне вести самостоятельную жизнь.

– Одним словом, ты пристроен и должен заботиться о том, чтобы исполнять свой долг, – сказала его сестра.

Хотя я хорошо понимал, что, возвещая об этом, они хотели от меня отделаться, я не помню точно, был ли я доволен или испуган. Кажется, я растерялся и, колеблясь между радостью и страхом, не испытывал ни того, ни другого чувства. И у меня не было времени разобраться в своих мыслях, так как мистер Куиньон отправлялся на следующий день.

Теперь представьте себе меня на следующий день в поношенной белой шапочке, повязанной крепом, в знак траура по матери, в черней куртке, в жестких вельветовых штанах – мисс Мэрдстон почитала их самыми надежными латами для моих ног в борьбе со всем миром, которую мне предстояло вести, – представьте себе меня в этом костюме со всем моим имуществом, заключенным в сундучке, который стоит передо мной, а я, одинокий, покинутый ребенок (как сказала бы миссис Гаммидж), сижу в почтовой карете, везущей мистера Куиньона из Ярмута в Лондон. Вот наш дом и церковь исчезают вдали, вот уже другие предметы заслоняют могилу под сенью дерева, вот уже не видно и шпица колокольни, подле которой я, бывало, играл, а небо надо мной такое пустое!

Глава XI

Я начинаю жить самостоятельно, и это мне не нравится

Теперь я знаю жизнь достаточно хорошо, чтобы потерять способность чему бы то ни было удивляться. Но и теперь я все же удивляюсь тому, как легко я был выброшен вон из дому в таком раннем возрасте. Ребенок я был очень способный, наделенный острой наблюдательностью, живой, пылкий, хрупкий, меня легко было ранить и телесно и душевно, и прямо поразительно, что никто не сделал ни малейшей попытки защитить меня. Но такой попытки не было сделано, и я, в десятилетнем возрасте, стал юным рабом фирмы «Мэрдстон и Гринби».

Склад «Мэрдстон и Гринби» был расположен в Блек-фрайерсе,[20] на берегу реки. Благодаря перестройкам местность с той поры сильно изменилась; но тогда склад помещался в последнем доме на узкой извилистой уличке, спускавшейся к самой реке, так что, сойдя по нескольким ступеням, можно было сесть в лодку. Это было ветхое строение со своей собственной пристанью, окруженное водой в часы прилива и грязью во время отлива; оно буквально кишело крысами. Комнаты с обшитыми панелью стенами, потерявшими цвет под столетними слоями пыли и копоти, подгнившие полы и лестницы, писк и возня старых, седых крыс внизу в погребах, грязь и гниль этого дома возникают передо мной так отчетливо, словно все это я видел не много лет назад, но только что, сию минуту. Склад встает у меня перед глазами точь-в-точь таким же, как в тот злосчастный день, когда я пришел туда впервые, держась дрожащей рукой за руку мистера Куиньона.

Фирма «Мэрдстон и Гринби» имела дела со всяким людом, но одной из важнейших отраслей ее торговых операций являлась поставка вин и других крепких напитков на некоторые пакетботы. Я не помню в точности, какие рейсы совершали эти пакетботы, но, кажется, иные из них ходили в Ост-Индию и Вест-Индию. Знаю, что одним из результатов этих сделок было большое количество пустых бутылок и что какие-то мужчины и мальчики должны были проверять бутылки, держа их против света, откладывать в сторону надтреснутые, а остальные полоскать и мыть. Когда кончались хлопоты о пустых бутылках, надо было наклеивать этикетки на полные, закупоривать их, запечатывать и упаковывать в ящики. Вот для такой работы и был предназначен я в числе других мальчиков, работавших на складе.

Нас было трое или четверо, включая меня. Мое рабочее место находилось в углу склада, где меня мог видеть в окно мистер Куиньон, когда он становился на нижнюю перекладину

табурета перед своим бюро в конторе. В первое же утро, когда мне предстояло при таких благоприятных предзнаменованиях начать самостоятельную жизнь, к моему рабочему месту был вызван старший из мальчиков, чтобы ознакомить меня с моими обязанностями. Звали его Мик Уокер, на нем были рваный фартук и бумажный колпак. Он сообщил мне, что его отец – лодочник и что, шествуя в процессии лорд-мэра,[21] он надевает черную бархатную шляпу. Сообщил он также и то, что у нас есть третий товарищ и зовут его – весьма странно на мой взгляд – Мучнистая Картошка. Впрочем, я выяснил, что этот юнец получил сие имя не при крещении, но прозван был так на складе благодаря своей бледной, мучнистого цвета, физиономии. Отец Мучнистой Картошки был уотермен,[22] а к тому же и пожарный в одном из больших театров, где близкая родственница Мучнистой Картошки – кажется, его младшая сестра, – изображала чертенка в пантомиме.

Нет слов, чтобы описать мои тайные душевные муки, когда я попал в такую компанию. Сравнивать своих теперешних сотоварищей с теми, кто окружал меня в пору счастливого моего детства – я уже не говорю о Стирфорте, Трэдлсе и других… Чувствовать, что рухнула навсегда надежда стать образованным, незаурядным человеком… Сознание полной безнадежности, стыд, вызванный моим положением, унижение, испытываемое детской моей душой при мысли о том, что с каждым днем будет стираться в моей памяти и никогда не вернется вновь все то, чему я обучался, о чем размышлял, чем наслаждался и что вдохновляло мою фантазию и толкало меня на соревнование… Нет, этого нельзя описать. В течение всего утра, как только Мик Уокер отходил от меня, слезы мои смешивались с водой, которой я мыл бутылки, и я рыдал так, словно трещина была в моем собственном сердце и ему угрожала опасность разорваться.

На часах конторы было половина первого, и все приготовились идти обедать, как вдруг мистер Куиньон постучал в окно и поманил меня к себе. Я вошел в контору и увидел плотного мужчину средних лет в коричневом сюртуке, в черных штанах в обтяжку и в черных башмаках; на его огромной лоснящейся голове было не больше волос, чем на яйце; лицо его, которое он обратил ко мне, было весьма широкое. Костюм на нем был поношенный, но воротничок сорочки имел внушительный вид. Он держал щегольскую трость с двумя огромными порыжевшими кистями, а на сюртук был выпущен монокль – для украшения, как я узнал позднее, ибо он очень редко им пользовался, да, к тому же, ровно ничего не видел, когда к нему прибегал.

– Вот он, – сказал мистер Куиньон, имея в виду меня.

– Так это мистер Копперфилд? – проговорил незнакомец с каким-то снисходительным журчанием в голосе и с неописуемо любезным видом, очень мне понравившимся. – Надеюсь, вы поживаете хорошо, сэр?

Я ответил, что поживаю прекрасно, и выразил надежду, что и он поживает точно так же. Одному богу известно, как мне было плохо, но в ту пору не в моей натуре было жаловаться, почему я и сказал, что поживаю прекрасно и надеюсь, что и он поживает так же.

– Слава богу, я себя чувствую превосходно! – продолжал незнакомец. – Я получил письмо от мистера Мэрдстона, где он выражает желание, чтобы я уступил комнату, выходящую окнами во двор и ныне свободную… она, одним словом, сдается… уступил, одним словом, – тут незнакомец, улыбаясь, заговорил доверительным тоном, – спальню юноше, вступающему в жизнь, которого теперь я имею удовольствие…

Незнакомец помахал рукой и погрузил подбородок в воротничок сорочки.

– Это мистер Микобер, – пояснил мне мистер Куиньон.

– Гм… да… так меня зовут, – подтвердил незнакомец.

– Мистер Микобер известен мистеру Мэрдстону, – сказал мистер Куиньон. – Он доставляет нам заказы, когда их получает. Мистер Мэрдстон написал ему о тебе, и теперь он согласен принять тебя к себе жильцом.

– Мой адрес – Уиндзор-Тэррес, Сити-роуд, – сказал мистер Микобер, – я… одним словом, – он закончил все так же любезно и снова крайне доверительным тоном, – там проживаю!

Я отвесил поклон.

– Опасаясь, что ваши странствования в сей столице не могли быть еще длительными и проникновение в тайны современного Вавилона на пути к Сити-роуд представляет для вас некоторые затруднения… одним словом, – мистер Микобер снова впал в доверительный тон, – что вы можете заблудиться, я буду счастлив… зайти за вами сегодня вечером, чтобы показать вам кратчайший путь.

Я поблагодарил его от всей души, ибо очень мило было с его стороны взять на себя такой труд.

– В котором часу, – спросил мистер Микобер, – могу я…

– Около восьми, – сказал мистер Куиньон.

– Около восьми! – повторил мистер Микобер. – Позволю себе пожелать вам всего хорошего, мистер Куиньон! Не смею вас задерживать.

Он надел шляпу, подхватил трость под мышку и, приосанившись, вышел, что-то напевая.

После его ухода мистер Куиньон торжественно принял меня на службу в фирму «Мэрдстон и Гринби» для выполнения любых обязанностей и положил мне жалочанье, кажется, шесть шиллингов в неделю. Не уверен, было ли это шесть шиллингов или семь. Эта неуверенность заставляет меня думать, что вначале было шесть шиллингов, а потом семь. Он выдал мне жалованье вперед за неделю (кажется, из своего кармана), и я вручил Мучнистой Картошке шестипенсовик за то, чтобы он отнес вечером мой сундучок на Уиндзор-Тэррес: сундучок хоть и был невелик, но для меня все-таки слишком тяжел. Еще шесть пенсов я заплатил за обед, состоявший из мясного пирога и воды, за которой я прогулялся к ближайшей водокачке; час, отведенный для обеда, я провел, бродя по улицам.

Вечером, в назначенное время, мистер Микобер появился вновь. Я вымыл лицо и руки, чтобы оказать честь изяществу его манер, и мы отправились вместе с ним к себе домой – так, мне кажется, я должен отныне называть этот дом. По пути мистер Микобер обращал мое внимание на названия улиц и на угольные дома, дабы утром мне было легче найти дорогу обратно.

Добравшись до дома на Уиндзор-Тэррес (который, как я заметил, имел такой же, как и у мистера Микобера, потрепанный вид, но, подобно ему, притязал на изящество), он представил меня миссис Микобер, худой, поблекшей леди, отнюдь не молодой, которая сидела в гостиной (во втором этаже не было мебели, и шторы были спущены, чтобы ввести в заблуждение соседей) и кормила грудью младенца. Этот младенец был одним из двух близнецов, и, замечу мимоходом, за все время моего знакомства с этим семейством мне ни разу не случалось наблюдать, чтобы близнецы оставляли в покое миссис Микобер. Один из них неизменно подкреплялся.

Было и еще двое детей: юный мистер Микобер, лет четырех, и мисс Микобер, приблизительно лет трех. Они и черномазая молодая особа, служанка, которая имела привычку фыркать, довершали круг домочадцев; уже через полчаса эта особа поведала мне, что она «сиротская» и взята из приюта при работном доме в соседнем приходе св. Луки. Моя комната была расположена наверху и выходила во двор; она была очень маленькая, почти без мебели, и на стенах ее красовался орнамент, в котором мое юное воображение угадало нарисованные по трафарету голубые пышки.

– Я никогда не думала, до замужества, пока жила с папой и мамой, – сказала миссис Микобер, опускаясь на стул, чтобы отдышаться после того, как она поднялась наверх с близнецом на руках показать мне мое жилище, – я никогда не думала, что мне придется взять жильца. Но мистер Микобер находится в затруднительном положении, и приходится забыть все личные удобства.

Я сказал:

– Да, сударыня.

– В настоящее время у мистера Микобера чрезвычайно затруднительное положение, – продолжала миссис Микобер, – и я не знаю, удастся ли ему выпутаться. Когда я жила с папой и мамой, я даже не понимала, что значат эти слова, в том смысле, в каком я сейчас их употребляю, но «опыт всему научит», как говаривал мой папа.

Я точно не знаю, сказала ли она мне, что мистер Микобер был морским офицером, или я сам это выдумал. Знаю только, что и до сей поры я полагаю, будто он когда-то им был, но почему я так думаю – неведомо.

Ныне же он являлся комиссионером нескольких фирм, но, боюсь, очень мало на этом деле зарабатывал, а быть может, и совсем ничего.

– Если кредиторы мистера Микобера не дадут ему отсрочки, – продолжала миссис Микобер, – они должны будут отвечать за последствия; и чем скорее это случится, тем лучше. Ведь нельзя выжать из камня кровь, так вот теперь и из мистера Микобера ничего не вытянешь, я уже не говорю о судебных издержках.

Я никогда не мог понять, то ли моя ранняя самостоятельность ввела миссис Микобер в заблуждение касательно моего возраста, то ли она была столь поглощена своей темой, что решилась бы обсуждать ее даже с близнецами при отсутствии других слушателей, но об этом предмете она заговорила, увидев меня впервые, и о том же говорила все время, пока я знал ее.

Бедная миссис Микобер! Она сказала, что старается изо всех сил, и, несомненно, так оно и было. Посредине входной двери красовалась большая медная доска, а на ней было выгравировано: «Пансион миссис Микобер для юных леди», но никогда я не видел в этом пансионе ни одной юной леди, никогда ни одна юная леди не являлась и не предполагала явиться, и никогда не делалось никаких приготовлений для приема юных леди. Я видел, а также и слышал посетителей только одного сорта – кредиторов. Они-то являлись в любой час, и кое-кто из них бывал весьма свиреп. Некий чумазый мужчина, кажется сапожник, обычно появлялся в коридоре в семь часов утра и кричал с нижней ступеньки лестницы, взывая к мистеру Микоберу:

– А ну-ка сходите вниз! Вы еще дома, я знаю! Вы когда-нибудь заплатите? Нечего прятаться! Что, струсили? Будь я на вашем месте, я бы не струсил! Вы заплатите когда-нибудь или нет? Слышите вы?! Вы заплатите? А ну-ка сходите вниз!

Не получая ответа на свой призыв, он распалялся все больше и больше и, наконец, орал: «Мошенники!», «Грабители!»; когда и такие выражения оставались без всякого отклика, он прибегал к крайним мерам, переходил улицу и орал оттуда, задрав голову и обращаясь к окнам третьего этажа, где, по его сведениям, находился мистер Микобер. В подобных случаях мистер Микобер впадал в тоску и печаль – однажды он дошел даже до того (как я мог заключить, услышав вопль его супруги), что замахнулся на себя бритвой, – но уже через полчаса крайне старательно чистил себе башмаки и выходил из дому, напевая какую-то песенку, причем вид у него был еще более изящный, чем обычно. В характере миссис Микобер была такая же эластичность. Я видел, как она в три часа дня падала в обморок, получив налоговую повестку, а в четыре часа уплетала баранью котлету, поджаренную в сухарях, запивая ее теплым элем (оплатив и то и другое двумя чайными ложками, перешедшими в ссудную кассу). А однажды, когда моим хозяевам уже грозила продажа имущества с молотка и я случайно пришел домой рано, к шести часам вечера, я увидел миссис Микобер с растрепанными волосами, лежащей без чувств у каминной решетки (разумеется, с младенцем на руках), но никогда она не была так весела, как в тот же самый вечер, хлопоча около телячьей котлеты, жарившейся в кухне, и рассказывая мне о своих папе и маме, а также об обществе, в котором она вращалась в юные годы.

Здесь, в этом доме, и с этим семейством я проводил свой досуг. Об утреннем завтраке я заботился сам – съедал хлеба на пенни и выпивал на пенни молока. Такой же хлебец и кусочек сыра я оставлял на отведенной мне полке в шкафу, чтобы поужинать вечером по возвращении домой. Это был значительный расход, если принять во внимание мое жалованье в шесть-семь шиллингов, а ведь целый день я проводил на складе и должен был содержать себя на эти деньги в течение недели. Начиная с утра понедельника вплоть до вечера субботы, клянусь спасением своей души, я ни от кого не получал ни совета, ни ободрения, ни утешения, ни поддержки, ни помощи!

Я был еще ребенок, я был так мал и так неподготовлен – да разве и могло быть иначе! – к тому, чтобы заботиться о себе, что нередко, идя утром на склад «Мэрдстон и Гринби», не мог бороться с искушением и покупал за полцены у пирожника кусок черствого пирога, тратя деньги, предназначенные на обед. Тогда я оставался без обеда и довольствовался булочкой или куском пудинга. Помню две лавочки, где продавался пудинг; в зависимости от моих финансов я покупал то в одной из них, то в другой. Одна находилась во дворе, позади церкви св. Мартина, которая теперь уже снесена. В этой лавочке пудинг был особого сорта, с коринкой, но стоил дорого – кусок за два пенса не превосходил размером куска более скромного пудинга ценой в пенни. Такой пудинг, попроще, продавался в другой лавке – на Стрэнде, в одном из тех кварталов, которые теперь перестроены. Это был пудинг жирный, тяжелый и вязкий, какого-то тусклого цвета, с большими плоскими изюминками, растыканными на большом расстоянии одна от другой; он бывал горячим как раз в час моего обеда, который нередко только из него и состоял. Когда же я обедал сытно, как следует, то покупал сильно наперченной сухой колбасы и на пенни хлеба или кусок кровавого ростбифа за четыре пенса, а иногда заказывал порцию хлеба с сыром и кружку пива в жалкой, старой харчевне против нашего склада – в харчевне под вывеской «Лев» или Лев и еще что-то, а что именно – я забыл. Однажды, помнится, держа под мышкой ломоть хлеба, завернутый, как книга, в бумагу (хлеб я принес с собой из дому), я зашел в ресторацию около Друри-лейн, славившуюся своим мясным блюдом «а ла мод» [A la mode (франц.) – модный; здесь – зажаренный или тушенный с большим количеством пряностей], и потребовал полпорции этого лакомства, чтобы съесть его вместе с моим хлебом. Не знаю, что подумал лакей при виде столь странного юного существа, зашедшего в их заведение без всяких спутников; но я и теперь вижу, как во время моего обеда он таращил на меня глаза и притащил еще одного лакея полюбоваться мной. Я дал ему на чай полпенни, весьма желая, чтобы он отказался его взять.

Нас отпускали с работы еще один раз в день – для чаепития, кажется на полчаса. Когда у меня хватало денег, я обычно брал полкружки кофе и ломтик хлеба с маслом. Но когда их не хватало, я удовлетворялся созерцанием лавки на Флит-стрит, торгующей дичью, или успевал сбегать на рынок Ковент-Гарден и поглазеть на ананасы. Я очень любил бродить по Ад ел фи,[23] так как темные арки придавали этому месту таинственный вид. Как сейчас вижу я себя: вот я выхожу однажды вечером из-под этих арок и иду к маленькому кабачку у самой реки, с площадкой перед домом; на этой площадке пляшут грузчики угля, а я сажусь на скамейку и смотрю на них. Любопытно, что они обо мне думали!

Я был совсем ребенок и так мал ростом, что частенько, когда я подходил к стойке какого-нибудь незнакомого трактира за стаканом эля или портера, чтобы утолить жажду после обеда, трактирщик не сразу решался налить мне пива. Помню, однажды, в жаркий вечер, я подошел к трактирной стойке и спросил хозяина:

– Сколько стоит стакан лучшего эля, самого лучшего?

Повод на этот раз был особо важный. Не помню какой, может быть день моего рождения.

– Стакан Несравненного Оглушительного эля стоит два с половиной пенса, – ответил трактирщик.

– В таком случае, дайте мне, пожалуйста, стакан Несравненного Оглушительного, но, прошу вас, налейте с верхом, побольше пены, – сказал я, протягивая деньги.

Хозяин выглянул из-за стойки и, странно улыбаясь, смерил меня с ног до головы, но, вместо того чтобы нацедить пива, просунул голову за занавеску и что-то сказал жене. Та появилась с каким-то рукодельем и вместе с мужем уставилась на меня. Как сейчас вижу всех нас троих. Трактирщик в жилетке прислонился к окну у стойки, его жена глядит на меня поверх откидной доски прилавка, а я в смущении смотрю на них, остановившись перед стойкой. Они засыпали меня вопросами – как меня зовут, сколько мне лет, где я живу, где работаю и как я туда попал? На все вопросы я придумывал весьма правдоподобные ответы, стараясь ни на кого не набросить тени. Они нацедили мне эля, который, как я подозреваю, отнюдь не был Несравненным Оглушительным, а хозяйка подняла откидную доску стойки, вернула мне мои деньги и, наклонившись, поцеловала меня, то ли дивясь мне, то ли сочувствуя, не знаю, но, во всяком случае, от всего своего доброго материнского сердца.

Я уверен, что не преувеличиваю, – хотя бы даже бессознательно и неумышленно, – скудость моих средств и мои житейские затруднения. Я знаю, что, когда перепадал мне от мистера Куиньона шиллинг, я тратил его на обед или на чай. Я знаю, что, одетый в рубище, я работал вместе с простым людом с утра до вечера. Я знаю, что слонялся по улицам полуголодный. Я знаю также, что, если бы бог не смилостивился, я, брошенный без надзора, мог бы легко стать воришкой или бродягой.

Но все же в фирме «Мэрдстон и Гринби» я был на особом положении. Мистер Куиньон, поскольку можно было этого ожидать от такого беззаботного и в то же время занятого человека, да еще столкнувшегося с таким необычайным явлением, обходился со мной иначе, чем с остальными; что касается меня, то я не говорил решительно никому, как я очутился в Лондоне, и никогда не жаловался. О том, что я тайно страдал, страдал ужасно, никто не знал, кроме меня. Мне не по силам, как я уже упоминал, рассказывать, сколько я выстрадал. Я таил свои мысли про себя и делал свое дело. С первого дня я знал, что, если не начну работать так же усердно, как остальные, ко мне будут относиться насмешливо и презрительно. Уже через короткий срок после поступления на склад я не уступал никому из мальчиков в расторопности и в исполнительности. Хотя я и был с ними в приятельских отношениях, но так отличался от них своими повадками и манерами, что они держались от меня на некотором расстоянии. И они и взрослые служащие обычно называли меня «юный джентльмен» или «малыш из Суффолка». Старший упаковщик Грегори и возчик Типп, носивший красную куртку, звали меня Дэвид, но это бывало не на людях и в тех случаях, когда я, не отрываясь от работы, развлекал их, рассказывая им что-нибудь из прочитанных мною книг – книг, которые постепенно стирались в моей памяти. Мучнистая Картошка восстал однажды против этих знаков внимания, оказываемых мне, но Мик Уокер быстро призвал его к порядку.

У меня не было никакой надежды уйти от такой жизни, и я даже перестал об этом мечтать. Я глубоко убежден, что не примирился со своей участью ни на один час и всегда чувствовал себя беспредельно несчастным; но я терпел, и даже в письмах к Пегготи (мы вели оживленную переписку) – из любви к ней, а отчасти из чувства стыда – никогда не открывал тайны.

Мое тяжелое душевное состояние усугублялось также затруднительным положением мистера Микобера. В своем одиночестве я очень привязался ко всему его семейству и бродил по улицам, озабоченный расчетами миссис Микобер и ее планами, как им выпутаться из вечного безденежья, – бродил отягощенный бременем долгов мистера Микобера. В субботний вечер, который был для меня праздником отчасти потому, что, возвращаясь с работы, я ощущал в кармане шесть-семь шиллингов и, заглядывая в окна магазинов, выбирал вещи, которые можно купить на все эти деньги, а отчасти потому, что я уходил домой раньше, чем обычно, – в субботний вечер миссис Микобер делала всегда самые душераздирающие признания; такие же признания ожидали меня и в воскресенье утром, когда я заваривал в кружке для бритья чай или кофе, купленные мною накануне, и подолгу засиживался за

завтраком. Сплошь и рядом мистер Микобер горько рыдал в самом начале этих субботних признаний, а под конец напевал песенку о красотке Нэп, усладе Джека.[24] Мне случалось видеть, как он возвращался домой к ужину, обливаясь слезами и объявляя, что все пропало и остается только сесть в тюрьму, а перед сном подсчитывал, сколько будет стоить пристройка к дому окна-фонаря, «если счастье улыбнется», – таково было его любимое выражение. И миссис Микобер была точь-в-точь такою же, как ее супруг.

Между ними и мной, несмотря на разницу лет, возникла странная дружба, объяснимая, по-моему, лишь тем, что и они и я находились в одинаковом положении. Но я не разрешал себе принимать от них приглашения к столу (зная, что у них нелады с мясником и булочником и им самим часто не хватает самого необходимого), пока миссис Микобер не удостоила меня полного своего доверия. Это случилось однажды вечером.

– Мистер Копперфилд! – сказала миссис Микобер. – Вы у нас свой человек, и я должна вам сказать, что с делами у мистера Микобера катастрофа.

Услышав это я почувствовал искреннее сожаление и взглянул на покрасневшие глаза миссис Микобер с великим соболезнованием.

– Если не считать корки голландского сыра, которая совершенно не годится для нужд моего юного потомства, – продолжала миссис Микобер, – в кладовой нет ни крошки. Я привыкла у папы и мамы говорить о кладовой и употребляю это слово почти непроизвольно. Я хочу сказать, что нам решительно нечего есть.

– О господи! – горестно воскликнул я.

У меня в кармане было два или три шиллинга, оставшихся от моей еженедельной получки, – из этого я заключаю, что разговор должен был происходить вечером в среду, – я поспешно вынул их и от всего сердца предложил миссис Микобер взять их у меня взаймы. Но сия леди, поцеловав меня и заставив спрятать деньги в карман, ответила, что об этом не может быть и речи.

– Что вы, дорогой мой мистер Копперфилд! Мне это и в голову не приходило. Но вы рассудительны не по летам и могли бы оказать мне другого рода услугу, которую я с благодарностью приму.

Я просил миссис Микобер сказать, чем я могу ей услужить.

– Я сама заложила серебро, – отвечала миссис Микобер, – я собственноручно, чтобы никто об этом не узнал, и в разное время отнесла в заклад полдюжины чайных ложек, две ложечки для соли и щипцы для сахара. Но близнецы связывают меня по рукам и по ногам, а кроме того мне нелегко носить вещи в заклад, когда я вспоминаю о папе и маме. Осталась еще какая-то мелочь, без нее тоже можно обойтись. Чувства мистера Микобера мешают ему расстаться с этими вещицами, а что до Кликет, – так звали девицу из работного дома, – то она, знаете ли, совсем неразвитая и, пожалуй, задерет нос, если я окажу ей такое доверие. Могу ли я просить вас, мистер Копперфилд…

Тут я понял, к чему клонит миссис Микобер, и попросил ее распоряжаться мною по своему усмотрению. В тот же вечер я вынес из дому несколько наиболее портативных вещей и с той поры отправлялся в подобные экспедиции почти каждое утро, прежде чем идти на склад «Мэрдстон и Гринби».

У мистера Микобера в маленькой шифоньерке было десятка два книг, которые он именовал своей библиотекой; эти книги пошли в первую очередь. Я относил их, одну за другой, в книжный ларек на Сити-роуд – улицу, изобиловавшую тогда (в ближайших к нашему дому кварталах) книжными ларьками и лавками, где продавали живых птиц; эти книги я уступал за первую же предложенную мне цену. Владелец ларька, проживавший тут же рядом, напивался каждый вечер, а жена отчаянно ругала его каждое утро. Частенько, когда я приходил слишком рано, он принимал меня, лежа на раскладной кровати, с рассеченным лбом или подбитым глазом, и, таким образом, я бывал свидетелем его невоздержности, которой он предавался по

вечерам (кажется, во хмелю он был драчлив); дрожащей рукой разыскивая шиллинги, он шарил по карманам своего костюма, валявшегося на полу, а жена его, в стоптанных башмаках, держа на руках младенца, без устали его ругала. Иногда обнаруживалось, что он потерял деньги, и тогда он просил меня зайти еще раз, но у жены всегда бывало несколько монет, которые, мне кажется, она вытаскивала у него же, пьяного, и она тайком расплачивалась со мной, когда мы вместе спускались по лестнице.

Знали меня хорошо и в ссудной кассе. Джентльмен, распоряжавшийся там за прилавком, уделял мне немало внимания и, помнится, заставлял меня склонять вслух латинские существительные и прилагательные, а также спрягать глаголы, пока занимался моим делом. После каждого моего путешествия миссис Микобер устраивала скромную пирушку – обычно она готовила ужин, и, помню, он казался мне особенно вкусным.

Но в конце концов с мистером Микобером все же произошла катастрофа, и в один прекрасный день он был арестован поутру и препровожден в тюрьму Королевской Скамьи,[25] в Боро. Уходя из дому, он заявил мне, что с сего дня господь бог отвратил от него лицо свое, и мне показалось, он в самом деле был в отчаянии, так же как и я. Но позднее я узнал, что еще до полудня видели, как он весело играет в кегли.

В первое же воскресенье после его ареста я должен был его навестить и пообедать вместе с ним. Я должен был спросить, как пройти к такому-то дому, и сразу за этим домом должен был увидеть другой дом, а сразу за этим другим домом должен был увидеть двор, который надлежало пересечь и идти прямехонько, не сворачивая, пока не увижу тюремного сторожа. Так я и поступил, и когда, наконец, увидел тюремного сторожа, у меня (бедный я мальчуган!) мелькнула мысль о пребывании Родрика Рэндома в долговой тюрьме, где вместе с ним был заключенный, не имевший никакой одежды и закутанный только в старое одеяло,[26] и сторож вдруг расплылся у меня в глазах, потому что они заволоклись слезами, а сердце заколотилось в груди.

Мистер Микобер поджидал меня за оградой, поднялся вместе со мной в свою камеру (в предпоследнем этаже) и горько заплакал. Помню, он торжественно заклинал меня помнить о его судьбе, которая должна служить мне предостережением, и не забывать о том, что если человек зарабатывает в год двадцать фунтов и тратит девятнадцать фунтов девятнадцать шиллингов шесть пенсов, то он счастливец, а если тратит двадцать один фунт, то ему грозит беда. Затем он взял у меня взаймы шиллинг на портер, вручил мне соответствующий чек на имя миссис Микобер, спрятал носовой платок и приободрился.

Мы сидели перед маленьким камином – где за ржавой решеткой положили по кирпичу с обеих сторон, дабы жечь поменьше угля, – пока другой заключенный, проживавший в камере вместе с мистером Микобером, не явился с куском баранины, предназначенным для нашей общей трапезы. Тогда меня послали наверх к «капитану Гопкинсу» передать привет от мистера Микобера, сказать, что я юный друг мистера Микобера, и позаимствовать у капитана Гопкинса нож и вилку.

Капитан Гопкинс одолжил мне нож и вилку и передал привет мистеру Микоберу. В его маленькой камере находились весьма нечистоплотная на вид леди и две тощие молодые девицы, его дочери, с копнами волос на голове. Я подумал, что приятнее позаимствовать у капитана Гопкинса нож и вилку, чем гребенку. Сам капитан был настоящий оборванец, лицо его украшали большие бакенбарды, а под старым-престарым рыжим пальтишком не видно было и признака сюртука. В углу я увидел свернутую постель капитана, увидел, какие тарелки, блюдца и горшочки хранит он на своей полке, и догадался (бог весть почему), что хотя две девицы с копнами на голове в самом деле приходятся ему дочерьми, но неопрятная леди – не жена капитану Гопкинсу. Смущенный, я провел на пороге его камеры не больше двух минут, но, спускаясь по лестнице и унося с собой эти наблюдения, я был уверен в их правильности не меньше, чем в том, что у меня в руках нож и вилка.

Обед прошел оживленно и как-то по-цыгански. Еще до наступления вечера я отнес капитану Гопкинсу нож и вилку и поспешил домой утешить миссис Микобер отчетом о своем посещении. При виде меня ей стало дурно, а затем она приготовила кувшинчик теплого пива с яйцом для нашего услаждения во время беседы.

Не знаю, как была продана домашняя обстановка, чтобы поддержать семейство, и кто ее продавал, – знаю только, что не я. Во всяком случае, она была продана и увезена в фургоне; остались только кровати, несколько стульев и кухонный стол. С этой мебелью мы разбили лагерь в двух гостиных опустевшего дома на Уиндзор-Тэррес – миссис Микобер, дети, «сиротская» и я – и проводили здесь дни и ночи. Не помню, сколько времени это продолжалось, но, кажется, долго. В конце концов миссис Микобер решила переселиться в тюрьму, где мистер Микобер к тому времени обитал в камере один. Я отнес ключ от дома хозяину, который очень обрадовался этому ключу, а в тюрьму Королевской Скамьи перевезли кровати, – все, кроме моей, для которой нанята была комнатка сразу же за стенами сего учреждения, к вящему моему удовольствию, так как Микоберы и я, совместно перенося лишения, очень привыкли друг к другу. «Сиротская» также была устроена в дешевой каморке по соседству. Моя комнатка была в мансарде с покатым потолком и с прекрасным видом на дровяной склад; поселившись в ней и придя к заключению, что, наконец, кризис в жизни мистера Микобера наступил, я почувствовал себя здесь как в раю.

Все это время я работал на складе «Мэрдстон и Гринби», исполняя все ту же простую работу, водясь все с теми же простыми людьми и испытывая все то же чувство незаслуженного мной унижения, как и раньше. Но, – несомненно к счастью для себя, – я не завел знакомства и не разговаривал с теми мальчишками, которых в большом количестве встречал ежедневно по дороге на склад, а также на обратном пути или во время моих блужданий по улицам в обеденный перерыв. Я вел всю ту же жизнь, печальную и скрытую ото всех, и вел ее, по-прежнему одинокий, полагаясь только на самого себя. Перемена заключалась лишь в том, что моя одежда все более изнашивалась и я все более освобождался от бремени забот о мистере и миссис Микобер: какие-то родственники или приятели пришли им на помощь в их бедственном положении, и они жили в тюрьме с такими удобствами, каких уже давным-давно не знали вне ее стен. Теперь я завтракал вместе с ними, но на каких условиях – не помню. Позабыл я также, в котором часу отмыкались утром ворота, открывавшие мне доступ в тюрьму; но, помнится, я часто вставал в шесть часов, и у меня оставалось еще время совершить мою излюбленную прогулку к старому Лондонскому мосту, где я садился в одной из каменных ниш и наблюдал прохожих или любовался, стоя у балюстрады, на отраженное в воде солнце, зажигающее золотое пламя на верхушке Монумента.[27] Случалось, сюда приходила «сиротская» и выслушивала от меня поразительные истории о верфях и Тауэре;[28] об этих историях могу сказать одно: думаю, что я в них верил сам. Вечером я снова возвращался в тюрьму, прохаживался взад и вперед по двору с мистером Микобером или играл в карты с миссис Микобер и слушал ее воспоминания о папе и маме. Не могу сказать, знал ли мистер Мэрдстон о том, где я бываю, или не знал. У «Мэрдстона и Гринби» я ничего об этом не говорил.

Хотя для мистера Микобера катастрофа была уже позади, но его дела были весьма запутаны, ибо существовал какой-то «акт», о котором мне столько раз приходилось слышать, акт, который являлся, как мне теперь кажется, прежним соглашением мистера Микобера с кредиторами; впрочем, тогда я имел о нем столь смутное понятие, что думал, будто он похож на те договоры с дьяволом, которые, как многие верят, некогда очень часто заключались в Германии. В конце концов этот документ каким-то образом перестал быть помехой, во всяком случае, он уже не являлся камнем преткновения, и миссис Микобер сообщила мне, что «ее семейство» решило, чтобы мистер Микобер хлопотал об освобождении по Закону о несостоятельности,[29] который может ему вернуть свободу, как она надеется, месяца через полтора.

– Вот тогда, – вмешался присутствовавший при этом разговоре мистер Микобер, – благодарение небу, я, несомненно, хорошо устроюсь и заживу прекрасно, совсем по-другому, если… если… одним словом, если счастье улыбнется.

Помнится, примерно в это время мистер Микобер, с целью приуготовиться к будущему, составил петицию в палату общин об изменении закона о тюремном заключении за долги. Упоминаю об этом теперь, так как этот случай позволяет мне самому понять, как я приспосабливал прочитанные мной раньше – книги к моей тогдашней, столь изменявшейся, жизни и сочинял для самого себя истории, в которых участвовали встреченные мною на улицах мужчины и женщины, а также, каким образом формировались постепенно некоторые основные черты моего характера, которые я ненароком буду раскрывать в повествовании о моей жизни.

В тюрьме был клуб, в котором мистер Микобер, как джентльмен, пользовался большим авторитетом. Мистер Микобер поделился в клубе своей идеей подать петицию в палату общин, и клуб горячо поддержал ее. Поэтому мистер Микобер (человек чрезвычайно добрый, обладавший беспримерной активностью во всех делах, за исключением своих собственных, и очень радовавшийся, если ему приходилось хлопотать о чем-нибудь таком, что не приносило ему ровно никакой выгоды) засел за составление петиции, сочинил ее, переписал на огромном листе бумаги и, разложив на столе, оповестил, что в такой-то час члены клуба и все лица, находящиеся в стенах тюрьмы, могут пожаловать, если пожелают, в его камеру и подписать петицию.

Когда я прослышал о предстоящей церемонии, мне так захотелось поглядеть, как все заключенные соберутся и будут подписывать бумагу один за другим, – хотя я знал большинство из них, да и они меня знали, – что отлучился на час со склада «Мэрдстон и Гринби» и расположился с этой целью в уголке камеры. Главные члены клуба – столько человек, сколько могло поместиться в маленькой камере, – окружили мистера Микобера перед столом с петицией, а мой старый приятель капитан Гопкинс (помывшийся ради такого торжественного случая) стоял у самого стола, дабы читать петицию тем, кто не был с ней знаком. Распахнулась дверь, и гуськом потянулись обитатели тюрьмы: пока один входил и, подписавшись, выходил, остальные ждали за дверью. Капитан Гопкинс спрашивал каждого:

– Читали?

– Нет.

– Хотите послушать?

Если спрашиваемый проявлял хоть малейшее желание послушать, капитан Гопкинс громким, звучным голосом читал петицию от слова до слова. Капитан готов был читать двадцать тысяч раз двадцати тысячам слушателей, одному за другим. Я снова слышу сладкие переливы его голоса, когда он произносит фразы: «Народные представители, собранные в парламенте», «Нижеподписавшиеся смиренно предстательствуют перед благородной палатой», «Несчастные подданные всемилостивейшего его величества»; казалось, будто эти слова в его устах вполне осязаемы и необыкновенно приятны на вкус. Тем временем мистер Микобер прислушивался к чтению с легким авторским тщеславием, созерцая (впрочем, рассеянно) прутья решетки в окне напротив.

Припоминая, как я шел ежедневно обычным своим путем от Саутуорка до Блекфрайерса и обратно и блуждал в обеденный перерыв по глухим уличкам, камни которых и посейчас, быть может, сохраняют следы детских моих ног, – я стараюсь угадать, кого недостает в толпе, вновь выстраивающейся гуськом в моем воображении, откликаясь на голос капитана Гопкинса, еще звучащий в моих ушах. Когда мои мысли обращаются теперь к медленной агонии моего детства, я стараюсь угадать, сколько я выдумал историй об этих людях, историй, скрывающих, словно туман, ясно запомнившиеся факты. Но, попадая вновь в знакомые места, я не удивляюсь, когда мне чудится, будто я вижу бредущую впереди жалкую фигурку невинного

ребенка, создававшего свой воображаемый мир из таких необычных испытаний и житейской пошлости.

Глава XII

Мне по-прежнему не нравится самостоятельная жизнь, я принимаю знаменательное решение

В положенный срок прошение мистера Микобера было рассмотрено, и, к великой моей радости, этого джентльмена распорядились освободить по Закону о несостоятельности. Его кредиторы не были людьми неумолимыми, и, как сообщила мне миссис Микобер, даже мстительный сапожник объявил на суде, что не питает злобы к мистеру Микоберу, но любит-де, если кто ему задолжал, чтобы деньги платили. Такова, по его мнению, человеческая природа, присовокупил он.

Мистер Микобер вернулся в тюрьму Королевской Скамьи, ибо надлежало уплатить судебные издержки и уладить какие-то формальности, прежде чем окончательно выйти на свободу. Клуб встретил его восторженно и в тот же вечер устроил в его честь музыкальное собрание, а тем временем мы с миссис Микобер, окруженные спящими детьми, лакомились жареным барашком.

– Ради такого случая, мистер Копперфилд, я дам вам еще немного флипа,[30] – сказала миссис Микобер после того, как мы уже отведали его, – в память папы и мамы.

– Они умерли, сударыня, – спросил я, поддержав тост и выпив рюмку.

– Моя мама простилась с жизнью, прежде чем у мистера Микобера начались затруднения, во всяком случае прежде, чем нам стало совсем плохо. Мой папа, покуда был жив, несколько раз давал поручительства за мистера Микобера, но в конце концов, к прискорбию многочисленных друзей, скончался.

Миссис Микобер поникла головой и уронила благоговейную слезу на того из близнецов, которому в этот момент случилось покоиться у нее на руках.

Вряд ли я мог надеяться на более благоприятный случай, чтобы задать крайне интересовавший меня вопрос, и поэтому я спросил миссис Микобер:

– Разрешите узнать, сударыня, что вы и мистер Микобер намерены делать теперь, когда мистер Микобер выпутался из затруднительного положения и вышел на свободу? У вас есть какие-нибудь планы?

– Мое семейство, – сказала миссис Микобер, всегда произносившая эти два слова крайне торжественно, причем я понятия не имел, кого она подразумевает, – мое семейство придерживается того мнения, что мистер Микобер должен покинуть Лондон и найти применение своим дарованиям в провинции. Мистер Микобер – человек великих дарований, мистер Копперфилд.

Я выразил полную уверенность в этом.

– Да, человек великих дарований! – повторила миссис Микобер. – Мое семейство придерживается того мнения, что при небольшой протекции человек с его способностями может поступить в таможенное управление. У моего семейства есть связи в провинции, и оно выражает желание, чтобы мистер Микобер отправился в Плимут. Оно почитает необходимым, чтобы он был там, на месте.

– Чтобы он был наготове? – предположил я.

– Вот именно! – подтвердила миссис Микобер. – Чтобы он был наготове в случае, если… счастье улыбнется.

– И вы тоже отправитесь туда, сударыня?

События, имевшие место днем, а также близнецы и, быть может, флип привели миссис Микобер в истерическое состояние, вследствие чего она залилась слезами и сказала:

– Я никогда не покину мистера Микобера. Хотя мистер Микобер в первый момент может и скрыть от меня свои затруднения, но только потому, что благодаря сангвиническому темпераменту надеется их преодолеть. Жемчужное ожерелье и браслеты, которые я получила в наследство от мамы, были проданы за полцены, а коралловый убор, свадебный подарок папы, пошел за гроши. Но я никогда не покину мистера Микобера! О нет! – воскликнула миссис Микобер, приходя в еще большее возбуждение. – Никогда я этого не сделаю! Даже и не просите меня об этом!

Мне стало не по себе. Вот те на! Миссис Микобер решила, будто я предлагаю ей что-нибудь подобное! И я сидел и смотрел на нее с тревогой.

– У мистера Микобера есть свои недостатки. Я не стану отрицать, что он непредусмотрителен. Я не стану отрицать, что он держал меня в неведении относительно своих ресурсов и долгов, – она вперила взгляд в стену, – но никогда я не покину мистера Микобера!

Тут миссис Микобер, повышая мало-помалу голос, прямо-таки завопила, и я так испугался, что бросился в клубную комнату, где мистер Микобер сидел за длинным столом на председательском месте и управлял хором:

Тпру, Доббин!

Но, Доббин!

Тпру, Добин!

Тпру и ио-о-о![31]

Я примчался с известием, что состояние миссис Микобер внушает крайнюю тревогу; услышав это, мистер Микобер зарыдал и поспешно вышел вместе со мной, причем его жилет был сплошь усеян головками и хвостиками креветок, которыми он угощался.

– Эмма, ангел мой! – воскликнул мистер Микобер, вбегая в комнату. – Что случилось?

– Я никогда не покину вас, Микобер! – вскричала та.

– О, жизнь моя! – воскликнул мистер Микобер, заключая ее в объятия. – Я в этом совершенно уверен!

– Он – родитель моих детей! Он – отец моих близнецов. Он – мой возлюбленный супруг, – вырываясь из его объятий, выкрикивала миссис Микобер, – я ни… ког…да не… покину мистера Микобера!

Мистер Микобер так разволновался этим доказательством ее преданности (которое довело меня до слез), что страстно прижал ее к сердцу, уговаривая посмотреть на него и успокоиться. Но чем больше упрашивал он миссис Микобер посмотреть на него, тем более неподвижным и пустым становился ее взгляд, и чем больше он упрашивал ее успокоиться, тем меньше эти слова достигали цели. В результате мистер Микобер скоро потерял самообладание, и его слезы смешались со слезами супруги и моими; наконец он попросил меня выйти и посидеть на площадке лестницы, покуда он не уложит ее в постель.

Я хотел попрощаться с ним и идти домой, но он убедил меня остаться, пока не ударят в колокол, возвещавший, что посетителям пора уходить. Поэтому я уселся у окна на площадке и ждал до той поры, когда он появился с другим стулом и расположился рядом со мной.

– Как себя чувствует сейчас миссис Микобер? – спросил я.

– Она пала духом. Реакция, – ответил мистер Микобер понурившись. – Какой ужасный день! Теперь мы совсем одиноки, мы потеряли все!

Мистер Микобер сжал мою руку, застонал и прослезился. Я был очень растроган, но в то же время разочарован, так как думал, что все мы будем веселы в этот счастливый долгожданный день. Но, мне кажется, мистер и миссис Микобер так привыкли к своим вечным затруднениям, что почувствовали себя потерпевшими кораблекрушение именно теперь, когда от них избавились. Вся их эластичная жизнерадостность исчезла, мне ни разу еще не

приходилось их видеть такими жалкими, как в тот вечер; когда зазвонил колокол и мистер Микобер проводил меня до сторожки и благословил на прощание, я с тревогой оставил его одного – таким он казался несчастным.

Но растерянность и уныние, которые неожиданно для меня нас охватили, все же не помешали мне почувствовать, что мистер и миссис Микобер покинут вместе с детьми Лондон и наша разлука неминуема и близка. Именно в тот вечер по пути домой и в бессонные часы, наступившие для меня, когда я улегся в постель, впервые мне пришла в голову мысль, – не знаю, как она там появилась, – которая позднее привела к твердому решению.

Я так привык к Микоберам, злосчастная их жизнь так сблизила меня с ними, я так был одинок без них, что перспектива искать новое помещение и опять очутиться среди чужих людей была для меня тогда равносильна необходимости снова пуститься в плавание по воле ветра, а я слишком хорошо знал по опыту, что меня ожидает. Когда я об этом думал, все мои чувства, искалеченные жизнью, стыд и унижение, пробужденные ею в моем сердце, стали еще более мучительны, и я решил, что так жить невозможно.

О том, что, надеясь изменить свою судьбу, я должен полагаться только на самого себя, я знал хорошо. Мне редко приходилось слышать упоминание о мисс Мэрдстон, а о мистере Мэрдстоне – никогда; раза два-три на имя мистера Куиньона приходили для меня свертки с новой или починенной одеждой, в каждом свертке находилась записка, в которой Дж. М. выражала уверенность, что Д.К. приучился к работе и всецело посвятил себя исполнению долга, и ни малейшего намека на то, что из меня может что-нибудь выйти и я не буду простым чернорабочим, которым я неотвратимо становился.

Уже на следующий день, когда голова моя, в которой зародилась новая мысль, еще пылала от возбуждения, стало очевидно, что миссис Микобер говорила об их близком отъезде не без оснований. Они сняли помещение в том доме, где я жил, только на неделю, а затем должны были отправиться в Плимут. Днем мистер Микобер самолично явился в контору склада, сообщил мистеру Куиньону, что в день отъезда они вынуждены меня покинуть, и отозвался обо мне с самой высокой похвалой, которую я, несомненно, заслужил. А мистер Куиньон позвал возчика Типпа, женатого человека, сдававшего комнату внаймы, и сговорился с ним о моем переезде туда – с обоюдного нашего согласия, как он имел основания полагать, ибо я промолчал, хотя решение мое было уже принято.

Пока я оставался под одной кровлей с мистером и миссис Микобер, все вечера я проводил с ними, и, мне кажется, за это время мы еще больше привязались друг к другу. В последнее воскресенье они пригласили меня к обеду; на обед у нас было свиное филе с яблочным соусом и пудинг. Накануне я купил крапчатую деревянную лошадку в подарок юному Уилкинсу Микоберу – так звали мальчика, – а маленькой Эмме куклу. Я подарил также шиллинг «сиротской», которая лишалась места.

День мы провели очень приятно, хотя все были взволнованы предстоящей разлукой.

– Мнстер Копперфилд, возвращаясь мысленно к периоду тяжелых затруднений мистера Микобера, я всегда буду думать о вас, – сказала миссис Микобер. – Вы были так услужливы, так деликатны! Вы не были жильцом. Вы были другом.

– Дорогая моя, – сказал мистер Микобер, – у Копперфилда (в последнее время он привык называть меня просто по фамилии) есть сердце, чтобы сочувствовать бедствиям своих ближних, когда они находятся в стесненных обстоятельствах, у него есть голова, чтобы строить разные планы, у него есть руки, чтобы… ну, одним словом, способность избавляться от имущества, без которого можно обойтись.

В ответ на такую похвалу я выразил свою благодарность и сказал, что мне очень грустно расставаться с ними.

– Мой дорогой юный друг! – воскликнул мистер Микобер. – Я старше вас. У меня есть жизненный опыт, у меня есть… опыт… одним словом, опыт, почерпнутый из затруднений. В

настоящее время, пока счастье еще не улыбнулось (должен сказать, я жду этого с часу на час), я ничего не могу вам предложить, кроме совета. Все-таки мой совет заслуживает того, чтобы ему последовать, поскольку я… ну, одним словом, поскольку я… не следовал ему сам, и теперь… – мистер Микобер, который все время улыбался и сиял, вдруг запнулся и нахмурился, – теперь вы видите перед собой несчастнейшего человека.

– О мой дорогой Микобер! – вскричала его супруга.

– Я говорю: вы видите перед собой несчастнейшего человека, – продолжал мистер Микобер, уже забыв о себе и снова улыбаясь. – Вот мой совет: никогда не откладывайте на завтра того, что вы можете сделать сегодня. Промедление крадет у вас время. Хватайте его за шиворот.

– Изречение моего бедного папы! – вставила миссис Микобер.

– Дорогая моя, ваш папа был в своем роде прекраснейший человек, и боже меня упаси осуждать его! Во всяком случае, нам, вероятно, никогда уже… одним словом, нам никогда не встретить человека его лет с такими стройными ногами, словно созданными для гетр, и способного читать без очков. Но он, дорогая моя, употреблял это выражение применительно к нашему браку, вследствие чего наш брак был заключен с такой быстротой, что я так и не успел покрыть расходы.

Мистер Микобер посмотрел искоса на миссис Микобер и добавил:

– Это отнюдь не значит, что об этом я жалею. Как раз наоборот, любовь моя.

И он на минутку призадумался.

– Другой мой совет вы знаете, Копперфилд, – продолжал мистер Миксбер. – Ежегодный доход двадцать фунтов, ежегодный расход девятнадцать фунтов, девятнадцать шиллингов, шесть пенсов, и в итоге – счастье. Ежегодный доход двадцать фунтов, ежегодный расход двадцать фунтов шесть пенсов, и в итоге – нищета. Цветы увядают, листья опадают, дневное божество озаряет печальную картину и… и… одним словом, вы навсегда повержены! Как я!

Засим мистер Микобер, желая запечатлеть в моей памяти свою судьбу, выпил с веселым и удовлетворенным видом стакан пунша и стал насвистывать какой-то плясовой мотив.

Я не преминул уверить его, что твердо запомню его наказы, хотя, в сущности, в этом не было нужды, так как было очевидно, сколь сильно взволновали они меня. На следующее утро я встретился со всем семейством в конторе по найму карет и с тяжелым сердцем наблюдал, как они занимали наружные задние места.

– Да благословит вас господь, мистер Копперфилд! – сказала миссис Микобер. – Я никогда не смогу все это забыть и не забуду, даже если бы захотела!

– Прощайте, Копперфилд! – сказал мистер Микобер. – Будьте счастливы и преуспевайте! Если с течением времени я узнаю, что моя злосчастная судьба послужила вам предостережением, я буду считать, что в этом подлунном мире я существовал не без пользы. Если счастье мне улыбнется (а я на это надеюсь), я с радостью сделаю все, что в моих силах, чтобы прийти вам на помощь и вывести вас на дорогу.

Мне кажется, миссис Микобер, сидевшая с детьми на Задних наружных местах и печально смотревшая на меня, пока я стоял на дороге и пристально на них глядел, – мне кажется, миссис Микобер вдруг прозрела и увидела, как я еще мал. Думаю я так потому, что она, с совершенно новым для меня, материнским выражением лица, дала мне знак вскарабкаться наверх, обняла меня за шею и поцеловала так, как будто я был ее сыном. Я едва успел спуститься вниз, как карета тронулась, и я с трудом мог разглядеть семейство среди носовых платков, которыми оно размахивало на прощанье.

Через минуту карета скрылась из виду. Посреди дороги остались я и «сиротская»; мы печально посмотрели друг на друга, затем пожали друг другу руку и попрощались; она, мне

думается, отправилась снова в работный дом прихода св. Луки, а я пошел начинать свой трудовой день на складе «Мэрдстон и Гринби».

Но влачить и впредь такую мучительною жизнь намерения у меня не было. Я решил бежать. Любым способом бежать в деревню к единственной родственнице, какая у меня оставалась на свете, и рассказать обо всем, что случилось со мной, моей двоюродной бабушке, мисс Бетси.

Я уже упоминал, что не ведаю, как пришла мне в голову эта отчаянная мысль. Но она зародилась в ней, засела крепко и привела к такому твердому решению, какого я никогда еще не принимал. Вряд ли я питал тогда какие-нибудь далеко идущие надежды, я сосредоточился исключительно на том, чтобы привести задуманное мною в исполнение.

Снова и снова, сотни раз с той поры, как этот замысел появился и лишил меня сна, я возвращался к рассказу моей бедной матери о моем рождении, – рассказу, который в былые времена я так любил слушать и знал наизусть. В этом рассказе бабушка появилась и исчезла, страшная, пугающая фигура; но в ее поведении была одна черточка, которая мне нравилась и чуть-чуть меня приободряла. Я не мог забыть, что моей матери казалось, будто она почувствовала, как прикоснулась к ее прекрасным волосам моя бабушка, прикоснулась нежной рукой. Быть может, это была только фантазия матери, не имевшая ровно никаких оснований, но я нарисовал себе такую картину: грозная бабушка смягчается при виде юного прекрасного лица, которое я помнил так хорошо и так сильно любил; и эта черточка согревала весь рассказ матери. Вполне возможно, что она долго таилась в моем сознании и постепенно привела меня к моему решению.

Так как я даже не знал, где живет мисс Бетси, то написал Пегготи длинное письмо и, как бы вскользь, спросил, помнит ли она ее адрес; при этом я упомянул, что слышал, будто эта леди проживает в таком-то месте, которое я назвал наугад, а я, мол, хотел бы знать, верно ли это. В письме я писал, что очень нуждаюсь в полгинее, и был бы ей премного благодарен, если бы она ссудила мне эту сумму до той поры, покуда я не смогу вернуть, и обещал рассказать позднее, зачем мне нужны деньги.

Скоро прибыло ответное письмо Пегготи – как всегда, полное заверений в любви и преданности. В письмо она вложила полгинеи (боюсь, ей стоило большого труда извлечь эти деньги из сундука мистера Баркиса) и сообщала, что мисс Бетси проживает где-то около Дувра, но ей неизвестно, в самом ли Дувре, в Хайте, в Сандгете или в Фолкстоне. Кто-то из служащих на складе в ответ на мой вопрос об этих местах сказал, что все эти города расположены рядом, по соседству один от другого, и я счел такой ответ вполне удовлетворительным для моих целей и решил отправиться в конце недели.

Я был очень честным мальчуганом и, не желая оставлять по себе у «Мэрдстона и Гринби» дурную славу, считал себя обязанным остаться до субботнего вечера, а поскольку при поступлении на склад мне было уплачено вперед за неделю, решил не идти в обычный час в контору за своим жалованьем. Вот по этой-то причине я и взял взаймы полгинеи, чтобы иметь деньги на дорогу.

Когда наступил субботний вечер и все мы собрались на складе в ожидании получки, а Типп, возчик, пользовавшийся привилегией получать первым, пошел за деньгами, я пожал руку Мику Уокеру, попросил его, когда он пойдет в контору, передать мистеру Куиньону, что я отправился перенести свой сундучок к Типпу, и, в последний раз пожелав спокойной ночи Мучнистой Картошке, убежал.

Мой сундучок находился на моей старой квартире над рекой, и я написал для него адрес на обратной стороне одной из наших адресных табличек, которые мы прибивали к бочонкам: «Мистеру Дэвиду до востребования, контора наемных карет, Дувр». Эта табличка была у меня в кармане, заранее приготовленная, чтобы привесить ее к сундучку, когда мне удастся вынести

его из дому; по дороге домой я искал кого-нибудь, кто помог бы мне перетащить сундучок в контору почтовых карет.

Неподалеку от Обелиска,[32] на Блекфрайерс-роуд, стоял около маленькой тележки, запряженной ослом, долговязый парень; когда я проходил мимо, он поймал мой взгляд и крикнул: «Ну что, ротозей, небось запомнил меня?» – заметив, что я пристально на него смотрю. Я остановился и сказал, что отнюдь не хотел его обидеть, а просто-напросто размышлял, возьмется ли он исполнить одно поручение.

– Какое поручение? – спросил долговязый парень.

– Перевезти сундучок, – ответил я.

– Какой сундучок? – спросил долговязый.

Я объяснил, что сундучок мой находится в доме на той же улице и я даю шесть пенсов за доставку его в контору дуврских наемных карет.

– По рукам. Шесть пенсов! – сказал долговязый парень, вскочил в запряженную ослом тележку, которая была не чем иным, как большим деревянным корытом на колесах, и, грохоча, поскакал с такой скоростью, что мне приходилось напрягать все силы, чтобы не отстать от осла.

В парне было нечто вызывающее, особенно в его манере жевать соломинку во время разговора, и это мне не понравилось. Но мы с ним уже сговорились, и мне пришлось повести его наверх в мою комнату, откуда мы вынесли сундучок и поставили в тележку. Мне покуда не хотелось привешивать к сундучку табличку с адресом, чтобы кто-нибудь из семьи хозяина не проведал о моем плане и не задержал меня; поэтому я попросил парня остановиться на минуту, когда он поравняется с глухой стеной тюрьмы Королевской Скамьи. Только успел я это сказать, как он помчался так, словно и он сам, и мой сундучок, и тележка, и осел – все разом обезумели, а я чуть не задохся, стараясь догнать его и окликая на бегу, пока, наконец, не догнал в указанном мною месте.

Запыхавшись и раскрасневшись, я выронил из кармана мои полгинеи, доставая табличку с адресом. Ради сохранности монеты я засунул ее в рот и, хотя руки у меня дрожали, очень удачно приладил табличку, как вдруг долговязый ударил меня в подбородок, и я увидел, что мои полгинеи вылетели изо рта ему на ладонь.

– Э, да тут подсудное дело! – вскричал долговязый и с ужасной гримасой схватил меня за ворот куртки. – Что! Удрать собрался? А ну-ка пойдем в полицию, негодный мальчишка!

– Отдайте мне мои деньги и оставьте меня в покое! – сказал я в испуге.

– Пойдем в полицию! – повторил парень. – Там разберут, чьи это деньги,

– Отдайте мой сундучок и деньги! – закричал я и разрыдался.

Долговязый снова повторил: «Пойдем в полицию!» – и поставил меня прямо перед ослом, словно между этим животным и судьей была какая-то связь, но вдруг передумал, прыгнул в тележку, уселся на мой сундучок и, крикнув, что едет в полицию, помчался еще быстрее, чем раньше.

Я пустился за ним со всех ног, но, задыхаясь от бега, не мог кричать, да, пожалуй, и смелости бы у меня недостало. Раз двадцать меня чуть не задавили. Я терял его из виду, снова находил, снова терял, на меня кричали, огрели меня кнутом, я упал в грязь, кое-как поднялся, на кого-то наскочил, налетелна столб. Но вот настал момент, когда, измученный страхом и жарой, опасаясь, как бы весь Лондон не бросился за мной в погоню, я дал возможность долговязому парню скрыться с моими деньгами и сундучком. Я рыдал, я не в силах был перевести дыхание, но, не останавливаясь, вышел на дорогу, ведущую к Гринвичу, который, как я узнал раньше, находится на пути в Дувр. К дому моей бабушки, мисс Бетси, я нес с собой чуть-чуть побольше имущества, чем было у меня в ту ночь, когда мое появление на свет привело ее в такое негодование.

Глава XIII
к чему привело мое решение

Кто знает, может быть, и мелькала у меня безумная мысль бежать до самого Дувра, когда я отказался от погони за парнем с тележкой и направил свои стопы к Гринвичу. Если и мелькнула у меня такая мысль, то я быстро опомнился, ибо сделал остановку на Кент-роуд, на площадке с бассейном и какой-то огромной нелепой статуей посредине, трубившей в сухую раковину. Здесь я присел на приступку у чьей-то двери, измученный, ослабевший от непомерного напряжения, и у меня уже не хватало сил оплакивать потерю сундучка и полгинеи.

К тому времени стемнело; я слышал, как пробило десять часов, пока я сидел и отдыхал. Но, к счастью, ночь была летняя и погожая. «Когда я отдышался и стеснение в груди прошло, я встал и пошел дальше. Несмотря на все свое отчаяние, я и не помышлял о том, чтобы вернуться назад. Вряд ли я подумал бы об этом, даже если бы на Кент-роуд возвышались сугробы Швейцарии.

Однако, хотя я и продолжал путь, меня тревожила мысль о том, что всем моим достоянием были три монеты по полпенни (право же, дивлюсь, как они уцелели у меня в кармане до субботнего вечера). Мне представилось, будто я читаю газетную заметку о том, как меня нашли мертвым через день или два под чьим-то забором; и в унынии я плелся дальше, – хотя и старался идти побыстрее, – пока не случилось мне поравняться с лавчонкой, на которой висело объявление, что здесь покупают платье леди и джентльменов и принимают по наивысшей цене тряпки, кости и негодную кухонную утварь. Хозяин, облаченный в жилет, сидел у двери лавчонки и курил, а так как с низкого потолка свешивалось множество сюртуков и штанов и освещены они были только двумя тускло горевшими свечами, то мне почудилось, что этот человек похож на некое мстительное существо, которое перевешало всех своих врагов и теперь радуется и веселится.

Недавний мой опыт, приобретенный благодаря мистеру и миссис Микобер, подсказал мне, что здесь я, пожалуй, найду способ хоть ненадолго отогнать призрак голодной смерти. Я свернул в ближайший переулок, снял жилет, аккуратно сложил его и, сунув под мышку, вернулся к лавке.

– Простите, сэр, я бы хотел продать это по сходной цене, – сказал я.

Мистер Доллоби, – во всяком случае, это имя значилось на вывеске, – взял жилет, поставил свою трубку стоймя, прислонив ее к дверному косяку, вошел вместе со мной в лавку, снял пальцами нагар с обеих свечей, разложил жилет на прилавке и посмотрел на него, потом стал его рассматривать, держа против света, и в конце концов сказал:

– Какую ты назначаешь цену за эту куцую жилетку?

– О, вам лучше знать, сэр, – скромно ответил я.

– Я не могу быть и покупателем и продавцом, – возразил – мистер Доллоби. – Назначай свою цену за эту куцую жилетку.

– Нельзя ли получить за нее восемнадцать пенсов? – после некоторого колебания осведомился я.

Мистер Доллоби снова свернул жилет и вручил мне,

– Я бы ограбил свое семейство, если бы дал за нее девять пенсов, – сказал он.

Такая манера вести дело была неприятна, ибо на меня, совершенно чужого человека, возлагалась тяжелая обязанность просить мистера Доллоби, чтобы он ради меня ограбил свое семейство. Однако обстоятельства мои были столь затруднительны, что я выразил желание получить девять пенсов, если он на это согласен. Поворчав немного, мистер Доллоби дал девять пенсов. Я пожелал ему спокойной ночи и вышел из лавки, разбогатев на эту сумму и лишившись жилетки. Но когда я застегнул свою куртку, эта потеря оказалась не так уж велика.

В сущности, я уже предвидел, что куртка последует за жилетом и что большую часть пути до Дувра мне придется пройти в рубашке и штанах, и я могу почитать себя счастливым, если доберусь до цели даже в таком одеянии. Но я раздумывал об этом меньше, чем можно было предположить. Если не считать общих соображений касательно длинной дороги и долговязого парня с тележкой, который так жестоко со мной обошелся, мне кажется, у меня не было вполне отчетливого представления об ожидающих меня трудностях, когда я снова тронулся в путь с девятью пенсами в кармане.

В голове у меня зародился план, как устроиться на эту ночь, – план, который я собирался привести в исполнение. Заключался он в том, чтобы примоститься у ограды позади моей старой школы, там, где обычно стоял стог сена. Мне чудилось, что я буду чувствовать себя не таким одиноким, находясь неподалеку от мальчиков и от дортуара, где я, бывало, рассказывал свои истории, хотя мальчики и не будут знать о моем присутствии, а дортуар не приютит меня в своих стенах.

День выдался для меня тяжелый, и я был уже совсем без сил, когда взобрался, наконец, на Блекхит. Не так легко было отыскать Сэлем-Хаус, но все-таки я нашел его, нашел и стог сена в уголке и улегся, зайдя сначала за ограду, посмотрев вверх, на окна, и убедившись, что всюду темно и тихо. Никогда не забыть мне чувства одиночества, охватившего меня, когда я первый раз в жизни лег спать под открытым небом!

Сон спустился ко мне, как спустился он в ту ночь и ко многим другим отщепенцам, перед которыми были заперты двери домов и на которых лаяли дворовые собаки, и мне снилось, будто я лежу на моей старой школьной кровати, разговаривая с мальчиками; но когда я очнулся, я сидел на земле, шепча имя Стирфорта и дико глядя на звезды, искрившиеся и мерцавшие над моей головой. Тут я вспомнил, где я нахожусь в этот поздний час, и какое-то странное чувство охватило меня; боясь неведомо чего, я встал и побродил вокруг. Но тускнеющее мерцание звезд и бледный свет на небе – там, где занималась заря, – вернули мне спокойствие, а так как веки мои отяжелели, я снова лег и заснул, – хотя я и во сне чувствовал, что было холодно. – и спал, пока меня не разбудили теплые лучи солнца и утренний звон колокола в Сэлем-Хаусе. Если бы я мог надеяться, что Стирфорт еще здесь, я притаился бы где-нибудь, поджидая, когда он выйдет один; но я знал, что он должен был давно уже покинуть школу. Трэдлс, может быть, еще оставался, но это было весьма сомнительно; к тому же у меня не было желания открыться ему, ибо, вполне полагаясь на его доброе сердце, я не очень-то верил в его рассудительность и счастливую звезду. Вот почему я крадучись отошел от ограды в то время, как ученики мистера Крикла поднимались с кроватей, и двинулся по длинной пыльной дороге, которую знал под названием Дуврской еще в ту пору, когда был одним из этих учеников и когда мне и в голову не приходило, что кто-нибудь может увидеть меня, плетущимся по ней так, как плелся я сейчас.

Как непохоже было это воскресное утро на воскресные утра в Ярмуте! Бредя вперед, я услышал в обычный час звон колоколов, встретил людей, идущих в церковь, миновал одну или две церкви, где собрались прихожане и откуда вырывалось наружу пение, в то время как бидл сидел и прохлаждался в тени у входа или стоял под тисовым деревом и, прикрыв рукою глаза от солнца, сердито смотрел на меня, проходящего мимо. Мир и покой воскресного утра осеняли все и всех, кроме меня. И в этом была разница. Грязный, весь в пыли, со спутанными волосами, я чувствовал себя настоящим грешником. Если бы не вызывал я в памяти трогательной картины, – моя мать, юная, и прекрасная, плачет у камина, и, глядя на нее, умиляется душой бабушка, – мне кажется, у меня не хватило бы в тот день мужества продолжать путь. Но эта картина неизменно возникала передо мной и влекла меня за собою.

В то воскресенье я прошел двадцать три мили, хотя и выбился из сил, так как не привык к таким переходам. Как сейчас вижу я себя: вот я иду под вечер по Рочестерскому мосту, усталый, со стертыми ногами, и ем хлеб, который купил себе на ужин. Несколько домиков с вывесками «Комнаты для путешественников» соблазняли меня, но я боялся истратить

последние свои пенсы, а еще больше боялся злобных взглядов бродяг, которых встречал или обгонял по пути. Поэтому я не искал другой кровли, кроме небесного свода, и, с трудом дотащившись до Четема – ночью он кажется призрачным сооружением из мела, со своими подъемными мостами и похожими на Ноев ковчег судами без мачт на мутной реке, – я взобрался, наконец, на какую-то поросшую травой площадку для батареи, нависавшую над тропинкой, по которой шагал взад и вперед часовой. Здесь я улегся возле пушки и крепко проспал до утра, обрадованный близостью шагавшего часового, хотя обо мне, расположившемся над его головой, он знал не больше, чем знали мальчики в Сэлем-Хаусе о том, что я лежу у ограды.

Утром я был весь разбит, ноги ныли, и я был совершенно ошеломлен барабанным боем и топотом маршировавших солдат, которые как будто надвигались на меня со всех сторон, когда я стал спускаться вниз, на длинную и узкую улицу. Чувствуя, что сегодня я могу пройти лишь очень небольшое расстояние, если хочу сберечь силы для завершения моего путешествия, я решил прежде всего продать куртку. Я тотчас снял с себя куртку, чтобы приучить себя обходиться без нее, и, неся ее под мышкой, приступил к осмотру лавок готового платья.

Продать куртку оказалось нетрудным делом: торговцев подержанным платьем было много, и почти все они подстерегали клиентов, стоя в дверях. Но так как многие из них вывесили среди разных других вещей один-два офицерских мундира с эполетами, то солидный характер их торговых операции привел меня в смущение, и я долго шел, не решаясь предложить свой товар.

Скромность побудила меня отдать предпочтение лавкам для матросов и лавчонкам, подобным лавчонке мистера Доллоби. и отвлекла мое внимание от более пристойных заведений. Наконец я отыскал одну, которая показалась мне многообещающей и находилась на углу грязного закоулка, упиравшегося в огороженный пустырь, поросший крапивой; на перекладинах изгороди развевалась поношенная матросская одежда, очевидно переполнившая лавку до отказа, и тут же виднелись складные койки, заржавленные ружья, клеенчатые шапки и несколько подносов, заваленных таким количеством старых, заржавленных ключей всевозможных размеров, что, казалось, они подошли бы ко всем дверям на белом свете.

В эту лавчонку, низенькую и маленькую, которую скорее затемняло, чем освещало завешенное одеждой оконце, я вошел, спустившись на несколько ступеней, вошел с трепещущим сердцем и отнюдь не почувствовал успокоения, когда из грязной конуры позади лавки выскочил безобразный старик, обросший щетинистой седой бородой, и схватил меня за волосы. На вид это был ужасный старик в омерзительно грязном жилете, и от пего несло ромом. В каморке, откуда он вышел, стояла кровать, покрытая измятым и рваным лоскутным одеялом, и было еще одно оконце, за которым виднелись все те же крапива и хромой осел.

– Ох, что тебе нужно? – скривив рот, спросил старик злобным, хнычущим голосом. – Ох, глаза мои, ноги мои, руки, что тебе нужно? Ох, легкие мои, печень, что тебе нужно? Ох, гр-ру, гр-ру!

Я пришел в такой ужас от этих слов – в особенности от последнего, непонятного и произнесенного дважды, которое звучало так, словно у него в горле была трещотка, – что ничего не мог ответить. Тогда старик, все еще держа меня за волосы, повторил:

– Ох, что тебе нужно? Ох, глаза мои, ноги мои, руки, что тебе нужно? Ох, легкие и печень, что тебе нужно? Ох, гр-ру!

Это слово он выкрикнул столь энергически, что глаза его чуть не выскочили из орбит.

– Я хотел узнать, не купите ли вы куртку, – дрожа, пролепетал я.

– Ох, посмотрим эту куртку! – крикнул старик. – Ох, сердце мое в огне, покажи нам эту куртку! Ох, глаза мои, ноги мои, руки, подавай эту куртку!

Он выпустил мои волосы из своих трясущихся рук, похожих на когти огромной птицы, и надел очки, которые отнюдь не украсили его воспаленных глаз.

– Ох, сколько за эту куртку? – крикнул старик, предварительно осмотрев ее. – Ох… гр-ру!.. Сколько за эту куртку?

– Полкроны, – ответил я, немного оправившись.

– Ох, легкие мои и печень, нет! – крикнул старик. – Ох, глаза мои, нет! Ох, ноги мои и руки, нет! Восемнадцать пенсов. Гр-ру!

Каждый раз при этом восклицании его глазам, казалось, грозила опасность выскочить из орбит, и каждую фразу он произносил нараспев, словно на какой-то мотив, всегда один и тот же, больше всего, пожалуй, напоминавший завывание ветра, которое начинается на низких нотах, потом взбирается все выше и, наконец, снова замирает, – другого сравнения я не могу подыскать.

– Ну, что ж, я возьму восемнадцать пенсов, – сказал я, радуясь заключению сделки.

– Ох, печень моя! – воскликнул старик, швырнув куртку на полку. – Ступай вон из лавки! Ох, легкие мои, ступай вон из лавки! Ох, глаза мои, ноги мои и руки… гр-ру! денег не проси! Давай меняться.

Никогда в жизни, ни до, ни после этого, не был я так испуган; все же я смиренно сказал ему, что мне нужны деньги, а все остальное мне ни к чему, но, если ему угодно, я готов подождать денег на улице и торопить его не собираюсь. Затем я вышел на улицу и уселся в углу, в тени. Здесь просидел я много часов, тень уступила место солнечному свету, солнечный свет снова уступил место тени, а я все сидел и ждал денег.

Полагаю, среди подобного рода торговцев не нашлось бы второго такого сумасшедшего пьяницы. Что он хорошо известен в округе и про него идет молва, будто он продал душу дьяволу, это я скоро понял благодаря визитам, наносимым ему мальчишками, которые все время вертелись около лавки и разглашали эту легенду, требуя, чтобы он принес свое золото.

– Не прикидывайся, Чарли, сам знаешь, что ты не бедняк! Тащи-ка сюда свое золото! Тащи золото, за которое продался дьяволу! Живей, Чарли! Оно зашито в тюфяке! А ну-ка, вспори тюфяк и дай нам немножко золота!

Эти выкрики и многочисленные предложения одолжить ему для этой цели нож приводили его в такое исступление, что в течение целого дня он то и дело выбегал из лавки, а мальчишки то и дело пускались наутек. В ярости своей он иной раз принимал меня за одного из них, бросался ко мне с пеной у рта, словно хотел разорвать на куски, потом, узнав меня в последний момент, нырял в лавчонку и, судя по звукам, доносившимся оттуда, валился на кровать и орал, как безумный, распевая на свой лад «Смерть Нельсона»[33] и вставляя перед каждым стихом «ох!», а в промежутках бесчисленные «гр-ру!». В довершение всех бед мальчишки, заметив, с каким терпением и настойчивостью я, полуодетый, сижу у лавки, установили мою связь с эти заведением, принялись швырять в меня камнями и весь день жестоко меня обижали.

Старик делал немало попыток вынудить у меня согласие на мену: то он выходил с удочкой, то со скрипкой, то с треуголкой, то с флейтой. Но я уклонялся от всех предложений и продолжал сидеть, охваченный отчаянием, всякий раз со слезами на глазах умоляя его отдать мне деньги или вернуть куртку. Наконец он начал выплачивать мне по полпенни, и прошло добрых два часа, прежде чем у меня постепенно набрался шиллинг.

– Ох, глаза мои, ноги мои и руки! – после длинной паузы воскликнул он тогда, с отвратительной гримасой выглядывая из лавки. – Уйдешь ты, если я дам еще два пенса?

– Не могу, я умру с голоду, – сказал я.

– Ох, легкие мои и печень! А если еще три пенса, тогда уйдешь?

– Я ушел бы и так, если бы мог, но мне до зарезу нужны деньги, – ответил я.

– Ох, гр-ру!

Право же, невозможно передать, как он вывинчивал из себя это восклицание, когда посматривал на меня из-за дверного косяка, так что было видно только его злое, старое лицо.

– А если четыре пенса, тогда уйдешь?

Я так ослабел и устал, что принял это предложение, взял не без трепета деньги из его когтистой руки н ушел незадолго до заката солнца, терзаемый таким голодом и такой жаждой, каких никогда еще не ощущал. Но, истратив три пенса, я вскоре совсем оправился и, придя в лучшее расположение духа, проковылял семь миль по дороге.

На ночлег я снова расположился у стога сена и спокойно заснул, предварительно вымыв в ручье покрытые волдырями ноги и кое-как обложив их холодными листьями. Наутро, вновь тронувшись в путь, я обнаружил, что дорога тянется вдоль хмельников и фруктовых садов. Лето близилось к концу, в садах рдели спелые яблоки, и кое-где уже начался сбор хмеля. Все это показалось мне удивительно красивым, и я решил провести эту ночь в хмельнике, полагая, что длинные ряды жердей, обвитых изящными гирляндами листьев, составят мне приятную компанию.

В тот день бродяги были еще назойливее, чем раньше, и внушили мне такой страх, что память о нем свежа и по сие время. Некоторые из них походили на разбойников, они таращили на меня глаза, когда я проходил мимо, или останавливались и кричали мне вслед, чтобы я вернулся потолковать с ними; когда же я пускался наутек, они швыряли вдогонку камни. Запомнился мне один молодой парень с женщиной – вероятно, странствующий медник, судя по его сумке и жаровне, – который уставился на меня, а потом заорал таким зычным голосом, приказывая вернуться, что я приостановился и оглянулся.

– Иди, коли зовут! – крикнул медник. – А не то я из тебя все кишки выпушу!

Я почел наиболее благоразумным вернуться. Когда я к ним приблизился, стараясь всем своим видом умилостивить медника, я заметил, что у женщины подбит глаз.

– Куда идешь? – спросил медник, закопченной рукой вцепившись в мою рубашку.

– Иду в Дувр, – ответил я.

– Откуда? – спросил медник, закручивая мою рубашку, чтобы покрепче меня держать.

– Иду из Лондона, – ответил я.

– Чем промышляешь? – спросил медник. – Воришка?

– Нет, что вы! – сказал я.

– Что? Не воришка? Черт подери! Если будешь хвастать своей честностью, я тебе голову проломлю! – сказал медник.

Он угрожающе замахнулся свободной рукой, а затем осмотрел меня с головы до пят.

– Есть у тебя деньги на пинту пива? Если есть, выкладывай, покуда я их сам не отобрал!

Несомненно, я отдал бы деньги, если бы не встретился глазами с женщиной, которая слегка покачала головой и беззвучно прошептала: «Нет!»

– Я очень беден, у меня нет денег, – сказал я, пытаясь улыбнуться.

– Это что еще значит? – крикнул медник, вперив в меня столь грозный взгляд, что я испугался, уж не видит ли он у меня в кармане деньги.

– Сэр!.. – пролепетал я.

– Это что такое? Почему у тебя на шее шелковый платок моего брата? – вопросил медник. – Подай-ка его сюда!

В одну секунду он сорвал с меня платок и швырнул его женщине.

Женщина громко захохотала, словно принимая это за шутку, и, швырнув мне назад платок, снова, как и раньше, слегка качнула головой и беззвучно прошептала: «Уходи!» Но не успел я последовать ее совету, как медник с такой силой вырвал у меня из рук платок, что я отлетел, словно перышко; потом он накинул платок себе на шею, с проклятьем повернулся к

женщине и ударом кулака сшиб ее с ног. Никогда не забыть мне, как она упала навзничь на каменистую дорогу, как слетел с нее чепец, а волосы побелели от пыли; и не забыть мне, как я, отойдя, оглянулся и увидел, что она сидит на тропинке, тянущейся по придорожной насыпи, и уголком шали вытирает кровь с лица, а медник шагает дальше.

Это приключение нагнало на меня такой страх, что теперь, завидев издали бродяг, я поворачивал назад, прятался в укромном местечке и ждал, пока они не скроются из виду. Случалось это очень часто и являлось нешуточной помехой на моем пути. Но и эту беду, и все другие беды, с какими сталкивался я во время моего путешествия, мне как будто помогала переносить созданная моей фантазией картина – образ моей юной матери перед появлением моим на свет. Он был со мной неотлучно. Он был со мною там, в хмельнике, когда я лег спать; он был со мною утром при пробуждении; он влек меня за собой весь день. С той поры он всегда встает передо мной, когда я вспоминаю солнечную улицу Кентербери, словно дремлющего в горячем свете, его древние дома и арки, и величественный серый собор, и грачей, летающих вокруг башен. Когда я вышел, наконец, на пустынное широкое плато близ Дувра, этот образ озарил унылый пейзаж лучом надежды, и только на шестой день после побега, когда я достиг главной цели своего путешествия и вступил в самый город, – тогда только покинул он меня. Да, вот что странно: когда я, в рваных башмаках, запыленный, обожженный солнцем, полураздетый, вошел в город, к которому так долго стремился, образ матери исчез, как сновидение, покинув меня, беспомощного и удрученного.

Я начал наводить справки о моей бабушке прежде всего среди лодочников и получал самые разнообразные ответы. Один сказал, что она живет на маяке Саут-Форленд и там опалила себе бакенбарды; другой – что ее привязали крепко-накрепко к большому бакену за гаванью и посещать ее можно только в часы между приливом и отливом; третий – что ее посадили в тюрьму Мейдстон за кражу детей; четвертый – что во время последней бури видели, как она села на помело и полетела прямехонько в Кале. Извозчики, к которым я потом обратился, давали такие же шутливые и такие же непочтительные ответы, а лавочники, не одобряя внешнего моего вида, не желали дослушать до конца и обычно отвечали, что им нечего мне дать. С той поры как я убежал, ни разу еще я не чувствовал себя таким несчастным и обездоленным. Деньги я все истратил, продать было нечего. Меня терзали голод и жажда, силы мои иссякли, а цель казалась все такою же далекой, как если бы я и не покидал Лондона.

Утро ушло на эти расспросы, и, наконец, я присел у порога пустой лавки близ рынка и задумался о том, не направить ли мне свои стопы к другим городкам, упомянутым в письме, как вдруг проезжавший мимо извозчик уронил попону. Когда я поднял се, добродушное лицо этого человека придало мне храбрости, и я спросил, не может ли он сказать, где живет мисс Тротвуд, хотя этот вопрос я задавал так часто, что слова застывали у меня на губах.

– Тротвуд? – отозвался он. – Постой-ка, я рту фамилию знаю. Старая леди?

– Да, немолодая, – ответил я.

– Держится очень прямо? – продолжал он и сам выпрямился.

– Да, кажется так, – сказал я.

– Носит с собой сумку? – спросил он. – Очень большую сумку? Сердитая особа, так и накидывается на людей?

Сердце у меня екнуло, когда я признал безусловную точность этого описания.

– Ну, так вот что я тебе скажу, – продолжал извозчик, – если ты поднимешься вон туда, – он указал кнутом в сторону холмов, – и пойдешь все прямо, пока не увидишь домов у моря, думаю, там ты услышишь о ней.

Только вряд ли она что-нибудь подаст, так вот возьми пенни.

С благодарностью я принял подаяние и купил себе хлеба. Подкрепляясь на ходу, я побрел в том направлении, какое указал мне добрый человек, и прошел немало, а домов, о которых

он говорил, все не было. Наконец я увидел вдали несколько домиков и, приблизившись к ним, вошел в лавочку (такие лавки у нас обычно называли мелочными) и осведомился, не могут ли мне сказать, где живет мисс Тротвуд. Я обращался к мужчине за прилавком, – он отвешивал рис какой-то девице, – но та, думая, что вопрос задан ей, быстро обернулась.

– Моя хозяйка? – воскликнула она. – Что тебе нужно от нее, мальчик?

– Простите, я хотел бы поговорить с ней, – ответил я.

– Верно, выклянчить что-нибудь! – отрезала девица.

– Право же, нет! – сказал я.

Но, вспомнив вдруг, что именно таково было мое намерение, я в смущении замолчал и почувствовал, как румянец залил мне лицо.

Девушка, которая, судя по ее словам, была служанкой моей бабушки, положила рис в корзинку и вышла из лавки, сказав мне, что я могу следовать за ней, если хочу узнать, где живет мисс Тротвуд. Я не ждал вторичного приглашения, хотя меня охватил такой страх и я так волновался, что ноги у меня подкашивались. Я последовал за девицей, и вскоре мы подошли к хорошенькому маленькому коттеджу с веселыми окнами-фонарями; перед коттеджем был четырехугольный усыпанный гравием дворик или садик, где чудесно благоухали цветы, за которыми заботливо ухаживали.

– Это дом мисс Тротвуд, – объявила девица. – Теперь ты его видишь, и больше мне нечего тебе сказать.

С этими словами она убежала в дом, словно снимая с себя ответственность за мое появление, а я остался один у калитки и безутешно смотрел поверх нее на окно гостиной, где видна была кисейная занавеска, посредине раздвинутая, большой круглый зеленый экран или веер, укрепленный на подоконнике, маленький столик и громадное кресло, внушившие мне опасения, что, быть может, в эту самую минуту в нем восседает величественно и грозно моя бабушка.

К тому времени мои башмаки пришли в печальное состояние. Подметки постепенно отвалились, а сверху кожа потрескалась и лопнула, так что они ни видом своим, ни формой уже не походили на обувь. Шляпа (служившая мне и ночным колпаком) была так сплющена и помята, что самая старая дырявая кастрюля без ручки, валяющаяся в мусорной куче, могла бы преспокойно соперничать с ней. Моя рубашка и штаны, загрязнившиеся от пота, росы, травы и кентской земли, на которой я спал, и вдобавок разорванные, могли бы отпугивать птиц от бабушкиного сада, покуда я стоял у калитки. Волосы мои не знали ни гребня, ни щетки с той поры, как я ушел из Лондона. От непривычно долгого пребывания на открытом воздухе и солнцепеке мое лицо, шея и руки загорели до черноты. С головы до пят я был осыпан меловой пылью, словно вылез из печи для обжигания извести. Вот в каком плачевном состоянии, мучительно это сознавая, я собирался встретиться с моей грозной бабушкой и медлил, прежде чем впервые предстать пред ней.

Спустя некоторое время, когда нерушимая тишина за окном гостиной навела меня на мысль, что бабушки там нет, я поднял глаза к окну во втором этаже, где увидел румяного, симпатичного седовласого джентльмена, который забавно прищурил один глаз, несколько раз кивнул мне головой, столько же раз покачал ею, улыбнулся и скрылся.

Я и без того уже был растерян, а теперь, видя такое странное поведение, растерялся еще больше и готов был улизнуть, чтобы поразмыслить, как мне надлежит действовать, но в эту минуту из дома вышла леди в платке, повязанном поверх чепца, в садовых перчатках, с садовой сумкой на животе, напоминающей суму сборщика дорожных пошлин, и с большим ножом. Я тотчас признал в ней мисс Бетси, потому что, выйдя из дома, она прошествовала с такою же важностью, с какой шествовала по нашему саду в бландерстонском Грачевнике, о чем так часто рассказывала моя бедная мать.

– Вон отсюда! – сказала мисс Бетси, тряхнув головой и рассекая воздух ножом. – Вон отсюда! Мальчишек сюда не пускают!

С трепещущим сердцем я смотрел, как она проследовала в угол сада и, наклонившись, принялась выкапывать какой-то корешок. Потом, окончательно упав духом, но движимый отчаянием, я потихоньку вошел в сад и, остановившись подле нее, тронул ее пальцем.

– Простите, сударыня… – начал я. Она вздрогнула и подняла глаза.

– Простите, бабушка…

– Что? – вскричала мисс Бетси таким удивленным юном, какого я никогда еще не слыхивал.

– Простите, бабушка, я ваш внук.

– О господи! – сказала бабушка. И села прямо на дорожку.

– Я Дэвид Копперфилд из Бландерстона в Суффолке, где вы были в ту ночь, когда я родился, и видели мою дорогую маму. Я был очень несчастен с тех пор, как она умерла. Обо мне не заботились, ничему меня не учили, бросили на произвол судьбы, заставили взяться за работу, которая мне никак не подходит. Вот потому-то я и убежал, и пришел к вам. В первый же день меня ограбили, всю дорогу я шел пешком и за все это время ни разу не спал в постели.

Тут я вдруг потерял самообладание и, разведя руками, чтобы показать ей мое оборванное платье и призвать его в свидетели перенесенных мною страданий, разразился рыданиями, которые, вероятно, накопились во мне за всю эту неделю.

Бабушка, лицо которой не выражало решительно никаких чувств кроме беспредельного изумления, сидела на гравии и смотрела на меня во все глаза, пока я не разрыдался, а тогда она быстро встала, схватила меня за шиворот и потащила в гостиную. Там она первым делом открыла высокий стенной шкаф, достала оттуда несколько бутылок и влила мне в рот понемножку из каждой. Должно быть, она хватала их наугад, потому что, помню, я почувствовал вкус анисовой водки, анчоусного соуса и приправы к салату. Угостив меня этими подкрепляющими средствами и видя, что я продолжаю истерически всхлипывать и не могу сдержать себя, она уложила меня на диван, подсунула мне под голову шаль, а под ноги свой собственный платок с головы, чтобы я не запачкал обивки, затем уселась за упомянутым мною зеленым веером или экраном, так что я не видел ее лица, и начала восклицать: «Господи, помилуй!» – словно стреляя из пушки с промежутками в одну минуту. Немного погодя она позвонила в колокольчик.

– Дженет. – сказала бабушка, когда в комнату вошла служанка, – поднимись наверх, передай мой привет мистеру Дику и скажи, что я хочу с ним поговорить.

Дженет как будто удивилась при виде меня, неподвижно лежащего на диване (я не смел пошевельнуться, опасаясь вызвать неудовольствие бабушки), однако пошла исполнять поручение. Бабушка, заложив руки за спину, шагала взад и вперед по комнате, пока не вошел, улыбаясь, тот самый джентльмен, который подмигивал мне из верхнего окна.

– Мистер Дик, – сказала моя бабушка, – не прикидывайтесь дурачком, потому что никто не может быть более рассудителен, чем вы, стоит вам того пожелать. Все мы это знаем. А стало быть – не прикидывайтесь дурачком.

Джентльмен мгновенно сделал серьезное лицо и, показалось мне, посмотрел на меня так, словно умолял не заикаться об окне.

– Мистер Дик, вы слышали от меня о Дэвиде Копперфилде? – продолжала бабушка. – Не притворяйтесь, будто у вас нет памяти, мы-то с вами знаем, что это не так.

– Дэвид Копперфилд? – переспросил мистер Дик, который, по моему мнению, мало что об этом помнил. – Дэвид Копперфилд? О да, конечно! Дэвид… разумеется.

– Ну так вот это его мальчик, его сын, – сказала бабушка. – Он был бы вылитый отец, если бы не был похож также и на свою мать.

– Его сын? – повторил мистер Дик. – Сын Дэвида? Неужели?

– Да, – подтвердила бабушка, – и недурную придумал он проделку. Он убежал. Ах, его сестра, Бетси Тротвуд, никогда бы не убежала!

Бабушка решительно тряхнула головой, вполне полагаясь на характер и поведение девочки, которая так н не родилась.

– О! Вы думаете, она бы не убежала? – спросил мистер Дик.

– Господи, спаси и помилуй этого человека! – сердито воскликнула бабушка. – О чем это он толкует? Да разве я не знаю, что она бы не убежала? Жила бы она со своей крестной матерью, и были бы мы привязаны друг к другу. Сделайте милость, скажите, куда и откуда могла бы бежать его сестра Бетси Тротвуд?

– Никуда, – сказал мистер Дик.

– Ну вот, – отозвалась бабушка, смягченная его ответом, – так зачем же вы прикидываетесь простофилей, когда ум у вас острый, как ланцет хирурга? Здесь вы видите перед собой Дэвида Копперфилда младшего, и я вам задаю вопрос, что мне с ним делать?

– Что вам с ним делать? – беспомощно повторил мистер Дик, почесывая голову. – О! Что с ним делать?

– Да, – с важной миной подтвердила моя бабушка, подняв указательный палец. – Говорите же! Мне нужен здравый совет.

– Ну, что ж, будь я на вашем месте, – задумчиво начал мистер Дик, устремив на меня рассеянный взгляд, – я бы…

Созерцание моей особы, казалось, внушило ему какую-то мысль, и он бодро добавил:

– Я вымыл бы его!

– Дженет! – произнесла бабушка, обращаясь к служанке с тихим торжеством, которое было мне в ту пору непонятно. – Мистер Дик разрешает все наши сомнения. Согрей воду для ванны. – Хотя я и был глубоко заинтересован этим разговором, но в то же время невольно разглядывал мою бабушку, мистера Дика и Дженет и заканчивал уже начатый мною осмотр комнаты.

Бабушка моя была леди высокого роста со строгим, но благообразным лицом. В ее физиономии, в ее голосе, в ее походке и осанке было что-то непреклонное, чем вполне объясняется впечатление, произведенное ею на такое кроткое существо, как моя мать; однако черты лица у нее были скорее красивые, хотя жесткие и суровые.

Особенно обратил я внимание на ее живые, блестящие глаза. Седые волосы ее были причесаны просто, на пробор, и прикрыты чепцом, который я назвал бы домашним чепчиком; я имею в виду чепец, более принятый в те времена, чем нынче, – чепец с крыльями, завязанными под подбородком. Платье на ней было бледно-лиловое и удивительно опрятное, но узкого покроя, словно она предпочитала не носить на себе ничего лишнего. Помню, оно показалось – мне похожим на амазонку, у которой отрезали ненужный шлейф. У пояса она носила золотые часы – мужские, судя по их величине и форме, – с цепочкой и печатками, на шее у нее был воротничок, напоминающий мужской, а на – запястьях обшлага, вроде манжеток.

Мистер Дик, как я уже говорил, был седовласым и румяным. На этом я бы и закончил описание его, не будь у него странной привычки держать голову понуро (однако не от преклонных лет – так бывало и с учениками мистера Крикла после побоев), а его серые глаза, выпуклые и большие, со странным водянистым блеском, его рассеянность, покорность моей бабушке и детский восторг, когда она его хвалила, заронили в меня подозрение, не помешан ли он немножко, хотя я и недоумевал, почему же он находится здесь, если он и в самом деле сумасшедший. Одет он был, как и полагается джентльмену, в просторный серый сюртук с

жилетом и белые штаны; в карманчике у него были часы, а в боковых карманах деньги, которыми он побрякивал, словно очень ими гордился.

Дженет, хорошенькая краснощекая девушка лет девятнадцати – двадцати, была воплощением опрятности. Хотя в тот момент я никаких других наблюдений, связанных с нею, не сделал, но могу упомянуть здесь о том, что обнаружил впоследствии: она была одной из многих опекаемых моей бабушки, которых та принимала к себе на службу со специальной целью воспитать в них отвращение к мужскому полу и которые обычно завершали свое отречение тем, что выходили замуж за какого-нибудь пекаря.

Комната была такою же опрятной, как Дженет и бабушка. Сейчас, когда я отложил на секунду перо, чтобы подумать о ней, снова ворвался ко мне ветерок с моря, насыщенный ароматом цветов; и снова я увидел старомодную мебель, натертую до блеска, неприкосновенное бабушкино кресло и столик перед круглым зеленым экраном в окне-фонаре, ковер, покрытый дорожкой из грубой шерсти, кошку, подставку для чайника в камельке, двух канареек, старинный фарфор, чашу для пунша, наполненную сухими лепестками роз, высокий шкаф, хранивший всевозможные бутылки и горшочки; увидел я и себя самого, лежащего на диване, такого чужого всему меня окружающему, всего покрытого пылью, увидел, как я лежу и подмечаю все.

Дженет пошла готовить ванну, когда бабушка, к крайнему моему испугу, внезапно оцепенела от негодования и едва могла выкрикнуть:

– Дженет! Ослы!

Дженет взлетела по лестнице, словно дом был охвачен пламенем, выскочила на маленькую лужайку перед коттеджем и отогнала двух ослов, осмелившихся ступить копытом на лужайку (на них ехали верхом две леди). Тем временем бабушка, выбежав из дому, схватила за уздечку третьего осла с сидевшим на нем ребенком, круто повернула его, вывела из заповедника и дала пощечину злосчастному юнцу – погонщику, который осмелился осквернить священную землю.

Я и по сей день не знаю, имела ли бабушка какие-нибудь законные права на эту лужайку, но она решила, что имеет, а для нее это было одно и то же. Величайшим для нее оскорблением, требующим немедленного возмездия, было появление осла на сей пречистой лужайке. Чем бы ни занималась бабушка, в каком бы интересном разговоре ни принимала участие, осел мгновенно изменял ход ее мыслей, и она стремительно набрасывалась на него. Кувшины и лейки стояли наготове в укромных уголках, чтобы окатить водой дерзких мальчишек; за дверью были припрятаны палки; во все часы дня совершались воинственные вылазки, и борьба велась непрерывно. Быть может, она была приятным развлечением для погонщиков, возможно также, что наиболее смышленые ослы, уразумев положение дел, устремлялись сюда со свойственным им упрямством. Знаю только, что, пока готовили ванну, таких тревог было три, и во время последней и самой отчаянной вылазки я видел, как моя бабушка вступила в единоборство с рыжеватым подростком лет пятнадцати и стукнула его рыжую голову о калитку, прежде чем он сообразил, что тут происходит. Такие вылазки были тем более уморительны, что в это время бабушка кормила меня бульоном с ложки (твердо уверив себя в том, будто я умираю с голоду и поначалу должен принимать пищу маленькими порциями), я разевал рот в ожидании ложки, а бабушка опускала ее в чашку, кричала: «Дженет! Ослы!» – и бросалась в атаку.

Ванна принесла мне великое облегчение. После ночевок в поле я чувствовал сильную боль во всем теле и такую усталость и сонливость, что то и дело клевал носом. Когда я выкупался, они (я имею в виду бабушку и Дженет) облачили меня в рубашку и панталоны, принадлежавшие мистеру Дику, и обмотали двумя-тремя огромными шалями. В какой узел я тогда преобразился – не знаю, помню только, что мне было очень жарко. Ослабевший и сонный, я вскоре опять улегся на диван и заснул.

Быть может, то был сон, порожденный фантазией, так долго занимавшей мои мысли, но проснулся я под впечатлением, будто бабушка подошла и наклонилась надо мной, откинула мне волосы с лица, поудобнее положила мою голову и постояла рядом с диваном, глядя на меня. Слова «красивый мальчик» или «бедный мальчик» как будто еще звучали в моих ушах, но, разумеется, когда я проснулся, ничто не могло навести на мысль, что они были произнесены моей бабушкой, сидевшей в окне-фонаре и взиравшей на море из-за зеленого экрана, который был укреплен на чем-то вроде вертлюга и мог поворачиваться в любую сторону.

Вскоре после моего пробуждения мы пообедали жареной курицей и пудингом; сидя за столом, я и сам походил на связанную птицу и с большим трудом мог двигать руками. Но раз бабушка сама запеленала меня, то я и не жаловался на такое неудобство. Все это время я с большой тревогой размышлял о том, что собирается она со мной сделать, но она обедала в глубоком молчании и лишь изредка, посмотрев на меня, сидевшего напротив, произносила: «Господи, помилуй!» – а это отнюдь не рассеивало моей тревоги.

Убрали скатерть, поставили на стол бутылку хереса (мне тоже дали рюмочку), и бабушка снова послала за мистером Диком, который, присоединившись к нам, постарался принять самый глубокомысленный вид, когда она попросила его выслушать мою историю и постепенно вытянула ее из меня, задавая вопросы. Пока я рассказывал, она не спускала глаз с мистера Дика – не будь этого, он, я думаю, погрузился бы в сон, а всякий раз, когда он готов был расплыться в улыбку, его останавливали нахмуренные брови бабушки.

– Понять не могу, что приключилось с этой бедной, злосчастной малюткой, почему она взяла и вышла еще раз замуж! – сказала бабушка, когда я кончил рассказ.

– Может быть, она влюбилась в своего второго мужа, – предположил мистер Дик.

– Влюбилась! – повторила бабушка. – Что вы хотите этим сказать? Зачем ей было это делать?

– Может быть, она это сделала для своего удовольствия, – подумав и глупо улыбнувшись, сказал мистер Дик.

– Удовольствие, как бы не так! – воскликнула бабушка. – Нечего сказать, большое удовольствие для бедной малютки простодушно довериться какому-то негодяю, который, конечно, должен был плохо обращаться с ней. Хотела бы я знать, что она воображала? Один муж у нее уже был. Она проводила до могилы Дэвида Копперфилда, который всегда, с самой колыбели, бегал за восковыми куклами. У нее родился младенец – о! в ту ночь на пятницу, когда она родила на свет вот этого ребенка, который тут сидит, там в доме было двое младенцев – чего же еще ей было нужно?

Мистер Дик украдкой кивнул мне головой, как бы давая понять, что на это нечего ответить.

– Она даже не могла родить такого ребенка, какого родила бы всякая другая! – продолжала бабушка. – Где сестра этого мальчика, Бетси Тротвуд? Нет ее. Ах, полно!

У мистера Дика был совсем испуганный вид.

– А этот докторишка с повисшей набок головой, Джеллипс или как его там зовут, – сказала бабушка, – он-то о чем думал? Только и знал, что твердил мне, как реполов (да он и похож на реполова!): «Это мальчик!» Мальчик! Ох, до чего они все глупы!

Эта энергическая фраза чрезвычайно испугала мистера Дика, да, по правде сказать, и меня.

– А потом, как будто этого еще было мало, как будто она и без того уже не встала поперек дороги сестре этого мальчика, Бетси Тротвуд! – продолжала бабушка. – Она выходит замуж второй раз, – выходит за какого-то убийцу или что-то в этом роде[34] – и встает поперек дороги вот этому мальчику! Каждый, кроме младенца, мог бы предвидеть, каковы будут естественные

последствия: мальчик скитается, бродяжничает. Вырасти еще не у спел, а уже уподобился Каину!

Мистер Дик посмотрел на меня в упор, словно стараясь установить мое сходство с Каином.

– А потом эта женщина с языческим именем, – продолжала бабушка, – эта Пегготи, она тоже взяла да и вышла замуж. Вот мальчик рассказывает, что она тоже взяла да и вышла замуж, как будто своими глазами не видела, к какой это приводит беде! Надеюсь только, – тут бабушка затрясла головой, – надеюсь, что ей попалась в мужья какая-нибудь дубина (об этом так часто пишут в газетах) и будет колотить ее как следует.

Я не мог спокойно слушать, как осуждают мою старую няню и высказывают на ее счет такие пожелания, и объявил бабушке, что, право же, она ошибается, объявил, что Пегготи – самый лучший, самый верный, самый надежный, самый преданный и бескорыстный друг и слуга; что она всегда любила меня горячо и любила горячо мою мать; что ее рука поддерживала голову моей умирающей матеря и на ее лице моя мать запечатлела последний благодарный поцелуй. При воспоминании о них обеих у меня захватило дух, и я не совладал с собой, когда пытался объяснить, что ее дом – все равно что мой дом, и все, что принадлежит ей, – мое, и я пошел бы к ней искать приюта, если бы, зная ее скромные средства, не боялся оказаться в тягость, – повторяю: пытаясь объяснить все это, я не совладал с собой и, закрыв лицо руками, уронил голову на стол.

– Ну, полно! – сказала бабушка. – Мальчик прав, что заступается за тех, кто за него заступался… Дженет! Ослы!

Я твердо уверен, что, не будь этих злополучных ослов, мы пришли бы к полному согласию, так как бабушка положила мне руку на плечо, а я, набравшись храбрости, ютов был обнять ее и молить о покровительстве. Но этот перерыв и волнение, в которое пришла бабушка после боя на лужайке, положили конец всем нежным излияниям, и до самого чая бабушка с негодованием излагала мистеру Дику свое твердое намерение искать справедливости у отечественных законов и подать в суд на всех владельцев ослов в Дувре за вторжение на чужую землю.

После чая мы сидели у окна – подстерегая, как предположил я, судя по зоркому взгляду бабушки, новых непрошеных гостей. – сидели до сумерек, покуда Дженет не принесла свечи и ящик для игры в трик-трак и не спустила шторы.

– А теперь, мистер Дик, – с важной миной сказала бабушка, снова, как и раньше, подняв указательный палец, – я хочу задать вам еще один вопрос. Посмотрите на этого мальчика.

– На сына Дэвида? – спросил мистер Дик с видом сосредоточенным и недоумевающим.

– Вот именно, – сказала бабушка. – Что бы вы сейчас с ним сделали?

– С сыном Дэвида? – спросил мистер Дик.

– Да, – подтвердила бабушка, – с сыном Дэвида.

– О! – сказал мистер Дик. – Так… Что бы я с ним… я уложил бы его спать.

– Дженет! – воскликнула бабушка с тем тихим торжеством, какое я уже подметил раньше. – Мистер Дик разрешает все наши сомнения. Если постель готова, мы отведем его спать.

Когда Дженет доложила, что все готово, меня повели спать – повели ласково, но словно пленника: бабушка шагала впереди, а Дженет замыкала шествие. Одно только обстоятельство вдохнуло в меня новую надежду: остановившись на лестнице, бабушка осведомилась, почему здесь пахнет горелым, а Дженет ответила, что делала в кухне трут из моей рубашки. Но в моей комнате не оказалось никакой одежды, кроме той, что была намотана на мне; а когда меня оставили одного с маленьким огарком восковой свечи, который, как предупредила меня бабушка, будет гореть ровно пять минут, я услышал, что мою дверь заперли снаружи. Раздумывая об этом, я пришел к заключению, что бабушка, ничего обо мне не зная, могла

заподозрить, не развилась ли у меня привычка убегать из дому, и теперь принимает меры предосторожности, чтобы удержать меня.

Комната была уютная, в верхнем этаже дома, и выходила окнами на море, сверкавшее в лунном свете. Помню, я прочитал молитвы, свеча догорела, и я долго еще сидел и смотрел на лунный свет, падавший на воду, быть может надеясь прочесть в нем свою судьбу, словно в ослепительной книге, или увидеть мою мать с младенцем, спускающуюся с небес по этой сияющей тропе, чтобы взглянуть на меня, как смотрела она в тот день, когда я в последний раз видел ее кроткое лицо. Помню, благоговейное чувство, с каким я отвел, наконец, взгляд от окна, уступило место чувству благодарности и успокоения при виде кровати с белыми занавесками, и это чувство усилилось, когда я лег в мягкую постель с белоснежными простынями. Помню, я задумался о тех заброшенных уголках, где спал под ночным небом, и молился о том, чтобы никогда мне больше не лишаться крова и никогда не забывать о тех, кто его лишен. И помню, как я словно поплыл в мир сновидений по этой печальной и лучезарной морской тропе.

Глава XIV

Бабушка решает мою участь

Утром, когда я спустился вниз, бабушка сидела за чайным столом, опершись локтями на поднос, и пребывала в таком глубоком раздумье, что забыла завернуть кран урны,[35] и кипяток, переполнив чайник, перелился через край и залил всю скатерть; только мое появление рассеяло ее задумчивость. Я был уверен, что являюсь предметом ее размышлений, и, больше чем когда-либо, мне не терпелось знать, как она решила поступить со мной. Но я пытался скрыть свою тревогу, боясь ее рассердить.

Тем не менее за завтраком мои глаза, которые подчинялись мне куда хуже, чем язык, подолгу не отрывались от нее. И когда бы ни обращался к ней мой взгляд, я видел, что она смотрит на меня, смотрит так задумчиво и странно, словно я нахожусь от нее на огромном расстоянии, а не сижу напротив, за круглым столиком. После завтрака моя бабушка нарочито спокойно откинулась на спинку стула, нахмурила брови, переплела пальцы и не спеша стала созерцать меня с таким вниманием и так пристально, что я не знал, куда мне деваться от смущенья. Я еще не кончил завтракать и, пытаясь скрыть свое замешательство, продолжал есть, но мой нож цеплялся за вилку, а вилка цеплялась за нож. Вместо того чтобы резать грудинку и отправлять по назначению, я строгал ее столь энергически, что кусочки мяса взлетали вверх, я давился чаем, который попадал не в то горло; наконец, в отчаянии, я сложил оружие и, раскрасневшись, сидел неподвижно под испытующим взглядом бабушки.

– Послушай! – произнесла бабушка после длительного молчания.

Я почтительно посмотрел на нее и встретил острый, ясный взгляд.

– Я ему написала, – сказала бабушка.

– Ему?..

– Твоему отчиму, – сказала бабушка. – Я послала ему письмо, на которое он должен будет обратить внимание, а не то мы поссоримся; он может в этом не сомневаться.

– Бабушка! Ему известно, где я нахожусь? – спросил я с испугом.

– Я ему написала, – сказала бабушка, кивнув головой.

– И меня… отдадут… ему? – запинаясь, спросил я.

– Не знаю. Посмотрим, – сказала бабушка,

– О! Что со мной будет, если мне придется вернуться к мистеру Мэрдстону! – воскликнул я.

– Ничего об этом не знаю, – бабушка покачала головой. – Не могу ничего сказать. Посмотрим.

При этих словах бодрость покинула меня, я весь поник, и на сердце стало тяжело. Бабушка, как будто не обращая на меня внимания, надела простой передник с нагрудником, который достала из шкафа, и собственноручно вымыла чайные чашки: когда все было вымыто, поставлено на поднос и прикрыто сложенной скатертью, она позвонила Дженет и велела ей убрать поднос. Затем она надела перчатки и смела маленькой щеткой крошки, не оставив ни одной, даже самой крохотной, после чего вытерла пыль и убрала комнату, которая и так была безукоризненно чиста и в полном порядке. Когда все эти дела были закончены, к полному ее удовлетворению, она сняла перчатки и передник, сложила их, спрятала в особый уголок шкафа, откуда они были извлечены, поставила рабочую шкатулку на свой столик у открытого окна и уселась за работу, защищенная от яркого света зеленым экраном.

– Пойди-ка наверх, передай мистеру Дику привет от меня и скажи, что я рада была бы узнать, как подвигается его Мемориал, – сказала бабушка, вдевая нитку в иглу.

Я живо поднялся, чтобы выполнить это поручение.

– Мне кажется, ты считаешь, что у мистера Дика слишком коротка фамилия, не правда ли? – спросила бабушка, вглядываясь в меня так же пристально, как она смотрела на иголку, вдевая в нее нитку.

– Вчера мне показалось, что она в самом деле коротка, – признался я.

– Не думай, что у него нет другой фамилии, которую он мог бы носить, если бы захотел, – надменно сказала бабушка. – Бебли, мистер Ричард Бебли – вот как зовут этого джентльмена![36]

Памятуя о своем юном возрасте и сознавая, что уличен в непозволительной вольности, я хотел было сказать, что уж лучше я буду его величать полным именем, но бабушка продолжала:

– Но ни в коем случае не вздумай так его называть! Он не выносит своей фамилии. Такая уж у него слабость. Впрочем, не знаю, можно ли это назвать слабостью, потому что, богу известно, он натерпелся достаточно от людей, которых так зовут, чтобы питать смертельную ненависть к своей фамилии! Мистер Дик – вот как его зовут и здесь и куда бы он ни отправился… Впрочем, он никуда не отправится. Поэтому будь осторожен, малыш! Называй его просто «мистер Дик».

Я обещал повиноваться и отправился с поручением наверх, размышляя по пути, что если мистер Дик работает над своим Мемориалом длительное время, с тем рвением, какое я приметил в его действиях, когда спускался вниз и заглянул в открытую дверь, то, должно быть, Мемориал подвигается превосходно. Мистер Дик продолжал заниматься все тем же, в руке у него было длинное перо, а голова почти лежала на листе бумаги. Он так был погружен в свое занятие, что я имел достаточно времени, чтобы заметить в углу большой бумажный змей, груды свернутых рукописей, множество перьев и запас чернил (у него было не меньше дюжины кувшинов вместимостью в полгаллона каждый), прежде чем он обратил внимание на мое присутствие.

– А! Феб! – воскликнул мистер Дик, кладя перо. – Ну, что делается в мире? Я вот что тебе скажу, – он понизил голос, – ты никому этого не говорил, но, мой мальчик… – тут он наклонился ко мне и приблизил губы вплотную к моему уху, – мир сошел с ума! Это не мир, а бедлам!

Мистер Дик взял понюшку из круглой коробки, стоявшей на столе, и расхохотался от всей души.

Воздерживаясь от выражения своего мнения по такому предмету, я передал поручение.

– Превосходно! Передай и от меня привет и скажи, что я как будто уже приступил. Мне кажется, я уже приступил… – сказал мистер Дик, запуская руку в свои седые волосы и бросая какой-то неуверенный взгляд на рукопись. – Ты учился в школе?

– Да, сэр. Недолго, – ответил я.

– Ты помнишь, в каком году был обезглавлен король Карл Первый? – спросил мистер Дик, внимательно на меня посмотрел и взял перо, чтобы записать дату.

Я сказал, что, кажется, это произошло в тысяча шестьсот сорок девятом году.

– Превосходно. Так говорится и в книгах, но я не понимаю, как это могло быть, – сказал мистер Дик, почесывая ухо пером и с сомнением глядя на меня. – Если это произошло так давно, то как же окружавшие его люди могли совершить такой промах, что переложили заботы из его отрубленной головы в мою голову?

Я был очень удивлен таким вопросом, но не мог дать никаких разъяснений по сему поводу.

– Очень странно, что мне никак не удается это установить, – продолжал мистер Дик, бросая безнадежный взгляд на свою рукопись и снова взъерошивая волосы. – Мне никак не удается это выяснить. Но неважно, неважно! – воскликнул он бодро и возбужденно. – Время еще есть. Привет мисс Тротвуд. Я превосходно подвигаюсь вперед.

Я уже собрался уходить, когда он обратил мое внимание на бумажный змей.

– Какого ты мнения об этом змее? – спросил он. Я ответил, что он чудесен. Как мне показалось, он был не меньше семи футов длиной.

– Это я его сделал, – произнес мистер Дик. – Мы с тобой пойдем и запустим его вместе. А это видел?

Он показал мне наклеенные на змея листы бумаги, исписанные очень мелко, но так тщательно и четко, что, когда я вгляделся в строчки, мне показалось, будто в двух-трех местах я вижу упоминание о голове короля Карла Первого.

– Бечевка у него очень длинная, и чем выше он поднимается, тем дальше разносит факты. Таков мой способ распространять их. Я не знаю, где они опустятся. Это зависит от обстоятельств, от ветра и так далее. Но тут уж приходится идти на риск.

У него было такое кроткое, приятное лицо, такое почтенное, хотя вместе с тем веселое и свежее, что я подумал, уж не подшучивает ли он добродушно надо мной. Я рассмеялся, он также рассмеялся, и мы расстались наилучшими друзьями.

– Ну, как поживает сегодня мистер Дик? – спросила бабушка, когда я спустился вниз.

Я передал ей привет от него и сообщил, что он прекрасно подвигается вперед.

– Что ты о нем думаешь? – спросила бабушка.

У меня было смутное желание уклониться от ответа, сказав, что, по моему мнению, он очень любезный джентльмен; но бабушку трудно было провести, она опустила на колени работу и, положив на нее руки, переплела пальцы и произнесла:

– Полно! Твоя сестра Бетси Тротвуд сразу сказала бы мне, что она думает о ком бы то ни было! Старайся походить на свою сестру и говори откровенно.

– Он… мистер Дик… я спрашиваю, бабушка, потому, что я не знаю… Он не в своем уме? – запинаясь, спросил я, ибо чувствовал, что вступаю на опасный путь.

– Ничуть! – ответила бабушка.

– В самом деле? – пролепетал я.

– О мистере Дике можно сказать все что угодно, только не это! – решительно и энергически заявила бабушка.

Мне ничего не оставалось делать, как снова робко пролепетать:

– В самом деле?

– Да, его называли сумасшедшим! – продолжала бабушка. – Мне доставляет эгоистическое удовольствие говорить, что его называли сумасшедшим, так как, не будь этого, я была бы лишена его благодетельного общества и советов в течение десяти лет, если не больше, – словом, с того дня, как твоя сестра, Бетси Тротвуд, так меня разочаровала.

– Так давно?

– Нечего сказать, хороши были эти люди, имевшие смелость называть его сумасшедшим! – продолжала бабушка. – Мистер Дик приходится мне дальним родственником, неважно каким, я не буду на этом останавливаться. Не будь меня, его собственный брат засадил бы его до конца жизни в сумасшедший дом. Вот и все.

Боюсь, не лицемерие ли это было с моей стороны, но, видя, как моя бабушка негодует по сему поводу, я притворился, будто также негодую.

– Спесивый глупец! – сказала бабушка. – Только потому, что его брат немного чудаковат, хотя далеко не так чудаковат, как многие другие, он не пожелал видеть его у себя в доме и отправил в какую-то частную лечебницу для умалишенных, хотя их покойный отец особо поручил мистера Дика его попечению, так как считал мистера Дика придурковатым. Тоже, нечего сказать, разумный человек! Сам-то он, несомненно, был сумасшедший!

И снова, раз бабушка казалась совершенно убежденной в этом, я попытался сделать вид, будто и я в этом убежден.

– Тут я вмешалась и обратилась к его брату с предложением, – продолжала бабушка. – Я сказала: «Ваш брат в своем уме, надеюсь, куда более в своем уме, чем вы сейчас или когда бы то ни было в будущем. Пусть он получает свой небольшой доход и живет у меня. Я-то не боюсь его, я-то не спесива, я-то о нем позабочусь и не стану с ним дурно обходиться, как обходятся некоторые, не говоря уже о тех, кто служит в доме для умалишенных». Мы долго пререкались, но, наконец, я его отстояла, и с тех пор он живет здесь. Он самый сердечный, самый покладистый человек на свете. А что касается его советов!.. Никто не знает, кроме меня, какой ум у этого человека!

Бабушка обмахнула платье и потрясла головой, словно смахивала с платья вызов, брошенный ей всем миром, и вытряхивала его из головы.

– У него была любимая сестра, – продолжала она, – доброе создание, она была с ним очень ласкова. Но она поступила так же, как все они поступают, – взяла себе мужа. А муж поступил тоже так, как все они поступают, – сделал ее несчастной. Это так повлияло на рассудок мистера Дика (надеюсь, хоть это-то не сумасшествие!), что беда, которая стряслась, и страх перед братом, и сознание его недоброжелательства – все вместе довело его до горячки. Все это случилось прежде, чем он переехал ко мне, но воспоминания до сих пор угнетают его. Говорил он тебе что-нибудь, малыш, о короле Карле Первом?

– Да, бабушка.

– Ах! – Бабушка потерла нос, словно чем-то раздосадованная. – Это у него такая аллегорическая манера выражаться! Натурально, он связывает свою болезнь с большими волнениями и сумятицей, и для этого выбрал такой образ или сравнение, или как там оно называется… А почему бы и не выбрать, если ему это по вкусу?

– Конечно, бабушка, – согласился я.

– Так обычно не выражаются, это не деловой язык, я это знаю, и вот почему я настаиваю, чтобы он не касался этого вопроса в своем Мемориале.

– В этом Мемориале он описывает свою жизнь, бабушка?

– Да, малыш, – ответила бабушка, снова потирая нос. – Он пишет Мемориал о своих делах для лорд-канцлера, или для другого лорда, или для любой особы, которым платят жалованье за то, что они получают мемориалы. Думаю, он пошлет его на днях. Пока он еще не может обойтись без того, чтобы не вводить этой аллегории. Впрочем, неважно! Это его занимает.

И в самом деле, позднее я узнал, что мистер Дик больше десяти лет старается выбросить короля Карла Первого из своего Мемориала, но тот постоянно туда возвращался, да и теперь там пребывает.

– Я повторяю, – продолжала бабушка, – никто не знает, кроме меня, какой у этого человека ум! Он самый сердечный, самый покладистый человек на свете. Допустим, оу любит запускать бумажный змей. Какое это имеет значение? Франклин тоже любил запускать змей. Он был квакер или что-то в этом роде, если я не ошибаюсь. А квакер, запускающий змей, куда более смешон, чем кто-нибудь другой.

Если бы я предполагал, что бабушка рассказывала все эти подробности для моей пользы и в подтверждение своего доверия ко мне, я почувствовал бы себя крайне польщенным и в таких знаках расположения мог бы усмотреть доброе предзнаменование. Но вряд ли я мог не заметить, что она начала этот разговор главным образом потому, что сей вопрос невольно возникал у нее, и отвечала она себе самой, но отнюдь не мне, к которому она адресовалась за отсутствием другого слушателя.

В то же время должен заметить, что ее благородная защита безобидного бедняги мистера Дика и ее заботы не только вселили в мое юное сердце эгоистическую надежду, но и пробудили в нем бескорыстное теплое чувство к ней самой. Мне кажется, я начал понимать, что, невзирая на многие ее странности и нелепые выходки, в моей бабушке есть нечто достойное доверия и уважения. Хотя в тот день она была такой же резкой, как накануне, и, по своему обыкновению, выбегала из дому, гоняясь за ослами, и пришла в неописуемое негодование, когда проходивший мимо юноша подмигнул Дженет, сидевшей у окна (это почиталось самым тяжким оскорблением бабушкиного достоинства), но тем не менее она заставила меня больше ее уважать, хотя я боялся ее по-прежнему.

Тревога, которую я испытывал в ожидании ответа от мистера Мэрдстона, была очень велика; но я всячески пытался ее скрыть и старался быть спокойным и приятным в обхождении с бабушкой и мистером Диком. Я непременно отправился бы вместе с этим джентльменом запускать огромный змей, но на мне было лишь то живописное платье, в которое меня нарядили в первый день, и потому мне приходилось сидеть дома, и только в сумерках, в течение часа, перед тем как я ложился спать, бабушка прогуливала меня для моциона по крутому берегу. Наконец пришел ответ мистера Мэрдстона, и, к моему безграничному ужасу, бабушка сообщила мне, что он приедет поговорить с ней на следующий день. Этот день наступил; я сидел, облаченный в свой странный костюм, и считал часы, красный, разгоряченный внутренней борьбой между угасающей надеждой и все усиливающимся страхом, трепеща при мысли, что вот-вот увижу эту мрачную физиономию, а также содрогаясь ежеминутно от того, что она все не появляется.

У бабушки вид был несколько более властный и суровый, чем обычно, но она не обнаруживала никаких других признаков того, что готовится принять посетителя, вызывавшего у меня такой ужас. Почти до самого вечера она сидела у окна со своим рукодельем, а я сидел рядом с ней, и мысли у меня разбегались, когда я пытался обдумывать возможные и невозможные последствия посещения мистера Мэрдстона. Наш обед отложили на неопределенное время; но становилось уже поздно, и бабушка распорядилась подавать на стол, как вдруг забила тревогу из-за ослов, а я, к своему изумлению и ужасу, увидел, что мисс Мэрдстон, сидя на осле по-дамски, преспокойно въехала на священную зеленую лужайку и остановилась перед домом, озираясь по сторонам.

– Отправляйтесь своей дорогой! – кричала бабушка, высовываясь из окна и потрясая головой и кулаком. – Вам здесь нечего делать! Как вы смеете вторгаться сюда без разрешения? Убирайтесь вон! Какая наглость!

Бабушка так была потрясена спокойствием, с которым мисс Мэрдстон взирала по сторонам, что даже застыла на месте, не имея сил ринуться в атаку, как бывало обычно. Я воспользовался удобным случаем и сообщил, что это мисс Мэрдстон, а джентльмен, подошедший в этот момент к преступнице, ибо тропинка была крутая и он отстал, – сам мистер Мэрдстон.

– Мне все равно, кто бы это ни был! – вопила бабушка, по-прежнему тряся головой и размахивая кулаками так, что ее жесты очень мало походили на приветственные. – Я не желаю, чтобы здесь ездили без разрешения! Я этого не допущу! Убирайтесь вон! Дженет, выгнать его! Вывести его!

Из-за плеча бабушки я наблюдал завязавшийся бой: осел, упершись всеми четырьмя копытами в землю, сопротивлялся как только мог, Дженет выбивалась из сил, ухватив его за повод и пытаясь повернуть назад, мистер Мэрдстон подгонял его вперед, мисс Мэрдстон колотила зонтиком Дженет, а мальчишки, сбежавшиеся полюбоваться зрелищем, орали во всю глотку. Внезапно бабушка увидела среди них погонщика осла, преступного юнца, одного из самых закоренелых ее обидчиков, хотя ему было всего десять или двенадцать лет; тут она бросилась к месту боя, налетела на юнца, вцепилась в него, поволокла в сад, несмотря на то, что юнец в куртке, задранной на голову, отчаянно брыкался, и оттуда, из сада, начала кричать Дженет, приказывая ей бежать за констеблями и судьями, дабы нарушитель закона был арестован, судим и казнен тут же на месте. Однако это продолжалось недолго, так как негодный мальчишка, превосходно изучивший приемы борьбы, вплоть до ложных атак и увверток, о которых бабушка не имела понятия, с гиканьем выскользнул из ее рук, и, оставляя следы подбитых гвоздями башмаков на цветочных клумбах, удрал, в довершение триумфа прихватив с собой осла.

В последней стадии битвы мисс Мэрдстон уже покинула седло и вместе с братом стояла у крыльца в ожидании того момента, когда бабушка удосужится их принять. Бабушка, слегка запыхавшись после сражения, прошла с большим достоинством мимо них прямо в дом и не обращала ни малейшего внимания на их присутствие, пока Дженет о них не доложила.

– Бабушка, мне уйти? – дрожа, спросил я.

– Нет, сэр, конечно нет! – ответила бабушка.

С этими словами она толкнула меня в угол неподалеку от себя и загородила стулом, – то ли это была тюремная камера, то ли место судьи за барьером. Здесь я находился в течение всего свидания, и отсюда я увидел, как вошли в комнату мистер и мисс Мэрдстон.

– О! Мне было невдомек, кого я имела удовольствие задержать! Но я никому не разрешаю ездить по этой лужайке. Никаких исключений! Не разрешаю никому!

– Ваши правила не очень удобны для людей посторонних, – сказала мисс Мэрдстон.

– Неужели? – произнесла бабушка. Очевидно, опасаясь возобновления враждебных действий, мистер Мэрдстон решил вмешаться и начал так:

– Мисс Тротвуд!

– Прошу прощенья! Вы – мистер Мэрдстон, женившийся на вдове моего покойного племянника Дэвида Копперфилда из Грачевника в Бландерстоне, – с проницательным видом заявила бабушка. – Кстати, почему Грачевник – мне неизвестно.

– Он самый, – сказал мистер Мэрдстон.

– Извините, сэр, что я вам это говорю, но, мне кажется, было бы значительно лучше, если бы вы в свое время оставили это бедное дитя в покое, – сказала бабушка.

– Я согласна только с тем утверждением мисс Тротвуд, что оплакиваемая нами Клара была во всех отношениях сущее дитя, – с важностью сказала мисс Мэрдстон.

– Для нас с вами, сударыня, утешительно, что этого никто не может сказать о нас, – заявила бабушка. – Мы пожили на свете, и уже вряд ли способны быть несчастны в своих привязанностях.

– Несомненно, – согласилась мисс Мэрдстон, но, как мне показалось, отнюдь не любезно. – И в самом деле, как вы сказали, для моего брата было бы значительно лучше никогда не вступать в этот брак. Я всегда была такого же мнения.

– В этом я не сомневаюсь. Дженет! – Тут бабушка позвонила в колокольчик. – Передай привет мистеру Дику и попроси его сюда.

Пока не пришел мистер Дик, бабушка сидела, чопорно выпрямившись, и хмуро взирала на стену. Когда он появился, бабушка его представила.

– Мистер Дик. Старый и близкий друг. Я всегда полагалась па его здравый ум, – сказала бабушка с особым ударением, чтобы усовестить мистера Дика, который с простодушным видом сосал указательный палец.

При этом намеке мистер Дик вынул палец изо рта и с выражением важным и сосредоточенным стал созерцать присутствующих. Бабушка кивнула головой в сторону мистера Мэрдстона, который начал так:

– Получив ваше письмо, мисс Тротвуд, я почел своим долгом в знак уважения к вам…

– Благодарю, обо мне не беспокойтесь, – перебила бабушка, сверля его глазами.

– … и невзирая на связанные с поездкой неудобства, приехать лично, а не писать письмо, – продолжал мистер Мэрдстон – Этот злосчастный мальчик, бросивший своих друзей и свои занятия…

– Который имеет вид просто возмутительный и непристойный! – перебила его сестра, привлекая всеобщее внимание ко мне и к моему неописуемому костюму.

– Джейн Мэрдстон! Будьте добры меня не перебивать! – сказал ей брат. – Итак, этот злосчастный мальчик, мисс Тротвуд, неоднократно бывая виновником многочисленных домашних неурядиц при жизни моей дорогой усопшей жены, а также после ее смерти. У него непокорный дух, буйный и злобный нрав, он строптив и упрям. Мы с сестрой пытались исправить его, но тщетно. И я почувствовал, – мы почувствовали оба, так как сестра полностью со мной согласна, – что лучше вам услышать это важное и нелицеприятное сообщение из наших уст.

– Едва ли мне нужно подтверждать то, что говорит мой брат, и я могу только добавить, что из всех мальчиков на свете этот мальчик самый скверный! – сказала мисс Мэрдстон.

– Сильно сказано! – отрезала бабушка.

– Отнюдь не сильно, если принять во внимание факты, – возразила мисс Мэрдстон.

– Ха! Дальше, сэр.

– У меня есть свои соображения относительно того, к каким мерам следует прибегнуть для его воспитания, – продолжал мистер Мэрдстон, чье лицо хмурилось все больше по мере того, как они с бабушкой все пристальнее следили друг за другом. – Эти соображения основаны отчасти на моем знакомстве с его характером, а отчасти на сведениях, которыми я располагаю о своих средствах и методах. За них я отвечаю только перед самим собой, поступаю соответственно и распространяться о них не считаю возможным. Достаточно будет сказать, что я оставил этого мальчика на попечение моего друга в солидном предприятии, но это ему не понравилось, он убежал, стал бродяжничать и явился в лохмотьях сюда, чтобы разжалобить вас, мисс Тротвуд. Я, как честный человек, хочу обратить ваше внимание на неминуемые последствия, – насколько я могу их предвидеть, – к каким приведет ваша поддержка.

– Но сначала поговорим об этом солидном предприятии, – сказала бабушка. – Если бы это был ваш собственный сын, вы также поместили бы его туда?

– Если бы это был сын моего брата, я уверена, что у него был бы совсем другой характер! – вмешалась мисс Мэрдстон.

– А если бы бедное дитя – мать этого мальчика – была жива, он также поступил бы в это солидное предприятие? – спросила бабушка.

– Думаю, Клара не стала бы возражать против тою, что я и моя сестра Джейн Мэрдстон сочли бы за благо, – ответил мистер Мэрдстон, наклонив голову.

Мисс Мэрдстон подтвердила это внятным шепотом.

– Гм… несчастная малютка!.. – сказала бабушка. Тут мистер Дик, который все время бренчал в кармане монетами, забренчал так громко, что бабушка сочла нужным бросить на него предостерегающий взгляд, а затем продолжала:

– С ее смертью выплата ренты прекращается?

– Прекращается, – сказал мистер Мэрдстон.

– И ее скромная недвижимость, – дом и сад, которые называются… Грачевник, что ли, хотя никаких грачей там нет, – не перешла к ее сыну?

– Они были ей оставлены без всяких условий первым мужем… – начал мистер Мэрдстон, но бабушка, вспылив, нетерпеливо перебила его:

– Боже мой! Так я и знала! Оставлены без всяких условий! Мне кажется, я так и вижу Дэвида Копперфилда, который не мог предусмотреть никаких осложнений, хотя они были у него перед самым носом. О, конечно, он оставил без всяких условий! Ну, а когда она вышла вторично замуж, когда она, скажу прямо, совершила этот гибельный шаг и вышла за вас замуж, неужели не нашлось в то время человека, который сказал бы ей хоть слово в защиту ребенка?

– Моя покойная жена любила своею второго мужа, сударыня, и питала к нему полное доверие, – ответил мистер Мэрдстон.

– Ваша покойная жена, сэр, была самой неопытной, самой несчастной, самой жалкой малюткой! Вот кем она была! – заявила бабушка, тряхнув головой. – Ну, так что же вы имеете еще сказать?

– Могу сказать только одно, мисс Тротвуд, – начал мистер Мэрдстон, – я приехал сюда, чтобы забрать Дэвида с собой, забрать его без всяких условий, распоряжаться им по своему усмотрению и поступать так, как я сочту нужным. Я нахожусь здесь не для того, чтобы давать какие-либо обещания или обязательства. Может быть, мисс Тротвуд, вы намерены потворствовать ему в его поведении и прислушиваться к его жалобам. К такому выводу приводит меня ваше отношение к нам, которое, по правде говоря, нельзя назвать миролюбивым. Но я должен вас предупредить, что, потворствуя ему в данном случае, вы будете потворствовать ему всегда и во всем, и если вы теперь станете между ним и мною, то вопрос будет решен окончательно, мисс Тротвуд. Я никогда не шучу и не допущу, чтобы со мной шутили.

Я приехал сюда в первый и последний раз, чтобы забрать его с собой. Он согласен следовать за мной? Если нет, говорите, что не согласен, – по каким основаниям, мне безразлично, – мой дом закрыт для него навсегда, а ваш, стало быть, открыт.

Это заявление бабушка выслушала с большим вниманием; она сидела, выпрямившись, сложив на коленях руки, и мрачно смотрела на говорившего. Когда он кончил, она, не меняя позы, перевела взгляд на мисс Мэрдстон и спросила:

– А вы, сударыня, имеете что-нибудь добавить?

– Все, что я могла бы сказать, мисс Тротвуд, так хорошо сказано моим братом, и все факты, какие я могла бы привести, так ясно изложены им, что мне нечего добавить, разве что следует поблагодарить вас за вашу любезность! За вашу большую любезность, – подчеркнула мисс Мэрдстон с иронией, которая так же смутила мою бабушку, как смутила бы ту пушку, около которой я спал в Четеме.

– А что скажет мальчик? Ты согласен уехать с ним, Дэвид? – спросила бабушка.

Я ответил: «Нет!» – и стал умолять, чтобы она меня оставила у себя. Я сказал, что ни мистер Мэрдстон, ни мисс Мэрдстон никогда меня не любили и никогда не были со мной ласковы. Сказал, что они измучили из-за меня мою маму, которая горячо любила меня, и это я хорошо знаю, и Пегготи тоже знает. Сказал, что я несчастен больше, чем могут себе представить те, кто знает, как я еще мал. И я просил и молил бабушку, – теперь я не помню,

в каких выражениях, но помню, что меня самого они очень растрогали, – умолял ее пригреть и защитить меня и память моего отца.

– Мистер Дик! Что мне делать с этим ребенком? – спросила бабушка.

Мистер Дик подумал, помешкал, затем просиял и откликнулся:

– Пусть с него сейчас же снимут мерку для костюма.

– Мистер Дик, дайте мне пожать вашу руку! Ваш здравый ум неоценим! – произнесла бабушка с торжествующим видом.

Пожав от всей души руку мистеру Дику, она притянула меня к себе и обратилась к мистеру Мэрдстону:

– Вы можете уйти когда вам вздумается. Я беру на себя заботу о мальчике. Если он в самом деле таков, как вы говорите, я сделаю для него, во всяком случае, не меньше, чем сделали вы. Но я не верю ни единому вашему слову.

– Мисс Тротвуд! – произнес мистер Мэрдстон, пожимая плечами и поднимаясь. – Если бы вы были джентльменом…

– Вздор! Чепуха! – отрезала бабушка. – Не желаю слушать!

– Как вежливо! – воскликнула мисс Мэрдстон, вставая. – Поразительно!

– Вы полагаете, что я не знаю, какую жизнь должна была вести по вашей милости эта бедная, несчастная, обманутая малютка? – не обращая никакого внимания на мисс Мэрдстон, говорила бабушка, продолжая адресоваться к ее брату и с негодованием тряся головой. – Вы полагаете, я не знаю, какой это был печальный день для этого кроткого создания, когда она вас встретила впервые, а вы, конечно, принялись скалить зубы да пялить на нее глаза и прикинулись тихоней?

– Я никогда не слыхала более изящных выражений! – не утерпела мисс Мэрдстон.

– Вы думаете, что я не могу вас раскусить, если я вас тогда не видела? Зато теперь я вас вижу и слышу и признаюсь откровенно: это не доставляет мне ни малейшего удовольствия! О! Какой мягкий и шелковый был тогда мистер Мэрдстон! Кто мог бы с ним сравниться! Глупенькая, невинная бедняжка никогда и не видела такого мужчину. Он – воплощенная доброта. Он ею восхищается. Он любит ее ребенка, любит нежно, прямо до безумия! Он заменит ему отца, и все они будут жить в саду, полном роз! Уф! Можете убираться отсюда! – воскликнула бабушка.

– Никогда в жизни я не видела подобной особы! – вскричала мисс Мэрдсгон.

– А потом, уверившись в чувствах этой бедной, маленькой дурочки, – господи, прости, что я так ее называю теперь, когда она ушла туда, куда вы-то не спешите отправиться, – вы стали ее воспитывать, словно мало еще зла причинили ей и ее близким! Вы стали терзать ее, как несчастную птичку в клетке, вы заставили ее вести такую жизнь, от которой она зачахла, вы обучали ее петь только с вашего голоса.

– Она или с ума сошла, или пьяна! – воскликнула мисс Мэрдстон, придя в отчаяние от невозможности обратить на себя поток красноречия бабушки. – Скорее всего пьяна!

Мисс Бетси, не обратив ни малейшего внимания на это вмешательство, продолжала адресоваться к мистеру Мэрдстону, словно ее и не перебивали:

– Мистер Мэрдстон! Вы были тираном невинной малютки, – тут она погрозила ему пальцем, – и вы разбили ей сердце! Она была милой малюткой, – я это знаю, я знала это, когда вы еще и в глаза ее не видели, – и вы воспользовались ее слабостью, чтобы нанести ей раны, от которых она умерла. Такова истина вам в утешение! А нравится она вам или нет, это неважно. Получайте ее, вы, а вместе с вами и те, кого вы сделали своим орудием!

– Позвольте спросить, мисс Тротвуд, – перебила мисс Мэрдстон, – кого вы имеете в виду, упоминая об орудиях моего брата в этих непривычных для моего слуха речах?

Снова мисс Бетси осталась глухой, как стена, к этому голосу, и продолжала свою речь:

– Было ясно – об этом я уже говорила, – еще за несколько лет до того, как увидели ее вы – о! человеку не дано понять, почему неисповедимые пути провидения привели к тому, что вы увидели ее, – было ясно, что бедное нежное юное создание выйдет рано или поздно за кого-нибудь замуж. Но я надеялась, что так плохо дело не обернется. Как раз в это время, мистер Мэрдстон, она произвела на свет этого ребенка – бедное дитя, из-за которого впоследствии вы терзали ее. Этот ребенок – неприятное для вас напоминание, вот почему его вид так ненавистен вам теперь! Да, да! Нечего морщиться! Я и без того знаю, что это правда!

Все это время он стоял у двери и следил за ней, сохраняя на лице улыбку, хотя его черные брови были насуплены. Но тут я заметил, что, несмотря на улыбку, кровь мгновенно отхлынула от его лица и он стал дышать так тяжело, словно запыхался от бега.

– Здравствуйте, сэр, и прощайте! И вы прощайте, сударыня! – неожиданно повернулась бабушка к его сестре. – Если я еще когда-нибудь увижу, что вы едете на осле по моей лужайке, я сорву с вас шляпку и растопчу ее! Это так же верно, как то, что голова у вас на плечах!

Нужен был художник – и незаурядный художник, – чтобы изобразить лицо бабушки, когда она столь неожиданно выразила свои чувства, а также лицо мисс Мэрдстон, когда она это выслушала. Но тон был не менее угрожающий, чем слова, и мисс Мэрдстон, не издав ни звука, благоразумно взяла брата под руку и с заносчивым видом вышла из дома. Бабушка, оставшись у окна, провожала их взглядом, готовая, – в этом я не сомневаюсь, – в случае появления осла, немедленно привести угрозу в исполнение.

Но когда в ответ на этот вызов никакого посягательства не последовало, ее лицо постепенно разгладилось и стало таким милым, что я осмелился поблагодарить ее от всей души и поцеловать, обвив ее шею обеими руками. Вслед за этим я пожал руку мистеру Дику, который долго тряс мою руку, приветствуя столь счастливое завершение событий взрывами смеха.

– Вместе со мной, мистер Дик, вы будете считаться опекуном этого ребенка, – заявила бабушка.

– Я с восторгом буду опекуном сына Дэвида, – сказал мистер Дик.

– Прекрасно. Вопрос решен. Знаете ли, мистер Дик, о чем я думала: не могу ли я называть его Тротвуд?

– Разумеется! Конечно, называйте его Тротвуд, – подтвердил мистер Дик. – Тротвуд, сын Дэвида.

– Вы хотите сказать: Тротвуд Копперфилд, – возразила бабушка.

– Вот-вот. Именно так: Тротвуд Копперфилд, – ответил мистер Дик, слегка озадаченный.

Бабушке так понравилась эта идея, что она собственноручно поставила несмываемыми чернилами метку «Тротвуд Копперфилд» на купленном в тот же день белье, прежде чем я его надел; и договорились, что всю остальною одежду, заказанную для меня (вопрос о полной экипировке был решен в тот же день), надлежит пометить точно так же.

Итак, я начал новую жизнь под новым именем, облаченный во все новое. После того как все мои тревоги рассеялись, я чувствовал себя в течение многих дней словно во сне. Я не думал о том, что теперь моими опекунами стала такая странная пара, как бабушка и мистер Дик. Я не думал о себе самом. Только два факта были для меня ясны: жизнь в Бландерстоне ушла в прошлое, – казалось, она где-то, в тумане, бесконечно далеко, – и навсегда опустился занавес над моей жизнью на складе «Мэрдстон и Гринби». С той поры никто не поднимал этого занавеса. На миг трепетной рукой приподнял его я сам в моем повествовании и с радостью опустил. Воспоминание об этой жизни связано с такой болью, с такими душевными страданиями, с таким мучительным чувством безнадежности, что у меня никогда не хватало смелости хотя бы выяснить, сколько времени я обречен был ее вести. Тянулась ли она год, а

может быть, больше или меньше – кто знает! Я знаю только, что она была и ее нет, знаю только, что я о ней написал, чтобы никогда к ней больше не возвращаться.

Глава XV

Я начинаю сызнова

Вскоре мы с мистером Диком стали наилучшими друзьями, и очень часто, закончив свою дневную работу, он отправлялся вместе со мной запускать огромный змей. Ежедневно он подолгу сидел за своим Мемориалом, который, несмотря на отчаянные его усилия, нисколько не подвигался вперед, так как король Карл Первый рано или поздно забредал в него, почему и приходилось выбрасывать этот Мемориал и начинать новый. Терпение и надежда, с которыми мистер Дик переносил эти постоянные разочарования, смутные его догадки, что с королем Карлом Первым что-то неладно, слабые его попытки выгнать короля вон и настойчивость, с какою тот возвращался и превращал Мемориал бог знает во что, – все это производило на меня большое впечатление. О том, что получится из Мемориала, если он будет закончен, куда Мемориал послать и что с ним делать, сам мистер Дик, мне кажется, знал не больше, чем я. Впрочем, отнюдь не было необходимости ломать себе голову над таким вопросом, ибо если и было что-нибудь верное под солнцем, так это то, что Мемориал никогда не будет закончен.

Но каким трогательным казался мне мистер Дик, созерцающий змея, который рвался в небо. Когда у себя в комнате он говорил мне, будто верит в распространение по белу свету своих объяснений, наклеенных на змея, – а это были изъятые им из прежних, неудавшихся Мемориалов листы, – может быть, такая фантазия и приходила ему в голову, но только не тогда, когда он следил за Змеем, реявшим в небе, и чувствовал, как тот рвется ввысь из его рук. Никогда он не казался мне таким умиротворенным. По вечерам, сидя около него на зеленом откосе и наблюдая, как он следует взглядом за змеем, парящим в высоте, я воображал, что змей освободил его рассудок от тревог и унес их (так казалось мне, ребенку) в небеса. Когда он наматывал бечевку и змей спускался все ниже и ниже, покидая лучезарную высь, пока, наконец, не касался земли, где оставался лежать, мне казалось, будто мистер Дик постепенно пробуждается от сна. Помню, как, поднимая змей, он растерянно на него глядел, словно они оба спустились с высот, и вот тогда я чувствовал к нему глубокую жалость.

Итак, наша дружба с мистером Диком все крепла, и вместе с тем нисколько не уменьшалось расположение ко мне его верного друга – моей бабушки. Она была очень ласкова со мной и через несколько недель сократила дарованное мне имя Тротвуд в Трот, вселив в меня надежду, что если я буду продолжать так, как начал, то займу в ее сердце такое же место, какое занимала моя сестра Бетси Тротвуд.

– Трот, мы не должны забывать о твоем образовании, – сказала однажды вечером бабушка, когда между нею мистером Диком появился, как обычно, ящик для игры в трик-трак.

Только этот вопрос меня и тревожил, и я бесконечно обрадовался такому вступлению.

– Хочется тебе поступить в школу в Кентербери? – спросила бабушка.

Я ответил, что очень хочется, так как эта школа находится поблизости от нее.

– Прекрасно! – сказала бабушка. – Хочешь отправиться туда завтра?

Привыкнув к стремительности, свойственной моей бабушке, я не удивился внезапному предложению и ответил:

– Да.

– Прекрасно! – снова сказала бабушка. – Дженет! Найми на завтра к десяти часам утра серого пони с фаэтоном, а сегодня вечером уложи пожитки мистера Тротвуда.

Я возликовал, когда услышал эти распоряжения, но стал укорять себя в эгоизме, наблюдая, как, в предвидении нашей разлуки, мистер Дик впал в уныние и начал играть так плохо, что бабушка, стукнув его несколько раз, в виде предупреждения, своей коробочкой для игральных костей по суставам пальцев, в конце концов захлопнула ящик и решила больше с

ним не играть. Но, услышав от бабушки, что я буду иногда приезжать по субботам, а он может время от времени посещать меня по средам, мистер Дик ожил и дал торжественный обет соорудить по этому случаю другой змей, значительно превосходящий по размерам нынешний. Наутро мистер Дик снова приуныл и немного приободрился только тогда, когда вручил мне все свои наличные деньги – и золото и серебро: но тут бабушка вмешалась и ограничила подарок суммой в пять шиллингов, которая по его настойчивой просьбе была затем увеличена до десяти. Мы трогательно простились с мистером Диком у садовой калитки, и он не входил в дом, пока мы с бабушкой не скрылись из виду.

Бабушка, совершенно нечувствительная к общественному мнению, искусно правила серым пони, проезжая по улицам Дувра; восседая торжественно и важно, как заправский кучер, она зорко следила за пони и не позволяла ему своевольничать. Когда мы выехали на проселочную дорогу, она дала ему больше свободы и, поглядев сверху вниз на меня (я сидел на подушке рядом с нею), спросила, рад ли я.

– Очень рад, бабушка! Благодарю вас, – ответил я.

Она осталась весьма довольна моим ответом и погладила меня по голове кнутом, так как руки у нее были заняты.

– Бабушка, а это большая школа? – спросил я.

– Не знаю. Сперва мы отправимся к мистеру Уикфилду, – сказала бабушка.

– Это у него школа? – спросил я.

– Нет, Трот. У него контора.

Я не стал расспрашивать о мистере Уикфилде, так как больше она ничего не добавила, и мы говорили о другом, пока не прибыли в Кентербери; это был базарный день, и бабушке представился прекрасный случай показать свое умение править серым пони, заставляя его пробираться между повозок, корзин, овощей и разносчиков с товаром. Иной раз приходилось проезжать на волосок от них и выслушивать от окружающих речи, не весьма доброжелательные, но бабушка продолжала править, не обращая ни на что ни малейшего внимания, и, мне кажется, могла бы с таким же спокойствием ехать своим путем по вражеской земле.

Наконец мы остановились перед старинным домом, который весь подался вперед; узкие, маленькие окна с частым переплетом выступали особенно далеко, так же как и стропила с резными деревянными головами на концах, и мне представилось, будто весь дом вытянулся, чтобы рассмотреть, кто проходит внизу по узкому тротуару. Дом казался необыкновенно опрятным. Старинный медный дверной молоток у низкой сводчатой двери, украшенной резными гирляндами цветов и фруктов, поблескивал, как звезда; две каменных ступеньки были так белы, будто на них лежало покрывало из лучшего полотна, а все уголки на фасаде, резьба и скульптурные украшения, маленькие, причудливой формы дверные стекла и еще более причудливой формы оконца хотя и были столь же древними, как кентерберийские холмы, но казались чистыми, как снег, покрывающий зимой эти холмы.

Когда фаэтон остановился у двери, в окне первого этажа (в круглой башенке, являвшейся частью дома) появилась и тотчас же исчезла физиономия, напоминавшая лицо мертвеца. Вслед за этим открылась сводчатая дверь, и лицо высунулось наружу. Оно и теперь, как и в окне, походило на лицо мертвеца, хотя кожа была чуть-чуть красноватая, какой она бывает иногда у рыжих. Это был рыжий подросток лет пятнадцати, как могу я теперь установить, но казался он гораздо старше своих лет; его коротко подстриженные волосы напоминали жнивье; бровей у него почти не было, ресниц не было вовсе, а карие глаза с красноватым оттенком, казалось, были совсем лишены век, и, помню, я задал себе вопрос, как это он может спать. Он был костляв, со вздернутыми плечами, одет в благопристойный черный костюм, застегнутый на вес пуговицы до самого горла, подвязанного узеньким белым шейным платком, и я обратил

внимание на его длинную, худую, как у скелета, руку, когда он, стоя у головы нашего пони, потирал себе рукой подбородок и смотрел на нас, сидевших в фаэтоне.

– Мистер Уикфилд дома, Урия Хип? – спросила бабушка.

– Мистер Уикфилд дома, сударыня. Войдите сюда, милости просим, – ответил Урия Хип, показывая длинной рукой на окна одной из комнат.

Мы вылезли из фаэтона и, оставив Урию Хипа сторожить пони, вошли в длинную, низкую, выходившую на улицу гостиную, из окна которой я увидел, как Урия Хип дунул в ноздри пони и мгновенно прикрыл их рукой, словно наводил на него порчу. Против высокого старинного камина висели на стене два портрета: портрет джентльмена с седыми волосами (но еще отнюдь не старика) и с черными бровями, перебиравшего какие-то бумаги, перевязанные красной лентой, и портрет леди, смотревшей на меня ласково и безмятежно.

Кажется, я озирался в поисках портрета Урии, как вдруг дверь в дальнем конце комнаты отворилась и появился джентльмен, при виде которого я невольно взглянул на портрет, чтобы удостовериться, не вышел ли джентльмен из рамы. Но портрет висел на своем месте, а как только джентльмен приблизился, я увидел, что он был старше, чем в ту пору, когда с него писали портрет.

– Прошу вас, войдите, мисс Бетси Тротвуд, – пригласил джентльмен. – Я был занят делами, прошу меня извинить. Вы знаете, у меня только одна цель. Ничего другого у меня в жизни нет.

Мисс Бетси поблагодарила его, и мы вошли в его кабинет, напоминавший деловую контору, с книгами, бумагами, ящиками для документов. Кабинет выходил окнами в сад, в стенной нише над каминной доской находился несгораемый шкаф, примыкающий почти вплотную к ней, так что оставалось непонятным, каким образом трубочист протискивается за этим шкафом, когда приходит прочищать дымоход.

– Какой ветер занес вас сюда, мисс Бетси Тротвуд? Надеюсь, благоприятный? – спросил мистер Уикфилд, ибо я скоро уразумел, что это именно он и что он – юрист и управляющий поместьями какого-то богача в графстве.

– Да. Я приехала не по судебному делу, – ответила бабушка.

– Вы правы, сударыня, – заметил мистер Уикфилд. – Лучше приехать по любому другому делу.

Волосы у него совсем поседели, но брови оставались черными. У него было приятное, можно сказать красивое лицо. Но оно было с багровым оттенком, а такой оттенок я уже давно, после объяснений Пегготи, привык связывать с пристрастием к портвейну; та же самая склонность сказывалась и в его голосе и в фигуре, начинавшей расплываться. Одет он был с изысканной опрятностью – синий фрак с полосатым жилетом и панталоны из нанки; его сорочка, превосходно гофрированная, и батистовый галстук были такой удивительной белизны, что мое необузданное воображение вызвало в памяти перья на лебединой груди.

– Вот мой внук, – сказала бабушка.

– Я не знал, что у вас есть внук, мисс Тротвуд, – удивился мистер Уикфилд.

– Я хотела сказать – мой внучатный племянник, – пояснила бабушка.

– Честное слово, я не знал, что у вас есть внучатный племянник! – сказал мистер Уикфилд.

– Я его усыновила, – сказала бабушка и сопроводила Эти слова таким жестом, который ясно показывал, что ей решительно все равно, знал ли мистер Уикфилд, или не знал. – И вот я привезла его, чтобы поместить в школу, где его обучат всему и будут обходиться с ним хорошо. Расскажите, есть ли такая школа, где она, и вообще все поподробней.

– Прежде чем дать совет, позвольте задать вам обычный мой вопрос: какова ваша цель? – спросил мистер Уикфилд.

– Ну и человек! – воскликнула бабушка. – Всегда он ищет какую-то тайную цель! Да моя цель каждому ясна: хочу, чтобы ребенка сделали счастливым и полезным человеком.

– Должна быть тайная цель, мне кажется. – сказал мистер Уикфилд, недоверчиво улыбаясь и покачивая головой.

– А мне кажется, вы говорите явный вздор! – отрезала бабушка. – Вы всегда утверждаете, что только у вас одного нет тайных целей. Неужели вы думаете, что вы единственный прямодушный деловой человек на свете?

– Ах, но у меня в самом деле только одна цель в жизни, мисс Тротвуд! – улыбнулся он. – У других людей – десятки, сотни, а у меня только одна. В чем вся разница. Впрочем, это к делу не относится. Лучшая школа? Какова бы ни была ваша цель, но вы непременно хотите лучшую?

Бабушка утвердительно кивнула головой.

– В пансион при лучшей школе ваш внук сейчас не попадет, – подумав, сказал мистер Уикфилд.

– Но он может жить и столоваться в другом месте, не так ли? – сказала бабушка.

По мнению мистера Уикфилда, это было возможно. После короткой дискуссии он предложил повести бабушку в школу, дабы она сама могла поглядеть и судить о ней; предложил он также показать ей два-три дома, где я мог бы жить и столоваться. Бабушка приняла предложение, мы уже собрались втроем отправиться в путь, как вдруг мистер Уикфилд остановился и сказал:

– А может быть, у нашего юного друга есть какие-нибудь свои цели, и он станет возражать против наших планов. Мне кажется, ему лучше остаться здесь.

Бабушка собралась было протестовать, но для ускорения дела я сказал, что с удовольствием останусь, с их разрешения, и вернулся в кабинет мистера Уикфилда, где, усевшись снова на тот самый стул, на котором раньше сидел, стал ожидать их возвращения.

Случайно стул оказался как раз против узкого коридора, ведущего в маленькую круглую комнату, где я раньше увидел в окне бледную физиономию Урии Хипа. Отведя пони в конюшню по соседству, Урия верил лея и теперь писал в этой комнате у конторки; над ней находилась медная рамка, где висели документы, с которых он снимал копии. Хотя его физиономия была повернута ко мне, но сначала мне казалось, что он меня не видит, так как эта рамка с документом меня заслоняла; однако, приглядевшись внимательней, я с неудовольствием обнаружил, что время от времени его бессонные глаза показываются под рамкой, словно два красных солнца, и украдкой вглядываются в меня в течение целой минуты, тогда как он продолжает, – или делает вид, что продолжает, – старательно переписывать. Несколько раз я пытался ускользнуть от его взглядов, – становился на стул, чтобы рассмотреть карту на противоположной стене, углублялся в изучение кентской газеты, – но они непрестанно притягивали меня, и когда бы я ни обращался к этим двум красным солнцам, я всегда убеждался, что они только что взошли или только что зашли.

Наконец, к великому моему облегчению, бабушка и мистер Уикфилд после длительного отсутствия возвратились. Поиски их, однако, были не столь успешны, как мне бы хотелось; хотя достоинства школы были неоспоримы, во бабушке не понравился ни один пансион, где меня могли бы устроить.

– Какая неудача, Трот! Прямо не знаю, как быть, – сказала бабушка.

– Да, в самом деле неудача, – сказал мистер Уикфилд. – Но я вам посоветую, что делать, мисс Тротвуд.

– Что же? – спросила бабушка.

– Оставьте пока вашего внука здесь. Он тихий мальчик. Меня он не будет беспокоить. Этот дом словно создан для занятий – здесь так же тихо, как в монастыре, и почти так же просторно. Оставьте мальчика здесь.

По-видимому, бабушке пришлось по душе это предложение, но она из деликатности колебалась. Так же, как и я.

– Но послушайте, мисс Тротвуд, ведь это выход из положения, – продолжал мистер Уикфилд. – Вы устроите его здесь временно. Если это окажется неудобным или если мы друг друга стесним, он может в любой момент уйти. А тем временем можно будет подыскать какое-нибудь место, более подходящее. Но теперь лучше всего для вас оставить его здесь.

– Я вам очень признательна, – сказала бабушка, – и он также, я вижу, но…

– Знаю, знаю, что вы хотите сказать! – воскликнул мистер Уикфилд. – Вам нежелательно, мисс Тротвуд, принимать услуги. Если вам угодно, вы можете за него платить. О цене не стоит говорить, но, если вы пожелаете, вы будете за него платить.

– Такое условие мне подходит, хотя я буду вам обязана ничуть не меньше, – сказала бабушка, – и в таком случае я с радостью оставлю его.

– Ну, так пойдемте к моей маленькой хозяйке, – сказал мистер Уикфилд.

Мы поднялись по чудесной старинной лестнице с такими широкими перилами, что по ним можно было взбираться почти так же легко, как и по ступеням, и затем вошли в полутемную старинную гостиную с тремя или четырьмя причудливыми окнами, которые я уже видел с улицы; в оконных нишах стояли скамьи из старого дуба – казалось, того же самого дуба, из которого сделан был сверкающий пол и толстые балки потолка. Комната была изящно обставлена: здесь были цветы, фортепьяно, мебель, обитая красной с зеленым материей. Вся комната как будто состояла из уголков и закоулков, а в каждом углу и закоулке находился или какой-нибудь диковинный столик, или шкаф для посуды, полка для книг, кресло или еще что-нибудь, заставлявшее меня приходить к заключению, что именно этот утолок самый лучший; но тут я бросал взгляд на другой уголок и находил его ничуть не хуже, если не лучше. На всем лежал отпечаток нерушимого покоя и чистоты, которые отличали дом и снаружи.

Мистер Уикфилд постучал в дверь, находившуюся в углу этой комнаты, обшитой панелью; тотчас же выбежала девочка, приблизительно моя ровесница, и поцеловала его. На лице ее я сразу же уловил то ласковое и безмятежное выражение, какое уже видел внизу, на портрете леди. И мне представилось, будто леди на портрете выросла и превратилась в женщину, а оригинал остался ребенком. Хотя лицо девочки было радостным и веселым, но и в нем было какое-то спокойствие, и такое же спокойствие она разливала вокруг, и сама она была словно дух умиротворения и покоя, добрый дух, которого я никогда с тех пор не забывал. И никогда не забуду.

Мистер Уикфилд сказал, что это его маленькая хозяйка, его дочь Агнес. Когда я услышал, как он сказал Это, и когда увидел, как он держит ее руку, я догадался, какова его единственная цель в жизни.

На поясе у Агнес висела миниатюрная корзиночка, в которой она хранила ключи, и вид у нее был степенный, скромный, подобающий хозяйке такого старинного дома. Мило улыбаясь, она выслушала рассказ отца обо мне и, когда он закончил его, предложила моей бабушке подняться наверх и посмотреть мою будущую комнату. Мы отправились, предшествуемые Агнес. Комната была чудесная, старинная – тоже с дубовыми балками, с оконными стеклами ромбической формы, и сюда тоже вела лестница с широкими перилами.

Не могу вспомнить, где и когда, в детстве, я видел в церкви окно с цветными стеклами. Не помню я и сцен, изображенных на витраже. Но знаю, что, когда я увидел Агнес, поджидавшую нас наверху в полумраке старинной лестницы, я подумал об этом окне; и знаю еще, что с тон поры я всегда связывал его мягкий и чистый свет с Агнес Уикфилд.

Бабушка, как и я, была рада, что я хорошо устроен, и мы спустились вниз, довольные и признательные мистеру Уикфилду. Она не захотела остаться обедать, опасаясь не поспеть домой на своем сером пони до наступления темноты; как я и предполагал, мистер Уикфилд знал ее хорошо и даже не пытался уговаривать, а потому ей предложили закусить. Агнес ушла

к своей гувернантке, а мистер Уикфилд к себе в контору. Таким образом, мы с бабушкой остались одни и могли распрощаться без свидетелей.

Она мне сказала, что мистер Уикфилд позаботится обо всем, что я ни в чем не буду нуждаться, говорила со мной очень ласково и напоследок дала мне добрые советы.

– Трот, веди себя так, чтобы ты сам, и я, и мистер Дик гордились тобой, и да благословит тебя бог! – сказала она в заключение.

Я был очень растроган и мог только без конца благодарить бабушку и посылать искренние приветы мистеру Дику.

– Никогда не веди себя недостойно, никогда не лги, никогда не будь жестоким! – сказала бабушка. – Избегай, Трот, этих трех пороков, и я буду возлагать на тебя большие надежды.

Я обещал со всей горячностью, что не обману ее доверия и не забуду наказа.

– Пони ждет у крыльца. Я уезжаю. Не провожай.

С этими словами бабушка второпях обняла меня и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Сначала меня ошеломил такой внезапный отъезд, и я с испугом подумал, не рассердилась ли она на меня; но посмотрев в окно на улицу и увидев, с каким унылым видом она уселась в фаэтон и, не поднимая глаз, отъехала, я лучше понял ее чувства и то, как несправедливо было мое предположение.

К пяти часам, – это был обеденный час в доме мистера Уикфилда, – я уже овладел собой и был не прочь взяться за нож и вилку. Стол был накрыт только для нас двоих, но Агнес, поджидавшая отца в гостиной, спустилась с ним вниз и села за стол против него. Мне казалось невероятным, чтобы он мог обедать без нее.

Мы не остались после обеда в столовой и снова поднялись в гостиную; в одном из уютных уголков Агнес поставила для отца рюмки и графин с портвейном. Мне кажется, портвейн потерял бы для мистера Уикфилда привычный приятный аромат, если бы графин был поставлен перед ним другими руками.

Тут он сидел, попивая вино, – и, надо сказать, выпил немало, – в течение двух часов, а Агнес играла на фортепьяно, занималась рукодельем и беседовала с нами. Мистер Уикфилд был оживлен и весел, но по временам его взгляд останавливался на ней, он мрачнел и умолкал. Она быстро подмечала это и так же быстро рассеивала его задумчивость каким-нибудь вопросом или лаской. Тогда он забывал о своем раздумье и снова пил вино.

Агнес хозяйничала за чайным столом, а после чая мы проводили время так же, как и после обеда, пока она не пошла спать; отец обнял ее и поцеловал, а потом, когда она ушла, приказал принести свечи к себе в кабинет. Тогда и я отправился спать.

Но перед сном я вышел из дому и побродил по улице, чтобы еще раз бросить взгляд на старинный дом и на серый собор[37] и поразмыслить о том, как это я мог проходить через этот старинный город мимо того дома, где теперь живу, и ничего не предчувствовать. Возвратившись домой, я увидел, как Урия Хип запирает контору. Чувствуя дружеское расположение ко всем и каждому, я сказал ему несколько слов и на прощание протянул руку. Ох, какая это была липкая рука! Рука призрака – и на ощупь и на взгляд! Потом я тер свою руку, чтобы ее согреть и стереть его прикосновение!

Это была такая противная рука, что, вернувшись в свою комнату, я все еще ощущал ее, влажную и холодную. Я выглянул из окна и увидел, что одна из голов, вырезанных на концах стропил, искоса посматривает на меня; вдруг мне почудилось, будто это Урия Хип, попавший туда неведомо как, и я поспешил захлопнуть окно.

Глава XVI

Я становлюсь другим мальчиком во многих отношениях

На следующее утро, после раннего завтрака, вновь началась для меня школьная жизнь. В сопровождении мистера Уикфилда я отправился туда, где мне предстояло учиться: это было

внушительное здание во дворе, должно быть пришедшееся ученым своим видом по вкусу отбившимся от стаи грачам и галкам, которые слетали с башен собора и важно разгуливали по лужайке. Мистер Уикфилд представил меня новому моему наставнику, доктору Стронгу.

Доктор Стронг показался мне почти таким же заржавленным, как высокая железная ограда с воротами перед домом, и почти таким же неподвижным и грузным, как большие каменные урны, которые были расставлены по обеим сторонам ворот и дальше, на красной кирпичной стене, располагаясь на одинаковом расстоянии одна от другой, подобно величественным кеглям, в которые надлежит играть Времени. Он сидел в своей библиотеке (я говорю о докторе Стронге), костюм его был вычищен не очень тщательно, волосы прибраны не очень аккуратно, короткие панталоны не перехвачены у колен, длинные черные гетры не застегнуты, а его башмаки зияли, как две пещеры, на коврике перед камином. Взглянув на меня тусклыми глазами, напомнившими мне давно забытую слепую, старую лошадь, которая, бывало, щипала травку и спотыкалась о могильные плиты на кладбище в Бландерстоне, он сказал, что рад меня видеть, а затем подал мне руку, с которой я не знал что делать, так как сама она ничего не предпринимала. Из этого затруднительного положения меня вывела сидевшая за рукодельем неподалеку от доктора Стронга очень миловидная молодая леди – он называл ее Анни, и я решил, что это его дочь; она опустилась на колени перед доктором Стронгом, надела ему башмаки и застегнула гетры, проделав все это очень весело и проворно. Когда с этим было покончено и мы отправились в класс, я очень удивился, услыхав, как мистер Уикфилд, желая ей доброго утра, назвал ее «миссис Стронг», и я размышлял о том, жена ли она сына доктора Стронга или супруга самого доктора, пока доктор Стронг случайно не рассеял мои сомнения.

– Кстати, Уикфилд, вы еще не нашли какого-нибудь подходящего места для кузена моей жены? – спросил он, останавливаясь в коридоре и положив руку мне на плечо.

– Нет, пока еще нет, – ответил мистер Уикфилд.

– Мне бы хотелось, чтобы вы пристроили его как можно скорее, – продолжал доктор Стронг, – потому что Джек Мелдон нуждается в деньгах и бездельничает, а из этих двух печальных обстоятельств иной раз проистекает нечто еще худшее. Как говорит доктор Уотс,[38] – добавил он, поглядывая на меня и покачивая головой, дабы подчеркнуть цитату, – «сатана находит дурную работу для праздных рук».

– Право же, доктор, – возразил мистер Уикфилд, – если бы доктор Уотс знал людей, он с не меньшим основанием мог бы написать: «Сатана находит дурную работу для занятых рук». Можете быть уверены, что занятые люди сделали немало дурного в этом мире. Чем занимались в течение последних двух столетий люди, которые особенно рьяно стремились к богатству или власти? Разве не дурными делами?

– Думаю, что Джек Мелдон никогда не будет рьяно стремиться ни к тому, ни к другому, – сказал доктор Стронг, задумчиво потирая подбородок.

– Да, пожалуй, – согласился мистер Уикфилд. – Итак, приношу извинение, что уклонился от предмета разговора, и возвращаюсь к вашему вопросу. Нет, мне еще не удалось устроить мистера Джека Мелдона. Полагаю, – тут он замялся, – ваша цель мне ясна, и тем труднее моя задача.

– У меня одна цель: найти какое-нибудь место кузену и товарищу детских игр Анни, – возразил доктор Стронг.

– Да, знаю, – сказал мистер Уикфилд, – на родине или за границей.

– Совершенно верно, – подтвердил доктор, явно недоумевая, почему тот подчеркнул эти слова, – на родине или за границей.

– Это ваше собственное выражение, – сказал мистер Уикфилд. – Или за границей.

– Конечно, – ответил доктор. – Конечно. Либо здесь, либо там.

– Либо здесь, либо там? Все равно где? – спросил мистер Уикфилд.

– Все равно, – сказал доктор.

– Так ли? – Это было сказано с удивлением.

– Так.

– И разве вашей целью не является устроить его за границей, а не на родине? – настаивал мистер Уикфилд.

– Нет.

– Я должен вам верить и, разумеется, верю, – сказал мистер Уикфилд. – Знай я об этом раньше, задача моя была бы значительно проще. Но, признаюсь, у меня создалось другое впечатление.

Доктор Стронг бросил на него изумленный и недоумевающий взгляд, который почти мгновенно уступил место улыбке, крайне меня ободрившей, ибо улыбка была ласковая и кроткая, и столько в ней было простодушия, как и в его манере держать себя, – когда это простодушие пробивало ледок глубокомыслия и учености, – что такому юному школяру, как я, эта улыбка показалась очень привлекательной и весьма меня обнадежила. Повторив «нет» и «отнюдь нет» и добавив еще несколько коротких уверений в том же духе, доктор Стронг двинулся вперед странными, неровными шагами, а мы последовали за ним. Как я подметил, у мистера Уикфилда был озабоченный вид, и он покачивал головой, не подозревая, что я на него смотрю.

Классная комната оказалась красивым большим залом, в самой тихой части дома; против окон торжественно возвышалось с полдюжины огромных урн, а за ними виднелся уголок принадлежавшего доктору сада, где вдоль южной, солнечной стороны зрели персики. На лужайке перед окнами стояли в двух кадках высокие алоэ; их широкие твердые листья (слоено сделанные из окрашенной жести) неизменно остаются для меня с тех пор символом молчания и уединения. Когда мы вошли, человек двадцать пять школьников сидели, погрузившись в книги, но они встали, чтобы пожелать доктору доброго утра, и продолжали стоять, когда увидели мистера Уикфилда и меня.

– Это новый ученик, юные джентльмены, Тротвуд Копперфилд, – сказал доктор.

Ученик Адамс, старшина школы, выступил вперед и приветствовал меня. В своем белом галстуке он походил на молодого священника, но был очень любезен и добродушен; он показал мне мое место и представил меня учителям, держа себя по-джентльменски, что должно было бы рассеять мое смущение, если бы это было возможно.

Однако слишком много времени прошло с тех пор, как я водился с такими мальчиками и вообще со своими сверстниками, если не считать Мика Уокера и Мучнистой Картошки, и потому я никогда еще не чувствовал себя так неловко. Я прекрасно понимал, что перенес такие испытания, о каких они не могут иметь ни малейшего понятия, и приобрел опыт, не свойственный ни моему возрасту, ни внешнему виду, ни положению моему среди учеников, а потому готов был почитать себя чуть ли не самозванцем, явившимся сюда в обличии заурядного маленького школяра. За время, которое я провел на складе «Мэрдстон и Гринби», – не имеет значения, долго это тянулось или нет, – я так отвык от спорта и детских игр, что чувствовал, насколько я неуклюж и как мало у меня опыта в том, что было самым привычным и обыкновенным для учеников доктора Стронга. Все, чему я когда-то обучался, улетучилось из моей головы, занятой с утра до ночи повседневными заботами, и теперь, когда стали проверять мои познания, оказалось, что я ничего не знаю, и меня поместили в самый младший класс. Но, как ни был я смущен отсутствием мальчишеской сноровки, а также школьной премудрости, мне была неизмеримо тяжелее другая мысль: то, что я знал, отдаляло меня от моих товарищей куда больше, чем то, чего я не знал. Я размышлял о том, как бы они отнеслись ко мне, если бы узнали о близком моем знакомстве с тюрьмой Королевской Скамьи. Нет ли в моей особе чего-нибудь такого, что, помимо моей воли, прольет свет на тот период в моей жизни, когда я

был связан с семейством Микобер, – на все эти заклады, продажи и ужины? Что, если кто-нибудь из мальчиков видел, как я, усталый и оборванный, брел через Кентербери, и теперь узнает меня? Что сказали бы они, так мало значения придававшие деньгам, если бы узнали, как я наскребывал по полупенни, чтобы купить себе колбасы, пива или кусок пудинга? Что подумали бы они, не ведавшие ровно ничего о жизни Лондона и об улицах Лондона, если бы обнаружилось, сколько знаю я (к стыду своему) о самых грязных закоулках этой жизни и этих улиц? Все эти мысли так меня осаждали в тот первый день моего пребывания в школе доктора Стронга, что я боялся каждого своего взгляда, каждого движения и прятался в свою скорлупу, когда ко мне подходил кто-нибудь из моих новых школьных товарищей, а по окончании занятий поспешил уйти из страха выдать себя, отвечая на чье-либо дружеское замечание или попытку познакомиться поближе.

Но старинный дом мистера Уикфилда оказывал на меня такое влияние, что, когда я с новыми учебниками под мышкой постучал в дверь, я почувствовал, как тревога моя начинает рассеиваться. Когда я поднимался к себе, в просторную старинную комнату, торжественный полумрак на лестнице как будто окутал мои сомнения и страхи, и прошлое мое заволоклось туманом. Я усердно зубрил уроки до самого обеда (занятия в школе кончались в три часа) и сошел вниз, исполненный надежды стать со временем неплохим мальчиком.

Агнес была в гостиной и ждала отца, которого кто-то задержал в конторе. Она встретила меня ласковой улыбкой и спросила, понравилась ли мне школа. Я отвечал, что очень понравится, но что поначалу я себя чувствовал там как-то неловко.

– Вы никогда не учились в школе? – спросил я.

– О, я учусь каждый день.

– Но вы хотите сказать, что учитесь здесь, дома?

– Папа не мог бы обойтись без меня и отпустить в школу, – ответила она, улыбаясь и покачивая головой. – Его хозяйка должна быть дома…

– Я уверен, что он вас очень любит, – сказал я.

Она кивнула в ответ и подошла к двери послушать, не идет ли отец, чтобы встретить его на лестнице. Но его еще не было, и она вернулась.

– Мама умерла, когда я родилась, – сказала она, как всегда спокойно. – Я ее знаю только по портрету, там, внизу. Я видела, как вы смотрели на него вчера. Вы угадали, чей это портрет?

Я ответил утвердительно: ведь она так живо напоминает женщину на портрете.

– И папа говорит то же самое, – сказала Агнес с довольным видом. – Погодите! Вот и папа!

Ее светлое, безмятежное личико засияло от радости, когда она пошла ему навстречу и вернулась, держа ею за руку. Он сердечно приветствовал меня и сказал, что, несомненно, мне будет хорошо у доктора Стронга, кротчайшего человека в мире.

– Быть может, и есть люди, – не знаю, есть ли они, – которые злоупотребляют его добротой, – заметил мистер Уикфилд. – Никогда не берите с них пример, Тротвуд. Нет на свете человека более доверчивого, чем он. Достоинство это его или недостаток – судить не берусь, но, какие бы дела ни вели вы с доктором, это обстоятельство следует всегда принимать во внимание.

Когда он говорил, мне показалось, будто он утомлен или чем-то раздосадован, но я не задержался на этой мысли, так как объявили, что обед подан, и мы спустились вниз и заняли те же места за столом, что и накануне.

Едва успели мы усесться, как Урия Хип просунул в дверь свою рыжую голову и длинную худую руку и сказал:

– Мистер Мелдон просит разрешения поговорить с вами, сэр.

– Но я только что закончил разговор с мистером Мелдоном, – возразил его патрон.

– Да, сэр, – отозвался Урия, – но мистер Мелдон вернулся и просит разрешения поговорить с вами.

Мне казалось, что Урия, придерживая рукой дверь, смотрит на меня, смотрит на Агнес, смотрит на блюда, на тарелки, смотрит на каждую вещь в комнате – и в то же время как будто ни на что не смотрит; у него был такой вид, словно он почтительно не сводит своих красных глаз со своего патрона.

– Простите! – раздался за спиной Урии чей-то голос, и голову Урии оттеснила голова говорившего. – Извините за вторжение, но, поразмыслив, я хочу только добавить, что раз выбора у меня, по-видимому, нет, то чем скорее я отправлюсь за границу, тем лучше. Когда мы толковали об этом с моей женой Анни, она выразила желание, чтобы ее друзья находились поблизости, а не где-то в изгнании, и старик доктор…

– Вы говорите о докторе Стронге? – внушительно перебил его мистер Уикфилд.

– Конечно, о докторе Стронге! – ответил тот. – Я его называю «старик доктор». Это, знаете ли, одно и то же.

– Этого я не знаю, – возразил мистер Уикфилд.

– Пусть будет доктор Стронг! – сказал тот. – Мне кажется, доктор Стронг был того же мнения. Но, судя по тому, какие меры принимаете вы в отношении меня, он, очевидно, изменил свое мнение, а значит, и говорить больше не приходится, и чем скорее я уеду, тем лучше. Вот почему я решил вернуться и сказать, что чем скорее я уеду, тем лучше. Когда нужно броситься в воду, не имеет смысла мешкать на берегу.

– Можете быть уверены, мистер Мелдон, что долго мешкать вам не придется, – сказал мистер Уикфилд.

– Благодарю вас, – отозвался тот. – Весьма признателен. Мне не хочется смотреть дареному коню в зубы, Это неделикатно; однако моя кузина, вероятно, могла бы все уладить по своему желанию. Я думаю, стоило бы только Анни сказать старику доктору…

– То есть стоило бы только миссис Стронг сказать своему супругу… Так ли я вас понял? – осведомился мистер Уикфилд.

– Совершенно верно, – ответил тот. – Стоило бы ей только выразить желание, чтобы то-то и то-то было сделано так-то и так-то, и, само собой разумеется, все было бы сделано.

– А почему «само собой разумеется», мистер Мелдон? – спросил мистер Уикфилд, невозмутимо продолжая обедать.

– Да потому, что Анни – очаровательная молодая женщина, а старика доктора… то есть доктора Стронга… пожалуй, нельзя назвать очаровательным молодым человеком, – смеясь, ответил мистер Джек Мелдон. – Не в обиду ему будь сказано, мистер Уикфилд! Я хочу только подчеркнуть, что при таких браках некоторая компенсация является, по моему мнению, вполне уместной и справедливой.

– Компенсация в пользу этой леди, сэр? – спросил мистер Уикфилд.

– Да, этой леди, сэр! – смеясь, ответил мистер Джек Мелдон.

Заметив, по-видимому, что мистер Уикфилд продолжает обедать все так же спокойно и невозмутимо и нет ни малейшей надежды вызвать на его лице улыбку, он добавил:

– Однако я уже высказал то, ради чего вернулся. Еще раз извините за вторжение, и я ухожу. Разумеется, я буду следовать вашим указаниям насчет того, что это дело должно быть улажено между вами и мною, и незачем упоминать о нем там, у доктора.

– Вы обедали? – спросил мистер Уикфилд, указав рукой на стол.

– Благодарю вас, – сказал мистер Мелдон. – Я пообедаю с моей кузиной Анни. До свиданья.

Мистер Уикфилд, не вставая из-за стола, задумчиво проводил его взглядом. На меня Джек Мелдон произвел впечатление довольно легкомысленного красивого молодого джентльмена; говорил он быстро, а вид у него был дерзкий и самоуверенный. Таким образом, я увидел впервые мистера Джека Мелдона, которого не ожидал увидеть так скоро, когда доктор при мне заговорил о нем в то утро.

После обеда мы снова поднялись наверх, и все было точно так же, как накануне. Агнес поставила рюмки и графин в тот же самый уголок, а мистер Уикфилд сидел и пил, пил много. Агнес играла ему на фортепьяно, сидела подле него, занималась рукоделием, болтала и сыграла со мной несколько партий в домино. В обычный час она приготовила чай, а потом, когда я принес свои учебники, заглянула в них, показала мне, что она уже знает (это были отнюдь не мало, хотя она и утверждала обратное), и объяснила, как легче запоминать и усваивать урок. Теперь, когда я пишу эти строки, я вижу ее, скромную, тихую и благонравную, я слышу ее приятный, спокойный голос. В сердце мое уже начинает проникать то благотворное влияние, какое она оказывала на меня впоследствии. Я люблю еще малютку Эмли и я не люблю Агнес – да, я не люблю ее так, как Эмли, но я чувствую: где Агнес – там добро, мир и правда, а мягкий свет, льющийся в цветное окно, которое я видел в церкви много лет назад, всегда озаряет ее и озаряет меня, когда я рядом с нею, – озаряет все, что ее окружает.

Пришло время ложиться спать, и она удалилась, а я протянул руку мистеру Уикфилду, в свою очередь собираясь уйти. Но он удержал меня и спросил:

– Хотели бы вы остаться с нами, Тротвуд, или поселиться где-нибудь в другом месте?

– Остаться! – быстро ответил я.

– Вы в этом уверены?

– Если вы разрешите. Если можно!

– Боюсь, что жизнь у нас здесь скучная, мой мальчик, – сказал он.

– Такая же скучная для меня, как и для Агнес, сэр! Совсем не скучная!

– Как и для Агнес… – повторил он, медленно подходя к камину и прислоняясь к каминной доске. – Как и для Агнес!

В тот вечер он пил вино, пока глаза у него не налились кровью (или мне это только показалось). Я их не видел, потому что они были опущены, и он заслонял их рукой, но я заметил это раньше.

– Хотел бы я знать, скучает ли со мной моя Агнес, – пробормотал он. – Разве мне может быть когда-нибудь скучно с ней? Но это другое дело, это совсем другое дело.

Он не обращался ко мне, он размышлял вслух; поэтому я молчал.

– Скучный старый дом и однообразная жизнь, – продолжал он, – но я должен видеть ее подле себя. Она должна быть со мной. И если мысль, что я могу умереть и покинуть мою любимую девочку или моя девочка может умереть и покинуть меня, возникает передо мной, как призрак, и отравляет самые счастливые мои часы, утопить ее можно только в…

Он не договорил и, медленно направившись к тому месту, где сидел раньше, взял пустой графин и машинально проделал все движения, необходимые для того, чтобы наполнить рюмку, затем поставил графин и вернулся.

– Если тяжко приходится, когда она здесь, то каково было бы без нее? – сказал он. – Нет, нет и нет. На это я не могу пойти.

Он прислонился к каминной доске и размышлял так долго, что я не знал, как мне поступить – рискнуть ли и потревожить его своим уходом, или тихо ждать, когда задумчивость его рассеется. Наконец он очнулся и стал озираться по сторонам, пока взгляды наши не встретились.

– Значит, вы остаетесь с нами, Тротвуд, – сказал он своим обычным тоном, как будто отвечая на только что произнесенные мною слова. – Я этому рад. Вы составите нам компанию. Это будет нам на пользу. На пользу мне, на пользу Агнес, а быть может, и всем троим.

– Я уверен, что мне это пойдет на пользу, сэр! – воскликнул я. – Как я рад, что останусь здесь!

– Молодец! – сказал мистер Уикфилд. – Вы будете жить здесь, пока это доставляет вам удовольствие.

Затем он пожал мне руку, похлопал меня по спине и объявил, что по вечерам, когда Агнес уходит спать, а мне надо заняться уроками или хочется почитать что-нибудь для развлечения, я могу приходить к нему в кабинет и сидеть вместе с ним, чтобы не быть одному. Я поблагодарил его за внимание, и так как он вскоре пошел к себе вниз, а я еще не чувствовал усталости, то и я, с книгою под мышкой, отправился вслед за ним, воспользовавшись его разрешением и собираясь провести в кабинете полчаса.

Но, увидев свет в маленькой круглой конторе, я тотчас почувствовал, что меня тянет к Урии Хипу, который словно привораживал меня к себе, и я вошел туда. Я застал Урию за большой, толстой книгой, которую он читал с глубоким вниманием, водя длинным указательным пальцем вдоль каждой строки и оставляя на странице (в это я твердо верил) липкие следы, какие оставляет за собой улитка.

– Поздно вы работаете сегодня, Урия, – сказал я.

– Да, юный мистер Копперфилд, – отозвался Урия.

Взбираясь на табурет напротив Урии, чтобы удобнее было вести разговор, я заметил, что у него не было ничего похожего на улыбку и он мог только растягивать рот, причем на щеках появлялись две жесткие складки, по одной на каждой щеке, что и заменяло ему улыбку.

– Я занимаюсь сейчас не конторской работой, мистер Копперфилд, – сказал Урия.

– А какою же? – спросил я.

– Я приобретаю юридические познания, мистер Копперфилд, – сказал Урия. – Я изучаю «Руководство» Тидда. О юный мистер Копперфилд, какой это великий писатель – мистер Тидд!

Мой табурет был словно дозорная башня, с которой я следил за ним, когда после этого восторженного восклицания он снова приступил к чтению, водя указательным пальцем по строкам, причем я заметил, что его ноздри, тонкие и словно расплющенные, отличались странным и весьма неприятным свойством растягиваться и сокращаться; казалось, они моргают вместо глаз, которые у него вряд ли когда-нибудь моргали.

– Я думаю, вы очень ученый юрист? – осведомился я после того, как в течение нескольких минут созерцал его.

– Это я-то, мистер Копперфилд? О нет! – воскликнул Урия. – Я человек маленький, ничтожный.

Я удостоверился, что не ошибся относительно его рук: он частенько потирал одну ладонь о другую, словно выжимал их, стараясь высушить и согреть, и то и дело украдкой вытирал носовым платком.

– Я прекрасно сознаю, что я человек совсем маленький и ничтожный по сравнению с другими, – скромно сказал Урия. – И моя мамаша – человек маленький, смиренный. Жилище у нас маленькое, убогое, мистер Копперфилд, но все же нам есть за что быть благодарными. И мой отец прежде занимал место маленькое. Он был пономарь.

– Где он теперь? – осведомился я.

– Ныне он пребывает в райской обители, мистер Копперфилд, – отвечал Урия Хип. – Но нам есть за что быть благодарными. Как велика должна быть моя благодарность за то, что я работаю у мистера Уикфилда!

Я спросил Урию, давно ли он работает у мистера Уикфилда.

– Я у него вот уже четыре года, мистер Копперфилд, – сказал Урия, закрыв книгу, но предварительно аккуратно отметив место, где остановился. – Я поступил к нему через год после смерти отца. Как велика должна быть моя благодарность! Как велика должна быть моя благодарность мистеру Уикфилду за милостивое его предложение взять меня в ученики! Не будь его, учение было бы мне недоступно при ничтожных наших средствах – мамашиных и моих.

– Значит, когда кончится срок учения, вы будете настоящим юристом? – спросил я.

– Если будет на то воля провидения, юный мистер Копперфилд, – сказал Урия.

– Может быть, когда-нибудь вы сделаетесь компаньоном мистера Уикфилда, – продолжал я, желая доставить ему удовольствие, – и фирма будет называться «Уикфилд и Хип» или «Хип, преемник Уикфилда».

– О нет, мистер Копперфилд! – возразил Урия, покачав головой. – Для этого я человек слишком маленький, смиренный.

Он, в самом деле, поразительно напоминал деревянную голову на стропиле за моим окном, когда в смирении своем сидел, осклабившись и растянув рот так, что на щеках образовались складки, и искоса на меня посматривал.

– Мистер Уикфилд – превосходный человек, мистер Копперфилд, – продолжал Урия. – Но, разумеется, если вы давно с ним знакомы, вы это знаете лучше моего.

Я ответил, что он, несомненно, превосходнейший человек, но познакомился я с ним недавно, хотя он и друг моей бабушки.

– Ах, вот как, мистер Копперфилд! – подхватил Урия. – Ваша бабушка – очень милая леди, юный мистер Копперфилд!

Когда Урия желал выразить восторг, он как-то весь извивался, – это была отвратительная манера, – и я обратил внимание не столько на его комплимент моей родственнице, сколько на его шею и туловище, извивавшиеся, как змея.

– Очень милая леди, мистер Копперфилд! – повторил Урия Хип. – Мне кажется, она в восторге от мисс Агнес, юный мистер Копперфилд?

Я храбро ответил «да», хотя – да простит мне бог! – ровно ничего об этом не знал.

– Надеюсь, и вы в восторге от нее, мистер Копперфилд, – продолжал Урия. – Да, я уверен, что это так.

– Все должны быть от нее в восторге, – заявил я.

– О, благодарю вас за эти слова, мистер Копперфилд! – воскликнул Урия Хип. – Как они справедливы! Хоть я человек маленький, смиренный, но я знаю, как они справедливы! О, благодарю вас, мистер Копперфилд!

Захлебываясь от избытка чувств, он извивался, пока не сполз с табурета, а спустившись с него, стал собираться домой.

– Мамаша будет меня ждать и начнет беспокоиться, – сказал он, посмотрев на бледный, полустертый циферблат часов, которые носил в кармане. – Хотя мы люди маленькие, смиренные, но мы очень привязаны друг к другу, мистер Копперфилд. Если бы вы пожелали заглянуть когда-нибудь к нам вечерком и выпить чашку чаю в нашем убогом жилище, мамаша гордилась бы вашим посещением не меньше, чем я.

Я ответил, что с удовольствием приду.

– Благодарю вас, мистер Копперфилд, – сказал Урия, поставив на полку свою книгу. – Вероятно, вы поживете здесь некоторое время, мистер Копперфилд?

Я объяснил, что, должно быть, буду здесь жить, пока не окончу школы.

– Ах, вот как! – воскликнул Урия. – Я бы сказал, мистер Копперфилд, что со временем компаньоном фирмы будете вы!

Я его уверял, что таких намерений у меня и в помине нет и никто и не строил подобных планов, но Урия стоял на своем и на все мои возражения льстиво повторял снова:

– О, как же, мистер Копперфилд, я бы сказал, что со временем им будете вы!

Собравшись, наконец, покинуть контору, он осведомился, не возражаю ли я против того, чтобы он потушил свет, и когда я выразил согласие, немедленно потушил его. Пожав мне руку – на ощупь в темноте его рука была похожа на рыбу, – он чуть-чуть приоткрыл дверь на улицу и, проскользнув в нее, захлопнул за собой, а мне пришлось пробираться по дому во мраке, что стоило мне немалых трудов и даже паденья, так как я налетел на его табурет. Такова была, вероятно, главная причина, почему, как показалось мне, в течение доброй половины ночи я видел во сне Урию Хипа. Приснилось мне, между прочим, что, спустив на воду дом мистера Пегготи, он отправился в пиратскую экспедицию, причем на верхушке мачты развевался черный флаг с надписью «Руководство Тидда», и под этим дьявольским флагом он увлекал меня и малютку Эмли к Испанскому морю,[39] чтобы там утопить.

На следующий день, когда я пришел в школу, мне удалось отчасти побороть мое смущение, еще через день я справлялся с ним еще лучше, и мало-помалу оно окончательно рассеялось; не прошло и двух недель, как я уже чувствовал себя совсем как дома и был счастлив среди моих новых товарищей. Я был достаточно неловок в играх и весьма отстал в науках, но надеялся, что в первом мне поможет привычка, а во втором – упорный труд. Занявшись усердно тем и другим, я вскоре преуспел во всем и заслужил общее одобрение. Прошло очень мало времени, но жизнь у «Мэрдстона и Гринби» стала казаться мне чем-то невероятным, а с жизнью в школе я так освоился, как будто находился здесь давным-давно.

Школа доктора Стронга была превосходная и отличалась от школы мистера Крикла так же, как отличается добро от зла. Порядок поддерживался в ней строго и благопристойно, в основе лежала разумная система: всегда и во всем полагались на честь и порядочность учеников и открыто признавали за ними эти качества, если сами мальчики не обманывали доверия, и такая система творила чудеса. Все мы сознавали, что принимаем участие в руководстве школой и поддерживаем ее репутацию и достоинство. В результате мы быстро привязывались к ней, – во всяком случае, так было со мной, и за все время моего пребывания там я не встречал ни одного ученика, который относился бы к – нашей школе иначе, – и учились с большой охотой, желая сохранить ее добрую славу. После занятий мы развлекались чудесными играми и пользовались полной свободой, но, помню, несмотря на это, в городе отзывались о нас одобрительно, и редко случалось, чтобы мы своим видом или поведением наносили ущерб репутации доктора Стронга и его воспитанников.

Некоторые из старших школьников жили и столовались в доме доктора, и от них я узнал кое-что о его жизни. Узнал, что не прошло еще и года, как он женился на красивой молодой леди, которую я видел в кабинете, женился по любви, ибо у нее не было ни единого шестипенсовика, но зато была целая стая бедных родственников (так говорили наши мальчуганы), готовых захватить дом доктора, вытеснив самого хозяина. Узнал я также, что глубокая задумчивость доктора приписывается вечным его поискам греческих корней; по простоте душевной и по невежеству своему, я вообразил, будто доктор одержим какою-то ботанической манией – к тому же во время прогулок он всегда смотрел в землю, – и лишь впоследствии я установил, что это были корни слов для нового словаря, который он задумал составить. Адамс, наш старшина, обладавший способностями к математике, произвел, как сообщили мне, вычисления, сколько времени займет составление словаря, принимая во внимание план доктора и темп работы. Он полагал, что словарь может быть закончен через тысячу шестьсот сорок девять лет, считая с последнего, то есть шестьдесят второго, дня рождения доктора.

Но сам доктор был кумиром всей школы, да и плоха была бы школа, если бы дело обстояло иначе, ибо доктор был добрейший человек, наделенный простодушием – и доверчивостью, которые могли растрогать даже каменные сердца урн на стене. Когда он прогуливался в той части двора, которая примыкала к боковой стене дома, а залетевшие сюда грачи и галки, лукаво склонив головы, смотрели ему вслед, словно понимая, что в житейских делах они куда более сведущи, чем он, – когда он там прогуливался, достаточно было любому бродяге приблизиться к нему настолько, чтобы заглушить скрип его башмаков и привлечь его внимание хотя бы к одной фразе о бедственном своем положении, – и такой бродяга бывал обеспечен на ближайшие два дня. Это было так хорошо известно всей школе, что учителя и старшины, выскочив из окон, старались перерезать путь этим мародерам и прогоняли их со двора, прежде чем им удавалось оповестить доктора о своем присутствии. Иногда операция завершалась благополучно в нескольких акрах от него в то время, как он, ровно ничего не подозревая, прохаживался взад и вперед неровными шажками. За пределами своих владений, не оберегаемый никем, он был настоящей овцой, которую каждый мог стричь. Он готов был снять с ног и отдать собственные гетры. Среди школьников ходил рассказ (я не имею и никогда не имел понятия, на чем он основан, но я верил ему столько лет, что в правдивости его не сомневаюсь), – рассказ о том, как однажды в морозный зимний день он действительно отдал свои гетры какой-то нищенке, что вызвало затем скандал во всей округе, так как она таскала от двери к двери хорошенького младенца, завернутого в эти принадлежности туалета, которые были опознаны решительно всеми, ибо пользовались в наших краях не меньшей известностью, чем собор. Единственным человеком, не опознавшим их, добавляет легенда, был сам доктор; когда они незамедлительно появились у двери маленькой лавчонки старьевщика, который пользовался дурной славой, так как обменивал такие веши на джин, было замечено, что доктор не раз рассматривал их с одобрением, словно восхищаясь интересным новым фасоном и находя их лучше своих собственных.

Очень приятно было видеть доктора вместе с красивой, молодой женой. Его любовь к ней выражалась в отеческой нежности, что уже само по себе рисовало его как прекрасного человека. Я нередко видел, как они прогуливались по саду, где зрели персики, а иногда мог наблюдать их вблизи, в кабинете или в гостиной. Мне казалось, что она очень заботится о докторе и очень его любит, хотя я никогда не верил в живейший ее интерес к словарю, тяжеловесные отрывки коего доктор вечно носил в карманах и в подкладке шляпы, а во время прогулок, по-видимому, давал обстоятельные разъяснения жене.

Я часто видел миссис Стронг, отчасти потому, что я ей понравился в то утро, когда был представлен доктору, и с той поры она всегда была добра ко мне и интересовалась мною, а отчасти потому, что она очень любила Агнес и постоянно захаживала к нам. Мне чудилась какая-то странная, никогда не ослабевавшая напряженность в ее отношениях с мистером Уикфилдом (которого она как будто побаивалась). Приходя к нам по вечерам, она всегда уклонялась от его предложения проводить ее и убегала со мной. Иной раз, когда мы весело перебегали двор собора, думая, что никого не встретим, мы встречали мистера Джека Мелдона, который при виде нас всегда выражал удивление.

Матушка миссис Стронг восхищала меня. Звали ее миссис Марклхем, но мы, мальчики, прозвали ее «Старый Вояка» за умение командовать и сноровку, с какою она напускала на доктора несметные полчища родственников. Это была маленькая востроглазая женщина, всегда надевавшая в торжественных случаях один и тот же чепец, украшенный искусственными цветами и двумя искусственными бабочками, которые якобы порхали над цветами. Среди нас ходило поверье, будто этот чепец прибыл из Франции и мог быть не иначе, как произведением искусства сей хитроумной нации. Но, в сущности, я знал о нем лишь то, что он неизменно появлялся по вечерам, где бы ни появлялась миссис Марклхем; что она приносила его в индийской корзиночке на дружеские собрания; что бабочки были наделены

способностью постоянно трепетать и, подобно трудолюбивым пчелам, не теряли золотого времени, высасывая соки из доктора Стронга.

Я имел возможность очень хорошо наблюдать Старого Вояку (это прозвище отнюдь не было непочтительным) однажды вечером, который памятен мне по причине, о коей я сейчас расскажу. У доктора собралась небольшая компания по случаю отъезда мистера Джека Мелдона в Индию, куда он отправлялся, кажется, для поступления в армию: мистер Уикфилд в конце концов уладил его дела. Этот день совпал со днем рождения доктора. Нас освободили от занятий, утром мы преподнесли ему подарки, старшина произнес речь от имени всех нас, и мы приветствовали его возгласами «ура!» – пока не охрипли и пока он не прослезился. А вечером мистер Уикфилд, Агнес и я отправились к нему (на сей раз – как к частному лицу) пить чай.

Мистер Джек Мелдон явился туда раньше нас. Когда мы вошли, миссис Стронг в белом платье с лентами вишневого цвета играла на фортепьяно, а он, склонившись над ней, переворачивал ноты. Когда она оглянулась, румянец на ее белом лице показался мне не таким ярким, как всегда, но она была очень красива, удивительно красива.

– А я и позабыла принести вам поздравления с днем вашего рождения, доктор, – сказала матушка миссис Стронг, когда мы уселись. – Но можете быть уверены, что мое поздравление – не пустые слова. Желаю вам еще много раз встречать этот счастливый день.

– Благодарю вас, сударыня, – отвечал доктор.

– Много-много раз встречать этот счастливый день, – повторил Старый Вояка. – Желаю вам этого не только ради вас, но и ради Анни, и ради Джона Мелдона, и ради многих других. Мне кажется, будто не дальше, чем вчера, Джон, ты был мальчуганом, на голову ниже мистера Копперфильда, и по-ребячьи ухаживал за Анни в огороде, за кустами крыжовника.

– Милая мама, сейчас не стоит вспоминать об этом, – сказала миссис Стронг.

– Анни, не глупи! – возразила ее мать. – Как только речь заходит о таких вещах, ты, старая замужняя женщина, краснеешь. Когда же ты научишься слушать о них не краснея?

– Старая? – воскликнул мистер Джек Мелдон. – Анни? Полно!

– Да, Джон, она – старая замужняя женщина, – заявил Вояка. – Старая не по годам, – разве ты или кто-нибудь еще слыхал, чтобы я называла двадцатилетнюю женщину старой по годам? Твоя кузина – жена доктора, и я говорила о ней как о его жене. Твое счастье, Джон, что твоя кузина – жена доктора. Ты нашел в нем влиятельного и доброго друга, и я предрекаю, что он будет еще добрее, если ты этого заслужишь. У меня нет ложной гордости. Не колеблясь, я всегда откровенно признаю, что некоторые члены нашего семейства нуждаются в друге. Ты сам, Джон, был одним из них, прежде чем благодаря влиянию твоей кузины не обрел себе друга.

Доктор, по доброте сердечной, махнул рукой, как бы не придавая этому значения и желая избавить мистера Джека Мелдона от дальнейших воспоминаний. Но миссис Марклхем пересела на другой стул, поближе к доктору, и коснулась веером его рукава.

– Нет, право же, дорогой доктор, вы должны меня извинить: чувства мои так глубоки, что я постоянно возвращаюсь к этому предмету. Я его называю моей манией, это у меня такой пунктик. Вы – наше счастье. Для нас вы – благословенье божье.

– Вздор, вздор! – сказал доктор.

– Нет, извините! – возразил Старый Вояка. – Никого из посторонних здесь нет, здесь только наш добрый друг, мистер Уикфилд, которому мы вполне доверяем, и я не могу согласиться, чтобы мне зажимали рот. Если вы будете упорствовать, доктор, я воспользуюсь привилегиями тещи и пожурю вас. Я говорю вполне честно и откровенно. То, что я говорю сейчас, я сказала и в тот день, когда вы так меня ошеломили, – помните, как я была ошеломлена? – сделав предложение Анни. Конечно, не было ничего из ряда вон выходящего

– было бы нелепо утверждать обратное – в самом предложении, но вы знали ее бедного отца, знали и ее полугодовалым младенцем, и я никогда не думала о вас как о женихе или вообще как о человеке, который может жениться, – вот и все.

– Да, да… – добродушно отозвался доктор. – Не стоит вспоминать об этом.

– Нет, стоит, – заявил Старый Вояка, прикладывая свой веер к губам доктора. – Очень даже стоит. Я воскрешаю эти воспоминания, чтобы мне могли возразить, если я ошибаюсь. Ну, вот. Я пошла к Анни и сказала ей о том, что случилось. Я сказала: «Дорогая моя, приходил доктор Стронг и сделал тебе благороднейшее предложение». Настаивала ли я на чем-нибудь? Нет! Я сказала: «Анни, сию же минуту отвечай мне правду: свободно ли твое сердце?» – «Мама, – сказала она, расплакавшись. – я так молода, – и это была сущая правда, – я даже не знаю, есть ли у меня сердце». – «В таком случае, дорогая моя, – сказала я, – можешь не сомневаться, что оно свободно. Как бы там ни было, моя милая, – сказала я, – но доктор Стронг находится в тревожном расположении духа, и нужно дать ему ответ. Не следует оставлять его в такой тревоге». – «Мама, – сказала Анни, все еще плача, – он будет несчастлив без меня? Если он будет несчастлив, то я так глубоко его уважаю и почитаю, что, пожалуй, пойду за него». На том и порешили. И вот тогда, но никак не раньше, я сказала Анни: «Анни, доктор Стронг будет не только твоим мужем, он заступит место твоего покойного отца, он заступит место главы нашего семейства благодаря своей мудрости, положению и, смею сказать, средствам, короче говоря, он будет для нашего семейства благословением». Я употребила это слово тогда и снова употребляю его сегодня. Если есть у меня какие-нибудь достоинства, то одним из них является постоянство.

В продолжение этой речи дочь сидела безмолвная и неподвижная, с опущенными глазами; ее кузен стоял подле нее и тоже смотрел в землю. Потом она сказала очень тихо, дрожащим голосом:

– Мама, надеюсь, вы кончили?

– Нет, дорогая Анни, – возразил Вояка. – Я еще не кончила. Раз ты меня спрашиваешь, дорогая моя, я тебе отвечаю, что я не кончила. Я хочу пожаловаться на то, что ты, право же, как-то странно относишься к своему собственному семейству. А так как не имеет смысла жаловаться тебе, то я хочу пожаловаться твоему супругу. Посмотрите-ка, дорогой доктор, на вашу глупенькую жену!

Когда доктор повернул к ней свое доброе лицо, освещенное простодушной, кроткой улыбкой, она еще ниже опустила голову. Я заметил, что мистер Уикфилд смотрит на нее очень пристально.

– Когда я на днях сказала этой капризнице, – продолжала ее мать, покачивая головой и шутливо грозя ей веером, – что ей бы следовало сообщить вам о некоторых семейных обстоятельствах, – по моему мнению, она обязана была сообщить о них, – она ответила, что сообщать об этом значит просить об одолжении, и она этого не сделает, так как достаточно ей попросить, чтобы ее просьба была исполнена.

– Анни, дорогая моя, это нехорошо, – сказал доктор. – Вы лишили меня удовольствия.

– Почти то же самое говорила ей я! – воскликнула ее мать. – Право же, в следующий раз, когда я буду знать, что она не хочет заговорить с вами только по этой причине, я отважусь обратиться к вам сама!

– Я буду очень рад, если вы так и сделаете, – ответил доктор.

– Так, значит, обращаться к вам?

– Непременно.

– Так я и буду делать! – объявил Старый Вояка. – Договор заключен.

И, добившись, мне кажется, того, чего хотела, она несколько раз похлопала доктора по руке веером (который предварительно поцеловала) и с торжеством пересела на стул, где сидела раньше.

Пришли еще гости, в том числе два учителя и Адамс, и разговор стал общим. Естественно, зашла речь о мистере Джеке Мелдоне, о его путешествии, о стране, куда он отправляется, и о различных его планах и видах на будущее. В тот вечер, после ужина, он уезжал в почтовой карете в Грейвзенд, где находился корабль, на котором ему предстояло пуститься в плавание, и бог весть сколько лет пройдет, пока он вернется, разве что приедет на редину в отпуск или по болезни.

Помню, все единогласно пришли к заключению, что об Индии сложилось неверное представление и против этой страны нельзя сказать ничего плохого, кроме того, что есть там один-два тигра и в полуденные часы бывает довольно жарко. Что же касается до меня, то я смотрел на мистера Джека Мелдона как на современного Синдбада и уже почитал его закадычным другом всех восточных раджей, восседающих под балдахинами и покуривающих изогнутые золотые трубки – в милю длиной, если их распрямить.

Миссис Стронг очень хорошо пела, что было известно мне, часто слыхавшему, как она напевала для себя. Но либо она боялась петь в присутствии гостей, либо была в тот вечер не в голосе, – несомненно одно: петь она совсем не могла. Она попыталась было пропеть дуэт со своим кузеном Мелдоном, но даже не могла его начать; а позднее, когда она попробовала петь одна и начала очень мило, голос ее внезапно оборвался, и она, в полном унынии, поникла головой над клавишами. Добряк доктор сказал, что у нее расстроены нервы, и, придя ей на выручку, предложил всем сыграть в карты, хотя в этом деле он понимал столько же, сколько в игре на тромбоне. Однако я заметил, что Старый Вояка немедленно взял его под опеку, выбрав своим партнером, и, посвящая его в тайны игры, первым делом забрал все серебро, имевшееся у него в карманах.

Мы веселились за картами, и этому веселью немало способствовали промахи доктора, которые он делал без конца, вопреки бдительности бабочек и к величайшему их раздражению. Миссис Стронг уклонилась от игры, сославшись на недомогание, а ее кузен Мелдон попросил извинить его, так как ему нужно еще уложить кое-какие вещи. Однако, покончив с этим делом, он вернулся, и они сидели рядом на диване, ведя беседу. Время от времени она вставала, заглядывала в карты доктора и советовала ему, с какой карты идти. Склоняясь над ним, она была очень бледна, и мне казалось, будто ее палец, указывающий на карту, дрожит. Впрочем, доктор радовался ее вниманию и ничего не замечал.

За ужином нам было не очень весело. Все как будто почувствовали, что такая разлука – не слишком приятная вещь и чем ближе она придвигается, тем становится неприятнее. Мистер Джек Мелдон изо всех сил старался быть разговорчивым, но чувствовал себя не в своей тарелке и только испортил все дело. Не помог ничему, как показалось мне, и Старый Вояка, неустанно воскрешавший в памяти эпизоды из детской жизни мистера Джека Мелдона.

Однако доктор, несомненно полагавший, что доставляет удовольствие всем, был в превосходном расположении духа и нимало не сомневался в том, что мы веселимся от души.

– Анни, дорогая моя, – сказал он, посмотрев на часы и наполнив свой бокал, – ваш кузен Джек уже запаздывает, и мы не должны его задерживать, так как время и прилив, – а в данном случае приходится считаться и с тем и с другим, – никого не ждут. Мистер Джек Мелдон! Вам предстоит долгое путешествие, и перед вами лежит чужая страна. Но многие через это прошли, и еще многие пройдут до конца времен. Ветры, которым вы вручаете свою судьбу, уносили тысячи тысяч людей навстречу счастью и благополучно вернули их домой.

– С какой бы точки зрения ни смотреть на это дело, – сказала миссис Марклхем, – тяжело, когда прекрасный молодой человек, которого вы знали с детства, уезжает на край света,

покидая всех, кого он знал, и не ведая, что его ждет. Молодой человек, идущий на такие жертвы, заслуживает постоянной поддержки и покровительства.

При этом она бросила взгляд на доктора.

– Время быстро пролетит для вас, мистер Джек Мелдон, быстро для всех нас, – продолжал доктор. – Естественный порядок вещей, быть может, и лишит иных из нас возможности приветствовать вас по возвращении. Остается надеяться на лучшее, и это относится ко мне. Не буду докучать вам добрыми советами. Долгое время ты видели перед глазами хороший пример в лице вашей кузины Анни. По мере ваших сил возьмите за образец ее добродетели.

Миссис Марклхем обмахивалась веером и покачивала головой.

– Прощайте, мистер Джек! – закончил доктор, вставая, после чего и мы все встали. – Желаю вам счастливого пути, преуспеяния в чужих краях и благополучного возвращения на родину!

Мы все поддержали этот тост и пожали руку мистеру Мелдону. Затем он быстро попрощался с присутствовавшими леди, поспешил к двери и, садясь в карету, был встречен громовым «ура» наших школьников, собравшихся для этой цели на лужайке. Бросившись к ним, чтобы пополнить их ряды, я очутился около отъезжавшей кареты, и когда, среди шума и поднявшейся пыли, с грохотам промчался мимо меня мистер Джек Мелдон, я отчетливо разглядел, что у него лицо взволнованное, а рука сжимает какой-то предмет вишневого цвета.

После еще одного громового «ура» в честь доктора и еще одного в честь его супруги мальчики разошлись, а я вернулся в дом, где застал всех гостей, столпившихся вокруг доктора и обсуждавших отъезд мистера Джека Мелдона и то, как он себя при этом держал, и что он чувствовал, и прочее, и прочее. Этот разговор был прерван восклицанием миссис Марклхем:

– А где же Анни?

Анни не было видно, к когда стали ее звать, Анни не откликалась. Все выбежали из комнаты, чтобы разузнать, в чем дело, и мы нашли ее лежащей на полу в холле. Сначала поднялся переполох, потом выяснилось, что с ней обморок и она начинает приходить в себя благодаря обычным в таких случаях средствам. Доктор положил ее голову к себе на колени, отвел с ее лица рассыпавшиеся кудри и сказал, обращаясь к окружающим:

– Бедная Анни! Она такой верный друг, и у нее такое нежное сердечко! Всему виной разлука с любимым кузеном, товарищем детских игр. Ах, как жаль! Я очень огорчен!

Открыв глаза и увидев, где она находится, увидев всех нас, стоявших вокруг, она поднялась с нашей помощью и отвернулась, чтобы уронить головку на плечо доктора или, – кто знает? – быть может, для того, чтобы спрятать от нас лицо. Мы удалились в гостиную, оставив ее с доктором и ее матерью, но она сказала, что чувствует себя гораздо лучше и выразила желание, чтобы ее привели к нам. Итак, ее привели и усадили на диван, и мне она показалась очень бледной и слабой.

– Анни, дорогая моя, взгляни! – сказала ее мать, оправляя ей платье. – Ты потеряла бант. Может быть, кто-нибудь будет так любезен и поищет ленту – ленту вишневого цвета?

Это был бант, который она носила на груди. Мы все искали его. Помню, я сам искал его повсюду, но никто не мог его найти.

– Ты не припоминаешь, когда ты видела его в последний раз, Анни? – спросила ее мать.

Я недоумевал, как это она могла показаться мне бледной: на лице ее пылал яркий румянец, когда она ответила, что, кажется, видела его совсем недавно, но не стоит его искать.

Однако поиски возобновились и снова ни к чему не привели. Она умоляла больше не искать, но было сделано еще несколько беспорядочных попыток разыскать бант, пока миссис Стронг совсем не оправилась, после чего гости распрощались.

Очень медленно возвращались мы домой – мистер Уикфилд, Агнес и я. Мы с Агнес восхищались лунным светом, а мистер Уикфилд почти не отрывал глаз от земли. Когда мы

добрались, наконец, до дому, Агнес обнаружила, что забыла свой ридикюль. Радуясь возможности услужить ей, я побежал за ним.

Я вошел в столовую, где она его оставила, но там было пусто и темно. Дверь из столовой в кабинет доктора, где виднелся свет, была приоткрыта, и я направился туда, чтобы объяснить, зачем пришел, и взять свечу.

Доктор сидел в кресле у камина, а юная его жена – на скамеечке у его ног. С благодушной улыбкой доктор читал вслух какие-то рукописные пояснения или изложение какой-то теории, имевшей отношение к нескончаемому словарю, а она сидела, глядя на него снизу вверх. Но такого лица, какое было у нее в тот миг, я никогда еще не видел. Оно было так прекрасно, так мертвенно-бледно, казалось таким напряженным в своей отрешенности, столько было в нем какого-то безумного, смутного, лунатического ужаса неведомо перед чем! Глаза были широко раскрыты, а каштановые волосы падали двумя пышными волнами на плечи и белое платье, сбившееся на груди, где недоставало потерянной ленты. Отчетливо помню я ее лицо, но не могу сказать, что оно выражало. Не могу сказать даже теперь, когда оно возникает на фоне моих воспоминаний. Раскаяние, унижение, стыд, гордость, любовь и доверие – все это читаю я в нем и во всем этом вижу ужас неведомо перед чем.

Мой приход и объяснение, почему я вернулся, заставили ее очнуться. Потревожил я также и доктора, ибо, когда я вернулся, чтобы поставить на место свечу, которую взял со стола, он отечески гладил ее по голове, упрекал себя за безжалостность, за то, что сдался на ее уговоры и стал читать; он полагал, что ей надо лечь в постель. Но она торопливо, настойчиво просила у него разрешения остаться. Просила дать ей возможность почувствовать (я слышал, как она бормотала эти несвязные слова), что в этот вечер она пользуется его доверием. А потом, бросив взгляд на меня, когда я уже направлялся к двери, она снова повернулась к нему, и я видел, как она скрестила руки на его коленях и подняла к нему лицо, уже более спокойное, когда он вновь приступил к чтению.

На меня это произвело глубокое впечатление, и я вспомнил эту сцену много времени спустя, о чем мне еще предстоит рассказать в дальнейшем.

Глава XVII
Некто появляется

Со времени моего бегства мне ни разу не приходилось упоминать о Пегготи, но, разумеется, я написал ей письмо, как только поселился в Дувре, а затем послал второе, более длинное, в котором сообщал обстоятельно обо всем происшедшем со мной, когда бабушка формально взяла меня под свое покровительство. Поступив в школу доктора Стронга, я написал ей снова со всеми подробностями о том, как мне хорошо живется, и о моих надеждах на будущее. Никакой иной способ истратить подаренные мистером Диком деньги не принес бы мне того удовольствия, которое я испытал, послав Пегготи в письме золотую полугинею в погашение моего долга; и только в этом письме – не раньше, я упомянул о долговязом парне с повозкой и ослом.

На эти письма Пегготи отвечала так же быстро, как клерк торгового предприятия, хотя и не так кратко и точно. Она исчерпала весь свой талант выражать свои чувства (на бумаге он, несомненно, был не слишком велик), пытаясь изобразить то, что она перечувствовала, узнав о моем путешествии. Четыре страницы, испещренные междометиями, несвязными фразами, концы которых заменялись пятнами, были бессильны принести ей облегчение. Но пятна говорили мне больше, чем самое совершенное произведение, ибо они свидетельствовали о том, что Пегготи плакала все время, покуда писала письмо, а чего еще мог бы я желать?

Без особого труда я понял, что она еще не питает теплых чувств к моей бабушке. Слишком долго она была предубеждена против нее, и мои сообщения явились неожиданными. Мы никогда не знаем человека, – писала она, – подумать только, что мисс Бетси, оказывается, совсем не такая, какой ее считали! Вот это настоящая «мораль» – так выразилась она. И все

же Пегготи еще побаивалась мисс Бетси, так как свидетельствовала ей свое почтение и выражала благодарность весьма робко; побаивалась она, очевидно, и за меня, вполне допуская возможность моего нового побега в ближайшем будущем; это я мог заключить из многочисленных ее намеков, что, по первому моему требованию, она вышлет мне деньги для поездки в Ярмут.

Она сообщила мне новость, очень взволновавшую меня: в нашем старом доме была распродана вся обстановка, мистер и мисс Мэрдстон выехали оттуда, а дом заперт и будет сдан внаем либо продан. Богу известно, какое незначительное место я занимал в этом доме, пока они там жили, но мне больно было думать, что дорогой моему сердцу старый дом заброшен, сад зарос сорной травой, а на дорожках толстым слоем лежат мокрые опавшие листья. И мне представлялось, как зимний ветер завывает вокруг, в окна стучит ледяной дождь, а луна бросает призрачные тени на стены пустых комнат и всю ночь напролет стережет это запустение. Вновь обратились мои мысли к могиле, там, на кладбище, под деревом, и казалось мне, что умер также и дом и все, связанное с матерью и отцом, исчезло навеки.

Других новостей в письме Пегготи не было. По ее словам, мистер Баркис – превосходный муж, разве только чуть-чуть скуповат; но все мы не без греха, а у нее их множество (я понятия не имел, каковы они), и мистер Баркис посылает мне привет, а моя комнатка всегда в моем распоряжении. Мистер Пегготи здоров, и Хэм здоров, миссис Гаммидж прихварывает, а малютка Эмли не пожелала послать мне нежный привет сама, но сказала, что Пегготи может передать его, если хочет.

Всеми этими новостями я, как полагается, поделился с бабушкой, не упомянув только о малютке Эмли, к которой – я инстинктивно чувствовал – она не могла бы питать особей симпатии. Пока я был еще новичком у доктора Стронга, бабушка несколько раз приезжала в Кентербери проведать меня, и всегда в неурочные часы, намереваясь, кажется, застигнуть меня врасплох. Но каждый раз она заставала меня за уроками и со всех сторон слышала, что я примерно веду себя и делаю большие успехи, а потому она скоро прекратила свои посещения. Я виделся с ней раз в три недели или раз в месяц по субботам, когда приезжал в Дувр, чтобы провести там воскресный отдых, а каждые две недели, по средам, мистер Дик приезжал в полдень в почтовой карете и гостил до утра следующего дня.

Мистер Дик никогда не приезжал без кожаного бювара с запасом писчей бумаги и Мемориалом. Теперь он полагал, что время не ждет и надлежит поскорее закончить сочинение.

Мистер Дик питал большое пристрастие к пряникам. Дабы эти посещения были еще более для него приятны, бабушка предписала мне открыть ему кредит в кондитерской, но на сумму, не превышающую одного шиллинга в день. Это обстоятельство, а также возложенная на меня обязанность посылать бабушке все его маленькие счета, – до уплаты по ним в загородной гостинице, где он ночевал, – вселили в меня подозрение, что ему разрешается только бренчать монетами в кармане, но отнюдь не тратить их. Позднее я убедился, что именно так оно и было, или, во всяком случае, между ним и бабушкой существовало соглашение, по которому он должен был давать ей отчет во всех своих расходах. Поскольку же ему и в голову не приходило надувать ее и всегда хотелось доставить ей удовольствие, то он весьма скупо тратил деньги. В этом отношении, как и решительно во всех других, мистер Дик был убежден, что бабушка является самой мудрой и самой удивительной женщиной на свете, о чем он мне неоднократно сообщал под большим секретом и всегда шепотом.

– Тротвуд, – сказал как-то в среду с таинственным видом мистер Дик, поделившись со мной этой своей уверенностью, – кто этот человек, который прячется около нашего дома и пугает ее?

– Пугает бабушку, сэр?

Мистер Дик кивнул головой.

– Я думаю, ничто не может испугать ее, так как она… – тут он заговорил шепотом, – никому не передавайте… она самая мудрая, самая удивительная женщина…

После этих слов он отступил назад, чтобы поглядеть, какое впечатление произвело на меня его суждение о бабушке.

– Когда он пришел в первый раз, это было… – продолжал мистер Дик, – это было… погоди… короля Карла казнили в тысяча шестьсот сорок девятом году. Кажется, ты говорил, что в тысяча шестьсот сорок девятом?

– Да, сэр.

– Кто же это может быть? – Мистер Дик в явном замешательстве покачал головой. – Не думаю, чтобы я был так стар.

– Этот человек появился в том году, сэр? – спросил я.

– Вот именно. Я не понимаю, как это могло быть. Ты узнал эту дату из истории, Тротвуд?

– Да, сэр.

– А история никогда не лжет? – осведомился с проблеском надежды мистер Дик.

– О, что вы! Конечно нет, сэр! – решительно ответил я, ибо я был молод, простодушен и верил в это.

– Ничего не понимаю! – помотал головой мистер Дик. – Тут что-то неладно. А все-таки этот человек пришел впервые вскоре после того, как произошла ошибка и в мою голову попали заботы из головы короля Карла. В сумерки я гулял после чая с мисс Тротвуд, и он появился около нашего дома.

– Он тоже гулял? – спросил я.

– Гулял? – повторил мистер Дик. – Погоди… я должен припомнить… Н-нет. Нет! Он не гулял.

Чтобы поскорей добиться толку, я спросил, что же он делал.

– Да его сначала вовсе не было, и вдруг он появился за ее спиной и что-то ей шепнул, – объяснил мистер Дик. – Тут она обернулась, и ей стало дурно, а я стоял и смотрел на него, а он ушел прочь. Но вот что самое удивительное: с тех пор он, вероятно, где-то прятался… должно быть, под землей или где-нибудь в другом месте…

– Он и в самом деле прятался с той поры? – спросил я.

– Безусловно прятался! – заявил мистер Дик, важно кивая головой. – И не показывался до вчерашнего вечера. Мы гуляли вчера вечером, а он снова появился за ее спиной, и я его узнал.

– И он снова испугал бабушку?

– Она задрожала от страха. Вот так! – Мистер Дик изобразил, как она задрожала, и заляскал зубами. – Ухватилась за ограду. Заплакала – И вот еще что… Тротвуд, подойди поближе… – Он притянул меня к себе и чуть слышно зашептал: – Почему, мой мальчик, она дала ему денег?

– Может быть, это был нищий?

Мистер Дик решительно покачал головой, отвергая такое предположение. И, повторив несколько раз очень убежденно: «Нет, не нищий, сэр, нет, не нищий», – рассказал еще о том, что поздно вечером он видел из своего окна, как бабушка снова, при свете луны, дала этому человеку деньги за садовой оградой, и он улизнул – должно быть, опять спрятался под землей, как полагал мистер Дик, – и больше не показывался. А бабушка быстро, но стараясь не шуметь, вернулась домой и даже сегодня утром была сама не своя, что весьма волновало мистера Дика.

В начале этого рассказа у меня не было ни малейших сомнений в том, что сей неизвестный является лишь плодом фантазии мистера Дика и подобен тому злосчастному монарху, который причинял ему столько хлопот; но после некоторых размышлений я стал опасаться, не пытался

ли кто-нибудь дважды (или угрожал попытаться) вырвать бедного мистера Дика из-под защиты бабушки и не вынуждена ли была она, питавшая к нему такую сильную привязанность, – о чем я знал от нее самой, – откупиться деньгами, чтобы сберечь его мир и покой. К тому времени я искренне привязался к мистеру Дику и был озабочен его судьбой, а потому боязнь потерять его укрепляла такое предположение; и в течение многих недель ни одна среда, когда он обычно приезжал, не проходила без того, чтобы я не беспокоился, увижу ли я его, как обычно, на крыше кареты. Но он неизменно оказывался там, седовласый, оживленный, сияющий, и больше нечего было ему рассказать мне о человеке, которому удалось испугать мою бабушку.

Эти среды были счастливейшими днями в жизни мистера Дика, и едва ли они были менее счастливыми для меня. Скоро он перезнакомился в школе со всеми мальчиками и хотя не принимал никогда деятельного участия в наших забавах и только запускал с нами змей, но питал глубокий интерес к нашим играм – ничуть не меньше любого из нас. Как часто он следил, не отрывая глаз и затаив дыхание, за нашей игрой в кубарь или в шарики! Как часто, взобравшись на какой-нибудь холмик, когда мы играли в зайца и гончих, он подбадривал нас криками и размахивал шляпой над своей седой головой, совсем забыв о голове короля Карла Мученика и обо всем, что с ней связано! Сколько летних часов промелькнули для него на крикетной площадке, промелькнули как минуты! Сколько раз в зимние дни, когда мальчики катались с гор, он стоял с посиневшим от холода и восточного ветра носом и в восторге хлопал руками в шерстяных перчатках!

Он был общим любимцем, и его умение делать разные мелкие вещицы казалось непостижимым. Он мог разрезать апельсин так замысловато, как никому из нас и в голову не приходило. Он мог сделать лодку из чего угодно, чуть ли не из спицы. Он превращал коленные чашки животных в шахматные фигуры, сооружал римские колесницы из старых игральных карт, мастерил из катушек колеса со спицами и птичьи клетки из старой проволоки. Но, пожалуй, самое замечательное мастерство он обнаруживал, когда брался за бечевку и солому, из которых, по нашему общему убеждению, мог соорудить решительно все, на что способны человеческие руки.

Слава мистера Дика недолго ограничивалась пределами нашего круга. После нескольких сред сам доктор Стронг расспросил меня о нем, я ему сообщил все сведения, полученные мною от бабушки, и это так заинтересовало доктора, что он просил меня познакомить их в ближайшую же среду. Я совершил эту церемонию, и доктор пригласил мистера Дика приходить в школу всякий раз, когда я не встречал его в конторе почтовых карет, и отдыхать, пока мы не кончим наших утренних занятий; скоро у мистера Дика вошло в привычку направляться прямо к школе и, если мы задерживались, что случалось по средам нередко, гулять по двору в ожидании меня. Здесь он познакомился с красивой молодой женой доктора (теперь она была более бледна, чем раньше, менее весела, но не менее красива; я, да, кажется, и все мы видели ее реже) и постепенно все больше осваивался со школой, пока, наконец, не начал заходить в класс, где и ждал меня. Он всегда усаживался в одном и том же уголке, на одном и том же стуле, который прозвали в честь него «Дик»; здесь он сидел, опустив седую голову и внимательно прислушиваясь ко всему, о чем бы ни шла речь, с глубоким благоговением к наукам, которые никогда не мог постичь.

Это благоговение мистер Дик простирал и на доктора, которого он считал самым глубоким и непревзойденным философом всех времен. Только спустя некоторое время он решился разговаривать с ним, не снимая шляпы, но даже тогда, когда они подружились и совместно прогуливались во дворе по боковой дорожке, которая называлась у нас «Аллея доктора», – даже тогда мистер Дик время от времени снимал шляпу, чтобы засвидетельствовать свое уважение к мудрости и наукам. Не знаю, как случилось, что во время этих прогулок доктор стал читать вслух отрывки из знаменитого словаря; быть может, сначала ему казалось, будто это все равно, что читать самому себе. Но эти чтения вошли в привычку, а мистер Дик слушал

с лицом, сияющим от гордости и удовольствия, и в глубине души твердо верил, что словарь – самая увлекательная книга на свете.

Когда я думаю о них, прогуливающихся взад и вперед под окнами классной комнаты. – о докторе, о том, как время от времени он помахивает листами рукописи, сопровождая чтение любезной улыбкой или важным покачиваньем головы, и о мистере Дике, который внимает чтению как зачарованный, тогда как его бедный разум витает на крыльях непонятных слов бог весть где, – когда я думаю о них, это зрелище представляется мне одним из самых умилительных, которые я когда-либо наблюдал. Мне кажется, что, если бы они могли вечно прогуливаться взад и вперед, мир стал бы лучше и что тысячи вещей, о которых так много шумят, приносят меньше пользы и миру и мне, чем эти прогулки мистера Дика и доктора.

Очень скоро и Агнес подружилась с мистером Диком; часто бывая у меня дома, он познакомился и с Урией Хипом. Дружба между мной и мистером Диком крепла, но зиждилась на довольно странных основах: считаясь моим опекуном и приезжая в этом своем звании проведать меня, он всегда советовался со мной по всем вопросам, которые его смущали, и неукоснительно следовал моим советам, так как не только питал глубокое уважение к моей врожденной рассудительности, но и полагал, будто я многое унаследовал от своей бабушки.

В один из четвергов, когда я собирался проводить мистера Дика из гостиницы в контору наемных карет, а потом вернуться в школу (у нас был один урок до завтрака), я встретил на улице Урию, который напомнил мне о своем обещании зайти как-нибудь и выпить чайку с ним и его матерью, при этом он, извиваясь, добавил:

– Но разве я могу надеяться, мистер Копперфилд, что вы исполните обещание, – ведь мы люди ничтожные, смиренные.

Я все еще не мог решить, приятен мне Урия, или противен; колебался я и тогда, остановившись на улице и глядя ему в лицо. Но мне показалось очень обидным, как это он мог заподозрить меня в гордыне, и я ответил, что дожидался только приглашения.

– О! Если дело только за этим? мистер Копперфилд, и наше ничтожество и смирение не мешает вам нас посетить, милости прошу пожаловать сегодня вечером. Но если наше ничтожество является для вас препятствием, мистер Копперфилд, надеюсь, вы не будете это скрывать? Ведь мы прекрасно понимаем свое положение…

Я сказал, что поговорю с мистером Уикфилдом, и если он возражать не будет, в чем я не сомневаюсь, то я с удовольствием приду. В тот же вечер, в шесть часов, – это был один из тех вечеров, когда работа в конторе кончалась раньше, – я заявил Урии, что готов идти.

– Моя мать возгордится. Вернее, она возгордилась бы, не будь это грешно, юный мистер Копперфилд, – сказал Урия, когда мы отправились в путь.

– Однако сегодня утром вы преспокойно решили, что я могу возгордиться, – заметил я.

– О нет, мистер Копперфилд! Поверьте мне, нет! Такая мысль даже не приходила мне в голову! Я и не думал бы, что вы возгордились, если бы вы считали нас слишком ничтожными для себя. Ведь мы и в самом деле люди маленькие и смиренные.

– Вы давно изучаете юридические науки? – спросил я, желая переменить разговор.

– Что вы, мистер Копперфилд! Разве можно назвать изучением чтение книг! – потупившись, сказал Урия. – Часок-другой я иногда провожу по вечерам с мистером Тиддом, вот и все.

– Трудновато приходится? – спросил я.

– Для меня он иногда бывает трудноват. Но не знаю, каким показался бы он способному человеку, – ответил Урия.

Тут он отбарабанил на ходу двумя пальцами скелетообразной руки по своему подбородку несколько тактов какой-то песенки и добавил:

– Знаете ли, мистер Копперфилд, там, у мистера Тидда, есть латинские слова и термины, которые очень затруднительны для читателя с такими ничтожными познаниями, как у меня.

– Вам хотелось бы научиться латыни? – живо спросил я. – Я с удовольствием научил бы вас тому, что я сам знаю.

– О, благодарю вас, мистер Копперфилд! – сказал он, помотав головой. – С вашей стороны очень любезно сделать такое предложение… Но я человек слишком маленький, чтобы принять его…

– Какой вздор, Урия!

– О! Прошу прощения, мистер Копперфилд! Я бесконечно вам благодарен, это было бы таким для меня удовольствием! Но я человек слишком ничтожный и смиренный… И без того есть немало людей, которые не прочь попирать меня ногами в моем ничтожестве, а тут я еще буду оскорблять их чувства своей образованностью. Образование не для меня. Такому, как я, лучше не заноситься высоко. Добиваясь чего-нибудь в жизни, мистер Копперфилд, он должен всего добиваться смирением.

Я никогда еще не видел, чтобы рот у него был так растянут, а складки на щеках так глубоки, как в эти минуты, когда он излагал свои убеждения, покачивая все время головой и униженно извиваясь.

– Мне кажется, вы не правы, Урия, – сказал я. – Уверен, что я мог бы вас кое-чему научить, если бы вы захотели учиться.

– О! Я в этом не сомневаюсь, мистер Копперфилд. Ничуть не сомневаюсь! – ответил он. – Но вы занимаете такое положение, что не можете судить о маленьких, ничтожных людях. Нет, благодарю вас, я не смею оскорблять своим образованием тех, кто выше меня. Для этого я слишком ничтожный и смиренный человек. А вот и мое убогое жилище, юный мистер Копперфилд!

Мы вошли прямо с улицы в низкую, старомодную комнату, где находилась миссис Хип, которая являлась точной копией своего сына, но была ниже его ростом. Она встретила нас с чрезвычайным смирением и, целуя сына, принесла извинения, добавив, что, хотя они люди ничтожные, но и им свойственны родственные чувства, которые, как они надеются, никого оскорбить не могут. Комната, – не то гостиная, не то кухня, – была вполне приличная, но неуютная. На столе стоял чайный прибор, а над огнем камелька закипал чайник. Был там комод с пюпитром для Урии, на котором он мог читать и писать по вечерам, на полу валялся синий мешок Урии, изрыгавший документы, лежала стопка книг Урии во главе с мистером Тиддом; шкаф для посуды стоял в углу; в комнате находилась и кое-какая другая мебель. Я не помню, чтобы отдельные предметы казались жалкими, негодными к употреблению и заявляли о скудости средств, но помню, что об этом свидетельствовала вся обстановка в целом. Траур, который до сей поры носила миссис Хип, должен был возвещать о ее смирении. Несмотря на длительное время, протекшее со дня кончины мистера Хипа, она еще не сняла траура; мне показалось, что она сделала только одну уступку – надела другой чепчик, но в остальном ее траурное одеяние не претерпело никаких изменений с первых дней вдовства.

– Этот день, Урия, когда мистер Копперфилд нас посетил, должен быть нам памятен, – сказала миссис Хип, приготовляя чай.

– Я говорил, мамаша, что вы так и подумаете, – произнес Урия.

– Если бы от моего желания зависело продлить жизнь твоего отца, – сказала миссис Хип, обращаясь к сыну, – я хотела бы, чтобы сегодня ради такого гостя он был с нами.

Я был смущен этими комплиментами, но вместе с тем польщен, что меня принимают как почетного гостя, и миссис Хип показалась мне очень приятной женщиной.

– Мой Урия давно мечтал об этом, сэр, – продолжала миссис Хип. – Но он боялся, как бы вас не остановило скромное наше положение, и я разделяла его опасения. Мы люди маленькие, ничтожные, такими мы всегда были, такими и останемся.

– Мне кажется, у вас нет никаких оснований считать себя маленькими и ничтожными, разве что вам это нравится, – сказал я.

– Благодарю вас, сэр, – отозвалась миссис Хип. – Мы ведь понимаем наше положение и умеем быть благодарными.

Постепенно миссис Хип придвинулась ко мне поближе, а Урия постепенно передвинулся к стулу напротив меня, а затем они оба начали почтительно меня угощать, предлагая самое вкусное, что было на столе. Впрочем, надо сказать, на столе не было ничего особенно вкусного, но важно благое намерение, и я не остался равнодушен к их вниманию. Беседа зашла о бабушках; тут я рассказал о своей; перешли на родителей; тут я рассказал о своих; затем миссис Хип заговорила об отчимах; тут я стал говорить о своем, но осекся, вспомнив, что бабушка советовала мне об этом молчать. Но слабенькая пробочка так же могла устоять против двух пробочников, детский зуб – против двух дантистов и крохотный волан – против двух ракеток, как мог устоять я против Урии и миссис Хип. Они делали со мной все, что хотели, они вытягивали из меня то, о чем я решительно не желал говорить, и проделывали это с легкостью, о которой мне стыдно вспоминать, – тем более, что в своей детской наивности я ставил себе в заслугу такой доверительный тон и почитал себя патроном обоих почтительных моих собеседников.

Несомненно, они очень любили друг друга. И эта любовь производила на меня впечатление, так как была безыскусна; но та ловкость, с какой один из них подхватывал брошенную другим нить разговора, была столь искусна, что перед ней я оказывался еще более беспомощным. Когда уже больше ничего нельзя было вытянуть из меня обо мне самом (о своем пребывании у «Мэрдстона и Гринби» и о своем бегстве оттуда я все-таки не проронил ни слова), разговор перешел на мистера Уикфилда и Агнес. Урия швырял мяч миссис Хип, миссис Хип ловила и посылала назад Урии, Урия задерживал его на некоторое время и потом бросал снова миссис Хип, и они перебрасывались им до той поры, покуда я перестал соображать, у кого этот мяч, и совсем растерялся. Да и сам мяч все время менялся. То это был мистер Уикфилд, то Агнес, то достоинства мистера Уикфилда или мое восхищение Агнес, то деловой размах мистера Уикфилда и его доходы или наше времяпрепровождение после обеда, то вино, которое пьет мистер Уикфилд, причина, почему он пьет, и сожаление, что он пьет так много, – словом, говорили то об одном, то о другом, то обо всем сразу; и все это время, как будто мало участвуя в разговоре и только подбадривая их из беспокойства, как бы они не сникли от сознания своего ничтожества и той чести, какую я им: оказывал своим присутствием, я без конца выбалтывал то, о чем не следовало болтать, и наблюдал последствия своей болтливости, глядя, как раздуваются и сжимаются ноздри Урии.

Мне становилось не по себе и хотелось положить конец этому визиту, как вдруг какой-то человек, шедший по улице, – погода стояла теплая не по сезону, и дверь была открыта, чтобы проветрить душную комнату, – прошел мимо, вернулся, заглянул в комнату, затем вошел с громким возгласом:

– Копперфилд! Да может ли это быть!

Это был мистер Микобер! Это был мистер Микобер со своим моноклем, тростью, высоким воротничком, мистер Микобер, изящный, с благосклонно журчащим голосом – словом, он сам, собственной персоной!

– Дорогой мой Копперфилд! – воскликнул мистер Микобер, протягивая мне руку. – Вот поистине встреча, которой надлежало бы внушить нашему разуму мысль о неопределенности и превратности всего человеческого… одним словом, замечательная встреча! Я иду по улице, размышляю о том, улыбнется ли счастье (как раз в данный момент у меня есть основания

надеяться на это), и вот внезапно счастье улыбнулось – я натыкаюсь на юного, но дорогого мне друга, с которым связан наиболее чреватый событиями период моей жизни, смею сказать – поворотный пункт моего бытия! Копперфилд, дорогой мой, как вы поживаете?

Я отнюдь не мог сказать, что встреча здесь с мистером Микобером меня обрадовала, но я также был рад его видеть, от всей души пожал ему руку и осведомился, как поживает миссис Микобер.

– Благодарю! – произнес мистер Микобер, помавая, как и в былые времена, рукой и погружая подбородок в воротничок сорочки. – Она набирается сил. Близнецы уже не получают пропитания из источников Природы, – сообщил мистер Микобер в порыве откровенности, – одним словом, их отлучили от груди, и нынче миссис Микобер сопровождает меня. Она будет в восхищении, Копперфилд, возобновить знакомство с тем, кто во всех отношениях был достойным жрецом у священного алтаря дружбы!

Я сказал, что буду рад повидать ее.

– Вы очень любезны, – заметил мистер Микобер. Засим мистер Микобер улыбнулся, снова погрузил подбородок в воротничок и огляделся по сторонам.

– Я нашел моего друга Копперфилда, – любезно начал мистер Микобер, ни к кому в частности не обращаясь, – не в одиночестве, но за трапезой вместе с почтенной вдовой и, по-видимому, с ее отпрыском… одним словом… – продолжал мистер Микобер снова в порыве откровенности, – с ее сыном! Я почту за честь быть ей представленным.

Мне ничего не оставалось, как познакомить мистера Микобера с Урией Хипом и его матерью, что я и сделал. Они залебезили перед мистером Микобером, а он уселся на стул, помавая рукой с самым любезным видом.

– Все друзья моего друга Копперфилда имеют право на мою дружбу, – заметил он.

– Мы люди слишком маленькие и смиренные, сэр, чтобы быть друзьями мистера Копперфилда, – сказала миссис Хип. – Он был так добр, что согласился выпить с нами чая, и мы очень благодарны ему. И вам также, сэр, за ваше внимание.

– Сударыня, вы очень любезны, – с поклоном ответствовал мистер Микобер. – Ну, а вы, Копперфилд, что поделываете? По-прежнему в винном деле?

Мне ужасно хотелось убрать отсюда мистера Микобера. Шляпа была уже у меня в руках, и я, густо покраснев, ответил, что теперь я учусь в школе доктора Стронга.

– Учитесь? – переспросил мистер Микобер, поднимая брови. – Очень рад это слышать. Хотя ум моего друга Копперфилда, – это относилось к Урии и миссис Хип, – и не нуждается в том развитии, которое было бы ему необходимо, не знай он так хорошо людей и жизнь, но это отнюдь не мешает ему быть богатой почвой для произрастания… одним словом… – тут мистер Микобер улыбнулся, вновь охваченный порывом откровенности, – он наделен интеллектом, позволяющим ему получить самое широкое классическое образование!

Урия, медленно потирая длинные руки и отвратительно извиваясь всем телом, выражал этим свое согласие с таким отзывом обо мне.

– Не навестим ли мы, сэр, миссис Микобер? – спросил я, чтобы увести отсюда мистера Микобера.

– Это доставит ей большое удовольствие, Копперфилд, – сказал, вставая, мистер Микобер. – В присутствии наших друзей я не стыжусь упомянуть о том, что в течение многих лет мне пришлось бороться с денежными затруднениями…

Я так и знал, что он не преминет сказать что-нибудь в этом роде; он всегда не прочь был похвастать своими затруднениями.

– Бывали времена, – продолжал мистер Микобер, – когда я преодолевал эти затруднения. Но бывали и такие времена, когда… одним словом, когда они повергали меня наземь! Иногда я наносил им ряд сокрушительных ударов, а иногда отступал перед их численным

превосходством и говаривал миссис Микобер языком Катона: «Платон, ты меня убедил!»[40] Все кончено. Больше не могу бороться! Но никогда, никогда в моей жизни я не испытывал большего удовлетворения, чем в те минуты, когда мне удавалось излить мои горести, – если мне позволено применить это слово к затруднениям, возникающим главным образом из приказов об аресте и долговых обязательств сроком на два или четыре месяца, – излить, повторяю, мои горести на груди моего друга Копперфилда!

Выразив мне в столь изящной манере свое уважение, мистер Микобер закончил свою речь словами: «Прощайте, мистер Хип! Ваш покорный слуга, миссис Хип!» – и в высшей степени элегантно вышел вместе со мной, громко шаркая башмаками по тротуару и мурлыча какую-то песенку.

Гостиница, в которой остановился мистер Микобер, была отнюдь не велика, и занимал он в ней маленькую комнатку, отделенную перегородкой от общего зала и пропахшую табаком. Находилась она, должно быть, над кухней, ибо сквозь щели в полу проникал горячий кухонный чад, а на стене расплывались пятна от пара. Очевидно, рядом был буфет, так как пахло спиртными напитками и слышался звон стаканов. Здесь на маленькой софе, под картинкой с изображением скаковой лошади, возлежала миссис Микобер, причем голова ее приходилась почти вплотную к камину, а ноги упирались в судок с горчицей, помещавшийся на столике в другом конце комнаты; мистер Микобер вошел первый с такими словами:

– Дорогая моя, позвольте вам представить ученика доктора Стронга.

Кстати сказать, я заметил, что хотя в голове у мистера Микобера была путаница насчет моего возраста и положения, но он твердо помнил о моем обучении в школе доктора Стронга как о факте, имеющем бесспорное значение в обществе.

Миссис Микобер была поражена, но выразила большую радость. Я был также очень рад и, после взаимных искренних приветствий, уселся рядом с ней на софу.

– Дорогая моя, если вы хотите рассказать Копперфилду о нашем теперешнем положении, о чем ему, не сомневаюсь, интересно было бы узнать, я тем временем пойду взглянуть на газетные объявления, не улыбнется ли нам счастье!

– Я думал, сударыня, что вы в Плимуте, – сказал я миссис Микобер, когда он вышел.

– Да, дорогой мистер Копперфилд, мы отправились в Плимут, – ответила она.

– Чтобы мистер Микобер был наготове? – подсказал я.

– Вот именно. Чтобы мистер Микобер был наготове. Но, увы, таможенное управление не нуждается в талантах. Связи в провинции, которыми располагает мое семейство, не помогли человеку, обладающему способностями мистера Микобера, получить в этом учреждении какую-нибудь должность. Там предпочли обойтись без человека с такими способностями, как у мистера Микобера. Ведь его таланты могли бы только обнаружить непригодность остальных служащих. А кроме того, – продолжала миссис Микобер, – эти мои родственники, которые принадлежат к плимутской ветви нашего семейства, увидев, что мистер Микобер прибыл вместе со мной, Уилкинсом, его сестрой и двумя близнецами, приняли его – не хочу скрывать от вас, дорогой мистер Копперфилд, – совсем не с тем радушием, какое он вправе был ожидать, только что выйдя из заточения. Сказать правду, – тут миссис Микобер понизила голос, – но это между нами… нас приняли холодно.

– Да что вы! – воскликнул я.

– Да. Очень грустно созерцать человеческую природу с такой стороны, мистер Копперфилд, но прием был решительно холодный. В этом не может быть никаких сомнений. Правду сказать, эта плимутская ветвь моего семейства повела себя очень нелюбезно с мистером Микобером уже через неделю после его приезда!

Я сказал, а также и подумал, что этим людям должно быть стыдно.

– Однако это так, – продолжала миссис Микобер. – Ну, что было делать при подобных обстоятельствах человеку такому гордому, как мистер Микобер! Оставалось только одно: занять денег у этой ветви моего семейства для возвращения в Лондон и, ценой любых жертв, туда возвратиться.

– Значит, вы вернулись назад, сударыня? – спросил я.

– Да, мы все вернулись назад, – отвечала миссис Микобер. – Я уже советовалась с другими ветвями моего семейства, какое поприще следует избрать мистеру Микоберу, так как я настаиваю на том, чтобы мистер Микобер избрал себе какое-нибудь поприще, мистер Копперфилд, – добавила она, словно я возражал против этого. – Ясно, что семья из пяти человек, не считая служанки, не может питаться одним воздухом.

– Конечно, сударыня, – согласился я.

– Эти другие ветви моего семейства, – продолжала миссис Микобер, – полагают, что мистер Микобер должен немедленно заняться углем.

– Чем, сударыня?

– Углем. Торговлей углем. Собрав некоторые сведения, мистер Микобер стал склоняться к мысли, что для человека с его дарованиями могут быть шансы на успех в «Медуэйской торговле углем». А раз так, то мистер Микобер, разумеется, решил, что первым делом надо отправиться и увидеть Медуэй. Мы отправились и увидели. Я говорю – «мы», мистер Копперфилд, потому что я никогда, – тут миссис Микобер пришла в волнение, – никогда не покину мистера Микобера!

Я что-то пробормотал, выражая свое одобрение и восхищение.

– Мы отправились и увидели Медуэй, – повторила миссис Микобер. – Мое мнение такое, что торговля углем на этой реке, возможно, требует и таланта, но капиталов она требует несомненно. Талант у мистера Микобера есть, капиталов нет. Кажется, мы видели большую часть Медуэя, и таково мое личное мнение. Очутившись так близко отсюда, мистер Микобер заключил, что было бы безрассудно не приехать сюда, чтобы посмотреть на собор. Во-первых, потому, что собор заслуживает этого, а мы его никогда не видели, а во-вторых, потому, что в таком городе, где есть собор, счастье может улыбнуться. Мы находимся здесь три дня. Пока еще счастье не улыбнулось, и вы, дорогой мистер Копперфилд, не удивитесь, как удивился бы посторонний человек, если узнаете, что в настоящее время мы ждем денежного перевода из Лондона, чтобы оплатить наши счета в этой гостинице. Впредь до получения перевода, – с глубоким чувством закончила миссис Микобер, – я отрезана от моего дома – я подразумеваю мою квартиру в Пентонвилле,[41] – от моего сына и дочери, а также от моих близнецов.

Я чувствовал живейшую симпатию к мистеру и миссис Микобер, находившимся в таком бедственном положении, и сказал об этом вернувшемуся мистеру Микоберу, выразив глубокое сожаление, что у меня мало денег и я не имею возможности одолжить ему необходимую сумму. Ответ мистера Микобера свидетельствовал о крайнем расстройстве его чувств. Пожимая мне руку, он сказал:

– Копперфилд, вы истинный друг, но когда дело доходит до крайности, у человека всегда найдется друг, имеющий в своем распоряжении бритву.

Услышав сей ужасный намек, миссис Микобер обвила руками шею мистера Микобера и умоляла его успокоиться. Он расплакался. Но почти тотчас же воспрял духом, позвонил в колокольчик лакею и заказал к утреннему завтраку горячий пудинг из почек и блюдо креветок.

Когда я собрался уходить, они так настойчиво стали приглашать меня к себе пообедать с ними перед отъездом, что я не мог отказаться. Но на следующий день мне предстояло вечером много работы и я не мог прийти, а потому мистер Микобер сказал, что зайдет завтра утром в школу доктора Стронга (у него было предчувствие, что перевод придет именно завтра), и мы назначим обед на послезавтра, если это мне будет удобно. И действительно, на следующий

день, еще до полудня, меня вызвали из классной комнаты в приемную, где я нашел мистера Микобера, который сообщил, что обед состоится, как было условлено. Когда я спросил его о денежном переводе, он пожал мне руку и удалился.

В этот же день вечером я был очень удивлен и даже обеспокоен, увидев из окна мистера Микобера, шествующего под руку с Урией Хипом; смиренный и униженный вид Урии свидетельствовал о том, что он глубоко польщен оказанной ему честью, а мистер Микобер выражал явное удовлетворение, оказывая Урии покровительство. Но мое удивление еще более возросло, когда на следующий день, придя в гостиницу к назначенному сроку, – было четыре часа дня, – я узнал от мистера Микобера, что Урия водил его к себе домой и они пили у миссис Хип бренди с водой.

– И вот что я вам скажу, дорогой Копперфилд, – заявил мистер Микобер, – ваш молодой друг Хип может стать когда-нибудь генеральным атторни.[42] Если бы я знал этого молодого человека в ту пору, когда разразилась катастрофа, одно могу сказать: с моими кредиторами удалось бы справиться куда лучше.

Я совершенно не понял, как это удалось бы сделать, ибо знал, что мистер Микобер и так не заплатил им ровно ничего, но мне не хотелось задавать вопросы. Не хотелось мне также выражать надежду, что мистер Микобер был не слишком откровенен с Урией, не хотелось расспрашивать, говорили ли они обо мне. Я опасался оскорбить чувства мистера Микобера или, во всяком случае, миссис Микобер, которая была весьма чувствительна. Но эти мысли тревожили меня, и позднее я то и дело к ним возвращался.

Мы превосходно пообедали: была рыба, изящно сервированная, кусок жареной говядины с почками, подрумяненные сосиски, куропатка и пудинг. Было вино, был и крепкий эль, а после обеда миссис Микобер приготовила собственноручно горячий пунш.

Мистер Микобер был необычайно весел. Я никогда не видел его таким общительным. От пунша лицо его блестело, как лакированное. Веселым, хотя и несколько сентиментальным тоном он разглагольствовал о городе н предложил выпить за его процветание; при этом он заметил, что и миссис Микобер и он жили здесь необыкновенно удобно и комфортабельно и никогда не забудут приятных часов, проведенных в Кентербери. Затем он выпил за мое здоровье, и тут мы трое, – миссис Микобер, он и я, – стали припоминать историю нашего знакомства и, предаваясь воспоминаниям, снова распродавали все имущество. Затем я предложил тост за здоровье миссис Микобер, вернее сказал застенчиво:

– Если вы разрешите, миссис Микобер, я с удовольствием выпью теперь за ваше здоровье!

В ответ на это мистер Микобер разразился панегириком характеру миссис Микобер и заявил, что она всегда была для него руководительницей, философом и другом и что он рекомендует мне, когда наступит для меня пора подумать о браке, жениться именно на такой женщине, если только мне удастся сыскать ей подобную.

По мере того как исчезал пунш, мистер Микобер становился все более оживленным и разговорчивым. Улучшалось также и расположение духа миссис Микобер, и мы запели «Остролист».[43]Когда мы добрались до «вот рука моя, верный мой друг», наши руки соединились над столом, а когда мы объявили, что «возьмем в проводники Вилли Уота», мы совсем расчувствовались, хотя не имели ни малейшего понятия, что сие означает.

Словом, я никогда не видел никого, кто был бы так весел, как мистер Микобер вплоть до конца вечера, когда я самым сердечным образом распрощался с ним и с его милой женой. Поэтому на следующий день в семь часов утра я отнюдь не ожидал получения следующей записки, помеченной предшествующим днем и написанной в половине десятого вечера – через четверть часа после моего ухода:

«Мой дорогой юный друг!

Жребий брошен – все кончено. Скрывая под маской болезненного веселья терзания, вызванные заботами, я не поведал вам сегодня вечером о том, что надежды на денежный

перевод нет никакой! В связи с такими обстоятельствами, слишком унизительными, чтобы их выносить, раздумывать о них или о них сообщать, я был освобожден от денежной ответственности, связанной с проживанием в этой гостинице, выдав долговую расписку на срок две недели с сего числа и с обязательством уплатить по ней по месту моего жительства в Пентонвилле, Лондон. Когда срок уплаты наступит, платить будет нечем. В результате – гибель. Молния вот-вот ударит, и дерево должно рухнуть.

Пусть несчастный человек, который сейчас к вам обращается, дорогой Копперфилд, послужит предостерегающим сигналом для вас на жизненном пути. Обращаясь к вам с письмом, он пишет только в надежде на это и с этой единственной целью. Если бы он был уверен, что окажет вам такую услугу, быть может, луч света мог бы проникнуть в мрачную темницу, где предстоит ему отныне влачить жизнь, хотя долговечность его в настоящее время (мягко выражаясь) крайне проблематична.

Эти строки – последние, мой дорогой Копперфилд, которые вы получите От

Нищего

Отщепенца

Уилкинса Микобера».

Я был так потрясен содержанием этого душераздирающего письма, что сейчас же бросился в маленькую гостиницу, намереваясь забежать туда по дороге в школу и сказать мистеру Микоберу слово утешения. Но на полпути я встретил лондонскую карету, где на задних местах восседали мистер и миссис Микобер. Мистер Микобер – воплощение спокойствия и благодушия – улыбался, внимая миссис Микобер, и уплетал грецкие орехи, извлекая их из бумажного пакета, а из бокового его кармана торчала бутылка. Они не видели меня, и я, поразмыслив, почел за лучшее сделать вид, будто их не заметил. У меня словно камень с сердца упал, я свернул в переулок, ведущий прямо в школу, и, пожалуй, почувствовал облегчение оттого, что они уехали. Но все же я по-прежнему питал к ним большое расположение.

Глава XVIII
Взгляд в прошлое

Школьные мои дни! Тихое скольжение моего существования – невидимое, неощутимое движение жизни – от детства к юности! Оглядываясь назад, на эту струящуюся воду, – теперь это сухое русло реки, засыпанное листьями, – я постараюсь припомнить по некоторым уцелевшим вехам, отмечавшим ее течение, как она некогда текла.

Вот я занимаю свое место в соборе, куда мы отправляемся все вместе каждое воскресное утро, предварительно собравшись для этой цели в школе. Запах земли, воздух, не прогретый солнцем, ощущение, будто ты отрезан от всего мира, гудение органа в белых и черных сводчатых галереях и боковых приделах, – вот крылья, уносящие меня назад, и на них я парю, не то бодрствуя, не то в полусне.

Я не последний ученик в школе. За несколько месяцев я перегнал многих. Но первый ученик кажется мне могущественным существом, пребывающим далеко-далеко, на головокружительных высотах, и высоты эти недосягаемы. Агнес говорит: «Нет!» – но я говорю: «Да!» – и доказываю ей, что она даже и не подозревает, какие запасы премудрости накопило это удивительное создание, чье место со временем могу, по ее мнению, занять я, даже я, жалкий претендент! Он не закадычный мой друг и не явный мой покровитель, каким был Стирфорт, но я питаю к нему благоговейное уважение. Больше всего занимает меня мысль, кем он станет, когда окончит школу доктора Стронга, и что делать людям, чтобы устоять против него и удержать за собой хоть какое-нибудь место.

Но кто это врывается в мои воспоминания? Это мисс Шеперд, которую я люблю.

Мисс Шеперд обучается в пансионе девиц Неттингол. Я обожаю мисс Шеперд. Это маленькая девочка в короткой жакетке, с круглым личиком и кудрявыми льняными волосами. Юные леди из пансиона девиц Неттингол также ходят в собор. Я не могу смотреть в свой молитвенник, потому что должен смотреть на мисс Шеперд. Когда поют певчие, я слышу голос мисс Шеперд. В богослужение я вставляю имя мисс Шеперд; я помещаю ее среди членов королевского дома. У себя в комнате я в порыве любви иной раз готов воскликнуть: «О мисс Шеперд!»

Сначала я не уверен в чувствах мисс Шеперд, но, наконец, Судьба к нам благосклонна – мы встречаемся в школе танцев. Моя дама – мисс Шеперд. Я прикасаюсь к перчатке мисс Шеперд и чувствую, как трепет пробегает по правому рукаву моей курточки и добирается до волос. Я не говорю никаких нежных слов мисс Шеперд, но мы понимаем друг друга. Мисс Шеперд и я живем лишь для того, чтобы соединиться навеки.

Не знаю, зачем я тайком преподношу мисс Шеперд двенадцать американских орехов? Они не пригодны для выражения нежных чувств, их нелегко уложить в аккуратный пакет, их трудно расколоть даже в дверной щели, а когда их расколешь, они такие маслянистые! Однако я чувствую, что они предназначены для мисс Шеперд. Еще я дарю мисс Шеперд мягкие бисквиты и несметное количество апельсинов. Однажды я целую мисс Шеперд в гардеробной. Какой восторг! И каковы же на следующий день мои муки и мое негодование, когда до меня долетает слух, что девицы Неттингол поставили мисс Шеперд в колодки за то, что она вывертывает ноги носками внутрь!

Мисс Шеперд – единственный смысл и мечта моей жизни. Как же дело доходит до того, что я порываю с ней? Для меня это непостижимо. Но охлаждение чувствуется между мною и мисс Шеперд. Шепотом передают, будто мисс Шеперд выразила желание, чтобы я не так таращил на нее глаза и открыто призналась, что отдает предпочтение юному Джонсу. Джонсу! Ничего не стоящему мальчишке! Пропасть между мною и мисс Шеперд расширяется. Наконец однажды на прогулке я встречаю учениц из пансиона девиц Неттингол. Мисс Шеперд, проходя мимо, строит гримасу и смеется, сообщая что-то подруге. Все кончено! Преданная любовь на всю жизнь – кажется, что на всю жизнь и значит на всю жизнь! – умирает: мисс Шеперд выключена из утреннего богослужения, и королевский дом ее больше не признает.

Я делаю успехи в школе, и никто не нарушает мира в моей душе. Теперь я вовсе не учтив с юными леди из пансиона девиц Неттингол и не влюбился бы до безумия ни в одну из них, будь их вдвое больше и будь они в двадцать раз красивее. Уроки танцев я считаю скучнейшей затеей и не понимаю, почему девочки не могут танцевать друг с другом и оставить нас в покое. Я преуспеваю в латинских стихах и пренебрегаю зашнуровыванием башмаков. Доктор Стронг публично говорит обо мне как о подающем большие надежды юном ученом. Мистер Дик вне себя от радости, а бабушка с первой же почтой присылает мне гинею.

Возникает тень молодого мясника, словно в «Макбете» – призрачная голова в шлеме.[44] Кто он, этот молодой мясник? Он – пугало всех юнцов Кентербери. Ходит молва, будто говяжий жир, которым он смазывает себе волосы, наделяет его чудодейственной силой, и потягаться с ним может только взрослый мужчина. Это широколицый молодой мясник с бычьей шеей, у него обветренные румяные щеки, грубый нрав и дерзкий язык. Этим языком он пользуется преимущественно для того, чтобы поносить юных джентльменов доктора Стронга. Он говорит во всеуслышание, что если они хотят, чтобы им всыпали, так он им всыплет. Он называет несколько лиц (в том числе и меня), с которыми берется расправиться одной рукой, и заявляет при этом, что другая рука будет привязана у него за спиной. Он подстерегает младших учеников и бьет их, беззащитных, по голове и бросает вызов мне вслед на самых людных улицах. По всем этим причинам я решаю сразиться с мясником.

Летний вечер в зеленой ложбине, у школьной стены. В назначенный час я встречаюсь с мясником. Меня сопровождает отборный отряд школьников, мясника сопровождают два других мясника, молодой трактирщик и трубочист. Со всеми приготовлениями покончено, мясник и я

стоим лицом к лицу. Один миг – и мясник высекает из левой моей брови десять тысяч звезд. Еще миг – и я не знаю, где стена, где я, где кто. Вряд ли я знаю, кто я, а кто мясник. Мы сплетены в один клубок и наносим удары, катаясь но примятой траве. Порой я вижу мясника – он в крови, но уверен в себе; порой я ничего не вижу и сижу, ловя воздух ртом, на коленях моего секунданта; порой я как бешеный бросаюсь на мясника и рассекаю себе суставы пальцев о его физиономию, но ему это как будто нипочем. Наконец я словно пробуждаюсь от обморочного сна, в голове у меня происходит что-то странное, и я вижу, как удаляется мясник, принимая поздравления двух других мясников, трубочиста и трактирщика и надевая на ходу куртку. Из этого я правильно заключаю, что победа за ним.

Домой меня доставляют в плачевном состоянии, к глазам прикладывают сырые бифштексы, растирают меня уксусом с бренди, а на верхней моей губе появляется большая белая опухоль и разрастается до невероятных размеров. Три-четыре дня я сижу дома с зеленым козырьком над глазами, и вид у меня весьма неприглядный. И я очень бы скучал, если бы не Агнес, – она мне сестра, она очень сочувствует моей беде и читает вслух, и благодаря ей мне хорошо, и я не замечаю, как идет время. Агнес неизменно пользуется полным моим доверием; и я ей рассказываю решительно все о мяснике и обо всех обидах, которые он мне нанес. И она считает, что мне ничего не оставалось делать, как сразиться с мясником, хотя содрогается при мысли об этом сражении.

Время крадется незаметно, и вот уже Адамс – не старшина школы, и много дней прошло с тех пор, как он был старшиной. Адамс так давно покинул школу, что, когда он приезжает навестить доктора Стронга, мало кто помнит его, кроме меня. В ближайшем будущем Адаме получит право выступать в суде, станет адвокатом и будет носить парик. С удивлением я обнаруживаю, что он скромнее, чем казался мне, и менее внушителен. И до сей поры он еще не потряс мир, ибо жизнь (поскольку я могу судить) течет все так же, как если бы он и не подвизался на жизненном поприще.

Пробел… Поэзия и история шлют сонмы героев, их величественным полчищам как будто нет конца, – а что же дальше? Теперь старшина школы я! Я смотрю на выстроившуюся внизу передо мной шеренгу мальчиков и чувствую снисходительный интерес к тем из них, кто вызывает в моей памяти того мальчугана, каким был я сам, когда впервые пришел сюда. Но тот мальчик как будто не имеет ко мне никакого отношения, он остался где-то позади на жизненном пути, я никогда им не был, я просто прошел мимо него, и, кажется мне, это кто-то другой, не я…

А где эта девочка, которую я увидел в день моего появления у мистера Уикфилда? Нет и ее. Это уже не девочка, похожая на портрет, – точная копия самого портрета ходит по комнатам старого дома. Это Агнес, моя милая сестра, как называю я ее мысленно, мой советчик и друг, добрый ангел, который всех приближающихся к ней осеняет самоотреченно своим легким, благостным крылом, – это Агнес. Она уже почти женщина.

Какие еще перемены произошли со мной, кроме того, что я вырос, возмужал и многому выучился? Я ношу золотые часы с цепочкой, кольцо на мизинце и фрак, я, не скупясь, смазываю волосы медвежьим жиром, и этот жир, а также и кольцо, не к добру. Неужели я опять влюблен? Да. Я обожаю старшую мисс Ларкинс.

Старшая мисс Ларкинс – не маленькая девочка. Это высокая, смуглая, черноглазая, статная женщина. Старшая мисс Ларкинс отнюдь не птенчик, ибо и самая младшая мисс Ларкинс уже не птенчик, а она моложе своей сестры года на три, на четыре. Может быть, старшей мисс Ларкинс лет под тридцать. Моя страсть к ней безгранична.

Старшая мисс Ларкинс водит знакомство с офицерами. Для меня это ужасно. Я вижу, как они разговаривают с ней на улице. Я вижу, как они переходят через дорогу, чтобы встретиться с ней, когда появляется вдали ее шляпка (она любит яркие шляпки) рядом со шляпкой ее сестры. Она смеется и болтает с ними, ей как будто это нравится. В свободное время я

постоянно прохаживаюсь взад и вперед по улице в надежде встретить ее. Если мне удается поклониться ей хоть раз в день (я знаком с мистером Ларкинсом и, следовательно, знаю ее достаточно, чтобы поклониться), я чувствую себя счастливым. Иногда я удостаиваюсь ответного поклона. Если только есть на свете справедливость, то я должен быть вознагражден за ту мучительную пытку, какую претерпеваю в день бала, где, как мне известно, старшая мисс Ларкинс будет танцевать с военными.

Страсть лишает меня аппетита и заставляет постоянно носить мой самый новый шелковый галстук. Некоторое облегчение испытываю я только тогда, когда надеваю свой лучший костюм и заставляю без конца чистить себе ботинки. Тогда я кажусь себе более достойным старшей мисс Ларкинс. Все, что принадлежит ей или имеет к ней какое-нибудь отношение, для меня драгоценно. Мистер Ларкинс (ворчливый старый джентльмен, у него двойной подбородок и один глаз неподвижен) представляет для меня величайший интерес. Если мне не удается встретить его дочь, я иду туда, где могу встретить его. Вопрос: «Как поживаете, мистер Ларкинс? Как здоровье молодых леди и всего вашего семейства?» – кажется столь многозначительным, что я краснею.

Я постоянно думаю о своем возрасте. Допустим, мне семнадцать лет, допустим, я слишком молод для старшей мисс Ларкинс, но что за беда? Оглянуться не успеешь, как мне исполнится двадцать один год! По вечерам я регулярно прогуливаюсь перед домом мистера Ларкинса, хотя сердце у меня разрывается, когда я вижу, как туда входят офицеры и слышу их голоса в гостиной, где старшая мисс Ларкинс играет на арфе. А несколько раз я брожу вокруг дома, унылый и влюбленный, уже после того, как семья улеглась спать, и гадаю о том, где спальня старшей мисс Ларкинс (теперь мне кажется, что я принимал за ее комнату спальню мистера Ларкинса). Мне хочется, чтобы вспыхнул пожар, чтобы вокруг собралась устрашенная толпа, чтобы я пробился сквозь нее с лестницей, приставил эту лестницу к окну комнаты мисс Ларкинс, спас ее, унеся в своих объятиях, вернулся за какой-нибудь забытой ею вещью и погиб в пламени! Да, ибо, в общем, моя любовь бескорыстна, и мне кажется, что я был бы счастлив предстать героем перед мисс Ларкинс, а затем испустить дух. В общем, но не всегда. Иной раз передо мной возникают более радужные видения. Когда я занимаюсь своим туалетом (на это уходит два часа) перед большим балом у Ларкинсов (его я с нетерпением жду три недели), я услаждаю себя приятными мечтами. Вот я собираюсь с духом и признаюсь в своих чувствах мисс Ларкинс. Вот мисс Ларкинс склоняет головку на мое плечо и говорит: «О мистер Копперфилд, могу ли я верить своим ушам!» Вот навещает меня на следующее утро мистер Ларкинс и говорит: «Дорогой мой Копперфилд, моя дочь открыла мне все. Молодость не является препятствием. Даю вам двадцать тысяч фунтов. Будьте счастливы!» И вот смягчается моя бабушка и дает нам свое благословение, а мистер Дик и доктор Стронг присутствуют на свадьбе. Мне кажется, я юноша рассудительный, – я хочу сказать: так мне кажется теперь, когда я оглядываюсь назад. И, конечно, скромный. Но тем не менее я об этом мечтаю.

Я отправляюсь в волшебный дом, там огни, болтовня, музыка, цветы, офицеры (к моему сожалению) и старшая мисс Ларкинс, сияющая красотой. На ней голубое платье, в волосах голубые цветы – незабудки. Как будто ей могут понадобиться незабудки! Это первый настоящий бал для взрослых, на который меня пригласили, и я немножко смущен: кажется, будто я здесь совсем чужой и никто не обращается ко мне, кроме мистера Ларкинса, который спрашивает меня, как поживают мои школьные товарищи, хотя этот вопрос совсем лишний – ведь я пришел сюда не для того, чтобы меня оскорбляли!

Сначала я стою в дверях и упиваюсь созерцанием кумира моего сердца, как вдруг она приближается ко мне – она, старшая мисс Ларкинс, – и любезно спрашивает меня, танцую ли я.

Я кланяюсь и, запинаясь, отвечаю:

– Только с вами, мисс Ларкинс.

– И больше ни с кем? – осведомляется мисс Ларкинс.

– Мне не доставило бы никакого удовольствия танцевать с кем-нибудь еще.

Мисс Ларкинс смеется, краснеет (или мне только кажется, что она краснеет) и говорит:

– На первый танец я приглашена. Следующий – ваш.

Этот момент наступает.

– Кажется, это вальс, – нерешительно говорит мисс Ларкинс, когда я предстаю перед ней. – Вы вальсируете? Если нет, то капитан Бэйли…

Но я вальсирую (кстати сказать, совсем неплохо) и увожу мисс Ларкинс. С суровым видом я увожу ее от капитана Бэйли. Он страдает, в этом я не сомневаюсь; но для меня он ничто. Я тоже страдал. Я вальсирую со старшей мисс Ларкинс! Не знаю, где я вальсирую, долго ли и кто вокруг нас. Знаю только, что плыву в эфире с голубым ангелом, пребывая в блаженном экстазе, и вот я уже сижу с нею вдвоем на диване в маленькой комнате. Она восторгается цветком (розовая японская камелия, цена полкроны) в моей петлице. Я преподношу ей цветок и говорю:

– Я требую за него бесконечно много, мисс Ларкинс.

– Неужели? Что же именно? – спрашивает мисс Ларкинс.

– Один из ваших цветов, чтобы я мог беречь его, как скряга – свое золото.

– Вы храбрый мальчик, – говорит мисс Ларкинс, – Пожалуйста.

Она без малейших признаков неудовольствия подает мне цветок, а я прижимаю его к губам, а потом к сердцу. Мисс Ларкинс, смеясь, берет меня под руку и говорит:

– А теперь отведите меня к капитану Бэйли.

Я поглощен мыслями об этом восхитительном разговоре и о вальсе, когда она снова подходит ко мне под руку с некрасивым пожилым джентльменом, который весь вечер играл в вист, и говорит:

– А вот и мой храбрый друг. Мистер Честл хочет познакомиться с вами, мистер Копперфилд.

Я сразу соображаю, что это друг семьи, и чувствую себя весьма польщенным.

– Я восхищаюсь вашим вкусом, сэр, – говорит этот джентльмен. – Он делает вам честь. Вряд ли вы особенно интересуетесь хмелем, – я, видите ли, занимаюсь разведением хмеля, – но, может быть, вам случится побывать в наших краях, близ Эшфорда, мы будем очень рады, если вы заедете к нам и погостите у нас, сколько вам вздумается.

Я горячо благодарю мистера Честла и жму ему руку. Мне кажется, я пребываю в блаженном сне. Снова я вальсирую со старшей мисс Ларкинс. Она говорит, что я так хорошо вальсирую! Домой я ухожу, охваченный невыразимым восторгом, и мысленно вальсирую всю ночь напролет, обвивая рукой голубую талию моего драгоценного божества. В течение нескольких дней я погружен в упоительные мечты, но больше я не встречаю ее на улице и не застаю дома, когда прихожу с визитом. Я разочарован, но черпаю некоторое утешение в священном залоге – увядшем цветке.

– Тротвуд, как вы думаете, кто выходит завтра замуж? – говорит однажды после обеда Агнес. – Та, которой вы восхищаетесь.

– Неужели вы, Агнес?

– Я! – Она поднимает веселое личико над нотами, которые переписывает. – Слышите, папа, что он говорит?.. Старшая мисс Ларкинс.

– За… За капитана Бэйли? – едва хватает у меня сил спросить.

– Нет, не за капитана. За мистера Честла, хмелевода.

Недели две я страшно удручен. Я снимаю кольцо с мизинца, ношу самый плохой костюм, не прибегаю больше к медвежьему жиру и часто проливаю слезы над увядшим цветком бывшей

мисс Ларкинс. Но в конце концов мне начинает надоедать такая жизнь, и, получив новый вызов от мясника, я выбрасываю цветок, выхожу на бой с мясником и одерживаю славную победу.

Эта победа, кольцо, вновь надетое на палец, и умеренное употребление медвежьего жира – вот последние вехи, какие я могу различить теперь на моем пути к семнадцатилетию.

Глава XIX

Я озираюсь вокруг и делаю открытие

Трудно сказать, радовался ли я в глубине души, или печалился, когда закончилось мое пребывание в школе и пришло время расстаться с доктором Стронгом. Мне было очень хорошо у него, я полюбил доктора и в нашем маленьком мирке завоевал уважение и занял почетное место. Вот почему мне было тяжело уезжать, но по другим причинам, которые нельзя назвать основательными, я был рад отъезду. Меня обольщали туманные мечты о самостоятельности, мечты о значительности молодого человека, действующего самостоятельно, о том, что этот восхитительный молодой человек увидит и совершит нечто чудесное, и о чудесном впечатлении, которое он, безусловно, произведет на общество. Эти химерические мечты так сильно овладели моим мальчишеским воображением, что, как мне кажется ныне, я покидал школу без того сожаления, какого можно было ожидать. Эта разлука не произвела на меня такого впечатления, как другие разлуки. Тщетно пытаюсь я восстановить в памяти, что я чувствовал в связи с ней и какие события ее сопровождали, но она не играет в моих воспоминаниях знаменательной роли, вероятно, открывающаяся перспектива приводила меня в замешательство. Мне казалось тогда, что детские мои испытания стоят немного либо совсем ничего, а жизнь была подобна огромной книге волшебных сказок, которую я вот-вот раскрою и начну читать.

Мы с бабушкой часто и серьезно обсуждали вопрос о том, какой род деятельности я должен избрать. Год, если не больше, я пытался найти удовлетворительный ответ на вопрос, часто ею задаваемый: «Кем ты хочешь стать?» – но не мог обнаружить у себя ни к чему особой склонности. Если бы я мог каким-нибудь чудом овладеть наукой навигации, стать во главе морской экспедиции и пуститься в кругосветное плавание для каких-нибудь триумфальных открытий, думается мне, ничего другого я не мог бы пожелать. Но поскольку такого чуда не произошло, я хотел избрать себе занятие, которое не слишком обременяло бы кошелек бабушки, и посвятить себя этому делу, каково бы оно ни было.

Мистер Дик постоянно присутствовал на наших совещаниях, и вид у него был важный и глубокомысленный. Только однажды он подал совет, внезапно предложив мне (не знаю, почему пришло ему это в голову) стать медником. Бабушка столь немилостиво встретила это предложение, что он больше никогда не отваживался что-нибудь советовать и только внимательно следил за ней, ожидая ее высказываний и побрякивая в кармане мелочью.

– Вот что я скажу, милый Трот, – начала бабушка как-то утром на рождественской неделе, когда я уже покинул школу, – наш трудный вопрос еще не решен, и, поскольку, по мере наших сил, мы не должны принимать ошибочного решения, будет, мне кажется, лучше, если мы немного повременим. А тем временем ты постараешься взглянуть на него с новой точки зрения – теперь ты уже не школьник.

– Постараюсь, бабушка!

– Мне пришло в голову, – продолжала бабушка, – что перемена обстановки и наблюдения над жизнью вне дома будут полезны тебе и помогут разобраться в себе самом и прийти к разумному заключению. Тебе надо попутешествовать. Ты можешь, скажем, снова побывать в старых местах и повидать эту – как ее… эту несуразную женщину с таким варварским именем…

При этих словах бабушка почесала себе нос, ибо никогда не могла до конца простить Пегготи ее фамилию.

– Мне хотелось бы этого больше всего на свете!

– Вот видишь, как удачно, потому что и я этого хочу. Вполне разумно, что тебе этого хочется, так и полагается. Я убеждена, Трот, что ты всегда будешь поступать разумно и как полагается.

– Надеюсь, что так, бабушка.

– Твоя сестра, Бетси Тротвуд, всегда поступала бы, как полагается, и была бы самой разумной девушкой на свете. Ты будешь достоин ее, не правда ли?

– Я хотел бы стать достойным вас, бабушка. Для меня этого довольно.

– Слава богу, что твоя мать – бедное дитя! – покинула нашу землю, – продолжала бабушка, одобрительно на меня поглядев, – а не то она теперь так возгордилась бы своим сыном, что ее слабая головка совсем бы свихнулась, если, конечно, в ней еще могло что-нибудь свихнуться. (Бабушка всегда за любую свою слабость ко мне возлагала ответственность на мою бедную мать.) Господи! Как ты похож на нее, Тротвуд!

– Надеюсь, бабушка, вам это приятно? – осведомился я.

– Он так на нее похож, Дик! – с чувством продолжала бабушка. – Он так мне напоминает ее, какой сна была в тот день, еще до того, как начала чахнуть. Господи боже мой, похож на нее, как две капли воды!

– Да что вы! – сказал мистер Дик.

– И он похож также на Дэвида, – решительно заявила бабушка.

– Он очень похож на Дэвида, – согласился мистер Дик.

– Но я хочу, Трот, чтобы ты стал… сильным человеком, – продолжала бабушка, – не физически, а в моральном отношении… В физическом смысле у тебя все обстоит благополучно. Хочу, чтобы ты стал человеком сильным, чтобы у тебя была воля. Смелость! – Бабушка тряхнула головой в чепце и сжала руку в кулак. – Решительность! Характер, непреклонный характер, Трот, который поддавался бы только одному влиянию – благотворному. Вот каким я хочу тебя видеть. Такими следовало бы в свое время стать твоим родителям, и, богу известно, от этого им было бы только лучше…

Я выразил надежду, что стану таким, как она говорит.

– А для того, чтобы ты, начав с малого, постепенно научился полагаться только на самого себя и действовать самостоятельно, я пошлю тебя путешествовать одного, – сказала бабушка. – Я было думала послать с тобой мистера Дика, но, поразмыслив, решила его оставить, чтобы он заботился обо мне…

Был момент, когда мистер Дик казался разочарованным, но сознание того, что ему оказана честь заботиться о самой удивительной женщине на свете, тотчас же заставило его просиять.

– Да к тому же, – продолжала бабушке, – у него есть Мемориал.

– О, конечно! – поспешно сказал мистер Дик. – Я хочу, Тротвуд, без промедлений закончить Мемориал. Его надо закончить немедленно! Затем я его представлю, знаете ли… а потом… – Тут мистер Дик запнулся и некоторое время размышлял. – А потом заварится каша!

Вскоре после этого, в соответствии с благими намерениями бабушки, я получил кошелек, набитый деньгами, и чемодан, и меня с любовью проводили в путь. Расставаясь со мной, бабушка напутствовала меня добрыми советами и поцелуями; она сказала, что поскольку ее цель дать мне возможность оглядеться вокруг и немного подумать, то она советует мне, если я не возражаю, пробыть некоторое время в Лондоне – то ли по дороге в Суффолк, то ли на обратном пути. Словом, я волен поступать, как мне вздумается в течение трех недель или месяца, и единственным условием, ограничивающим мою свободу, является упомянутая выше необходимость оглядеться вокруг и поразмыслить, а также обязанность писать ей трижды в неделю, чистосердечно сообщая все, что со мной происходит.

Поначалу я отправился в Кентербери, чтобы проститься с Агнес и мистером Уикфилдом (я все еще удерживал за собой комнату в их доме), а также с добряком доктором. Агнес очень

обрадовалась, увидев меня, и сказала, что дом кажется ей совсем другим с той поры, как я его покинул.

– Я и сам кажусь себе совсем другим с тех пор, как от вас уехал, – ответил я. – Словно я лишился правой руки – так не хватает мне вас… нет, не то… вернее, рука у меня осталась, но управлять ею я не могу. Каждый, кто вас знает, Агнес, советуется с вами и позволяет вам собою руководить.

– Каждый, кто меня знает, балует меня! – смеясь, сказала Агнес.

– Нет. Просто вы ни на кого не похожи. Вы так добры, и у вас такой чудесный характер. Вы такая кроткая, и вы всегда правы!

– Вы говорите так, словно я мисс Ларкинс до ее замужества! – весело расхохоталась Агнес, не отрываясь от рукоделья.

– Полно! Нехорошо злоупотреблять моей откровенностью, – ответил я, покраснев при воспоминании о моем голубом кумире. – И все-таки я буду с вами по-прежнему откровенен, Агнес. Я никогда не отделаюсь от этой привычки. Если мне станет тяжело или я влюблюсь, я всегда вам об этом скажу, с вашего разрешения, даже если… влюблюсь всерьез.

– Да вы всегда влюблялись всерьез! – заметила Агнес, засмеявшись снова.

– О! Я был мальчишкой, школьником! – засмеялся я в свою очередь, но все же немного смутился. – Теперь времена переменились, и, мне кажется, в один прекрасный день я отнесусь к этому ужасно серьезно. А теперь мне хотелось бы знать, Агнес, не влюбились ли вы всерьез сами?

Снова Агнес засмеялась и покачала головой.

– Я так и знал. Если бы это случилось, вы бы мне сказали. Или по крайней мере, – поправился я, так как она слегка покраснела, – вы позволили бы мне догадаться об этом самому. Но я не знаю никого, кто заслуживал бы чести любить вас, Агнес! Пусть появится кто-нибудь более благородный и более достойный, чем те, кого я здесь видел, и тогда я дам свое согласие. А пока что я буду зорко приглядываться ко всем поклонникам. И, можете быть уверены, буду очень требователен к вашему избраннику.

Так мы продолжали говорить, наполовину серьезно, наполовину шутя, что было вполне естественно, так как наши приятельские отношения начались еще тогда, когда мы были детьми. Но вот внезапно Агнес подняла на меня глаза и сказала другим тоном:

– Тротвуд, мне хотелось бы вас спросить… может быть, мне долго не представится случай задать этот вопрос… мне кажется, я могу спросить только вас. Скажите, вы заметили в папе какую-нибудь перемену?

Да, я заметил и часто спрашивал себя, заметила ли она. На моем лице отразилось, вероятно, то, что я думал, так как она опустила глаза, и я увидел блеснувшие в них слезы.

– Что же это такое? – тихо спросила она.

– Мне кажется… Могу я быть вполне откровенным, Агнес? Ведь я к нему так привязан.

– Да, – ответила она.

– Боюсь, ему не приносит добра привычка, которая приобретала над ним все большую власть с той поры, как я появился здесь. Часто он очень возбужден… а может быть, это мое воображение.

– Нет, это не воображение, – покачивая головой, сказала Агнес.

– Руки его дрожат, говорит он невнятно, и взгляд у него какой-то странный. Я заметил, что как раз в то время, когда он не похож на самого себя, он всегда нужен по каким-то делам.

– Нужен Урии, – вставила Агнес.

– Да. Он сознает, что неспособен заниматься делами или не понимает их, сознает, что, помимо своей воли, обнаруживает свою слабость, и на следующий день ему становится хуже,

а через день еще хуже, и он все больше мучится и становится все более угрюмым. Не пугайтесь, Агнес, но недавно вечером я видел его в таком состоянии – он положил голову на стол и плакал, как ребенок.

Я еще не кончил говорить, как вдруг она мягко закрыла мне рот рукой и уже через мгновение встретила входившего в комнату отца и прильнула к его плечу. Их лица обращены были ко мне, и выражение ее лица меня умилило. В ее чудесном взгляде видна была такая любовь к нему, такая благодарность за его любовь и заботы; она так горячо призывала меня относиться к нему ласково даже в сокровенных моих мыслях и не судить его строго; она была так горда им, так ему предана и в то же время так скорбела о нем, и так хотелось ей, чтобы я разделял ее чувства, что никакие слова не смогли бы выразить это яснее или сильнее меня растрогать.

Мы были приглашены к доктору на чай. В обычный час мы отправились туда и нашли доктора в кабинете у камина вместе с молодой его женой и ее матерью.

Доктор, который относился к моему отъезду так, словно я уезжал в Китай, принял меня как почетного гостя и приказал бросить в камин полено, чтобы в ярком свете лучше разглядеть лицо своего старого ученика.

– Больше, Уикфилд, я не увижу новых лиц, – сказал доктор, согревая руки. – Я становлюсь ленив и хочу отдохнуть. Через полгода я распрощаюсь с моими юношами и заживу спокойной жизнью.

– Вы уже лет десять говорите то же самое, доктор, – заметил мистер Уикфилд.

– Но теперь я решился, – продолжал доктор. – Преемником будет мой старший помощник… На сей раз это всерьез… Поэтому вам скоро придется составить договор, который свяжет нас обоих так, словно и он и я – плуты. И позаботиться о том, чтобы вас не надули… А это, безусловно, так и случится, ежели вы сами составите договор! Прекрасно. Согласен, – сказал мистер Уикфилд. – Моя контора выполняет поручения и похитрее.

– Вот тогда я займусь только своим словарем, а также… другой особой, с которой у меня тоже есть договор, я хочу сказать – Анни, – улыбаясь, продолжал доктор.

Мистер Уикфилд взглянул на Анни, сидевшую за чайным столом рядом с Агнес; мне показалось, будто она отвела свой взгляд с таким необычным смущением и с такой робостью, что он снова посмотрел на нее, на сей раз более внимательно, словно в этот момент какая-то мысль мелькнула у него в голове.

– Вижу, что из Индии пришла почта, – произнес он после короткой паузы.

– Да, да! Верно! И от мистера Джека Мелдона есть письма, – сказал доктор.

– Вот как!

– Бедняга Джек! – вздохнула миссис Марклхем, покачивая головой. – Этот ужасный климат! Живешь, говорят, точно на огромной куче песка, под раскаленным стеклянным колпаком. Джек только кажется крепким, но в действительности совсем не таков. Когда он храбро решился ехать, он полагался больше на свой дух, чем на свои силы, дорогой доктор. Анни, дорогая моя, ты помнишь, конечно, что твой кузен никогда не был крепким, и никто бы не назвал его дюжим, – тут миссис Марклхем обвела взглядом всех нас и закончила особенно выразительно, – с того самого времени, когда моя дочь и он были еще детьми и гуляли под ручку день-деньской.

Но Анни, к которой была обращена эта речь, ничего не ответила.

– Так ли я вас понял, сударыня, что мистер Мелдон заболел? – спросил мистер Уикфилд.

– Заболел? – переспросил Старый Вояка. – О дорогой сэр, чего с ним только не было!

– И лишь здоровья не хватало?

– Вот именно: не хватало лишь здоровья. Разумеется, у него были ужасные солнечные удары, и тропические лихорадки, и малярия, и вообще все, что можно себе представить. А что касается печени, то, уезжая, он, конечно, поставил на ней крест! – вздохнул Старый Вояка.

– Обо всем этом вы узнали из его писем? – спросил мистер Уикфилд.

– От него? Дорогой мой сэр, вы плохо знаете моего бедного Джека Мелдона, если задаете такой вопрос! – воскликнула миссис Марклхем, тряхнув головой и веером. – Из его писем! Конечно, нет! Он скорее дал бы себя растоптать четверке диких коней!

– Мама! – прошептала миссис Стронг.

– Дорогая моя Анни, раз навсегда прошу тебя не вмешиваться в то, что я говорю. Ты это можешь делать только в том случае, если хочешь подтвердить мои слова. Ты знаешь так же, как я, что твой кузен Мелдон скорей даст себя растоптать диким коням… Почему, собственно, я сказала «четверке»? Может быть, восьмерке, шестнадцати, тридцати двум! Но он никогда не сообщит ничего такого, что способно, по его мнению, расстроить планы доктора.

– Планы Уикфилда, – вставил доктор, поглаживая подбородок и укоризненно взглядывая на своего советчика. – Вернее, наши общие планы касательно Джека Мелдона. Я говорил: за границей или здесь…

– А я сказал, за границей, – внушительно произнес мистер Уикфнлд. – За границу отослал его я. Ответственность беру на себя.

– О! Ответственность! – воскликнул Старый Вояка. – Мы знаем, что все это делалось из самых лучших побуждений, дорогой мистер Уикфилд, из самых лучших и благих побуждений! Но если бедный юноша не может там жить, значит ничего не попишешь. А если он не может там жить, то скорей умрет, чем расстроит планы доктора. Я знаю его и знаю, что он скорей умрет, чем расстроит планы доктора, – повторил Старый Вояка, обмахиваясь веером с видом пророческим, но спокойным.

– Я не фанатик, сударыня, не держусь за свои планы во что бы то ни стало и сам могу их расстроить, – весело сказал доктор. – Я могу придумать другой план. Если мистер Джек Мелдон вернется домой из-за плохого здоровья, мы не заставим его ехать обратно и попытаемся найти здесь что-нибудь подходящее для него.

Миссис Марклхем была потрясена таким великодушным заявлением, которого, впрочем, – нужно ли об этом упоминать? – не добивалась и не ожидала, и могла только сказать, что доктор остался верен себе; при этом она несколько раз поцеловала кончик своего веера, коим и похлопала по руке доктора. Затем она немного пожурила свою дочь Анни за то, что та не выражает своих чувств, когда доктор, ради нее, изливает такие милости на товарища ее детских игр, и сообщила нам некоторые сведения о других достойных своих родственниках, которых так хотелось бы поставить на их достойные ноги…

Все это время дочь ее Анни не произнесла ни слова и не поднимала глаз. И все это время мистер Уикфилд, рядом с дочерью которого она сидела, не спускал с нее пристального взгляда. Мне кажется, он не замечал, что кто-то за ним наблюдает, он был целиком поглощен ею и своими о ней размышлениями. Вдруг он спросил, что именно писал мистер Мелдон о себе и кому он это писал.

– Да вот письмо! – Миссис Марклхем взяла письмо с каминной полки над головой доктора. – Бедный юноша пишет доктору… где это – ах, вот! «Мне очень жаль, но я должен сообщить вам, что мое здоровье сильно пошатнулось, и, боюсь, мне придется на время вернуться домой; это единственная моя надежда на выздоровление». Бедняжка, все так ясно! Единственная его надежда на выздоровление! Но письмо к Анни еще яснее. Анни, покажи-ка еще раз то письмо.

– Не сейчас, мама, – тихо произнесла миссис Стронг.

– Моя дорогая, право же, в некоторых отношениях ты ужасно странное существо! А когда речь заходит о нуждах твоих родственников, то такой, как ты, нет на целом свете. Мы так бы и не узнали о письме, не спроси о нем я! Ты называешь это, моя милочка, доверием к доктору Стронгу? Право, ты меня удивляешь. Нужно быть более разумной.

Миссис Стронг неохотно достала письмо, и я увидел, как дрожит ее рука, когда взял у нее письмо, чтобы передать его старой леди.

– Посмотрим, где это место, – сказала миссис Марклхем, вооружившись лорнеткой. – «Воспоминание о прошедших временах, дорогая моя Анни…» И так далее… Нет, это не то. «Милейший старый директор». Кто это? Боже мой, Анни, как неразборчиво пишет твой кузен Мелдон. Ах, какая я глупая! Конечно, это «доктор». Ну, разумеется, милейший! – Тут она сделала паузу, чтобы снова поцеловать свой веер и похлопать им доктора по руке, а тот смотрел на нас кротко и безмятежно. – Вот, нашла! «Вы-то, Анни, не будете удивлены, когда узнаете…» Конечно, нет! Ведь ей известно, что он никогда не был крепким; как раз об этом я вам только что и говорила… Ну, вот:»…когда узнаете, что, претерпев здесь, в этой далекой стране, слишком много, я решил уехать отсюда любым способом: если возможно, то в отпуск по болезни, а если нет, то подавши в отставку. То, что я здесь вытерпел и терплю сейчас, мне не по силам». Ах, и мне не по силам было бы об этом думать, если бы не пришел так поспешно на помощь лучший из людей! – закончила миссис Марклхем, телеграфируя доктору обычным своим способом и складывая письмо.

Мистер Уикфилд не проронил ни слова, хотя старая леди поглядывала на него, словно ожидая пояснений к этому известию; но он молчал с суровым видам, устремив взгляд в землю. И долго еще после того, как эта тема была исчерпана и мы уже говорили совсем о другом, он пребывал в таком положении; он изредка поднимал глаза только для того, чтобы взглянуть на доктора, или на его жену, или на них обоих, и при этом продолжал размышлять и хмуриться.

Доктор любил музыку. Очень мило и выразительно спела Агнес, а также миссис Стронг. Они спели дуэт, сыграли в четыре руки, и у нас, можно сказать, получился маленький концерт. Но я обратил внимание на два обстоятельства. Во-первых: хотя Анни скоро оправилась и держалась, как всегда, между ней и мистером Уикфилдом словно пролегла пропасть, отделившая их друг от друга; и во-вторых: мистеру Уикфилду, по-видимому, не нравилась близость между нею и Агнес, и он наблюдал за ними с тревогой. И тут я вспомнил об отъезде мистера Мелдона, и тот вечер впервые предстал передо мной совсем в новом свете и, должен признаться, смутил меня. Невинная красота Анни не казалась мне теперь такой невинной, как тогда; я не доверял непринужденности ее манер и ее обаянию, а видя рядом с ней Агнес и думая о том, как добра и правдива Агнес, я начинал убеждаться, что эта дружба нежелательна.

Однако Агнес радовалась этой дружбе, радовалась ей и та – другая, и потому вечер промелькнул очень быстро. Но эпизод, которым он закончился, я хорошо запомнил. Наступил момент прощания, Агнес уже собралась обнять и поцеловать миссис Стронг, как вдруг мистер Уикфилд как бы случайно очутился между ними и быстро увлек за собой Агнес. И вот тут-то я увидел (словно день отъезда мистера Мелдона не ушел в прошлое и я все еще стоял, как тогда, в дверях), я увидел взгляд миссис Стронг, брошенный на мистера Уикфилда, – тот же самый взгляд, что и в тот вечер.

Мне трудно сказать, какое впечатление произвел на меня этот взгляд и почему я, думая о миссис Стронг, вспоминал о нем и не мог представить себе ее лица прелестным и невинным, как прежде. Этот взгляд преследовал меня, когда я пришел домой. Казалось, над домом доктора, который я покинул, нависло темное облако. Я по-прежнему уважал его седины, но в то же время испытывал жалость к нему, верившему людям, его предающим, и негодование против тех, кто его оскорбляет. Тень великого несчастья и великого позора, пока еще бесформенная, надвигалась на мирный приют, где я учился и играл ребенком, и ложилась на него отвратительным пятном. Мне неприятно было отныне думать о величественных старых алоэ, цветущих раз в сто лет, о тщательно подстриженных лужайках, о каменных урнах, об

«Аллее доктора» и о звоне соборного колокола, осеняющим эту тихую обитель. Словно на моих глазах разграбили святая святых моего детства, пустили по ветру честь его и покой. Но утром надо было разлучаться со старым домом, в котором витал дух Агнес; это поглотило меня целиком. Да, я мог бы сюда приехать снова, я мог бы вновь – пожалуй, даже частенько, – спать в своей прежней комнате, но дни моего пребывания здесь миновали и былое время отошло в прошлое. Когда я укладывал свою одежду и книги, которые оставлял для отсылки в Дувр, на душе у меня было тяжело, и мне хотелось скрыть это от Урии Хипа, а он так угодливо старался мне помочь, что я обвинил себя в неблагодарности, подозревая, будто он очень радуется моему отъезду.

Я распростился с Агнес и ее отцом, не очень-то успешно стараясь держаться, как подобает мужчине, и занял место на козлах лондонской кареты. Я так был растроган и склонен ко всепрощению, когда проезжал по улицам города, что почти решил кивнуть на прощание старому моему врагу, мяснику, и бросить ему пять шиллингов на выпивку. Но он казался таким грубым, этот мясник, скребущий в своей лавке огромный чурбан для разделки туш, да к тому же его внешность так мало выиграла от потери переднего зуба, который я ему вышиб, что я почел за лучшее не делать попыток к примирению.

Помню, когда мы благополучно выехали на дорогу, больше всего я думал о том, чтобы казаться кучеру как можно старше и говорить с ним весьма внушительно. Последнее мне удалось, и хотя мне самому такой тон в собственных устах был очень неприятен, но я сохранял его, ибо решил, что он придает мне солидность.

– Вам ехать до конца, сэр? – осведомился кучер.

– Да, Уильям, – сказал я снисходительно (я знал этого человека). – Еду в Лондон. А потом в Суффолк.

– На охоту, сэр? – спросил кучер.

С такой же вероятностью, – если принять во внимание время года, – я мог бы отправиться на китобойный промысел, о чем он знал так же хорошо, как и я. Но я почувствовал себя польщенным.

– Не знаю, буду ли охотиться, – ответил я, притворяясь, будто этот вопрос еще мною не решен.

– Говорят, дичь нынче стала пугливой, – сказал Уильям.

– И я это слышал.

– Вы из Суффолка, сэр? – спросил Уильям.

– Да, моя родина Суффолк, – ответил я с важностью.

– Говорят, пирожки с яблоками там отменные, сэр!

Я понятия об этом не имел, но ведь не мог же я не похвалиться достопримечательностями моего родного графства и не выказать своего близкого знакомства с ними, а потому кивнул головой с таким видом, будто хотел сказать: «Можете не сомневаться!»

– А какие битюги! Вот это лошади! – продолжал Уильям. – Суффолкский битюг, ежели он хорош, – прямо на вес золота. Вы когда-нибудь, сэр, разводили суффолкских битюгов?

– Н-нет, не… совсем, – ответил я.

– Вот за мной сидит джентльмен, так он разводит их целыми табунами, – сказал Уильям.

Джентльмен, о котором шла речь, был косоглаз, что не сулило ничего хорошего, обладал сильно выступающим подбородком, носил белый цилиндр с узкими плоскими полями и темные узкие драповые панталоны, которые застегивались сбоку пуговицами от башмаков до самых бедер. Подбородок его нависал над плечом кучера так близко от меня, что я ощущал на затылке дыхание джентльмена; когда я повернулся, чтобы на него взглянуть, он с видом знатока бросил на лошадей взгляд тем глазом, который у него не косил.

– Правду я говорю? – спросил Уильям.

– Об чем? – осведомился джентльмен.

– Да об том, что вы разводили суффолкских битюгов целыми табунами?

– Ну еще бы! – сказал джентльмен. – Каких только пород лошадей и собак я не разводил! Есть такие любители. Ради лошадей да собак я забываю и пищу и питье… дом, жену, детей… Забываю, как читают, пишут, считают… курят, нюхают табак… Про сон – и то забываю!

– Разве подобает такому человеку сидеть позади кучера? – шепнул мне Уильям, встряхивая вожжами.

Из этого вопроса я заключил, что он не прочь был бы отдать мое место знатоку лошадей; покраснев, я предложил уступить его.

– Вот это будет правильно, если вам все равно, сэр, – сказал Уильям.

Эту уступку я всегда считал первым моим промахом в жизни. Записывая в конторе наемных карет свое имя в книгу, я просил указать: «Место на козлах» – и вручил счетоводу полкроны. Я надел парадное пальто и захватил свой лучший плед для того только, чтобы не осрамить столь почетного места, весьма гордился им и считал, что являюсь украшением кареты. И вот на первом же перегоне мое место занял потрепанный косоглазый субъект, который не имел других достоинств, кроме запаха конюшни, да еще, пожалуй, не человеческой, а какой-то мушиной ловкости, с которой он переполз через меня на полном скаку.

Неуверенность в своих силах, нередко овладевавшая мною в моих жизненных перипетиях, когда она являлась только помехой, отнюдь не уменьшилась после этого эпизода на козлах кентерберийской кареты. Тщетно старался я говорить внушительным тоном. В течение всего остального путешествия голос мой исходил, казалось, из самых глубин моего желудка, но я чувствовал, что совсем осрамился и ужасно молод!

А все-таки было удивительно странно и интересно сидеть наверху, позади четверки лошадей, странно было мне, хорошо образованному, хорошо одетому молодому человеку с деньгами в кармане, проезжать по тем местам, где я спал во время своего мучительного странствования. Все, что попадалось мне на глаза, пробуждало воспоминания. Когда я глядел вниз на встречавшихся нам бродяг и видел эти лица, слишком памятные для меня, мне казалось, я чувствую снова на своей груди грязную руку медника, который хватает меня за рубашку. Когда мы загромыхали по узкой уличке Четема и мимо нас мелькнул переулок, где жил чудовищный старик, купивший у меня куртку, я вытянул шею, пытаясь разглядеть место, где я просидел весь день до сумерек, ожидая своих денег. Когда мы приблизились к Лондону и проезжали мимо Сэлем-Хауса, которым мистер Крикл управлял тяжелой рукой, я отдал бы все за то, чтобы мне разрешили спуститься вниз и отколотить его, а всех его учеников выпустить на волю, как воробьев из клетки.

Мы подъехали к Чаринг-Кросс, где находилось некое обветшалое заведение «Золотой Крест».[45] Лакей ввел меня в буфетную, а затем горничная проводила меня в маленький номер, пропахший ароматами конюшни и закрывавшийся наглухо, как фамильный склеп. Я мучительно сознавал, что еще очень молод, так как решительно никто не проявлял ко мне уважения: горничная была совершенно равнодушна ко всему, что бы я ни говорил, а лакей начал со мной фамильярничать и навязываться со своими советами ввиду моей неопытности.

– Что же мы закажем на обед? – развязно спросил лакей. – Молодые джентльмены, в общем, любят домашнюю птицу, ну, скажем, курицу.

Я сказал, насколько мог величественно, что к курице не расположен.

– Да что вы? Молодым джентльменам, в общем, надоедает говядина и баранина. Что вы скажете о рубленых котлетах?

На это предложение я согласился, ибо не мог придумать ничего другого.

– А как насчет картошки? – продолжал лакей, склонив голову набок и вкрадчиво улыбаясь. – Молодые джентльмены, в общем, по горло сыты картошкой.

Стараясь говорить басом, я распорядился подать мне рубленых котлет с картофелем и всем, что полагается, а также справиться у буфетчика, нет ли писем на имя Тротвуда Копперфилда, эсквайра… Никаких писем там не было и быть не могло, но мне казалось, что мужчине подобает их ожидать.

Лакей скоро вернулся с извещением, что писем нет (я выразил крайнее изумление), и начал накрывать для меня на стол у камина. Занимаясь этим делом, он спросил, какое вино подать мне к обеду, а когда я ответил: «Полпинты хересу», – боюсь, он решил воспользоваться случаем и слить остатки из разных графинов, чтобы набрать заказанные полпинты. Полагаю я так потому, что, читая газету, я видел, как он копошится у себя за перегородкой и возится с вышеозначенными сосудами, подобно химику или аптекарю, приготовляющему лекарство. Когда же вино появилось на белый свет, оно показалось мне очень слабым; кроме того, я обнаружил в нем английских хлебных крошек неизмеримо больше, чем может быть в любом заграничном вине в натуральном его виде. Но я имел слабость выпить его, не сказав ни слова.

Я находился после обеда в превосходном расположении духа (из чего я заключаю, что яд отнюдь не всегда причиняет мучения) и решил пойти в театр. Выбрал я театр Ковент-Гарден и там, из глубины центральной ложи, смотрел «Юлия Цезаря» и новую пантомиму. Как было для меня необычно и интересно видеть воочию всех этих благородных римлян, которые сновали передо мной исключительно для моего удовольствия, совсем не такие строгие, как в школе, где они поучали меня. Фантазия, смешанная с реальностью, впечатление, произведенное на меня стихами, музыка, огни, толпа, удивительная смена великолепных ярких декораций – все это так ошеломило меня и открыло передо мной такие необозримые просторы для наслаждения, что, когда в полночь я вышел из театра на улицу, в дождь, мне показалось, будто я, прожив романтической жизнью целые века, упал с облаков прямо на землю, на злосчастную землю с ее гомоном и шлепаньем по грязи, тусклым светом фонарей, с дождевыми зонтами, стуком патен[46] и толчеей наемных карет.

Я вышел в какую-то дверь и некоторое время стоял на улице, не шевелясь, словно в самом деле был чужой на этой земле. Но бесцеремонные толчки прохожих скоро помогли мне очнуться и отыскать дорогу в гостиницу, а пока я шел, снова и снова возникало в памяти чудесное зрелище; возникало оно и тогда, когда я, закусив устрицами и выпив портера, сидел далеко за полночь в буфетной, не отрывая глаз от огня в камине.

Меня так захватил спектакль и так я был погружен в свое прошлое, – ибо блистательное зрелище было подобно прозрачному транспаранту, за которым развернулась передо мной прежняя моя жизнь, – что мне трудно сказать, в какой момент появился красивый стройный молодой человек, одетый со вкусом, по слегка небрежно. Его-то я не мог бы забыть, и, помнится, продолжая сидеть в буфетной перед камином и мечтать, я ощущал его присутствие, хотя не видел, как он вошел.

Наконец я встал, чтобы идти спать, к большой радости сонного лакея, который, сидя в своем загончике, ощущал, видимо, какое-то томление в ногах, а потому то клал их одну на другую, то ими постукивал, то подергивал на все лады. Направляясь к двери и проходя мимо молодого человека, я взглянул на него. Тут я остановился, вернулся назад и снова взглянул. Он не узнал меня, но я узнал его мгновенно.

В другое время, быть может, у меня не хватило бы решимости и смелости заговорить с ним; я мог бы отложить это на следующий день и, следовательно, мог бы его потерять. Но я все еще слишком был взволнован спектаклем, и покровительство, которое он некогда мне оказывал, столь заслуживало, как мне казалось, моей благодарности, и с такой силой пробудилась снова в моей душе прежняя любовь к нему, что сердце у меня забилось, я подошел к нему и воскликнул:

– Стирфорт! Вы меня не узнаете?

Он посмотрел на меня, точь-в-точь как бывало иногда у мистера Крикла, но я видел, что он меня не узнает.

– Боюсь, вы меня забыли, – сказал я.

– Боже мой! – воскликнул он. – Юный Копперфилд!

Я схватил его за обе руки и не отпускал их. Если бы я не стыдился и не опасался, что это ему не понравится, я обнял бы его и расплакался.

– Как я рад, мой дорогой Стирфорт! Я прямо в восторге от того, что вас вижу!

– И я рад вас видеть, – сказал он, сердечно пожимая мне руку. – Но зачем так волноваться, старина!

Мне показалось, однако, что он был доволен, увидев, какое сильное впечатление произвела на меня наша встреча.

Я поспешно смахнул слезы, которые показались помимо моей воли, попытался улыбнуться, и мы уселись рядом.

– Как вы здесь очутились? – спросил Стирфорт, похлопывая меня по плечу.

– Я приехал сегодня из Кентербери. Меня усыновила двоюродная бабушка, которая живет в тех краях… Я только что кончил там школу. А как очутились Здесь вы?

– Я? Видите ли, я учусь в Оксфорде, другими словами – я периодически умираю там от скуки, а теперь еду к матери. А вы, Копперфилд, чертовски славный малый! Вот я смотрю на вас и припоминаю – таким вы были и прежде! Ни капельки не изменились!

– Я вас узнал немедленно. Но вас-то легче запомнить!

Он засмеялся, взъерошил свои кудри и весело сказал:

– Так-так… Стало быть, я еду исполнять свой долг. Моя мать живет за городом. Дороги ужасные, дома у меня скука, вот я и остался здесь на вечер, вместо того чтобы ехать дальше. Приехал я только несколько часов назад и убил это время на то, чтобы подремать и побрюзжать в театре.

– И я был в театре, – сказал я. – В Ковент-Гарден. Какой замечательный спектакль, Стирфорт!

Стирфорт расхохотался от всей души.

– Мой милый, маленький Дэви, – тут он снова похлопал меня по плечу, – вы – Маргаритка. Право же, полевая маргаритка утром, на рассвете, кажется не более невинной, чем вы! Я тоже был в Ковент-Гарден. Ничего более жалкого я не видел… Эй вы, сэр!

Это было адресовано лакею, который внимательно наблюдал издали за нашей беседой и теперь приблизился весьма почтительно.

– Куда вы поместили моего друга, мистера Копперфилда? – спросил Стирфорт.

– Простите, сэр?

– Где он будет спать? В каком номере? Вы понимаете, что я хочу сказать?

– В настоящее время, сэр, – смутившись, отвечал лакей, – мистеру Копперфилду отвели сорок четвертый номер!

– О чем же, черт возьми, вы думали, отводя мистеру Копперфилду чердак над конюшней?

– Мы не знали, сэр… мы не знали, – что это имеет значение для мистера Копперфилда, – отвечал смущенный лакей. – Если он пожелает, мы переведем его, сэр, в номер семьдесят второй. Рядом с вами, сэр.

– Конечно он пожелает. Только мигом!

Лакей мгновенно исчез, чтобы перенести мои веши в новую комнату. Стирфорта очень позабавило, что меня поместили в сорок четвертый номер, он снова рассмеялся и снова

похлопал меня по плечу, а потом предложил мне позавтракать с ним утром, часов в десять; это предложение я принял с радостью, даже с гордостью. Было уже очень поздно, мы взяли наши свечи и поднялись наверх, где сердечно расстались у двери его комнаты; мой новый номер был несравненно лучше прежнего, в нем совсем не пахло плесенью, и посреди находилась огромная кровать с четырьмя столбиками и балдахином, словно замок посреди поместья. Здесь, на подушках, которых хватило бы на шестерых, я блаженно уснул, и мне снились древний Рим, Стирфорт, наша дружба, снились до тех пор, пока снизу, со двора, не донеслось громыхание ранних утренних карет, выезжавших из ворот, после чего мне приснились боги и гром.

Глава XX

У Стирфорта

Когда в восемь часов утра горничная постучалась ко мне и сказала, что вода для бритья стоит за дверью, я с горечью подумал, что никакой необходимости в ней нет, и покраснел, лежа в постели. Покуда я одевался, меня все время мучило подозрение, будто, говоря это, горничная смеялась; вот почему я сознавал, что вид у меня смущенный и виноватый, когда, спускаясь к завтраку, я должен был пройти мимо нее. Да, я мучительно чувствовал себя более молодым, чем мне бы хотелось, и, под впечатлением этого неблаговидного обстоятельства, сначала вовсе не мог решиться пройти мимо нее. Слыша, как она возится на лестнице со щеткой, я стоял у окна и смотрел на короля Карла, восседавшего на коне среди снующих наемных карет и имевшего отнюдь не царственный вид под моросящим дождем и в буром тумане, – смотрел до тех пор, покуда лакей не возвестил, что джентльмен ожидает меня.

Стирфорта я застал не в общей зале, а в уютном отдельном кабинете с красными портьерами и турецким ковром; в камине ярко пылал огонь, на столе, накрытом белоснежной скатертью, был приготовлен прекрасный горячий завтрак, а в маленьком круглом зеркале над буфетом отражались в миниатюре и веселая комната, и камин, и завтрак, и Стирфорт. Сначала я немножко робел – Стирфорт был так самоуверен, так элегантен и превосходил меня во всех отношениях (не говоря уже о летах), но его непринужденное покровительство скоро приободрило меня, и я почувствовал себя совсем как дома. Я не мог надивиться перемене, которую вызвало его появление в «Золотом Кресте», и сравнивал тоскливое чувство одиночества, испытанное мною вчера, с чувством спокойствия и благодушия в это утро. Что касается до фамильярности лакея, то от нее не осталось и следа. Он нам прислуживал, облачившись, если можно так выразиться, во власяницу и посыпав пеплом главу.

– А теперь, Копперфилд, – сказал Стирфорт, когда мы остались одни, – мне хотелось бы узнать, что вы делаете, куда держите путь и вообще все, что вас касается. У меня такое ощущение, будто вы – моя собственность.

Сияя от радости при мысли, что он по-прежнему интересуется мною, я рассказал ему о том, как бабушка предложила мне совершить небольшое путешествие и куда именно я направляюсь.

– В таком случае, раз вы не спешите, – сказал Стирфорт, – поедемте вместе ко мне домой, в Хайгет,[47] вы у меня погостите дня два. Вам понравится моя мать – она немного тщеславна и надоедлива, когда речь заходит обо мне, но это вы можете ей простить. А моей матери понравитесь вы.

– Очень любезно с вашей стороны выражать такую уверенность… Хотел бы я разделять ее с вами, – улыбаясь, сказал я.

– О! Каждый, кто меня любит, приобретает тем самым право на ее расположение, – заметил Стирфорт.

– В таком случае, мне кажется, я стану ее любимцем.

– Прекрасно! – воскликнул Стирфорт. – Поедем, и докажите это – Часа два мы посвятим осмотру достопримечательностей – приятно будет показывать их такому неискушенному юноше, как вы, Копперфилд, – а затем отправимся в почтовой карете в Хайгет.

Я едва мог поверить, что все это происходит не во сне, а наяву; казалось, я вот-вот проснусь в номере сорок четвертом, чтобы очутиться затем в одиночестве за столиком в буфетной и снова увидеть фамильярного лакея. После того как я написал бабушке о счастливой встрече с бывшим моим школьным товарищем, перед которым я преклонялся, и о том, что я принял его приглашение, мы наняли экипаж и поехали осматривать Панораму[48] и другие достопримечательности, а также прошлись по музею, где я не мог не заметить, как много знает Стирфорт о самых разнообразных предметах и как мало значения придает он, по-видимому, своим познаниям.

– Вы получите ученую степень в колледже, Стирфорт, если еще не получили, и у них, в Оксфорде, будут все основания гордиться вами, – заметил я.

– Это я-то получу степень? О нет! – вскричал Стирфорт. – Дорогая моя Маргаритка… вы не возражаете против того, чтобы я называл вас Маргариткой?

– Нисколько! – ответил я.

– Чудесно! Так вот, дорогая моя Маргаритка, – смеясь, продолжал Стирфорт, – у меня нет ни малейшего желания и стремления отличиться в этой области. С меня достаточно того, что я сделал. Я и так уже становлюсь скучен самому себе.

– Но слава… – начал было я.

– Какой вы романтик, Маргаритка! – еще веселее засмеялся Стирфорт. – Стоит ли утруждать себя для того, чтобы кучка тупоголовых людей разевала рты и воздевала руки? Пусть они восхищаются кем-нибудь другим. Пусть этот другой добьется славы – на здоровье.

Я был смущен моим грубым промахом и решил переменить тему разговора. К счастью, это нетрудно было сделать, так как Стирфорт со свойственной ему легкостью и беззаботностью всегда мог перейти от одного предмета к другому.

За осмотром города последовал второй завтрак, и короткий зимний день так быстро клонился к вечеру, что уже смеркалось, когда почтовая карета доставила нас в Хайгет и остановилась перед старинным кирпичным домом на вершине холма. Как только мы вышли из кареты, в дверях появилась пожилая, но еще не очень старая леди с горделивой осанкой и красивым лицом, которая, назвав Стирфорта «мой милый Джеймс», заключила его в объятия. Это была его мать, которой он меня и представил, и она величественно меня приветствовала.

Дом был красивый, старомодный, очень тихий и чинный. Из окон моей комнаты я видел весь Лондон, раскинувшийся вдали, подобно огромному туманному облаку, там и сям пронизанному мерцающими огнями. Прежде чем меня позвали к обеду, я, переодеваясь, успел лишь мельком взглянуть на массивною мебель, на вышивки в рамке (вероятно, рукоделие матери Стирфорта в пору ее девичества) и на рисунки пастелью, изображавшие каких-то леди в корсажах и с напудренными волосами, то исчезавших, то появлявшихся на стене при вспышках огня, который потрескивал в только что затопленном камине.

В столовой находилась еще одна леди – хрупкая, маленькая, смуглая, с лицом неприятным, хотя она и была недурна собой. Она привлекла мое внимание то ли потому, что я не ожидал ее увидеть, то ли потому, что сидел за столом против нее, а быть может, в ней действительно было нечто примечательное. Она была худощава, с черными волосами, живыми черными глазами и рубцом на губе. Рубец был старый, я назвал бы его шрамом, так как он не был обесцвечен и рана затянулась много лет назад, – но когда-то он рассекал обе губы и спускался к подбородку; теперь же его можно было разглядеть через стол только на верхней губе, изменившей свою форму. Я пришел к заключению, что ей лет под тридцать и она мечтает выйти замуж. Она казалась немного обветшавшей – словно дом, который долго и безуспешно

старались сдать внаем, – но, как я уже сказал, была недурна собой. Ее худоба как будто вызвана была снедающим ее огнем, который словно вырывался наружу в ее мрачных глазах.

Когда нас знакомили, ее представили как мисс Дартл, но Стирфорт и его мать называли ее Розой. Я узнал, что она живет здесь и давно уже состоит компаньонкой миссис Стирфорт. Мне показалось, будто она никогда не говорит напрямик того, что думает, а только намекает, и в ее намеках есть скрытый смысл. Так, например, когда миссис Стирфорт заметила, скорее в шутку, чем всерьез, что опасается, не ведет ли ее сын в колледже слишком бурный образ жизни, мисс Дартл вмешалась в разговор:

– О! В самом деле? Вы знаете, как я неопытна во многих вопросах, и я спрашиваю просто для сведения… Но разве это не всегда так бывает? Мне казалось, что такой образ жизни вообще считается… не правда ли?

– Вероятно, вы хотите сказать, Роза, что там получают образование, готовясь приступить к весьма серьезной деятельности, – холодно ответила миссис Стирфорт.

– О да! Совершенно верно, – подхватила мисс Дартл. – Но, впрочем, так ли это? Я хочу, чтобы мне объяснили, если я ошибаюсь… это и в самом деле так?

– Что – в самом деле? – спросила миссис Стирфорт.

– О, вы хотите сказать, что это так! – воскликнула мисс Дартл. – Очень рада это слышать! Теперь-то уж я буду знать! Всегда полезно задавать вопросы. Теперь-то я уж не позволю больше говорить при мне о мотовстве, о кутежах и обо всем прочем, что связывают с этой жизнью.

– И хорошо сделаете, – сказала миссис Стирфорт. – Наставник моего сына – весьма достойный джентльмен, и если бы даже я не относилась с полным доверием к своему сыну, я могла бы доверять ему.

– Могли бы доверять ему? – переспросила мисс Дартл. – Ах вот как! Достойный, значит, он в самом деле достойный?

– Да, в этом я не сомневаюсь, – сказала миссис Стирфорт.

– Ах, как я рада! – воскликнула мисс Дартл. – Как приятно! Значит, он не… ну, конечно, он не может быть… таким, раз он и в самом деле достойный человек. Ну, теперь я буду хорошего мнения о нем. Вы и представить себе не можете, насколько улучшилось мое мнение о нем, когда я узнала, что он и в самом деле человек достойный!

Свою собственную точку зрения по каждому вопросу и свои поправки, относившиеся ко всему, что противоречило ее понятиям, мисс Дартл также выражала намеками, иной раз, должен признаться, весьма внушительно, даже наперекор Стирфорту. Так случилось, например, когда мы еще сидели за обедом. Миссис Стирфорт заговорила со мной о моей поездке в Суффолк, а я сказал наудачу, что был бы очень рад, если бы Стирфорт поехал со мной. Тут же я объяснил ему, что хочу повидать мою старую няню и семейство мистера Пегготи, и напомнил ему о моряке, которого он видел в школе.

– Ах, это тот грубоватый субъект! – воскликнул Стирфорт. – Кажется, с ним был сын?

– Не сын, а племянник, – поправил я. – Впрочем, он его усыновил. У него есть еще прехорошенькая молоденькая племянница, его приемная дочь. Короче говоря, его дом (вернее, баркас – он живет в баркасе, вытащенном на сушу) полон людьми, которые всем обязаны его доброте и великодушию. Вас очаровало бы это семейство.

– Очаровало? Впрочем, может быть, – промолвил Стирфорт. – Подумаю, можно ли это как-нибудь устроить. Пожалуй, стоит отправиться в путешествие (не говоря уже об удовольствии путешествовать с вами, Маргаритка), чтобы повидать людей такой породы и уподобиться им.

Сердце у меня екнуло, предвкушая еще одно удовольствие. Но тон, каким он произнес слова «людей такой породы», побудили мисс Дартл, не спускавшей с нас сверкающих глаз, вновь вмешаться в разговор.

– Ах, в самом деле? Объясните мне. Неужели они такие? – сказала она.

– Какие? И кто? – спросил Стирфорт.

– Люди такой породы. Они в самом деле животные, чурбаны, существа совсем иного порядка? Мне так хотелось бы знать.

– Конечно, разница между ними и нами велика, – равнодушно ответил Стирфорт. – Не приходится ждать, что они так же чутки, как мы. Их не так-то легко возмутить или обидеть. Кажется, они на редкость добродетельны, – во всяком случае, кое-кто утверждает, что это так, и я не хочу это оспаривать, – однако по натуре они не очень чувствительны и могут быть за это благодарны судьбе, потому что их так же нелегко уязвить, как нелегко поцарапать их толстую грубую кожу.

– Да что вы? – воскликнула мисс Дартл. – Право же, я никогда не испытывала такого удовольствия, как сейчас, слушая ваши слова. Как это утешительно! Как приятно сознавать, что, хотя они и страдают, но этого не чувствуют! Иной раз я и в самом деле беспокоилась о людях такой породы, но теперь я попросту перестану о них думать. Век живи – век учись. Признаюсь, у меня бывали сомнения, но теперь они рассеялись. Раньше я не знала, а теперь знаю, вот почему так полезно задавать вопросы, не правда ли?

Мне казалось, Стирфорт все это говорил в шутку или с целью заставить мисс Дартл высказаться. Я ждал от него объяснения, когда она ушла, и мы остались с ним вдвоем у камина. Но он осведомился только, какого я мнения о ней.

– Она очень умна, не так ли? – спросил я.

– Умна? Каждое словечко она тащит к точильному камню и оттачивает его, как отточила за последние годы свое лицо и фигуру! Она исхудала от вечного оттачивания. Вся она – как бритва!

– Какой странный шрам у нее на губе, – заметил я. Лицо у Стирфорта вытянулось, и он ответил не сразу.

– Знаете ли, это моих рук дело.

– Несчастный случай?

– Нет. Я был еще мальчишкой, а она вывела меня из терпенья, и я швырнул в нее молотком. Очевидно, я был многообещающим ангелочком!

Я глубоко огорчился, что затронул такую неприятную тему, но было уже поздно.

– Как вы сами можете видеть, у нее с той поры остался шрам, – продолжал Стирфорт, – и он останется до могилы, если она успокоится когда-нибудь в могиле, хотя я не очень-то верю, чтобы она могла найти где-нибудь покой. Она дочь какого-то дальнего родственника моего отца и в детстве осталась сиротой. Затем умер и ее отец. Моя мать к тому времени овдовела и взяла ее к себе и компаньонки. У нее есть свой собственный капитал – тысячи две фунтов, каждый год к ним причисляются проценты, и она ничего не тратит. Вот вам вся история мисс Розы Дартл.

– И я не сомневаюсь, что она любит вас, как брата? – сказал я.

– Гм… – откликнулся Стирфорт, глядя на огонь. – Есть братья, которые не пользуются чрезмерной любовью, а есть любовь… но пейте же, Копперфилд! В вашу честь мы выпьем за полевые маргаритки, а в мою честь – и да будет мне стыдно! – выпьем за лилии долин, которые не трудятся и не прядут.[49]

Когда он весело произнес эти слова, хмурая улыбка, мелькнувшая на его лице, исчезла, и снова он стал прежним Стирфортом, чистосердечным и пленительным.

За чаем я невольно посматривал с мучительным любопытством на шрам мисс Дартл. Очень скоро я заметил, что это самое чувствительное место на ее лице, и когда она бледнеет, шрам принимает тусклый, свинцовый оттенок, резко выделяясь во всю свою длину и заставляя вспомнить о симпатических чернилах, которые появляются на бумаге, если поднести ее к огню. Во время игры в трик-трак, когда бросали кости, завязался маленький спор между нею и Стирфортом, и на момент мне показалось, что она вне себя от бешенства. И вот тогда-то я увидел, как выступает этот шрам, подобно древним письменам на стене.[50]

Я нисколько не удивился, обнаружив, что миссис Стирфорт обожает сына. Казалось, она ни о чем другом не могла ни говорить, ни думать. Она показала мне медальон с его детскими волосиками н портретом, на котором он был изображен младенцем; она показала мне еще один портрет – таким он был в ту пору, когда я впервые увидел его, а на груди она носила другой его портрет – таким он был теперь. Все его письма к ней, от первого до последнею, она хранила в шкатулке близ своего кресла у камина и собиралась прочесть мне некоторые из них, а я был бы рад послушать, но Стирфорт вмешался и ласково уговорил мать отказаться от этой затеи.

– Сын мне рассказал, что вы с ним познакомились в школе мистера Крикла, – заметила миссис Стирфорт, когда мы с ней беседовали за одним столом, в то время как Стирфорт и мисс Дартл играли за другим в триктрак. – Да, припоминаю, что тогда он говорил о каком-то младшем ученике, который ему очень понравился, но, как вы сами понимаете, ваша фамилия ускользнула из моей памяти.

– В то время он вел себя очень великодушно и благородно по отношению ко мне, уверяю вас, сударыня, – сказал я, – а я нуждался в таком друге. Не будь его, мне пришлось бы совсем плохо.

– Он всегда великодушен и благороден, – с гордостью сказала миссис Стирфорт.

Бог свидетель, я всей душой отозвался на эти слова. Она это почувствовала. Ее величественный тон исчез в разговоре со мной, и только тогда, когда она воспевала хвалу своему сыну, вид ее неизменно становился высокомерным.

– В общем, это была неподходящая школа для него, – продолжала она, – совсем неподходящая, но в то время нужно было считаться с особыми обстоятельствами, даже более важными, чем выбор школы. Независимый дух моего сына требовал, чтобы мальчика поместили в учебное заведение такого человека, который почувствовал бы его превосходство и склонился бы перед ним. И такого человека мы нашли.

Зная этого человека, я в этом не сомневался. И, однако, мое презрение к нему из-за этого не усилилось: если можно было хоть отчасти извинить его, смягчающим вину обстоятельством казалось мне именно то, что он не мог устоять перед таким неотразимым юношей, как Стирфорт.

– В этой школе на исключительную одаренность моего сына повлияло чувство добровольного соревнования и сознательной гордости, – говорила любящая мать. – Он восстал бы против всякого принуждения, но там он почувствовал себя владыкой и решил быть достойным своего положения. Это так на него похоже.

Я от всей души согласился, что это на него похоже.

– И вот мой сын по своей охоте и без постороннего внушения вступил на то поприще, на котором он всегда может опередить любого соперника, стоит ему только захотеть, – продолжала она. – Мой сын сообщил мне, мистер Копперфилд, о том, как вы были преданы ему и как, встретившись с ним вчера, со слезами радости напомнили ему о себе. Я была бы лицемеркой, если бы выразила удивление, что мой сын внушил вам такие чувства, но я не могу оставаться равнодушной к человеку, который умел оценить его достоинства, и я рада видеть вас у себя и смею вас уверить, что он питает к вам особенно дружеское расположение и вы можете полагаться на его покровительство.

Мисс Дартл играла в трик-трак с такой же страстностью, с какой относилась ко всему на свете. Если бы я увидел ее впервые за игральной доской, я мог бы вообразить, что фигура ее иссохла, а глаза стали огромными именно благодаря этой игре. Но я не ошибусь, если скажу, что она не пропустила ни словечка из нашей беседы и подметила каждый мой взгляд, когда я с огромным удовольствием выслушал речь миссис Стирфорт и, польщенный ее доверием, почувствовал себя более взрослым, чем в тот час, когда покинул Кентербери.

Время было уже позднее, и, когда принесли поднос с графинами и рюмками, Стирфорт, сидя у камина, обещал серьезно подумать о том, чтобы поехать со мной. Но, по его словам, спешить было некуда. Можно отправиться и через неделю; и его мать гостеприимно поддержала это предложение. Болтая со мной, он несколько раз назвал меня Маргариткой, что побудило мисс Дартл снова вмешаться в разговор.

– Ах, это и в самом деле ваше прозвище, мистер Копперфилд? – спросила она. – А почему он вас так прозвал? Может быть, потому, что, по его мнению, вы… Э… молоды и наивны? Я ничего не смыслю в таких вещах.

Покраснев, я ответил, что, вероятно, причина такова.

– Ах, как я рада, что это узнала! – воскликнула мисс Дартл. – Я просила объяснений и радуюсь, что их получила. Он считает вас молодым и наивным… И вы его друг? Чудесно!

Вскоре после этого она пошла спать, удалилась и миссис Стирфорт. Мы со Стирфортом посидели еще с полчаса у камина, вспоминая Трэдлса и других школьников Сэлем-Хауса, а затем вместе отправились наверх. Комната Стирфорта была смежной с моею, и я заглянул туда. Она была очень комфортабельна – всюду мягкие кресла, скамеечки для ног, подушки, вышитые рукою его матери, не забыта ни одна вещь, которая могла бы украсить комнату. А с портрета на стене смотрело на своего любимца красивое лицо матери, словно ей доставляла какое-то удовлетворение мысль, что, хотя бы с портрета, она может следить за ним, когда он спит.

В моей спальне уже ярко разгорелся огонь в камине, полог у кровати и гардины на окнах были задернуты, придавая комнате очень уютный вид. Я опустился в большое кресло у камина, размышляя о счастливой своей судьбе, и довольно долго услаждал себя этими мыслями, как вдруг увидел над каминной доской портрет мисс Дартл, устремившей на меня горящий взгляд.

Сходство было удивительное, а потому и взгляд был удивительный. Художник не изобразил шрама, но его дописал я, и он то появлялся, то исчезал: по временам; он выделялся только на верхней губе, как это было за обедом, а иногда растягивался во всю длину раны, нанесенной молотком, – таким я видел этот шрам, когда она приходила в страстное возбуждение.

Мне было досадно, зачем поместили ее в моей комнате, а не где-нибудь в другом месте. Чтобы от нее избавиться, я поскорей разделся, погасил свечу и лег в постель. Но и засыпая, я не мог забыть, что она здесь и смотрит на меня вопросительно: «Это и в самом деле так? Мне хотелось бы знать». А когда я проснулся среди ночи, оказалось, что во сне я допытывался у всевозможных людей, в самом ли деле это так или нет, но решительно не знал, что я имел в виду.

Глава XXI

Малютка Эмли

В доме был слуга, всегда сопровождавший, как я узнал, Стирфорта и поступивший к нему на службу, когда тот начал заниматься в университете; он казался образцом респектабельности. Среди лиц, занимающих такое же положение, мне кажется, нельзя было и сыскать более респектабельного человека. Он был молчалив, двигался неслышно, был очень солиден, почтителен, внимателен, всегда находился под рукой, если в нем нуждались, а если не нуждались, никогда не появлялся поблизости. Но его притязания на уважение основаны были главным образом на респектабельности. У него были отнюдь не выразительное лицо,

негнущаяся шея, круглая и очень твердая на вид голова; волосы он стриг коротко, и они словно прилипали к вискам: он отличался вкрадчивым голосом и своеобразной манерой произносить звук «с» так отчетливо, что, казалось, этот звук встречался в его речи чаще, чем у всех остальных людей; однако и эта особенность, как и все другие, ему присущие, придавали ему самый респектабельный вид. Если бы нос у него был трубой, то и тогда ему удалось бы сделать эту трубу респектабельной. Казалось, он распространял вокруг атмосферу респектабельности и чувствовал себя в ней уверенно.

Было почти невозможно заподозрить его в каком-нибудь дурном поступке – столь он был респектабелен до мозга костей. Никому не могла бы прийти в голову мысль облечь его в ливрею – столь неописуемо респектабелен он был. Поручить ему какую-нибудь черную работу значило бы неумышленно нанести оскорбление чувствам самого респектабельного человека. И я заметил, что служанки в доме чувствовали это интуитивно и всегда исполняли такую работу за него, а он в это время прохлаждался в буфетной за чтением газеты.

Мне никогда не приходилось встречать такого самодовольного человека. Но и это его свойство, как и все другие, только придавало ему больше респектабельности. Даже то обстоятельство, что никто не знал его имени, казалось, способствовало его респектабельности. Ровно ничего нельзя было возразить против его фамилии Литтимер, под которой он был известен. В самом деле: повешенного могли звать Питером, а каторжника – Томасом, но «Литтимер» звучало так респектабельно.

Может быть, это было следствием, вытекающим из самого существа почтенного понятия респектабельности, но в присутствии этого человека я чувствовал себя совсем юнцом. Его возраст мне трудно было определить, но и это обстоятельство было ему на пользу по тем же основаниям – его физиономия была столь бесстрастно респектабельна, что ему можно было дать и пятьдесят лет и тридцать.

На следующий день утром, прежде чем я встал, Литтимер вошел в мою комнату с водой для бритья, – обидный намек, – и моим платьем. Раздвинув полог у кровати, я мог убедиться, что респектабельность его сохраняет обычную свою температуру и из уст его даже не идет пар, несмотря на восточный январский ветер; мои башмаки он поставил в первую танцевальную позицию и, сдунув пылинки с моего фрака, положил его, как ребенка.

Я пожелал ему доброго утра и спросил, который час. Он извлек из кармана самые респектабельные охотничьи часы, какие мне приходилось видеть, придержал большим пальцем пружинку, дабы крышка поднялась не слишком высоко, заглянул в них, будто советуясь с устрицей-оракулом, затем защелкнул и сообщил, что половина девятого.

– Мистер Стирфорт рад будет узнать, хорошо ли вы почивали, сэр.

– Благодарю вас, прекрасно, – ответил я. – Мистер Стирфорт чувствует себя хорошо?

– Благодарю вас, сэр. Мистер Стирфорт чувствует себя удовлетворительно.

Еще одна отличительная черта Литтимера: он избегал превосходной степени. Всегда холодные, сдержанные, осторожные оценки.

– Чем я могу быть вам еще полезен, сэр? Утренний колокол зазвонит в девять часов. Хозяева завтракают в половине десятого.

– Благодарю. Больше ничего не нужно.

– С вашего разрешения, это я должен вас благодарить.

С этими словами, слегка наклонив голову, он прошел мимо кровати, словно извиняясь, что осмелился меня поправить, переступил порог и так деликатно притворил за собой дверь, будто я только что сладко заснул, а от этого сна зависела вся моя жизнь.

Такая же точно беседа происходила у нас каждое утро: ни одного слова больше, ни слова меньше. И как бы накануне вечером я ни вырастал в своих собственных глазах и каким бы зрелым мужем ни становился благодаря дружбе со Стирфортом, доверию миссис Стирфорт и

беседам с мисс Дартл, но в присутствии этого респектабельного человека я неизменно «вновь делался ребенком», как сказано у одного из наших малоизвестных поэтов.

Он привел для нас лошадей, и Стирфорт, знавший решительно все, начал обучать меня верховой езде. Он достал для нас рапиры, и Стирфорт стал давать мне уроки фехтования; принес перчатки, и я начал брать у того же учителя уроки бокса. Меня не очень печалило, что Стирфорт узнает о моей неопытности во всех этих науках, но я ни за что не решился бы обнаружить отсутствие сноровки перед респектабельным Литтимером. У меня не было никаких оснований полагать, будто сам Литтимер знал толк в подобных искусствах, ни одним взмахом своих респектабельных ресниц не давал он мне повода сделать такое заключение, тем не менее, если он присутствовал во время наших упражнений, я чувствовал себя совсем желторотым и самым неопытным из смертных.

Я потому уделяю особое внимание этому человеку, что с первого же момента он произвел на меня особое впечатление, а также – в связи с дальнейшими событиями.

Прошла неделя, полная очарования. Конечно, она промелькнула быстро для того, кто пребывал в таком восторженном состоянии, как я, и все же я имел возможность еще ближе узнать Стирфорта и сотни раз еще больше восхищаться им, а потому мне казалось, будто я живу у него значительно дольше. Он обращался со мной как с игрушкой, но, пожалуй, такая смелая манера нравилась мне больше, чем любая другая. Она напоминала мне о прежних наших отношениях и как бы являлась естественным их продолжением; она служила доказательством того, что он не изменился, и благодаря ей я мог не сравнивать наши достоинства и не взвешивать мои притязания на дружбу с ним на равной ноге, а самое главное было то, что только со мной он обращался так непринужденно, тепло и сердечно. В школе он относился ко мне совсем иначе, чем к другим ученикам, и теперь я с радостью готов был верить, что ни к одному из своих приятелей он не относится так, как ко мне. Я верил, что я ближе ему, чем любой его приятель, и чувствовал сильную, глубокую к нему привязанность.

Он решил ехать со мной, и день нашего отъезда настал. Сперва он колебался, брать ли с собой Литтимера, но в конце концов оставил его дома. Сия респектабельная особа, неизменно с полным бесстрастием относившаяся к своей участи, уложила в маленькую коляску, которая должна была доставить нас только до Лондона, наши саквояжи таким образом, что они могли не бояться толчков в течение многих столетий; мое скромное даяние было принято этой особой с невозмутимым спокойствием.

Мы попрощались с миссис Стирфорт и мисс Дартл, и любящая мать моего друга очень ласково выслушала изъявления моей признательности. Последнее, что я увидел, было бесстрастное лицо Литтимера, выражавшее, как мне почудилось, молчаливую уверенность, что я еще совсем юнец.

Не берусь описывать свои чувства, когда я так счастливо возвращался в знакомые, старые места. Мы отправились туда в почтовой карете. Помнится, подъезжая к гостинице по темным уличкам Ярмута, я так тревожился, понравится ли он Стирфорту, что был рад даже тому, что Стирфорт назвал городок настоящей захолустной дырой. По приезде в гостиницу мы легли спать (у двери с изображением моего старого друга Дельфина я заметил гетры и пару грязных башмаков) и утром завтракали довольно поздно. Стирфорт, бывший в прекрасном расположении духа, уже побродил до моего пробуждения по берегу и, как он заявил, свел знакомство чуть ли не со всеми местными рыбаками. Вдалеке он видел даже, по его словам, дом мистера Пегготи и дым, шедший из трубы, и еле удержался, чтобы не отправиться туда и не выдать себя за Копперфилда, который якобы так вырос, что и узнать его нельзя.

– Когда вы хотите меня познакомить с ними, Маргаритка? – спросил он. – Я в полном вашем распоряжении, все зависит только от вас.

– Мне кажется, это можно сделать сегодня. Вечером они все соберутся у очага, это будет самое подходящее время. Мне бы хотелось, чтобы вы поглядели, как там уютно! Это такой необыкновенный дом.

– Прекрасно. Сегодня вечером, – сказал Стирфорт.

– Они не будут знать, что мы здесь. Мы нагрянем неожиданно, – сказал я в восторге.

– Разумеется. Это неинтересно, если мы их предупредим. Надо видеть туземцев в их привычной обстановке.

– Хотя они и «такой породы люди», о которых вы говорили?

– Ах, вот как! Вы вспомнили мою перепалку с Розой? – воскликнул он, бросив на меня зоркий взгляд. – К черту эту девицу! Я побаиваюсь ее немножко. Она мой злой дух. Но довольно о ней. Что вы думаете делать? Пойдете повидаться с вашей няней?

– Ну, конечно! Прежде всего я должен повидать Пегготи, – сказал я.

– Превосходно. – Тут он взглянул на свои часы. – Оставить вас на два часа, чтобы вы наплакались всласть? Хватит вам этого?

Засмеявшись, я сказал, что этого срока вполне достаточно, но он тоже должен прийти к Пегготи и убедиться, что слава о нем предшествует ему и его считают не менее значительной особой, чем меня.

– Приду, куда хотите, и сделаю все, что хотите! – сказал Стирфорт. – Скажите мне только, куда мне прийти, а двух часов мне хватит, чтобы привести себя в сентиментальное или веселое расположение духа – по вашему выбору!

Я рассказал, как отыскать дом возчика Баркиса, ездившего между Ярмутом и Бландерстоном, и, условившись с ним о встрече, отправился один. Воздух был бодрящий, живительный, земля суха, по морю пробегала легкая рябь, солнце изливало потоки лучей, но не жарких, все казалось бодрым и жизнерадостным. И я сам был так рад приезду в Ярмут и чувствовал себя таким бодрым и жизнерадостным, что готов был останавливать каждого встречного на улицах и пожимать ему руку.

Правда, улицы казались мне слишком узенькими. Мне думается, так бывает всегда с улицами, которые мы знали в детстве, а затем увидели вновь. Но я ничего не забыл и не обнаружил никаких перемен, покуда не добрался до заведения мистера Омера. Теперь на вывеске вместо «Омер» я прочел:

«ОМЕР И ДЖОРЕМ»,

но надпись «Торговля сукном и галантереей, портняжная мастерская, похоронная контора и пр.» осталась в прежнем своем виде.

Когда я, стоя на другой стороне улицы, прочел эту надпись, меня так потянуло к лавке, что я счел вполне естественным перейти через дорогу и заглянуть туда. В глубине лавки находилась хорошенькая женщина и нянчила малыша, а другой мальчуган цеплялся за ее передник. Узнать Минни и ее детей было нетрудно. Застекленная дверь из лавки была закрыта, но из мастерской, со двора, доносился тот же негромкий стук, что и раньше, словно он никогда не прерывался.

– Мистер Омер дома? – спросил я, войдя. – Если он дома, мне хотелось бы его повидать.

– О да, сэр, он дома. В такую погоду не выйдешь с его астмой. Позови дедушку, Джо, – сказала Минни.

Мальчуган, вцепившийся в ее передник, так заорал, что сам оробел и спрятал лицо в складках ее юбки к большому ее восхищению. Послышалось пыхтенье и сопенье, оно все приближалось, и скоро показался мистер Омер; он страдал одышкой еще больше, чем раньше, но не очень постарел.

– Чем могу служить, сэр? – сказал мистер Омер.

– Хочу пожать вам руку, мистер Омер! – ответил я, протягивая руку. – Когда-то вы были ко мне очень добры, но, боюсь, в то время я еще не мог выразить свои чувства.

– Я был добр к вам? – удивился старик. – Рад это слышать, но не помню когда. Вы уверены, что это был я?

– Вполне.

– Должно быть, с памятью у меня становится так же худо, как с дыханием, – сказал мистер Омер, вглядываясь в меня и покачивая головой, – потому что я вас не помню.

– Вспомните, как вы встречали карету, в которой я приехал, и как я завтракал здесь… А потом мы поехали все вместе в Бландерстон – вы, и я, и миссис Джорем, н мистер Джорем… Тогда он не был еще ее мужем!

– О господи! – воскликнул мистер Омер и от удивления закашлялся. – Да что вы говорите! Минни, дорогая, ты помнишь? Более мой, конечно! Хоронили леди, не так ли?

– Мою мать, – сказал я.

– Вот… именно! – Мистер Омер дотронулся до моего жилета указательным пальцем. – И еще младенца… Двоих сразу. Младенца в том же гробу, что и мать. Да, да, в Бландерстоне… Боже мой! Ну как же вы поживаете с той поры?

Я поблагодарил его, сообщил, что со мной все обстоит благополучно, и выразил надежду, что и у него все в порядке.

– О! Жаловаться не стану. Дышать-то труднее, но с годами редко бывает, чтобы дышалось легче. С этим приходится мириться. Так-то оно лучше, не правда ли?

Тут он рассмеялся, после чего разразился таким кашлем, что на помощь ему пришла дочь, которая стояла тут же рядом и забавляла своего младенца, усадив его на прилавок.

– Боже ты мой! – продолжал мистер Омер. – Помню, помню! Хоронили двоих! А поверите ли, во время той самой поездки я назначил день свадьбы Минни. «Назначьте день, сэр», – говорит Джорем. «Да, да, отец», – говорит Минни. А теперь он вошел в дело. И поглядите-ка – малыш!

Минни засмеялась и пригладила на висках свои волосы, перехваченные лентой, а ее отец вложил палец в ручонку малыша, который копошился на прилавке.

– Вот-вот, двоих хоронили… – Вспоминая прошлое, мистер Омер качал головой. – Правильно, двоих! И теперь вот Джорем готовит серый гробик на серебряных гвоздях. А размер – дюйма на два длинней, чем для него. – Мистер Омер разумел малыша, перебиравшего ножками на прилавке. – Не хотите ли чего-нибудь выпить?

Я поблагодарил, но отказался.

– Погодите… – продолжал мистер Омер. – Жена возчика Баркиса… та, которая приходится сестрой рыбаку Пегготи… кажется, она имела какое-то отношение к вашему семейству? Она у вас не служила, а?

Мой – утвердительный – ответ доставил ему большое удовольствие.

– Вот уж с памятью дело у меня пошло на лад, может быть и дышать будет легче, – сказал мистер Омер. – Так вот, сэр, у нас работает ученицей молоденькая ее родственница. И я вам скажу: вкус у нее насчет нарядов такой, что никакая герцогиня с ней не сравнится.

– Малютка Эмли? – вырвалось у меня невольно.

– Да, ее зовут Эмли, – сказал мистер Омер. – И она в самом деле маленькая. Но, поверите ли, личико у нее такое, что половина женщин в городе злится на нее!

– Вздор, отец! – воскликнула Минни.

– А разве я про тебя говорю? – Тут мистер Омер подмигнул мне. – Я говорю только, что половина женщин в Ярмуте, – да что там в Ярмуте! на пять миль в округе! – злится на эту девушку!

– Значит, отец, она должна помнить, кто она такая, и не давать им повода для разговоров. Тогда они не смогут ничего сказать, – возразила Минни.

– Тогда они не смогут ничего сказать! – повторил мистер Омер. – Не смогут сказать! Хорошо же ты знаешь жизнь, моя дорогая. Чего только на свете не скажет и не сделает женщина, особенно если речь идет о красоте другой женщины!

Когда мистер Омер отпустил такую колкую любезность, я решил, что ему пришел конец. Он так закашлялся и все его попытки отдышаться казались столь безнадежными, что я уже приготовился увидеть, как его голова опустится за прилавок, а ноги в коротких черных штанах, с порыжевшими бантиками у колен, дрыгаясь, поднимутся вверх в последних конвульсиях. Однако в конце концов он пришел в себя, но еле переводил дух и так ослабел, что опустился на табуретку перед конторкой.

– Видите ли, – снова начал он, вытирая голову и судорожно глотая воздух, – она не очень-то любит с кем-нибудь водиться, нет у нее ни знакомых, ни приятельниц, а о возлюбленных и речи не может быть. Ну, и пошла худая молва, будто Эмли только и мечтает стать леди. Я же думаю так: об этом стали толковать главным образом потому, что в школе случалось ей говорить, что, мол, будь она леди, она сделала бы для своего дяди то-то и то-то – понимаете? – и купила бы ему и такие и сякие вещи.

– Поверьте, мистер Омер, то же самое она говорила и мне, когда мы были еще детьми! – подхватил я. Мистер Омер кивнул головой и потер подбородок.

– То-то и оно… Да к тому же у нее почти ничего нет, а одеваться она умеет лучше, чем те, у кого уйма денег, а это кому может нравиться? А вдобавок она, как говорят, немного капризна, скажу даже больше – я тоже думаю, что она капризна, сама не знает, чего хочет… немного, знаете ли, избалована… не может сразу взять себя в руки… Вот и все, что о ней говорят… Правда, Минни?

– Правда, отец… Кажется, это все.

– Она поступила на место – компаньонкой к какой-то леди, – продолжал мистер Омер, – а у той характер был тяжелый, они не поладили, и она ушла. В конце концов она попала к нам в ученицы на три года. Вот уже скоро два года, как она у нас, и другой такой девушки не сыскать. Она одна стоит шестерых. Минни, стоит она шестерых?

– Стоит, отец. Никто не может сказать, что я на нес наговариваю.

– Правильно. Итак, юный джентльмен, – закончил мистер Омер, снова потерев подбородок, – на этом я закончу, а не то вам покажется, что, мол, человек с одышкой, а болтает без передышки.

Говоря об Эмли, они понижали голос, и я не сомневался, что она находится где-то поблизости. На мой вопрос, так ли это, мистер Омер утвердительно кивнул и посмотрел на дверь соседней комнаты. Я поспешно спросил, можно ли туда заглянуть; получив разрешение, я подошел к стеклянной двери и увидел ее – она сидела за работой. Я увидел ее – и она была прелестна, малютка с ясными голубыми глазами; когда-то эти глаза заглянули в мое детское сердце, а теперь, улыбаясь, она смотрела на игравшего рядом с ней второго малыша Минни. Да, в ее открытом лице было своеволие, которое заставляло верить тому, что я услышал о ней, таилось в нем и капризное упрямство былых времен, но ничто в этом прекрасном лице не предвещало ей, – я уверен, – иного будущего, кроме счастливой, добропорядочной жизни.

Стук доносился со двора, стук, который, казалось, никогда не прекращался… Увы! Этот стук никогда не прекращается… Тихий непрестанный стук…

– Что же вы не входите, сэр? Входите и поговорите с ней, сэр. Будьте как дома, – сказал мистер Омер.

Застенчивость помешала мне войти – я боялся смутить ее, да и сам боялся смутиться. Я ограничился тем, что л знал, в котором часу она уходит по вечерам, чтобы приноровить к этому

часу наш визит. Затем я покинул мистера Омера, его хорошенькую дочку и малышей и отправился к моей милой старой Пегготи.

Она была дома; в кухоньке с кафельным полом она готовила обед! Как только я постучался, она открыла дверь и спросила, кого мне угодно. Улыбаясь, я глядел на нее, но она не ответила мне улыбкой. Я писал ей постоянно, но вот уже семь лет, как мы не виделись.

– Дома мистер Баркис, сударыня? – спросил я, стараясь говорить басом.

– Он дома, сэр, но лежит в постели, у него ревматизм, – отвечала Пегготи.

– Он ездит теперь в Бландерстон? – спросил я.

– Когда здоров, ездит, – ответила она.

– А вы, миссис Баркис, ездите туда?

Она пристально на меня посмотрела, и я заметил, как дрогнули у нее руки.

– Видите ли, я хотел бы узнать об одном тамошнем доме… Его называют… как… его… Грачевник.

Она отступила на шаг и нерешительно, в испуге сделала такой жест, будто собиралась меня оттолкнуть.

– Пегготи! – воскликнул я. Она закричала:

– Мой родной!

И тут мы оба разрыдались и бросились друг к другу в объятия.

Чего только она не вытворяла! Как смеялась, как плакала надо мной! С какой гордостью и радостью глядела на меня и как грустила, что я, который мог бы быть ее гордостью и радостью, так давно не был в ее объятиях! У меня не хватает духу все это описать… Нет, я не боялся казаться ребенком, отвечая ей на ее чувства. Ни разу в жизни я так безудержно не смеялся и не плакал – даже у нее на груди – как в то утро.

– Баркис будет очень рад, и это принесет ему больше пользы, чем целые пинты мазей, – говорила она, вытирая глаза передником. – Можно сказать ему, что вы здесь? Вы подниметесь наверх поглядеть на него, мой дорогой?

Разумеется, я был готов подняться. Но Пегготи никак не удавалось покинуть комнату; только она доходила до двери, как оглядывалась назад и бросалась ко мне, чтобы снова и снова обнять меня, посмеяться от радости и всплакнуть. В конце концов мне пришлось прийти к ней на помощь и подняться вместе с ней наверх. Там я подождал минутку, пока она предупредила мистера Баркиса, а затем вошел к больному.

Он встретил меня с восторгом. Жестокий ревматизм мешал ему обменяться со мной рукопожатием, и он попросил меня пожать кисточку на его ночном колпаке, что я сделал от всей души. Когда я сел рядом с ним на кровати, он объявил мне, что ему кажется, будто он снова везет меня в Бландерстон, и это доставляет ему огромное удовольствие. Он лежал передо мной на спине, закутанный одеялами до самой шеи, и, казалось, у него была только голова, как у херувимов на картинах; никогда мне не приходилось видеть более странного зрелища.

– Какое имя я написал тогда на повозке, сэр? – спросил мистер Баркис, и слабая болезненная улыбка появилась на его лице.

– А помните ли вы, мистер Баркис, какие мы вели об этом серьезные разговоры?

– И я долго не отступался от этой мысли, сэр?

– О да! Долго, – подтвердил я.

– Ну, так вот – я об этом не жалею, – сказал мистер Баркис. – Помните, как вы мне сказали, что она умеет печь яблочные пироги и стряпает все что угодно?

– Очень хорошо помню!

– Что правда то правда. – Мистер Баркис качнул своим ночным колпаком, ибо только так мог он выразить свои чувства. – Уж это верней верного.

И мистер Баркис поглядел на меня так, как будто ждал подтверждения своих умозаключений, сделанных во время болезни; я это подтвердил.

– Уж это верней верного, – повторил мистер Баркис. – Такой бедняк, как я, доходит до этого, когда он лежит больной. Я очень беден, сэр.

– Мне грустно это слышать, мистер Баркис,

– Да, я очень беден, – повторил мистер Баркис.

Тут он с большими усилиями выпростал правую руку из-под одеяла; после ряда безуспешных попыток он схватил, наконец, палку, прислоненную к его кровати, Затем он стал толкать этой палкой сундучок, край которого виднелся из-под кровати, причем лицо его выражало крайнее беспокойство. Наконец он задвинул сундучок и успокоился.

– Старое платье, – сказал мистер Баркис.

– Вот как!

– Хотелось бы мне, чтобы это были деньги, – сообщил мистер Баркис.

– И мне бы хотелось, – сказал я.

– Но там их нет! – заявил мистер Баркис и широко раскрыл глаза.

Я сказал, что совершенно в этом не сомневаюсь, и мистер Баркис, взглянув на жену поласковей, сказал:

– К.П.Баркис самая подходящая и самая лучшая из женщин! Как ни хвалить К.П.Баркис, а все будет мало. Сегодня, моя милая, ты могла бы устроить обед для гостей. Дала бы чего-нибудь вкусного поесть и попить, а?

Я собрался было запротестовать против ненужного пиршества в мою честь, но увидел, что Пегготи, стоявшей по другую сторону кровати, очень не хочется, чтобы я протестовал. И я промолчал.

– У меня где-то здесь есть немножко деньжат, но я сейчас устал, – сказал мистер Баркис. – Вы с мистером Дэвидом уйдите, я вздремну, а когда проснусь, постараюсь найти деньги…

Мы покинули комнату в соответствии с этим пожеланием. Когда мы вышли, Пегготи сообщила мне, что теперь мистер Баркис стал «скуповатее», чем раньше, и всегда прибегает к одной и той же уловке, прежде чем достать хотя бы одну монету из своего запаса; при этом он выносит неслыханные мучения, сползая один-одинешенек с постели и доставая деньги из этого злосчастного сундука. И в самом деле, мы скоро услыхали, как он старался сдержать отчаянные стоны, когда тянулся словно сорока к блестящей монете, испытывая страшную боль в каждом суставе; от сочувствия к нему глаза Пегготи наполнились слезами, но она сказала, что его благородный порыв принесет ему пользу и не надо препятствовать этому порыву. Итак, страдая, как древний мученик, он продолжал стонать, пока снова не улегся в постель; затем он позвал нас и, притворившись, будто только что пробудился ото сна, весьма его освежившего, вытащил из-под подушки гинею. Приятная уверенность, что он ловко нас провел и сохранил тайну сундучка, по-видимому, вознаградила его за перенесенную пытку.

Я предупредил Пегготи о приходе Стирфорта, и скоро он появился. Я был убежден, что она не делает никакого различия между благодеяниями, какие он мог бы оказать лично ей, и милыми дружескими услугами, оказанными мне, и что она, во всяком случае, примет его с любовью и преданностью. Но он покорил ее в пять минут своей непринужденностью, веселостью, своим обхождением и красотой, своим врожденным даром применяться к каждому, кому хотел понравиться, и касаться самых чувствительных струн в сердце любого человека, если он этого желал. Да и обращение его со мной, – оно одно, – могло бы ее покорить. Вот почему я глубоко уверен, что он пробудил в ней чувство, близкое к обожанию, еще до своего ухода в тот вечер.

Он остался у Пегготи пообедать вместе со мной – мало сказать, что по своей воле, но с большой готовностью и охотой. Он заглянул и в комнату мистера Варкиса, и с его приходом ворвался туда яркий свет и свежий воздух, словно живительный сияющий день. Все, что он делал, он делал без шума, без усилий, словно ненароком, с какой-то необъяснимой легкостью; казалось, что нельзя сделать иначе, нельзя сделать лучше, все было так естественно, так изящно, так прелестно, что даже сейчас воспоминание об этом меня пленяет.

В крохотной гостиной мы позабавились при виде «Книги мучеников», к которой никто не притрагивался со времени моего детства и которая снова появилась на свет и, как в старину, положена была снова на бюро; снова я перелистал страшные ее страницы с картинками, пытаясь восстановить в памяти переживания, которые они вызывали тогда, но ровно ничего не почувствовал. Когда Пегготи заговорила о комнатке, которую она называла моей, и сказала, что комната для меня готова и она надеется, что я буду в ней ночевать, не успел я, колеблясь, бросить взгляд на Стирфорта, как он понял, в чем суть дела.

– Конечно! Пока мы в Ярмуте, вы ночуйте здесь, а я буду спать в гостинице.

– Везти вас так далеко, а потом расстаться, это, мне кажется, Стирфорт, не по-товарищески, – возразил я.

– Но, боже ты мой, где же вы должны остановиться, как не здесь! Значит, незачем и говорить «мне кажется»!

Так мы и порешили.

Стирфорт был обаятелен до последней минуты; в восемь часов мы отправились к баркасу мистера Пегготи. Мало того, время шло, и его обхождение становилось все более обворожительным, ибо, как я думал даже тогда, а теперь уверен, – его желание нравиться, сопровождаемое успехом, еще более обостряло его способность очаровывать, которую ему не стоило никакого труда проявлять. Если бы тогда кто-нибудь мне сказал, что это только превосходная игра, которую он вел ради минутного развлечения, ради того, чтобы дать выход своей веселости, побуждаемый неосознанным стремлением властвовать, безотчетной потребностью покорять, завоевывать даже то, что не имело для него никакой цены, и тут же отбрасывалось прочь, – если бы тогда кто-нибудь мне это сказал в тот вечер, не знаю, в какой форме выразилось бы мое негодование.

Пожалуй, лишь в том, что романтическая верность и дружба еще более (если только это было возможно) привязали бы меня к этому человеку, с которым я шел рядом по темному холодному песку, направляясь к старому баркасу. Вокруг нас ветер вздыхал и жаловался еще печальней, чем в тот вечер, когда я впервые появился у порога мистера Пегготи.

– Не правда ли, Стирфорт, место дикое?

– Да, довольно-таки мрачное в темноте. А море ревет, словно хочет нас пожрать. Вон там я вижу огонек… Это баркас?

– Да, это баркас, – ответил я.

– Значит, я его видел сегодня утром, – сказал он. – Должно быть, инстинкт привел меня в нему.

Мы замолчали и пошли на огонек. Бесшумно я нашел дверь. Взявшись за щеколду, я сделал знак Стирфорту не отставать от меня и вошел.

Голоса мы услышали еще издали, а в тот момент, когда мы переступали порог, до нас донеслись рукоплескания, и, к своему удивлению, я обнаружил, что бьет в ладоши миссис Гаммидж, всегда столь безутешная. Но не одна миссис Гаммидж находилась в таком необычном возбуждении. Сияло лицо мистера Пегготи, он хохотал во всю мочь, широко раскинув могучие руки, словно приглашал малютку Эмли броситься к нему в объятия. Хэм, лицо которого одновременно выражало изумление, ликование и какую-то неуклюжую застенчивость, что ему, надо сказать, шло, держал малютку Эмли за руку, как будто представляя ее мистеру Пегготи.

Малютка Эмли, раскрасневшаяся и смущенная, но обрадованная радостью мистера Пегготи, что было видно по ее веселым глазам, вот-вот готова была прижаться к груди мистера Пегготи, но вдруг остановилась (она первая нас увидела). Такова была картина, представшая перед нами в тот момент, когда мы вошли прямо с холода, из мрака в теплую, освещенную комнату; на заднем плане стояла миссис Гаммидж и хлопала в ладоши, как сумасшедшая.

С нашим появлением все разом изменилось, так что можно было усомниться, действительно ли только что происходила вся эта сцена. Я очутился в кругу изумленного семейства лицом к лицу с мистером Пегготи и уже протянул ему руку, как вдруг Хэм закричал:

– Мистер Дэви! Это мистер Дэви!

Во мгновение ока мы бросились пожимать друг другу руки, осведомлялись, перебивая один другого, о здоровье и выражали свою радость и при этом говорили все разом. Мистер Пеггоги так был горд и так ликовал по поводу нашего приезда, что решительно ничего не мог сказать, но снова и снова начинал пожимать руку мне, потом Стирфорту, потом снова мне, ерошил свои косматые волосы и хохотал так радостно, что весело было на него глядеть.

– Ну, и дела! Никогда не думал, что два джентльмена… два взрослых джентльмена придут ко мне в дом! – говорил мистер Пегготи. – Какой вечер! Всем вечерам вечер! Эмли, родная моя, поди-ка сюда. Поди сюда, маленькая колдунья! Вот это друг мистера Дэви. Вот это тот джентльмен, о котором ты столько слышала, Эмли. Он пришел вместе с мистером Дэви, чтобы тебя повидать! Это самый счастливый вечер в жизни твоего дяди!

Взволнованно выпалив эту речь без передышки и в великом возбуждении, мистер Пегготи взял в свои огромные ладони личико племянницы и, покрыв его поцелуями, с трогательной гордостью привлек ее головку на свою широкую грудь, поглаживая по волосам с такой бережностью, которой могла бы позавидовать и женщина. Затем он отпустил ее, а когда она убежала в крохотную комнатку, где я прежде спал, он оглядел всех нас, разгоряченный, задыхаясь от радости.

– Джентльмены… два таких джентльмена… – начал мистер Пегготи, – такие взрослые джентльмены…

– Так оно и есть! Так оно и есть! – воскликнул Хэм. – Хорошо сказано! Так оно и есть! Мистер Дэви… Взрослые джентльмены! Так оно и есть!

– Два джентльмена… два взрослых джентльмена, – продолжал мистер Пегготи, – изволят видеть, в каком я состоянии… Они изволят меня простить… когда узнают, в чем дело… Эмли, дорогая моя! Она знает, что я собираюсь сказать… – Тут его восхищение снова прорвалось. – И потому она скрылась! Мамаша, пойди взгляни, что с ней такое.

Миссис Гаммидж кивнула головой и исчезла.

– Будь я краб, вареный краб, если это не самый счастливый вечер в моей жизни! – продолжал мистер Пегготи, усаживаясь с нами у очага. – Вот все, что я могу сказать! Видите ли, сэр, – прошептал он Стирфорту, – эта малютка Эмли, которая так разрумянилась, вот сейчас…

Стирфорт только кивнул головой. Но кивнул головой с таким участливым видом, и казалось, он так глубоко разделяет чувства мистера Пегготи, что тот ответил ему, словно он сказал что-то вполне определенное:

– Вот именно! Такая уж она есть! Покорно благодарю вас, сэр, – сказал мистер Пегготи.

Хэм несколько раз кивнул мне головой, словно и он сам хотел бы сказать то же самое.

– Вот эта наша малютка Эмли была для нас таким утешением, каким только может быть в доме ясноглазая малютка… Я хоть и немудрящий человек, но это знаю. Ока мне не дочь. У меня никогда не было детей. Но, если бы они у меня были, я не мог бы любить их больше! Понимаете? Не мог бы любить больше!

– Понимаю, – сказал Стирфорт.

– Я знаю, что вы понимаете, сэр, и еще раз покорно благодарю вас. К примеру, мистер Дэви знал, какой она была. И вы сами видите, какая она. Но все-таки вы оба не можете знать, кем она была и всегда будет для моего любящего сердца… Я человек грубый, сэр, все равно что морской еж, – продолжал мистер Пегготи, – но никто, разве только женщина может понять, что для меня наша малютка Эмли. И, говоря между нами, – тут он понизил голос, – эта женщина прозывается не миссис Гаммидж, хотя она и почтенная особа…

Мистер Пегготи взъерошил обеими рукам волосы, приготовляясь к дальнейшей речи, и, опустив руки на колени, продолжал:

– Есть один человек… Он знает Эмли с тех пор, как утонул ее отец, он видел ее постоянно, видел, когда она была малым ребенком, видел, когда она была девочкой, видел, когда она стала девицей. На взгляд не скажу, что красавец. Нет! Вроде меня, – можно сказать, грубоват… как бы морской волк… море его просолило. Но честный малый, и сердце у него, где полагается быть.

Никогда, мне казалось, Хэм так не скалил зубы, как в этот момент.

– И вот что сделал этот моряк, благослови его бог! – воскликнул мистер Пегготи, и лицо его выразило крайнее восхищение. – Он взял и отдал свое сердце нашей малютке Эмли – Он повсюду за ней ходил, он стал ей слугой, он даже потерял аппетит, и в конце концов я понял, что с ним такое. А что до меня, так я хотел бы, чтобы малютка Эмли, знаете ли, вышла замуж. Я хотел бы по крайней мере, чтобы она дала обещание честному малому, а он чтоб имелправо ее защищать. Я не могу знать, сколько проживу и когда помру. Но я знаю: если однажды ночью буря опрокинет меня здесь, у ярмутских берегов, и в последний раз я увижу огни города над волнами и уж больше не придется мне вынырнуть, так мне будет куда спокойней идти на дно, когда я подумаю: «Вон там на берегу есть человек, на всю жизнь преданный моей малютке Эмли, благослови ее господь, и с ним она может ничего не бояться, покуда он жив!»

И мистер Пегготи, в пылу речи, помахал правой рукой так, будто прощался в последний раз с огнями города, а затем, поймав взгляд Хэма, кивнул ему и продолжал:

– Ладно. И вот я посоветовал ему поговорить с Эмли. Видите, какой он большой, да только смущается, как малый ребенок, и все не решался. Так, стало быть, поговорил я. «Что такое? Он?! – вскричала Эмли – Он, которого я так хорошо знаю много лет? О дядя! Я никогда не смогу выйти за него замуж! Он такой славный!» Тут я поцеловал ее, и вот что я ей сказал: «Ты хорошо делаешь, моя дорогая, что говоришь напрямик, ты вольна выбирать, ты, говорю я, свободна, как птичка». Потом я отыскал его и сказал: «Я, говорю, хотел все уладить, но не вышло. Но вы оба держитесь как раньше, а тебе я скажу так: „Держись с ней так, как раньше и как полагается мужчине‟. Он пожал мне руку и сказал: „Так, говорит, и буду держаться‟. Вот что сказал. И он в самом деле держался так, как обещал и как полагается мужчине… Вот уже минуло два года, а он с ней все такой же, как и раньше, и все у нас шло по-прежнему.

При этих словах лицо мистера Пегготи, отражавшее различные перипетии его рассказа, снова просияло, он опустил одну руку на мое колено, другую – на колено Стирфорта (поплевав на них предварительно, дабы подчеркнуть торжественность такого жеста) и продолжал, обращаясь то к одному из нас, то к другому:

– И вот неожиданно вечером – скажу прямо, сегодня вечером, – приходит малютка Эмли с работы, и он с ней! Вы скажете: что тут особенного? Верно! Потому что он охранял ее, как брат, когда темно и когда светло, в любой час. Но на этот раз он ведет ее за руку и, такой веселый, кричит мне: «Погляди! Она согласна выйти за меня замуж»! А она говорит смело, но, знаете ли, смущается, и смеется, и плачет: «Да… дядя. Если вы хотите». Если я хочу! – вскричал мистер Пегготи, восторженно мотая головой. – О господи! Как будто я чего другого мог хотеть! «Если вы хотите, – говорит она. – Я, говорит, стала рассудительнее, я все обдумала, и я буду ему хорошей женой, потому что он добрый и славный». Потом миссис

Гаммидж стала хлопать в ладоши, как в театре. А тут и вы вошли! Все это произошло вот здесь, только что. А вот и тот, за кого она выйдет замуж, как только кончится срок учения.

Хэм пошатнулся – да и не чудо! – от удара кулаком, которым наградил его мистер Пегготи в припадке бурного веселья и в знак расположения. Он чувствовал, что должен что-то нам сказать, и заговорил, сильно запинаясь и не очень связно:

– Она была, мистер Дэви, не больше, чем вы, когда вы приехали к нам в первый раз… а я уже думал о том, какой она вырастет… Я видел, как она росла… джентльмены… прямо как цветок. Я за нее, мистер Дэви, жизнь положу. О! От всей души положу… Она для меня все, больше чем могу… больше чем могу выразить, джентльмены… я… я люблю ее. На земле нет такого джентльмена и на море… нет такого, который любит свою жену так, как я люблю ее. Хоть много людей… могут сказать лучше, чем я… что они думают…

Трогательно было видеть такого сильного малого, как он, дрожащим от избытка чувств к прелестной малютке, полонившей его сердце. Трогательно было доверие, которое питали к нам он и мистер Пегготи. Растрогал меня также и рассказ. Может быть, повлияли на мои чувства воспоминания детства – не знаю. Я не знаю, приехал ли я туда, все еще воображая, будто влюблен в малютку Эмли – знаю только, что все увиденное мною доставило мне подлинную радость, но радость особого свойства, которая в первый момент могла бы из-за какого-нибудь пустяка превратиться в боль.

И поэтому, если бы пришлось мне коснуться струны, дрожавшей в их сердцах, едва ли я сделал бы это искусно. Но со мною был Стирфорт, и он сделал это с ловкостью необыкновенной; через несколько минут мы все успокоились и нам стало так хорошо, как только возможно.

– Вы, мистер Пегготи, – превосходный человек, – сказал он, – и вполне достойны того счастья, которое выпало вам сегодня на долю. Позвольте пожать вашу руку! А вас, Хэм, поздравляю! Вашу руку! Маргаритка, поворошите дрова в очаге, пусть ярче пылают! Мистер Пегготи, если вы не убедите вашу милую племянницу вернуться, – я поберегу для нее место вот здесь, в уголке, – то я уйду. Ни за какие сокровища Индии я не соглашусь, чтобы из-за меня у вашего камелька в такой вечер пустовало место – да еще чье!

Мистер Пегготи отправился в мою прежнюю комнатку за малюткой – Эмли. Но малютка Эмли не хотела возвращаться, и тогда за ней пошел Хэм. Наконец они оба доставили ее к очагу; она была очень сконфужена, очень смущалась, но скоро пришла в себя, когда услышала, с какой почтительностью обратился к ней Стирфорт, с каким искусством он избегал всего, что могло поставить ее в неловкое положение, как говорил он с мистером Пегготи о баркасах, о кораблях, о приливах, отливах и о рыбе, как напоминал мне о своей встрече с мистером Пегготи в Сэлем-Хаусе и как восхищался их баркасом… Он говорил обо всем этом так просто и легко, что постепенно всех нас пленил и мы вели беседу без малейшего стеснения.

Эмли весь вечер говорила мало, но слушала и смотрела с большим вниманием, лицо ее оживилось, и она казалась очарованной. Стирфорт рассказал об одном страшном кораблекрушении, которое пришло ему на память благодаря беседе с мистером Пегготи, рассказал удивительно живо, словно сам был его свидетелем, и малютка Эмли все время не отрывала от него глаз, словно и она видела все воочию. Чтобы отвлечь нас от грустных мыслей, он рассказал о своем собственном комическом приключении с таким жаром, точно этот рассказ был для него так же нов, как и для нас. Малютка Эмли огласила баркас таким звонким смехом, что смеялись мы все (смеялся и Стирфорт), заразившись ее весельем. Затем он заставил мистера Пегготи петь – вернее, орать – «Когда буйный ветер дует, дует, дует»[51] и сам пропел морскую песню столь искусно и чувствительно, что мне представилось, будто стоит только прислушаться, и мы в самом деле услышим, как ветер кружит печально у дома и проникает к нам в нерушимую тишину.

Что касается миссис Гаммидж, то Стирфорту удалось растормошить эту жертву уныния так, как никому не удавалось со дня смерти ее «старика», о чем сообщил мне мистер Пегготи. Он просто не оставил ей времени предаваться без помех меланхолии, и на следующий день она заявила, что ее, по всей видимости, околдовали.

Но он нисколько не старался быть в центре нашего внимания или завладеть беседой. Он сидел и молча нас наблюдал, когда малютка Эмли сидя по другую сторону очага, отважилась – все еще, правда, смущаясь, – напомнить мне о наших былых прогулках по морскому берегу в поисках раковин и камешков; он молчал, внимательно слушал и задумчиво наблюдал нас, когда я спросил ее, помнит ли она, как я был влюблен в нее, а также и тогда, когда мы краснели и смеялись, вспоминая доброе старое время, которое казалось нам теперь таким неправдоподобным. Эмли сидела на своем прежнем месте – на сундучке в углу у очага, а Хэм там, где, бывало, сидел я – рядом с нею. Не знаю почему – потому ли, что она хотела немного помучить его или потому, что девическая скромность заставляла ее смущаться нашего присутствия, но сидела она вплотную к стене, отодвинувшись от Хэма; и я заметил, что она сидела так, не меняя позы, весь вечер.

Помнится, мы стали прощаться, когда время подошло к полуночи. С ужином из сушеной рыбы и сухарей было уже покончено, покончено было и с бутылочкой джина, которую Стирфорт достал из кармана и мы, мужчины, осушили, – теперь я могу писать: «мы, мужчины», не краснея. Мы прощались весело. Все они столпились у двери, чтобы осветить нам, насколько возможно, дорогу, и я видел ласковые голубые глаза малютки Эмли, выглядывавшей из-за плеча Хэма, и слышал ее нежный голосок, призывавший нас идти осторожно.

– Прелестное создание! – сказал Стирфорт, беря меня под руку. – Странное место и странная компания. Мне еще не доводилось встречаться с такими, как они…

– И до чего же нам повезло, – подхватил я, – что мы пришли как раз к помолвке и были свидетелями их радости! Я никогда не видел, чтобы люди бывали так счастливы. До чего приятно это видеть и разделить с ними их честную радость, как разделили ее мы!

– А не слишком ли этот малый простоват для такой девушки? – сказал Стирфорт.

Он был так сердечен с Хэмом и со всеми остальными, что меня поразило это неожиданное холодное замечание. Но, мгновенно повернувшись к нему, я увидел его смеющиеся глаза и с облегчением сказал:

– Ах, Стирфорт! Бросьте вы подшучивать над бедными людьми! Сражайтесь с мисс Дартл, старайтесь прикрыть шуткой сочувствие к беднякам, но я-то вас знаю лучше! Когда я вижу, как вы понимаете их, как тонко вы можете постигнуть ликование простого рыбака или любовь ко мне моей старой няни, я хорошо знаю, что и радость, и печаль, и любое чувство этих людей не оставляют вас равнодушным. И за это, Стирфорт, я люблю вас и восхищаюсь вами еще в двадцать раз больше!

Он остановился, посмотрел мне в лицо и сказал:

– Я верю, Маргаритка, что вы говорите серьезно. Вы славный. Хорошо, если бы мы все были такими!

Он весело запел песню мистера Пегготи, и мы быстро зашагали по направлению к Ярмуту.

Глава XXII

Старые места и новые люди

Больше двух недель пробыли мы со Стирфортом в этих краях. Разумеется, мы почти все время проводили вместе, но случалось нам и расставаться на несколько часов. Он был прекрасным моряком, а у меня не было склонности к морскому делу, и когда он с мистером Пегготи выходил на лодке в море – это было любимым его развлечением, – я обычно оставался на берегу. Поселившись у моей Пегготи, я, в отличие от него, был в какой-то мере стеснен: я знал, как усердно ходит она по целым дням за мистером Баркисом, и не хотел поздно

возвращаться домой, а Стирфорт, живя в гостинице, мог поступать, как ему вздумается. Потому-то до меня и доходили слухи, что в тот час, когда я уже лежу в постели, он устраивает пирушки для рыбаков в излюбленном трактире мистера Пегготи «Добро пожаловать», а лунными ночами, облачившись в рыбацкий костюм, пускается в море и возвращается с утренним приливом. К тому времени я уже понимал, что неугомонная и отважная его натура всегда ищет какого-то исхода и находит его в тяжелом труде, в борьбе с ненастной погодой и вообще в любых волнующих впечатлениях, которые ему новы; и его поведение не удивляло меня.

Была еще одна причина, разлучившая нас: мне, разумеется, хотелось бывать в Бландерстоне и посещать старые места, знакомые с детства, тогда как Стирфорт, съездив туда со мною однажды, не испытывал, разумеется, особого желания посетить их снова. Вот почему я отчетливо припоминаю, что раза три-четыре, тотчас же после раннего завтрака, мы отправлялись каждый своей дорогой и встречались только за обедом. Я понятия не имел, чем занимался он в это время, и знал лишь, что он пользуется большой популярностью в Ярмуте и находит десятки способов развлекаться там, где другой на его месте не нашел бы ни одного.

Что до меня, то, скитаясь в одиночестве и проходя по старой дороге, я припоминал каждый ярд ее, и никогда не надоедало мне бродить по знакомым местам. Я бродил так же, как, бывало, в своих воспоминаниях, и останавливался там, где задерживался мысленно в более юные годы, когда жил вдали отсюда. Я останавливался неподалеку от могилы под деревом, где покоились мои родители, – могилы, на которую я смотрел с таким странным чувством жалости, когда там лежал только мой отец, и близ которой я стоял такой безутешный, когда она вновь разверзлась, чтобы принять мою красавицу мать и ее ребенка. Верная Пегготи содержала могилу в полном порядке и разбила вокруг нее настоящий цветник. Могила находилась в тихом уголке, в стороне от кладбищенской аллеи, но так близко от нее, что я мог прочитать имена на каменной плите, когда ходил взад и вперед, вздрагивая при звуке церковного колокола, отбивавшего часы, ибо для меня он звучал как голос умерших. В это время я всегда размышлял о том, кем стану я в будущем и какие великие дела совершу. И эхом этих мыслей отдавались мои шаги, упорно твердя все об одном и том же, словно я вернулся домой, чтобы строить воздушные замки подле матери, пребывающей среди живых.

Большие перемены произошли со старым моим домом. Исчезли растрепанные гнезда, столь давно покинутые грачами, потеряли прежний свой вид деревья – ветви и верхушки у них были срублены или обломаны. Сад одичал, а многие окна в доме были закрыты ставнями. Теперь там жил только один несчастный умалишенный джентльмен да пекущиеся о нем домочадцы. Он постоянно сидел у моего маленького оконца и смотрел на кладбище, а я задавал себе вопрос, мелькают ли когда-нибудь в его больной голове те фантастические мысли, которые, бывало, занимали меня в розовеющее утро, когда я в ночной рубашонке выглядывал из того же самого оконца и в лучах восходящего солнца видел мирно пасущихся овец.

Прежние наши соседи, мистер и миссис Грейпер, уехали в Южную Америку, и дождь протекал сквозь крышу их опустевшего дома и оставлял пятна плесени на стенах. Мистер Чиллип женился вторым браком на высокой, костлявой, горбоносой женщине, и у них был сморщенный ребеночек с тяжелой головой, которую он не мог поднять, и с жалкими вытаращенными глазками, всегда как будто вопрошавшими, зачем он родился на свет.

Странное, смешанное чувство грусти и умиротворения испытывал я обычно, бродя по родным местам, пока зимнее солнце, начиная краснеть, не возвещало, что пора отправляться в обратный путь. Но когда эти места оставались позади и в особенности когда мы со Стирфортом весело садились за обед у пылающего камина, радостно было думать, что я там побывал. И едва ли меньшая радость охватывала меня, когда я приходил вечером домой, в свою опрятную комнатку, и, перелистывая книгу о крокодилах (она всегда лежала там, на маленьком столике), вспоминал с благодарностью о том, какое счастье иметь такого друга, как

Стирфорт, и такого друга, как Пегготи, и такую чудесную, великодушную бабушку, заменившую мне мать, которой я лишился.

С этих дальних прогулок я возвращался в Ярмут самым коротким путем, переправляясь на пароме. Паром доставлял меня на равнину между городом и морем, которую я мог пересечь напрямик, и, стало быть, не идти далеко в обход по дороге. Дом мистера Пегготи находился на этой пустоши, в каких-нибудь ста ярдах от моей тропы, и я всегда заглядывал туда мимоходом. Стирфорт обычно уже поджидал меня там, и мы вместе шагали по легкому морозцу в сгущающемся тумане к мерцающим огням города.

Однажды темным вечером, когда я задержался дольше, чем обычно, – в тот день я ходил прощаться с Бландерстоном, так как мы уже собирались ехать домой, – я застал в доме мистера Пегготи только одного Стирфорта, задумчиво сидевшего у огня. Он был так поглощен своими мыслями, что не слышал моего приближения. Впрочем, он мог бы не расслышать тихих шагов по песку, даже если бы и не сидел в раздумье, но он не пошевелился и тогда, когда я вошел. Я стоял совсем близко, смотрел на него, а он, мрачно нахмурившись, по-прежнему о чем-то размышлял.

Когда я положил руку ему на плечо, он вздрогнул так, что невольно вздрогнул и я.

– Вы появляетесь передо мной, словно призрак-обличитель! – воскликнул он почти раздраженно.

– Должен же я был как-то дать знать о себе, – отозвался я. – Я заставил вас спуститься со звезд?

– Нет, – отрезал он. – Нет.

– Значит, вознестись из каких-то глубин? – продолжал я, садясь рядом с ним.

– Я смотрел на картины, возникавшие в пламени, – ответил он.

– Но вы не даете мне на них взглянуть! – сказал я, так как он быстро начал размешивать огонь пылающей головней, высекая из нее сноп красных искр, которые с гудением взвились вверх по узкому дымоходу.

– Вы бы все равно их не увидели, – заявил он. – Терпеть не могу этот сумеречный час… Не то день, не то ночь. Как вы запоздали! Где вы были?

– Ходил попрощаться с родными местами, – ответил я.

– А я сидел здесь, – Стирфорт окинул взглядом комнату, – думал обо всех этих людях, которых мы застали такими счастливыми в вечер нашего приезда, думал – вероятно, эти мысли навеяло одиночество, – что они могут рассеяться по белу свету, умереть или попасть бог весть в какую беду. Дэвид, как я жалею, что эти последние двадцать лет не было у меня отца!

– Дорогой мой Стирфорт, что случилось?

– Как я жалею о том, что не было у меня хорошего, рассудительного наставника! – воскликнул он. – Как я жалею, что я сам не был для себя хорошим наставником!

Горькое уныние, звучавшее в этих словах, привело меня в изумление. Никогда я не предполагал, что он может быть так не похож на самого себя.

– Насколько было бы для меня лучше родиться этим беднягой Пегготи или его неотесанным племянником, но только не быть самим собою, который в двадцать раз богаче и в двадцать раз умнее их… Тогда я не мучился бы так, как мучился в этом чертовом баркасе последние полчаса! – продолжал он, вставая и угрюмо облокачиваясь на каминную полку, причем взгляд его не отрывался от огня.

Я был так поражен происшедшей с ним переменой, что сначала только смотрел на него молча, а он, подперев голову рукой, хмуро глядел на огонь. Наконец с непритворной тревогой я стал просить, чтобы он рассказал, чем он так взволнован, и позволил мне посочувствовать ему, даже если я не могу помочь советом. Не успел я договорить, как он стал смеяться – сначала с досадой, а потом своим обычным веселым смехом.

– Вздор! Все это пустяки, Маргаритка! – вскричал он. – Я уже говорил вам, дружище, в гостинице, в Лондоне, что бываю скучен самому себе. А вот сейчас я был себе страшен – должно быть, меня преследовал мучительный кошмар. Иной раз, когда сидишь без дела, в памяти всплывают детские сказки, но их почему-то не узнаешь. Вероятно, я принял себя за того плохого мальчика, который «не слушался» и достался на съедение львам… Пожалуй, это более внушительно, чем быть разорванным собаками… Как говорят старухи, мурашки забегали у меня по спине. Я боялся самого себя.

– Мне кажется, ничего другого вы не боитесь, – сказал я.

– Пожалуй, а, однако, немало есть такого, чего следовало бы бояться, – отозвался он. – Ну, вот и прошло! Больше я не намерен приходить в уныние, Дэвид, но повторяю, дружище: хорошо было бы для меня (да и не только для меня), если бы мною руководил строгий и рассудительный отец!

Лицо его всегда было очень выразительно, но никогда не видел я его таким мрачным и серьезным, как в ту минуту, когда, не спуская глаз с огня, он произнес эти слова.

– Довольно об этом! – сказал он, махнув рукой, как будто отбрасывая от себя прочь какой-то предмет. – «Уж нет его – и человек я снова!» – как Макбет.[52] А теперь обедать! Если я, Маргаритка, подобно Макбету, не расстроил пиршества, учинив какой-то совершенно непонятный беспорядок.

– Но хотел бы я знать, где они все! – сказал я.

– Бог их знает. – ответил Стирфорт. – Разыскивая вас, я дошел до переправы, потом забрел сюда, а дома никого нет. Я погрузился в раздумье, и в таком состоянии вы меня застали.

Тут появилась с корзинкой миссис Гаммидж и объяснила, почему в доме никого нет. Она отправилась за какими-то покупками и очень спешила, чтобы поспеть с ними к моменту возвращения мистера Пегготи, а дверь оставила незапертой на случай, если в ее отсутствие вернутся домой Хэм и малютка Эмли, которая в тот день рано кончала работу. Стирфорт, весьма улучшив расположение духа миссис Гаммидж веселым приветствием и шутливым поцелуем, взял меня под руку и поспешил увести.

Он тоже пришел в прекрасное расположение духа, как и миссис Гаммидж, снова был, по своему обыкновению, весел и дорогой поддерживал оживленный разговор.

– Итак, завтра кончается для нас жизнь пиратов, – посмеиваясь, сказал он.

– Да, решено, – отозвался я. – Уже заказаны места в карете.

– Значит, теперь уже все кончено, – сказал Стирфорт. – А я почти уверовал в то, что нет других дел на свете, как носиться по волнам близ Ярмута. Да лучше бы их и не было!

– Только до тех пор, пока это дело не прискучило, – засмеялся я.

– Пожалуй, – согласился он, – хотя это довольно саркастическое замечание для такого любезного и простодушного человека, как мой юный друг. Ну, что ж! Должно быть, я капризен, Дэвид. Знаю, что это так. Но я умею ковать железо, пока оно горячо. Мне кажется, я уже мог бы выдержать довольно строгий экзамен на лоцмана в этих водах.

– Мистер Пегготи говорит, что вы просто чудо, – заявил я.

– Морской феномен? – расхохотался Стирфорт.

– Да, он так думает и, конечно, прав. Вы сами знаете, с каким рвением вы беретесь за любое дело и как легко с ним справляетесь. Больше всего поражает меня в вас, Стирфорт, что при ваших способностях вы работаете только порывами и довольствуетесь этим.

– Довольствуюсь? – весело переспросил он. – Я ничем не довольствуюсь, разве только вашей наивностью, нежная моя Маргаритка. А что касается порывов, я так и не постиг искусства привязывать себя к какому-нибудь из колес, на которых без конца вращаются Иксионы[53] нашего времени. Случилось так, что в годы ученья неумелые наставники меня этому не обучили, а теперь мне уже все равно… А известно ли вам, что я купил здесь судно?

– Удивительный вы человек, Стирфорт! – воскликнул я и остановился, ибо впервые услышал об этой покупке. – Да ведь вам, может быть, больше никогда и не захочется побывать здесь!

– Этого я не знаю, – возразил он. – Здешние места мне понравились. Во всяком случае, – он быстро зашагал вперед и увлек меня за собой, – я купил судно, которое здесь продавалось, – по словам мистера Пегготи, это клиппер, и так оно и есть, – а в мое отсутствие его хозяином будет мистер Пегготи.

– Вот теперь я вас понимаю, Стирфорт! – возликовал я. – Вы делаете вид, будто купили его для себя, но все устроили так, чтобы выгоду получил он. Зная вас, я должен был догадаться сразу. Мой славный, добрый Стирфорт, могу ли я высказать то, что думаю о вашей щедрости?

– Ш-ш-ш! – зашикал он, покраснев. – Чем меньше слов, тем лучше.

– Ну разве я не знал, разве я не говорил, что вы никогда не оставались равнодушным к радостям и скорбям, к любым чувствам таких честных людей! – воскликнул я.

– Да, да, все это вы мне говорили, и на этом мы покончим! Достаточно слов!

Я боялся рассердить его, продолжая разговор о том, к чему он относился так беспечно, но я не переставал об этом думать, покуда мы шли, все ускоряя шаг.

– Судно нужно оснастить заново, – сказал Стирфорт, – и я оставлю здесь для присмотра Литтимера. Тогда я буду знать, что все в порядке. Я вам говорил, что приехал Литтимер?

– Нет.

– Ну как же! Явился сегодня утром с письмом от матери.

Я встретился с ним глазами и заметил, что он побледнел, даже губы его побелели, но он очень пристально смотрит на меня. Со страхом я подумал, что какая-нибудь размолвка между ним и его матерью довела его до того состояния, в каком я застал его у покинутого очага. Я высказал свое предположение.

– О нет! – сказал он, покачивая головой и тихонько посмеиваясь. – Ничего похожего. Да, мой слуга приехал.

– И он все такой же? – спросил я.

– Все такой же, – подтвердил Стирфорт. – Холодный и молчаливый, как Северный полюс. Он позаботится о том, чтобы судно заново окрестили. Сейчас оно называется «Буревестник»… Очень нужен мистеру Пегготи «Буревестник»! Я дам ему другое имя.

– Какое? – спросил я.

– «Малютка Эмли».

Он продолжал пристально смотреть на меня, и я прочел в его глазах напоминание, что он не желает выслушивать хвалу его деликатности. По лицу моему было видно, какое удовольствие мне доставила эта последняя новость; но я ограничился несколькими словами, и он снова улыбнулся обычной своей улыбкой и, казалось, почувствовал облегчение.

– Но поглядите-ка, вот идет сама малютка Эмли! – воскликнул он, всматриваясь вдаль. – И с нею этот парень! Честное слово, он настоящий рыцарь. Ни на шаг от нее не отходит!

В ту пору Хэм работал на верфи, где строились суда, и, от природы способный к этому ремеслу, стал искусным мастером. Он был в своем рабочем платье и вид имел довольно грубоватый, но мужественный и казался надежным защитником прелестной девушки, шедшей рядом с ним. Его лицо, открытое и честное, выражало нескрываемую гордость ею и любовь к ней, что, на мой взгляд, делало его поистине красивым. Когда они к нам приблизились, я подумал, что даже и в этом отношении они – подходящая пара.

Мы остановились, чтобы поговорить с ними, а она робко высвободила свою руку из-под его руки и, краснея, протянула ее Стирфорту и мне. Мы обменялись несколькими словами, затем они двинулись дальше, но она уже не взяла его под руку и, как будто вес еще робея и

смущаясь, шла рядом с ним. Это показалось мне очень милым, и, вероятно, то же самое подумал Стирфорт, когда, обернувшись, мы смотрели, как исчезают вдали их фигуры при свете молодого месяца.

И вот в этот самый момент мимо нас прошла – очевидно, следуя за ними, – молодая женщина, приближения которой мы не заметили: но когда она поравнялась с нами, я разглядел ее лицо, и оно пробудило во мне какое-то смутное воспоминание. Она была бедно и слишком легко одета, вид ее был измученный, но дерзкий и заносчивый, впрочем, сейчас, казалось, она все предала воле ветра и думала только о том, чтобы идти за ними следом. Когда они скрылись вдали и между нами, морем и облаками виднелась одна лишь темная равнина, исчезла и эта женщина, которая держалась все время на одном и том же расстоянии от них.

– За девушкой следует черная тень, – сказал Стирфорт, остановившись, как вкопанный. – Что это значит?

Он говорил тихо, и его голос звучал как-то странно.

– Должно быть, она хочет попросить у них милостыню, – отозвался я.

– Нищенка… это не удивительно, – сказал Стир-форт. – Но странно, что именно сегодня вечером нищенка приняла такой облик.

– Почему? – спросил я.

– Право же, только потому, что, когда она проходила мимо, я думал о чем-то в этом роде. Черт возьми, откуда она взялась?

– Вероятно, вышла из тени, которая падает от этой стены, – сказал я, когда мы зашагали по дороге, шедшей вдоль какой-то стены.

– Она исчезла! – оглянувшись, воскликнул он. – И пусть исчезнет с ней все зло! А теперь – обедать.

Но он снова и снова оглядывался на мерцающую вдали полосу моря. И несколько раз, пока мы проходили короткий остаток пути, он отрывисто выражал свое изумление. Казалось, забыл он об этой встрече только тогда, когда, согревшиеся и оживленные, мы сидели за столом при свете камина и свечи.

Литтимер был здесь, и его присутствие оказало на меня обычное воздействие. Когда я, обращаясь к нему, выразил надежду, что миссис Стирфорт и мисс Дартл находятся в добром здоровье, он поблагодарил и ответил почтительно (и, конечно, респектабельно), что они здоровы и просили передать привет. Это было все, и, однако, он словно сказал мне так ясно, как только можно было сказать: «Вы очень молоды, сэр, вы чрезвычайно молоды». Мы уже кончали обедать, когда он вышел из угла, откуда следил за нами или, как мне чудилось, за мной, и, приблизившись шага на два, сказал своему хозяину:

– Прошу прощенья, сэр. Мисс Моучер здесь.

– Кто? – с величайшим изумлением вскричал Стирфорт.

– Мисс Моучер, сэр.

– Черт возьми! Да что же она здесь делает? – спросил Стирфорт.

– Должно быть, она родом из этих краев, сэр. Она сказала мне, сэр, что каждый год приезжает сюда по делам. Я встретил ее сегодня на улице, и она пожелала узнать, окажете ли вы ей честь принять ее сегодня после обеда, сэр.

– Знаете ли вы, Маргаритка, эту великаншу, о которой идет речь? – осведомился Стирфорт.

Пришлось признаться – хоть мне и было стыдно предстать в невыгодном свете перед Литтимером, – что я совсем не знаю мисс Моучер.

– В таком случае, вы с ней познакомитесь. Она одно из семи чудес света, – сказал Стирфорт. – Когда придет мисс Моучер, проводите ее сюда.

Эта леди пробудила мое любопытство еще и потому, что Стирфорт разразился громким хохотом, когда я заговорил о ней, и наотрез отказался отвечать на вопросы, какие я ему задавал. И потому, когда уже убрали со стола и мы сидели за графином вина у камина, я пребывал в некотором нетерпении. Так прошло примерно полчаса, наконец дверь открылась, и Литтимер с присущим ему невозмутимым спокойствием доложил:

– Мисс Моучер!

Я уставился на дверь и ничего не увидел. Но я продолжал смотреть, и только-только подумал, что мисс Моучер что-то уж очень замешкалась, как вдруг, к крайнему моему изумлению, из-за дивана, стоявшего между мной и дверью, вышла, переваливаясь, толстая карлица лет сорока – сорока пяти, с огромной головой и широким лицом, с плутовскими серыми глазками и такими коротенькими ручками, что, когда, подмигнув Стирфорту, она хотела лукаво приложить палец к курносому носу, ей пришлось нагнуть голову, чтобы палец и нос соприкоснулись. Подбородок ее, – так называемый двойной, – был столь жирен, что целиком поглотил завязанные бантом ленты шляпки. Шеи у нее вовсе не было, не было и никакой талии, а ноги были такие, что о них и упоминать не стоит, ибо хотя верхняя половина ее туловища вплоть до того места, где надлежало быть талии, казалась даже длиннее, чем следует, а заканчивалась мисс Моучер, как и всякое человеческое существо, парой ног, но она была такой коротышкой, что стояла перед самым обыкновенным стулом, как перед столом, положив на сиденье свою сумку. Эта леди, одетая довольно небрежно, с трудом приложила, как я уже упомянул, указательный палец к носу, – для чего поневоле склонила голову набок, – прикрыла один глаз, сделала чрезвычайно многозначительную мину и в течение нескольких секунд зорко смотрела другим глазком на Стирфорта, после чего разразилась потоком слов.

– Ах, мой цветочек! – ласково воскликнула она, покачивая своей большущей головой. – Так вот ты где! Дрянной мальчишка, фи, как тебе не стыдно! Что ты делаешь так далеко от дома? Наверное, занимаешься какими-нибудь проказами. О, ты плутишка, Стирфорт, да и я тоже плутишка. Ха-ха-ха! Не правда ли, ты поставил бы сто фунтов против пяти, что не встретишь меня здесь? Да уж что говорить, где меня только нет! Я и здесь, и там, и всюду, как полкроны фокусника в носовом платке леди. Кстати о носовых платках – и о леди тоже, – какое утешение, чтоб не сглазить, доставляешь ты своей счастливой матушке, не правда ли, мой миленький?

Прервав свои разглагольствования, мисс Моучер развязала ленты шляпки, закинула их за спину и, пыхтя, уселась перед камином на скамеечку для ног, превратив обеденный стол красного дерева в своеобразную беседку, приютившую ее под своим кровом.

– Уф! Слишком уж я располнела… Что правда то правда, Стирфорт, – продолжала она, похлопывая руками по коленкам и хитро посматривая на меня. – Поднялась по лестнице, и теперь мне так же трудно глотнуть воздуху, как выпить ведро воды. А ведь если бы ты увидел меня в окне верхнего этажа, ты подумал бы, что я красивая женщина, верно?

– Где бы я вас ни увидел, я бы всегда это подумал, – ответил Стирфорт.

– Брось, хитрец! – воскликнула коротышка, замахнувшись на него носовым платком, которым вытирала себе лицо. – Бесстыдник! Но даю тебе честное слово, была я на прошлой неделе у леди Мизере – вот это женщина! Как она сохранилась! И сам Мизере вошел в комнату, где я ее ждала, – вот это мужчина! Как он сохранился! И парик его сохранился, а он его носит вот уже десять лет… И начал он рассыпаться передо мной в комплиментах, так что я уже подумала, не придется ли мне звонить в колокольчик. Ха-ха-ха! Он милый шалопай, но ему не хватает моральных принципов.

– Какие услуги вы оказываете леди Мизере? – осведомился Стирфорт.

– Это уже будут сплетни, дитя мое! – ответила она, снова прижав палец к носу, скорчила гримасу и подмигнула с видом на редкость смышленого чертенка. – Тебе-то какое дело? Тебе, конечно, не терпится узнать, пекусь ли я о том, чтобы у нее волосы не падали, или крашу их,

или забочусь о цвете ее лица и ухаживаю за ее бровями. Не правда ли? Погоди, мой миленький, может, я тебе и расскажу! Знаешь ли ты – как звали моего прадеда?

– Нет, – сказал Стирфорт.

– Фамилия его была Уокер,[54] дитя мое, – объявила мисс Моучер, – и происходил он из рода Уокеров, и от них я унаследовала все свои уловки и проказы.

Никогда я не видывал, чтобы кто-нибудь так подмигивал, как мисс Моучер, и так владел собой, как мисс Моучер. Была у нее еще одна примечательная черта: слушая чужие речи или ожидая ответа на свои собственные слова, она, как сорока, лукаво склоняла голову набок и закатывала один глаз. В глубочайшем изумлении я сидел, уставившись на нее, и, боюсь, совсем забыл о правилах приличия.

Тем временем она придвинула к себе стул и энергически занялась тем, что извлекла из сумки (причем каждый раз запускала туда свою коротенькую ручку до самого плеча) флакончики, губки, гребешки, щеточки, лоскутки фланели, маленькие щипцы для завивки волос и разные другие инструменты; все это она нагромождала на стуле. Вдруг она оторвалась от этого занятия и, к великому моему смущению, спросила Стирфорта:

– Как зовут твоего друга?

– Мистер Копперфилд, – ответил Стирфорт. – Он хочет познакомиться с вами.

– Ну, что ж, он познакомится! Мне самой показалось, что он этого хочет, – сказала мисс Моучер и, смеясь, направилась ко мне вперевалку, держа в руке сумку. – Лицо как персик! – воскликнула она, привстав на цыпочки перед моим стулом, чтобы ущипнуть меня за щеку. – Соблазнительно! Очень люблю персики. Рада познакомиться с вами, мистер Копперфилд.

Я отвечал, что осчастливлен такою честью и разделяю ее радость.

– Ах, бог мой, как мы вежливы! – воскликнула мисс Моучер, делая нелепую попытку прикрыть свое широкое лицо крохотной ручонкой. – Сколько в этом мире всякой чепухи и плутней!

Эти слова были обращены доверительно к нам обоим, а крошечная ручонка сползла с лица и снова погрузилась по самое плечо в сумку.

– Что вы хотите этим сказать, мисс Моучер? – осведомился Стирфорт.

– Ха-ха-ха! Славно мы валяем дурака, не правда ли, малыш? – отозвалась крохотная женщина, роясь в сумке, и, склонив голову набок, закатила один глаз. – Смотри-ка! – Она достала что-то из сумки. – Это обрезки ногтей русского князя. «Князь Алфавит шиворот-навыворот», вот как я его называю, потому что в его фамилии все буквы перемешаны как попало.

– Русский князь – один из ваших клиентов? – спросил Стирфорт.

– Допустим, что так, мой миленький, – отвечала мисс Моучер. – Я привожу в порядок его ногти. Два раза в неделю! На руках и на ногах.

– Надеюсь, он хорошо платит, – сказал Стирфорт.

– Платит, как словами сыплет, – не считая, – заявила мисс Моучер. – Он не скряжничает, как какие-нибудь молокососы. Да, уж кто-кто, а он не молокосос – поглядели бы на его усы! От природы они рыжие, а благодаря искусству – черные.

– Разумеется, благодаря вашему искусству, – сказал Стирфорт.

Мисс Моучер подмигнула в подтверждение этих слов.

– Ему пришлось послать за мной. Ничего не мог поделать. На его старою краску повлиял климат – она хорошо держалась в России, а здесь оказалась никуда не годной. Ну, князь и заржавел! Вы такого отроду не видывали. Точь-в-точь старое железо!

– Потому вы и назвали его дураком? – спросил Стирфорт.

– Ну, и тупица же ты! – воскликнула мисс Моучер, энергически мотая головой. – Я говорила о том, что все мы вообще валяем дурака, а в доказательство предъявила тебе обрезки княжеских ногтей. Княжеские ногти упрочили мое положение в благородных семействах более, чем все мои таланты вместе взятые. Я всегда ношу их с собой. Это лучшая рекомендация. Мисс Моучер стрижет ногти князю – этим все сказано! Я их раздаю молодым леди, а те, кажется, хранят их в своих альбомах. Ха-ха-ха! Честное слово, «вся социальная система» (как выражаются в своих речах джентльмены в парламенте) – это система княжеских ногтей! – заключила эта самая миниатюрная из женщин, пытаясь скрестить ручонки и кивая своей огромной головой.

Стирфорт от души расхохотался, расхохотался и я. А мисс Моучер продолжала мотать головой, сильно кренившейся набок, закатывать один глаз и подмигивать другим.

– Ну-ну, все это пустяки! – сказала она, хлопнув себя по коленкам и вставая. – Милости прошу сюда, Стирфорт, исследуем твой полюс и покончим с этим делом.

Затем она выбрала флакончик, две-три маленьких щеточки и, к удивлению моему, осведомилась, выдержит ли стол. Услышав утвердительный ответ Стирфорта, она придвинула стул и, попросив разрешения опереться на мою руку, проворно взобралась на стол, словно на подмостки.

– Если кто-нибудь из вас видел мои лодыжки, – начала она, благополучно утвердившись на возвышении, – вы мне так и скажите, а я пойду домой и покончу с собой.

– Я не видел, – сказал Стирфорт.

– И я не видел, – заявил я.

– Ну, в таком случае я согласна еще пожить! – воскликнула мисс Моучер. – Пожалуй-ка, деточка моя, сюда, к миссис Бонд, она тебя прикончит.

Такими словами она приглашала Стирфорта отдать себя в ее руки. Тот послушно уселся спиной к столу, повернул ко мне смеющееся лицо и подставил свою голову для ее ободрения, явно преследуя одну лишь цель – самому позабавиться и меня позабавить. Изумительное зрелище представляла собой мисс Моучер, когда стояла над ним и рассматривала его прекрасные, густые каштановые волосы в большую круглую лупу, которую извлекла из кармана.

– Да ты – красавчик! – сказала мисс Моучер после краткого осмотра. – Но не будь меня, у тебя через год образовалась бы на макушке плешь, как у монаха. Одну минутку, мой юный друг, сейчас мы тебя отполируем так, что твои кудри продержатся еще десять лет!

С этими словами она смочила жидкостью из флакона кусочек фланели, проделала то же самое с маленькой щеточкой и принялась натирать ими макушку Стирфорта с невиданною мной доселе энергией; при этом она болтала без умолку.

– Есть такой Чарли Пайгрев, сын герцога, – сказала она. – Ты знаешь Чарли?

И она заглянула в лицо Стирфорту.

– Немного знаю, – сказал Стирфорт.

– Вот это человек! Вот это усы! А что касается до ног Чарли, то если бы только они были одна другой под стать, – а это не так! – равных им не найти. Но хотите – верьте, хотите – не верьте, а он попробовал обойтись без меня – хоть служит в лейб-гвардии!

– Да он сумасшедший! – сказал Стирфорт.

– Похоже на то. Но сумасшедший он или нет, такую попытку он сделал, – заявила мисс Моучер. – Вы только подумайте: он отправляется в парфюмерный магазин и требует флакон Мадагаскарской жидкости.

– Чарли? – спросил Стирфорт.

– Да, Чарли. Но у них нет никакой Мадагаскарской жидкости.

– А зачем она? Ее пьют? – осведомился Стирфорт.

– Пьют! – повторила мисс Моучер и прервала свою работу, чтобы хлопнуть его по щеке. – Для ухода за усами, и ты это знаешь! Там, в лавке, была женщина, пожилая особа, ну, прямо настоящая мегера, которая даже названья этого снадобья не знала. «Прошу прощенья, сэр, – говорит Чарли эта мегера, – уж не… не румяна ли это?» – «Румяна! – говорит Чарли. – А как вы думаете – такая и сякая и всякие неподобающие слова, – зачем мне нужны румяна?» – «Прошу прощенья, не обижайтесь, сэр, – говорит мегера, – это снадобье у нас часто требуют и называют то так, то этак. Вот я и думала, что, может, и вы его спрашиваете». – Не переставая усердно заниматься шевелюрой Стирфорта, мисс Моучер продолжала: – Вот тебе, дитя мое, еще один пример, как можно валять дурака. Я и сама в этом замешана, мой мальчик. Много ли, мало ли – неважно. Молчок!

– В чем вы замешаны? Торгуете румянами? – спросил Стирфорт.

– А ты прикинь то да се, мой миленький ученичок, помножь на секреты торговли, и произведение даст тебе нужный итог! – ответила мисс Моучер, трогая себя за нос. – Ну, что ж, я тоже стараюсь как могу. Есть, скажем, одна вдовствующая особа. Она называет румяна – бальзам для губ! Другая – перчатками, та – блузкой, Эта – веером. А я называю как им будет угодно. Ну вот, я и достаю то, что им требуется! Но друг перед другом мы храним это в такой тайне, что они скорей будут румяниться в присутствии своих гостей, чем у меня на глазах. Скажем, я к ним прихожу, слой румян у них на лице толщиной в палец, а они меня спрашивают: «Как я выгляжу, Моучер? Не очень ли я бледна?» Ха-ха-ха! Разве это не значит потешаться и валять дурака, мой юный друг?

Никогда в своей жизни я не видел ничего похожего на мисс Моучер, которая от всей души потешалась, стоя на обеденном столе, и усердно натирала темя Стирфорта, подмигивая при этом мне поверх его головы.

– Ах! Этаких вещей в здешних краях не требуется. Ну вот я и опять разболталась. Я не видела ни одной хорошенькой женщины, Джемми, с тех пор как приехала сюда.

– В самом деле? – осведомился Стирфорт.

– Даже призрака ее не видела, – подтвердила мисс Моучер.

– А мы могли бы ей показать не призрак, а женщину во плоти, не так ли, Маргаритка? – сказал Стирфорт, подмигивая мне.

– Несомненно, – сказал я.

– Да ну? – воскликнула коротышка, зорко взглянув на меня и затем на Стирфорта. – Вот как?

Первое восклицание звучало как вопрос, адресованный нам обоим, а второе, как вопрос, обращенный только к Стирфорту. Не получив ответа ни на первый вопрос, ни на второй, она продолжала возиться с его прической, склонив голову набок и возведя один глаз к потолку, словно ожидая, что найдет ответ там, да к тому же незамедлительно.

– Ваша сестра, мистер Копперфилд? – воскликнула она после паузы, все еще глядя на потолок. – А?

– Нет! – сказал Стирфорт, прежде чем я успел ответить. – Ничуть не бывало. Напротив, мистер Копперфилд, если я не ошибаюсь, был сам к ней весьма неравнодушен.

– А теперь-то как? – спросила мисс Моучер. – Он что, ветреник? Какой срам! Пил нектар с каждого цветка и менялся каждый час, пока Полли его страсть не утолила? Ее зовут Полли?

Этот вопрос она задала так стремительно и так буравила меня взглядом, что на миг мне стало не по себе.

– Нет, мисс Моучер, ее зовут Эмли.

– О! – воскликнула она тем же тоном. – Вот оно как! Ну что я за трещотка! Правда, я болтушка, мистер Копперфилд?

Тон ее и взгляд не понравились мне, показавшись не соответствующими предмету разговора. И я сказал более сухо, чем кто-либо из нас троих говорил до сих пор:

– Она так же достойна уважения, как и красива. И она помолвлена с прекрасным человеком из ее же круга. Я восхищаюсь ее красотой, но не меньше почитаю ее за скромность.

– Хорошо сказано! – воскликнул Стирфорт. – Слушайте, слушайте! А теперь, Маргаритка, я удовлетворю любопытство этой крохотной Фатимы,[55] чтобы она не строила никаких догадок. Мисс Моучер, эта особа не то состоит в ученицах, не то служит в портняжной мастерской и галантерейной лавке «Омер и Джорем», здесь, в городе. Запомнили? Омер и Джорем. Она дала обещание своему кузену выйти за него замуж, об этом обещании упомянул мой друг… Имя кузена – Хэм, фамилия – Пегготи, работает на судостроительной верфи здесь же, в этом городе. Живет она у своего родственника. Имя неизвестно, фамилия – Пегготи, занятие – морской промысел, также в этом городе. Она самая очаровательная маленькая фея во всем мире. Я восхищаюсь ею, как восхищается и мой друг. Если бы меня не заподозрили в том, что я хочу умалить достоинства ее суженого, – а это не понравилось бы моему другу, – я мог бы добавить, что, по моему мнению, она себя губит и должна искать кого-нибудь получше, так как, честное слово, рождена быть леди!

Эти слова, сказанные медленно и раздельно, мисс Моучер слушала, склонив голову набок и возведя глаз к потолку, словно она все еще ждала, что оттуда последует ответ. Когда Стирфорт замолк, она моментально оживилась и затрещала опять.

– О! Так вот в чем дело! – воскликнула она, подстригая бачки Стирфорта ножницами, которые без устали порхали вокруг его головы. – Прекрасно! Очень хорошо! Прямо роман! И он должен кончиться так: «И тут они зажили счастливо». Не правда ли? Решительно как в игре в фанты! Я люблю мою милочку на букву «Э» потому что она подобна Эльфу. Я ненавижу себя на букву «Э» потому что я эгоист и хочу ее похитить. Я надеюсь покорить ее своей элегантностью и напоить любовным эликсиром! Разгадка: ее зовут Эмли! Ха-ха-ха! Правда, я болтушка, мистер Копперфилд?

Тут она хитро поглядела на меня, но, не дожидаясь ответа, перевела дыхание и продолжала:

– Ну, вот! Если какой-нибудь повеса был когда-нибудь безупречно подстрижен и причесан, то это ты, Стирфорт! Я знаю твою голову, как свою собственную. Ты слышишь меня, дорогой мой? Я твою голову знаю! – Тут она заглянула ему в лицо. – А теперь ты свободен, Джемми, как говорят в суде. Если мистер Копперфилд сядет на этот стул, я займись им.

– Что вы на это скажете, Маргаритка? – засмеялся Стирфорт, вставая со стула. – Хотите привести себя в порядок?

– Благодарю вас, мисс Моучер, не сегодня.

– Не говорите так решительно, – сказала мисс Моучер, окидывая меня взглядом мастера своего дела. – Не подправить ли брови?

– Благодарю, в другой раз.

– Их надо вытянуть на четверть дюйма к вискам. Не пройдет и двух недель, как мы этого добьемся, – сказала мисс Моучер.

– Нет, благодарю вас. Не сейчас.

– А как насчет хохолка? Нет? Тогда давайте попробуем сделать вам бачки. Садитесь!

Снова я отказался, но покраснел, ибо она коснулась слабого моего места. Тут мисс Моучер пришла к заключению, что в настоящее время я действительно не расположен приукрасить себя с помощью ее искусства и сегодня воспротивлюсь соблазнам флакона, которым она потрясала для вящей убедительности; заявив, что можно отложить это дело на несколько дней, она попросила меня дать ей руку, дабы она могла спуститься со своего возвышения. Благодаря

моей помощи она легко соскочила со стола и начала подвязывать ленты своей шляпки под двойным подбородком.

– Сколько прикажете? – спросил Стирфорт.

– Пять шиллингов, мой мальчик. Это даром! Правда, я легкомысленна, мистер Копперфилд?

Я вежливо ответил:

– Что вы! Что вы!

Но про себя я согласился с этим, когда она, как мальчишка-пирожник, подбросила полученные две полукроны, поймала их, опустила в карман и звучно хлопнула по карману ладонью.

– Это моя касса, – промолвила мисс Моучер и, подойдя снова к стулу, уложила в сумку предметы, ранее оттуда извлеченные. – Ну что же, все ли я уложила? Кажется, все. Не очень приятно очутиться в положении верзилы Нэда Бидвуда, когда его потащили в церковь, чтобы, по его словам, «женить на ком-то», а невесту позабыли привести. Ха-ха-ха! Повеса этот Нэд, но такой забавник. А теперь я знаю, что разобью ваши сердца, и тем не менее должна вас покинуть. Соберите вдвоем все свое мужество и выдержите этот удар. До свиданья, мистер Копперфилд! А ты, норфолкский плутишка, береги себя. Ох, как я разболталась! Это ваша вина, негодники. Прощаю вам. «Боб сойр!»,[56] как сказал вместо «добрый вечер!» англичанин, которого начали обучать французскому. Да еще удивлялся, что это звучит совсем как по-английски. Боб сойр, мои пташки!

Все еще болтая, она пошла вразвалку к двери, а мешок висел у нее на руке. Вдруг она остановилась и спросила, хотим ли мы, чтобы она оставила нам прядь своих волос.

– Правда, я болтушка? – добавила она, как бы поясняя свое предложение, и, приложив палец к носу, исчезла.

Стирфорт хохотал так, что и я не удержался; если бы не его хохот, вряд ли я стал бы смеяться. Когда мы вдоволь нахохотались, – а это заняло немало времени, – он сказал мне, что у мисс Моучер обширное знакомство и она оказывает весьма многим самые разнообразные услуги. Кое-кто видит в ней только диковинку, но она чрезвычайно умна и наблюдательна, и хотя ручки у нее короткие, зато нос длинный. Упоминание ее о том, что она бывает то там, то сям, истинная правда, ибо время от времени она совершает поездки по провинции, повсюду подцепляет клиентов и знает всех и каждого. Я спросил Стирфорта, злокозненный ли у нее характер, или она женщина доброжелательная. Но, несмотря на то, что я несколько раз повторил этот вопрос, он уклонился от ответа, и я больше об этом не спрашивал. Он же с большою поспешностью стал рассказывать мне о ее мастерстве и доходах и добавил, что, ежели мне пропишут когда-нибудь банки, она сможет их поставить по всем правилам науки.

Она была главной темой нашей беседы в течение всего вечера, а когда мы простились перед сном и я спускался вниз, Стирфорт перегнулся через перила лестницы и крикнул мне вслед: «Боб сойр!»

Я был очень удивлен, когда, подходя к дому мистера Баркиса, увидел Хэма, который ходил перед домом взад и вперед, но еще больше удивился я, узнав от него, что малютка Эмли находится здесь, в доме. Разумеется, я спросил его, почему он не с ней, а бродит по улицам один.

– Видите ли, мистер Дэви, Эмли… она с кем-то там разговаривает, – сказал он, запинаясь.

– Мне кажется, Хэм, именно поэтому и вы должны быть там, – улыбнулся я.

– Оно, конечно, мистер Дэви, так оно полагается, но… знаете ли, – тут он понизил голос и заговорил очень серьезно, – это молодая женщина, сэр… эту молодую женщину… Эмли ее знала когда-то, но теперь ей не следовало бы ее знать.

При этих словах в моей памяти встала фигура женщины, шедшей за ними несколько часов назад.

– Эта несчастная, пропащая женщина, мистер Дэви, в городе ее все презирают. От выходца из могилы так не шарахались бы, как шарахаются от нее, – проговорил Хэм.

– Не ее ли я видел на берегу после встречи с вами?

– Она шла за нами? – спросил Хэм. – Может, и так, мистер Дэви. Точно не могу сказать, но вскорости после того она подкралась к окошку Эмли, – пришла на огонек, – и прошептала: «Эмли! Ради Христа, пожалей меня, Эмли! Ведь ты женщина, и у тебя есть сердце. Когда-то и я была такая, как ты!» Ну, как было не выслушать ее после таких слов?

– Правильно, Хэм. А что сделала Эмли?

– Эмли ответила: «Неужели это ты, Марта? Не может быть!» Видите ли, они долгое время работали вместе у мистера Омера.

– Теперь я вспомнил! – воскликнул я, припомнив двух девушек, которых видел, когда впервые попал к мистеру Омеру. – Я ее хорошо помню.

– Марта Энделл. На два-три года старше Эмли, но в школе они учились вместе.

– Я никогда не слышал ее имени, – сказал я. – Но продолжайте, не хочу вас перебивать.

– Да что еще говорить!.. Все сказано в этих словах: «Эмли! Ради Христа, пожалей меня. Ведь ты женщина, и у тебя есть сердце. Когда-то и я была такая, как ты!» Она хотела поговорить с Эмли. А Эмли не могла с ней там говорить, потому что ее дядя только что пришел, а он… да, мистер Дэви, он добрый, сердце у него мягкое, но он… – тут Хэм закончил с величайшей убежденностью: – Он не допустил бы, чтобы они сидели рядом, не допустил бы ни за какие сокровища, лежащие на дне морском!

Я знал, что это так. Я понял это мгновенно, так же хорошо, как и Хэм.

– И вот Эмли написала карандашом на клочке бумаги, – продолжал Хэм, – и просунула в окно записку, чтобы та отнесла ее сюда. «Передай эту записку моей тете, миссис Баркис, – прошептала она, – и из любви ко мне она пустит тебя к себе, а там дядя уйдет, и я смогу прийти». Потом она мне рассказала то, что я вам сказал, мистер Дэви, и просила меня проводить ее сюда. Что мне было делать? Конечно, ей не след знаться с такой женщиной, но я не могу ей отказать, когда… она начинает плакать.

Он засунул руку в нагрудный карман своей грубошерстной куртки и бережно вытащил оттуда хорошенький кошелечек.

– Если даже я мог бы в чем-нибудь ей отказать, когда она начинает… плакать, мистер Дэви, разве возможно было ей отказать, когда она попросила меня спрятать вот это, – Хэм нежно встряхнул кошелек, лежавший на шершавой ладони, – хоть я и знал, для чего он ей нужен! Прямо игрушечка! – продолжал Хэм, задумчиво глядя на кошелек. – А денег-то в нем, ох, маловато, Эмли, любовь моя!

Когда он снова спрятал кошелек, я горячо пожал ему руку, – это мне было проще, нежели говорить что-нибудь, – и мы ходили вместе минуты две в полном молчании. Вдруг открылась дверь, и Пегготи сделала Хэму знак войти. Я было хотел удалиться, но она кинулась за мной и попросила меня также войти в дом. Я предпочел бы миновать комнату, где они все находились, но они собрались в чистенькой кухоньке с кафельным полом, о которой я уже упоминал. Дверь с улицы вела прямо в нее, и я очутился среди них, прежде чем сообразил, куда я попал.

Девушка, которую я видел на берегу, находилась у очага. Она сидела на полу, положив голову на руку, которой оперлась о стул. Ее поза наводила на мысль, что голова этого погибшего создания покоилась на коленях у Эмли, а та только что встала со стула. Лица ее почти не было видно, волосы рассыпались в беспорядке, словно она сама их растрепала, но все же я разглядел, что она совсем молода и хороша собой. Пегготи плакала. Плакала и

малютка Эмли – когда мы вошли, все молчали, и оттого-то голландские часы, висевшие у шкафа с посудой, тикали, казалось, вдвое громче, чем обычно.

Эмли нарушила молчание.

– Марта хочет ехать в Лондон, – сказала она Хэму.

– Почему в Лондон? – спросил Хэм.

Он стоял между ними и смотрел на девушку; смотрел он на нее с состраданием, но было в его взгляде и недоверие, вызванное нежеланием видеть в ее обществе ту, кого он любит так горячо, – этот взгляд я хорошо запомнил. Они говорили так, будто она была больна, – тихим, приглушенным голосом, который тем не менее слышался отчетливо, хотя был едва громче шепота.

– Там будет лучше, чем здесь, – послышался третий голос, голос Марты (она оставалась неподвижной). – Там меня никто не знает. Здесь меня знают все.

– Что она там станет делать? – спросил Хэм.

Марта подняла голову, сумрачно посмотрела на него, и снова голова ее поникла, а правой рукой она обхватила шею и вдруг скорчилась, словно ее забила лихорадка или пронзила невыносимая боль.

– Она постарается вести себя хорошо, – сказала малютка Эмли. – Ты не знаешь, что она говорила нам… Правда, тетя, он… они… не знают?

Пегготи сочувственно кивнула головой.

– Я буду стараться, если вы мне поможете уехать, – сказала Марта. – Хуже, чем здесь, я не могу… себя вести. Я стану лучше. Ох! – Она вся задрожала. – Дайте мне уехать из этого города, где все меня знают с детства!

Эмли протянула руку к Хэму, и я видел, что он вложил в нее полотняный мешочек. Приняв это за свой кошелек, она шагнула раз или два, но вдруг опомнилась и, подойдя к нему, – он стоял рядом со мной, – показала мешочек.

– Это все твое, Эмли, – услышал я. – Все, что у меня на свете есть, все – твое, любовь моя. Одна только радость для меня – это ты!

На глазах ее снова показались слезы, но она повернулась и направилась к Марте. Я не знаю, сколько она ей дала. Я видел только, что она наклонилась над ней и засунула ей деньги за корсаж. Затем что-то шепнула и спросила, хватит ли этого.

– Больше чем нужно, – пролепетала Марта и поцеловала ей руку.

Потом она встала, натянула на плечи шаль, прикрыла ею лицо и, плача в голос, направилась медленно к двери, На мгновение она остановилась, словно хотела что-то сказать или вернуться назад. Но ни одно слово не сорвалось с ее уст. Заглушая шалью тихие, жалобные стоны, она переступила порог.

Дверь за ней захлопнулась, малютка Эмли бросила на нас троих быстрый взгляд, закрыла лицо руками и зарыдала.

– Не надо, Эмли! – сказал Хэм, ласково похлопывая ее по плечу. – Не надо, дорогая моя! Нечего тебе плакать, хорошая моя…

– О Хэм! – воскликнула она, продолжая горько рыдать. – Я совсем не такая хорошая, какой должна быть! Я знаю, иногда я неблагодарная, не такая, как надо…

– Что ты! Это неправда, – успокаивал ее Хэм.

– Это правда! – воскликнула малютка Эмли, рыдая и встряхивая головкой. – Я совсем не такая хорошая, какой должна быть. Совсем не такая! – И она плакала так, словно сердце у нее разрывалось. – Ты меня так любишь, а я часто бываю сердитой и мучаю тебя! – рыдала она. – Я такая капризная с тобой, а должна держать себя совсем по-другому! Ты так хорошо ко мне

относишься, а я такая дурная! Ведь мне бы и думать-то ни о чем другом не следовало, кроме как о том, чтобы тебя отблагодарить и чтобы ты был счастлив!

– Я и так счастлив благодаря тебе, дорогая моя! Я счастлив, когда вижу тебя. Я счастлив, думая о тебе целый день! – сказал Хэм.

– Ах! Этого недостаточно! Ты говоришь так потому, что не я хорошая, а ты сам хороший! О мой дорогой, было бы гораздо лучше, если бы ты полюбил другую девушку, не такую ветреную, как я, более достойную тебя! Она была бы целиком тебе предана, не такая, как я, переменчивая и своенравная!

– Бедняжка, какое у нее нежное сердце! – тихо сказал Хэм. – Из-за Марты она так разволновалась…

– Тетя, подойди ко мне, прошу тебя! – рыдала Эмли. – Дай я прижмусь к тебе… Ох, как я несчастна сегодня, тетя! Я совсем не такая хорошая, какой должна быть. Нет, нет, не такая!

Пегготи поспешила к стулу, стоявшему у очага. Обхватив ее шею руками, Эмли опустилась около нее на колени и пристально всматривалась в ее лицо.

– Ох, тетя, помоги мне! Хэм, дорогой, помоги! Мистер Дэвид, во имя прошлого, прошу вас, помогите! Я хочу быть лучше! Я хочу быть в тысячу раз более благодарной. Я хочу всегда помнить о том, какое счастье стать женой хорошего человека и жить спокойно. Ох, боже мой! Как болит сердце!

Она спрятала лицо на груди моей старой няни, мольбы ее оборвались; в скорби ее и боли было много детского и в то же время женского, как и во всем ее поведении (оно было так непосредственно, так удивительно подходило к ее красоте). Теперь она плакала молча, а моя старая няня успокаивала ее, как ребенка.

Постепенно рыдания стали утихать, а тогда и мы с ней заговорили – участливо ободряли ее, даже немного шутили, покуда она не подняла головы и не начала нам отвечать. Скоро она улыбнулась, потом даже засмеялась и, смещенная, уселась на стул. Пегготи привела в порядок ее распустившиеся локоны, вытерла ей глаза и оправила на ней платье, чтобы по возвращении ее домой дядя не спросил, почему плакала его любимица.

В этот вечер она была такой, какой никогда раньше я ее не видел: она запечатлела на щеке своего нареченного невинный поцелуй и прижалась к его могучему плечу, словно это была самая надежная ее опора. А когда при свете ущербной луны они удалялись вместе и я смотрел им вслед, сравнивая их уход с уходом Марты, я видел, что она держится за его руку обеими руками и все еще прижимается к нему.

Глава XXIII

Я убеждаюсь в правоте мистера Дина, а также выбираю себе профессию

Пробудившись на следующее утро, я много размышлял о малютке Эмли и о ее вчерашнем душевном состоянии после ухода Марты. Мне казалось, что меня посвятили в сокровенную жизнь семьи со всеми ее слабостями и нежной привязанностью друг к другу, о чем я не должен рассказывать никому, даже Стирфорту. Ни к одному существу на всем белом свете я не питал более нежных чувств, чем к подруге моего детства, которую я тогда преданно любил – в этом я был убежден в то время и буду убежден до моего смертного часа. И поведать кому-нибудь, даже Стирфорту, о том, чего она не могла утаить, когда ее душа случайно передо мной раскрылась, казалось мне неблаговидным поступком, недостойным меня, недостойным того ореола чистого, невинного детства, который всегда сиял для меня вокруг ее головки. Потому я порешил схоронить это в своем сердце, и ее образ приобрел для меня еще большую прелесть.

Мы сидели за завтраком, когда мне вручили письмо бабушки. Содержание его было таково, что Стирфорт, да и кто угодно, мог бы дать мне нужный совет; я рад был посоветоваться с ним о письме, но отложил разговор до того момента, когда мы отправимся домой. Теперь же мы должны были попрощаться с друзьями. Мистер Баркис сожалел о нашем

отъезде ничуть не меньше, чем другие, и я не сомневаюсь, открыл бы снова свой сундучок и пожертвовал еще одну гинею, ежели бы от этого зависело продлить наше пребывание в Ярмуте еще на двое суток. Пегготи и все ее семейство были глубоко опечалены нашим отъездом. Торговый дом «Омер и Джорем» в полном составе высыпал наружу, чтобы пожелать нам счастливого пути, а когда на свет появились наши саквояжи, которые надлежало отнести к стоянке карет, Стирфорта окружало столько рыбаков, предлагавших свои услуги, что мы не нуждались бы в носильщиках даже и в том случае, если бы с нами было багажа на целый полк. Одним словом, наш отъезд огорчил всех, кто нас знал, и мы оставляли немало людей, весьма сожалевших, что приходится с нами прощаться.

– Вы остаетесь здесь надолго, Литтимер? – спросил я его, покуда он ожидал отбытия кареты.

– Нет, сэр, полагаю ненадолго, – был ответ.

– Сейчас он не может этого сказать, – заметил небрежно Стирфорт. – Ему известно, что он должен делать, и он это сделает.

– Я в этом не сомневаюсь, – сказал я.

Литтимер приложил руку к шляпе в знак благодарности за лестное мнение о нем, и я почувствовал себя лет на восемь старше. Он приложил руку к шляпе еще раз, желая нам счастливого пути, и мы покинули его, оставив стоять на мостовой столь же респектабельным и загадочным, как египетская пирамида.

Сначала мы не разговаривали – Стирфорт был необычно молчалив, а я погрузился в размышления о том, скоро ли мне суждено увидеть снова эти знакомые места и какие перемены произойдут за это время здесь и со мною самим. Но вот Стирфорт, обладавший способностью в любой момент менять настроение духа, внезапно повеселел, оживился и дернул меня за рукав.

– Вымолвите хоть словечко, Дэвид! Вы что-то говорили за завтраком о письме?

– Ах, да! Письмо от бабушки, – сказал я, извлекая его из кармана.

– И что в нем заслуживает внимания?

– Видите ли, Стирфорт, бабушка напоминает мне, что я отправился в эту поездку, чтобы осмотреться вокруг и поразмыслить.

– Разумеется, вы так и поступили?

– Должен сказать, что я не слишком усердно следовал ее совету. Признаться, я об этом забыл.

– Ну так осмотритесь вокруг теперь и искупите вашу вину! Взгляните направо – там вы увидите равнину и болота. Взгляните налево – увидите то же самое. Посмотрите вперед – и никакой разницы не заметите, посмотрите назад – и там такая же картина!

Я засмеялся и ответил, что решительно не нахожу для себя никакой подходящей профессии на фоне этого пейзажа, может быть потому, что он слишком однообразен.

– А что говорит бабушка по сему поводу? – спросил Стирфорт, взглянув на письмо, которое я держал в руке. – Советует она вам что-нибудь?

– О да! Она спрашивает меня, не хотел ли бы я стать проктором.[57] Что вы на это скажете?

– Да ничего, – хладнокровно ответил Стирфорт. – Можете стать проктором, а можете еще чем-нибудь.

Я снова засмеялся, когда он столь равнодушно отнесся к любой профессии и призванию, и сказал ему об этом.

– А кто такой проктор, Стирфорт? – добавил я.

– Это что-то вроде церковного ходатая по делам. Он подвизается в этих затхлых судах, которые заседают в Докторс-Коммонс[58] – сонном уголке неподалеку от площади святого

Павла. Он все равно что поверенный[59] в обычных светских судах. Это чиновник, которому следовало бы исчезнуть два столетия назад. Вы лучше поймете, кто он такой, если я объясню вам, что такое Докторс-Коммонс. Это уединенное местечко, где применяются так называемые церковные законы и где проделывают разные фокусы с древними допотопными чудищами – парламентскими постановлениями. Три четверти человечества даже и не слышало об этих постановлениях, а остальная четверть считает, что еще во времена Эдуардов[60] они относились к разряду ископаемых. Это такое местечко, где с незапамятных времен существует монополия на ведение дел по завещаниям и бракам и где разбирают тяжбы, имеющие касательство к кораблям.

– Вздор, Стирфорт! – воскликнул я. – Неужели вы хотите сказать, что есть какая-то связь между мореходством и церковной службой?

– Конечно, я этого не хочу сказать, дорогой мой, – ответил Стирфорт. – Я лишь хочу сказать, что одни и те же люди в этом самом Докторс-Коммонс занимаются и теми и другими делами. Пойдите как-нибудь туда, и вы услышите, как они выпаливают скороговоркой добрую половину морских терминов из словаря Юнга по случаю того, что «Нэнси» наскочила на «Сару-Джейн» или мистер Пегготи и ярмутские рыбаки доставили в бурю якорь и цепь «Нельсону», идущему в Индию и терпевшему бедствие. А пойдите туда на следующий день, и вы услышите, как они обсуждают свидетельские показания, – взвешивая все «за» и «против», – по делу какого-нибудь священника, который дурно себя вел… И вы увидите, что судья по мореходному делу стал адвокатом по делу священника или наоборот. Они – словно актеры. Сегодня он судья, а завтра уже не судья, сегодня у него одна профессия, завтра другая, одним словом – перемена за переменой. Но это всегда остается доходным для них и занимательным для зрителей театральным представлением, которое дается перед избранным обществом.

– Но разве адвокат и проктор не одно и то же? – спросил я, немного озадаченный.

– Нет, не одно и то же, – сказал Стирфорт. – Адвокаты сведущи лишь в гражданском праве; они получают докторскую степень в колледже, вот почему я кое-что об этом знаю. Прокторы подготовляют дела для выступления адвокатов. И те и другие хорошо зарабатывают и ведут жизнь весьма удобную и приятную. Короче говоря, я советую вам, Дэвид, не пренебрегать Докторс-Коммонс. Могу добавить, если это вас интересует, что они кичатся своим положением.

Стирфорту была свойственна эта манера относиться несерьезно к предмету разговора, и, помня о ней, а также сохраняя свое собственное представление о почтенности этого старинного «сонного уголка неподалеку от площади св. Павла», я не находил возражений против предложения бабушки; решение вопроса она предоставляла мне, сообщая без всяких недомолвок, что эта идея пришла ей в голову, когда она посетила своего проктора в Докторс-Коммонс, чтобы составить завещание в мою пользу.

– Со стороны вашей бабушки это, во всяком случае, очень похвально, – заметил Стирфорт, когда я ему сказал о завещании. – Поступок ее заслуживает всяческого одобрения. Мой совет, Маргаритка, не пренебрегать Докторс-Коммонс!

Так я и решил поступить. Затем я сказал Стирфорту, что бабушка поджидает меня в Лондоне (как выяснилось из письма) и сняла на неделю помещение на Линкольнс-Инн-Филдс, в каком-то тихом пансионе, где есть каменная лестница и дверь, выходящая на крышу; бабушка моя была твердо убеждена, что каждому дому в Лондоне угрожает каждую ночь пожар.

Поездка наша была очень приятной, мы не раз возвращались в разговоре к Докторс-Коммонс и мечтали о будущем, когда я стану проктором, причем Стирфорт с большим юмором рисовал самые причудливые картины, заставлявшие нас обоих хохотать. Когда мы прибыли в Лондон, он отправился домой, пообещав увидеться со мной через день, а я поехал на Линкольнс-Инн-Филдс; бабушка еще не спала и ждала меня к ужину.

Если бы с той поры, как мы расстались, я совершил кругосветное путешествие, едва ли наша встреча доставила бы нам большую радость. Обнимая меня, бабушка расплакалась и сказала, притворяясь, будто смеется, что моя бедная мать, «эта глупенькая крошка», будь она жива, пролила бы слезы, в чем можно не сомневаться.

– Вы не взяли с собой мистера Дика, бабушка? – спросил я. – Как жалко! А вы, Дженет, как поживаете?

Дженет присела, выразила надежду, что я нахожусь в полном здравии, а тем временем лицо бабушки заметно вытянулось.

– И мне тоже очень жалко, – сказала она, потирая нос. – Я не спокойна, Трот, с тех пор как приехала сюда.

Прежде чем я спросил, почему она неспокойна, она продолжала:

– Я убедилась, – тут она печально, но решительно положила руку на стол, – что Дик, по своему характеру, неспособен справиться с ослами. Ему не хватает надлежащей силы. Мне нужно было оставить дома Дженет, тогда, возможно, я была бы спокойна. – Внезапно она взволновалась: – Должно быть, сегодня на моей лужайке очутился осел, сегодня, ровно в четыре часа дня. Я похолодела с головы до пят. Да, я знаю, это был осел!

Я пробовал ее успокоить, но она не хотела слушать никаких утешений.

– Это был осел! – повторила она. – Тот самый осел с коротким хвостом, на котором ехала сестра этого Мордая, когда она явилась ко мне в дом. (Бабушка только так называла мисс Мэрдстон.) Это самый наглый осел во всем Дувре. Я его терпеть не могу, этого осла! – заявила она, ударив рукой по столу.

Дженет осмелилась вмешаться и сказала, что бабушка понапрасну волнуется, ибо упомянутый осел, по ее сведениям, в настоящее время занят перевозкой песка и гравия и лишен возможности вторгаться в чужие владения. Но бабушка не обратила внимания на ее слова.

Нам подали прекрасный горячий ужин, хотя бабушка жила в самом верхнем этаже – не знаю, то ли потому, что за свои деньги она хотела получить побольше пролетов каменной лестницы, то ли потому, что хотела быть поближе к двери, выходившей на крышу; состоял ужин из жареной курицы, котлет и овощей, все было вкусно, и я всему воздал должное. Но бабушка была особого мнения о провизии в Лондоне и ела совсем мало.

– Ручаюсь, что эта несчастная курица родилась и выросла в подвале и дышала свежим воздухом только на стоянке карет. Хочу надеяться, что котлета говяжья, но не уверена. В этом городе нет, на мой взгляд, ничего кроме подделок, если не считать грязи.

– А вы не допускаете, бабушка, что курицу могли привезти из деревни? – осмелился я спросить.

– Конечно, нет! – отрезала бабушка. – Лондонским торговцам не доставило бы никакого удовольствия торговать без обмана.

Я не рискнул оспаривать это суждение, но поужинал превосходно, и бабушка осталась этим очень довольна.

Когда убрали со стола, Дженет помогла ей причесаться, надеть ночной чепец, более изящного покроя, чем обычно («на случай пожара», по словам бабушки) и потеплей закутала ей ноги капотом; таковы были обычные ее приготовления перед тем как отойти ко сну. Затем, по заведенному раз навсегда порядку, от которого не разрешалось ни малейших отступлений, я приготовил для нее стакан горячего белого вина с водой и длинные тоненькие гренки. После всех этих церемоний мы остались наедине; бабушка сидела напротив, попивала свой напиток, обмакивая в него гренки, прежде чем отправить их в рот, и благодушно взирала на меня из-под оборок своего чепчика.

– Что ж, ты подумал, Трот, об этом плане стать проктором? Или еще совсем не думал? – начала она.

– Я об этом много думал, дорогая бабушка. И много говорил со Стирфортом. Мне этот план нравится. Очень нравится.

– Вот это мне приятно, – сказала бабушка.

– Есть только одно затруднение, бабушка.

– Какое, Трот?

– Я слышал, что доступ в эту профессию ограничен… Так не придется ли слишком много заплатить за меня при вступлении?

– За обучение надо будет уплатить ровно тысячу фунтов, – ответила бабушка.

– Вот видите, дорогая бабушка, именно это меня и беспокоит, – тут я пододвинул свой стул поближе к ней. – Тысяча фунтов – большие деньги. На мое образование вы истратили немало, да и вообще ни в чем никогда меня не стесняли. Вы были само великодушие. Есть немало путей, чтобы начать жизнь, не затрачивая ровно ничего, начать жизнь в надежде на успех, которого можно добиться упорством и трудом. Не лучше ли будет, если я пойду именно по одному из этих путей? Уверены ли вы, что можете позволить себе такие издержки и поступите правильно, если истратите столько денег? Я хотел бы только, чтобы вы, моя вторая мать, об этом подумали. Уверены ли вы?

Бабушка доела гренок, не переставая смотреть мне прямо в лицо; поставив стакан на каминную доску, она сложила руки на складках капота и сказала:

– Трот, дитя мое! Если в жизни есть у меня какая-нибудь цель, то эта цель – сделать из тебя хорошего, разумного и счастливого человека. Это мое единственное желание, его разделяет и Дик. Я бы хотела, чтобы кое-кто послушал, как рассуждает об этом Дик. Проницательность у него прямо удивительная. Но, кроме меня, никто не знает, какой ум у этого человека!

Она умолкла, обеими руками взяла мою руку и продолжала.

– Бесполезно вспоминать прошлое, Трот, если эти воспоминания не могут помочь в настоящем. Пожалуй, я могла бы лучше обойтись с твоим бедным отцом… Пожалуй, я могла бы лучше обойтись и с этой бедняжкой, твоей матерью, даже тогда, когда твоя сестра Бетси Тротвуд меня так разочаровала. Может быть, эта мысль мелькнула у меня в голове, когда ты явился ко мне, маленький беглец, измученный, весь в пыли… С той поры. Трот, ты никогда не обманывал моих надежд, ты был моей гордостью и радостью. Кроме тебя, никто не имеет прав на мои деньги, по крайней мере… – К моему удивлению, она замялась и как будто смутилась. – Да, никто не имеет никаких прав… и я тебя усыновила! Только люби меня, старуху, дитя мое, терпи мои прихоти и причуды, и для меня, у которой юность была не очень-то счастливой и спокойной, ты сделаешь куда больше, чем эта старуха сделала для тебя.

Впервые бабушка упомянула о своем прошлом. И с таким благородством она это сделала, а потом замолкла, что я почувствовал бы к ней еще больше любви и уважения, будь это только возможно.

– Ну, теперь мы обо всем договорились, Трот, – сказала бабушка. – Толковать об этом больше нечего. Поцелуй меня. Утром после завтрака мы отправимся в Коммонс.

Прежде чем пойти спать, мы еще долго беседовали у камина. Моя спальня была в том же этаже, что и бабушкина; ночью, заслышав отдаленный шум карет и телег, она приходила в беспокойство, стучала в мою дверь и спрашивала, «не повозки ли это пожарных». Но к утру она заснула крепче и дала и мне возможность отдохнуть.

Около полудня мы отправились в контору мистеров Спентоу и Джоркинса. которая находилась и Докторс-Коммонс. Бабушка была того мнения о Лондоне, что каждый встречный

безусловно должен быть карманным вором, и потому вручила мне на сохранение свой кошелек с десятью гинеями и серебром.

Мы задержались у лавки игрушек на Флит-стрит, разглядывая гигантов церкви св. Дунстана, бьющих в колокола, – свою прогулку мы приурочили к полудню, чтобы застать их за этим делом, – а затем пошли по направлению к Ладгет-Хиллу и к площади св. Павла. Дойдя уже до Ладгет-Хилла, я заметил, что бабушка ускоряет шаги и вид у нее испуганный. И в тот же момент плохо одетый, хмурый человек, который только что, проходя мимо, остановился и уставился на нас, вдруг пошел почти вплотную вслед за бабушкой.

– Трот! Милый Трот! – послышался испуганный шепот бабушки, и она схватила меня за руку. – Я не знаю, что делать!

– Не волнуйтесь. Бояться нечего. Зайдите в лавку, а я живо отделаюсь от этого человека.

– О нет, нет! Ни за что на свете не говори с ним! Я умоляю, я приказываю!

– Бабушка! Да ведь это назойливый нищий, и только!

– Ты не знаешь, кто он! Ты не знаешь, кто это! Не знаешь, что ты говоришь! – шептала бабушка.

Мы уже стояли у входа в лавку; остановился и тот человек.

– Не смотри на него, – сказала бабушка, когда я с негодованием повернулся к нему. – Кликни мне карету и жди меня на площади святого Павла.

– Ждать вас? – переспросил я.

– Да. Ты должен оставить меня. Я должна пойти с ним.

– С ним, бабушка? С этим человеком?

– Я в своем уме. И говорю тебе: я должна! Кликни карету.

Как ни был я поражен, но я чувствовал, что не могу не повиноваться столь решительному приказу. Я поспешил отойти на несколько шагов и окликнул проезжавшую пустую пролетку. Только-только я успел опустить подножку, бабушка, неведомо каким образом, вскочила в карету, а вслед за ней и этот человек. Она так властно сделала мне знак рукой, чтобы я ушел, что, несмотря на мое замешательство, я немедленно пошел прочь. В этот момент я услышал ее слова, обращенные к извозчику: «Поезжай куда-нибудь! Поезжай вперед!» – И пролетка начала подниматься в гору.

Вот тут-то я вспомнил о рассказе мистера Дика, который в свое время показался мне фантастическим. Теперь я не сомневался, что это тот самый незнакомец, о котором мистер Дик столь загадочно упоминал, хотя у меня не было ни малейшего представления, почему этот человек имеет такую власть над бабушкой. Прождав с полчаса на площади св. Павла, я увидел возвращающуюся пролетку. Извозчик остановил лошадь неподалеку от меня, в пролетке сидела бабушка, но одна.

Она еще не совсем успокоилась для того, чтобы немедленно отправиться в контору «Спенлоу и Джоркинс» и потому предложила мне сесть рядом с ней и приказала извозчику медленно ехать куда-нибудь. Она промолвила только: «Дорогой мой, никогда не спрашивай о том, что было, и не упоминай об этом!» – и больше не произнесла ни слова, покуда к ней не вернулось самообладание, а тогда она сообщила мне, что теперь пришла в себя и мы можем выйти из экипажа. Взяв у нее кошелек, чтобы расплатиться с извозчиком, я обнаружил, что все гинеи исчезли и осталось только серебро.

Мы направились к Докторс-Коммонс и прошли под невысокой узкой аркой. Едва мы очутились за нею, как шум Сити, словно по волшебству, растаял где-то вдалеке. Мрачные двери и узкие проулки привели нас к конторе «Спенлоу и Джоркинс», куда свет проникал сквозь застекленную крышу. В вестибюле этого храма, куда паломники могли проникнуть, не постучавшись, трудились три или четыре клерка, переписывая бумаги. Один из них – сидевший

отдельно от прочих иссохший человечек в жестком коричневом парике, словно сделанном из имбирного пряника, – поднялся навстречу бабушке и ввел нас в кабинет мистера Спенлоу.

– Мистер Спенлоу в суде, сударыня. Сегодня день, когда заседает Суд Архиепископа, но это рядом, и я сейчас за ним пошлю, – сказал иссохший человечек.

Мы остались ждать, покуда приведут мистера Спенлоу, и я воспользовался случаем, чтобы оглядеться по сторонам. Мебель в комнате была старинная, вся покрытая пылью. Зеленое сукно на письменном столе давно утеряло свой первоначальный цвет, поблекло и посерело, как старый нищий. На столе навалены были груды папок с делами; на одних я прочел надпись «Доказательства», на других (к своему удивлению) – «Пасквили»,[61] были папки с надписями: «Суд Архиепископа», «Консисторский Суд», «Суд Прерогативы»; я увидел папки с надписями: «Суд Адмиралтейства» и «Суд Делегатов»…[62] Я был поражен, что существует столько судов, и недоумевал, сколько же понадобится времени, чтобы во всем этом разобраться. Кроме этих папок, я увидел огромные манускрипты «Свидетельских показаний, данных под присягой», солидно переплетенные и связанные в увесистые пачки – особая пачка по каждому делу, словно каждое дело являлось историческим произведением в десяти или двадцати томах. Похоже было на то, что все это стоило невесть сколько денег, и я почувствовал уважение к профессии проктора. С возрастающим удовлетворением я продолжал все это осматривать, пока в соседней комнате не послышались чьи-то поспешные шаги и не появился облаченный в черную мантию с белой меховой оторочкой мистер Спенлоу, который, войдя в комнату, снял шляпу.

Это был джентльмен маленького роста, белокурый, в безупречных башмаках; белый воротничок его сорочки и галстук были туго накрахмалены. Он был аккуратнейшим образом застегнут до самого подбородка и, должно быть, много внимания уделял своим бачкам, тщательно завитым. Золотая цепь от часов была так массивна, что у меня мелькнула мысль, не нуждается ли он для того, чтобы достать из кармана часы, в мускулистой золотой руке – наподобие тех, какие висят над входом в мастерскую золотобита. Одет он был с иголочки и затянут до того, что едва мог согнуться, а когда, опустившись в свое кресло, пожелал взглянуть на какие-то бумаги, лежавшие на столе, то должен был повернуться всем корпусом, словно Панч.[63]

Бабушка представила меня ему, и он поздоровался со мной очень любезно. Затем он сказал:

– Стадо быть, мистер Копперфилд, вы хотите посвятить себя нашей профессии. Я сообщил мисс Тротвуд, когда имел удовольствие как-то с ней встретиться, – тут он снова наклонился, как Панч, всем корпусом. – сообщил о том, что у нас есть вакансия. Мисс Тротвуд любезно уведомила меня, что у нее есть внук, о котором она имеет особое попечение и судьба которого является предметом ее забот. По-видимому, теперь я имею удовольствие познакомиться с этим внуком…

И снова Панч!

Я изъявил поклоном свою признательность и сказал, что бабушка говорила со мной об этой вакансии и что работа, вероятно, мне очень понравится. Сказал, что профессия, как я полагаю, отвечает моим природным склонностям и я безотлагательно принимаю предложение. Добавил при этом, что ручаться я, конечно, не могу, пока не познакомлюсь с работой поближе, и прошу – хотя это только формальность, – позволить мне убедиться в том, действительно ли профессия проктора мне нравится, прежде чем я свяжу себя окончательно.

– О, разумеется! – сказал мистер Спенлоу. – Наша фирма всегда предоставляет месяц… один месяц для испытания. Я был бы очень рад предоставить и два месяца и три месяца… словом, любой срок, но… у меня есть компаньон. Мистер Джоркинс.

– И плата за учение тысяча фунтов, сэр? – спросил я.

– Да. Включая гербовой сбор, плата тысяча фунтов, – ответил мистер Спенлоу. – Я уже говорил мисс Тротвуд, что руководствуюсь отнюдь не денежными соображениями. Мне кажется, немногие руководствуются ими столь же мало, как я… Но у мистера Джоркинса есть свое мнение по этому поводу, и я обязан считаться с мнением мистера Джоркинса. Короче говоря, мистер Джоркинс считает и сумму в тысячу фунтов недостаточной.

– Но если клерк, с которым ваша фирма заключила договор на обучение, будет признан особенно полезным… – начал я, пытаясь уменьшить бабушкины расходы, – если он станет мастером своего дела, – тут я покраснел, ибо это походило на самохвальство, – не сочтет ли возможным ваша фирма положить ему…

Мистер Спенлоу понатужился и, вытянув шею из воротничка, покрутил головой, предваряя слово «жалованье».

– Нет, мистер Копперфилд. Я умолчу, какого мнения держался бы лично я по сему вопросу, будь я свободен в своих действиях. Но мистер Джоркинс непоколебим.

Этот страшный Джоркинс привел меня в ужас. Однако впоследствии выяснилось, что это был тугодум, но человек кроткий, чья роль в фирме сводилась к тому, чтобы держаться на втором плане и пользоваться репутацией неумолимого и бессердечного человека. Если клерк просил о прибавке жалованья, мистер Джоркинс и слышать об этом не хотел. Если клиент мешкал с оплатой по счету, мистер Джоркинс требовал исполнения обязательств и, как бы ни страдали от этого чувства мистера Спенлоу (а они всегда страдали), мистер Джоркинс своего не упускал. Сердце и карман доброго ангела Спенлоу были бы всегда отверсты, если бы не противодействие этого демона Джоркинса. Когда я стал постарше, мне пришлось познакомиться и с другими фирмами, деятельность которых основана на принципах фирмы «Спенлоу и Джоркинс»!

Было решено, что свое месячное испытание я начну, когда мне будет удобно, а бабушка может не дожидаться в Лондоне конца этого срока и ей нет нужды возвращаться сюда через месяц, так как договор о моем обучении я пошлю ей для подписи домой. Когда мы условились об этом, мистер Спенлоу предложил сейчас же повести меня в суд и показать, что он собой представляет. Я только этого и хотел, и мы отправились, оставив бабушку в конторе; по ее словам, она не очень доверяла подобным местам, считая, как мне кажется, любой суд своего рода пороховым заводом, который может в любой момент взлететь на воздух.

Мистер Спенлоу повел меня через мощеный двор, окруженный мрачными кирпичными зданиями; судя по табличкам на дверях, здесь находились конторы ученых адвокатов, о которых говорил мне Стирфорт; мы повернули налево вошли в дверь и попали в большое мрачное помещение, напоминающее часовню. Дальний конец этого зала был отделен загородкой, и там на помосте в форме подковы сидели на удобных старинных креслах джентльмены в красных мантиях и серых париках – упомянутые выше доктора. У основания подковы, склонившись над пюпитром, напоминавшим кафедру проповедника, сидел и непрерывно моргал глазами пожилой джентльмен; находись он в зоологическом саду, я непременно принял бы его за сову, но, как я узнал, это был председательствующий судья. Внутри подковы и ниже ее, почти на уровне досок помоста, расположились вокруг длинного зеленого стола другие джентльмены – ранга мистера Спенлоу, – одетые, так же как и он, в черные мантии с белой меховой опушкой. У них у всех были очень тугие воротники и крайне спесивый вид, как мне показалось; но я тут же понял, что несправедлив к ним, ибо, когда двое или трое встали, чтобы ответить на вопрос председательствующей духовной особы, я был поражен их робостью. Публика грелась у печки посреди судебного зала и состояла из мальчишки с шарфом на шее и джентльмена, весьма бедно одетого, который украдкой доставал из кармана хлебные крошки и поедал их. Томительная тишина этого места нарушалась только потрескиваньем огня и голосом одного из докторов, который медленно пробирался сквозь целую библиотеку свидетельских показаний и время от времени делал привал в маленьких придорожных харчевнях доказательств. Никогда в жизни я не попадал на

такое мирное, сонное и усыпляющее, старомодное, позабытое временем собрание, происходящее словно в тесном семейном кругу. И я почувствовал, что оно должно действовать как успокоительное наркотическое средство на всех участников его, кроме, пожалуй, истца.

Вполне удовлетворенный мечтательным покоем этого убежища, я уведомил мистера Спенлоу, что на сей раз видел достаточно, и мы вернулись к бабушке. Вместе с ней я покинул Докторс-Коммонс, и каким я чувствовал себя юнцом, когда мы уходили из конторы «Спенлоу и Джоркинс», а клерки показывали на меня, тыча друг друга в бок перьями!

На Линкольнс-Инн-Филдс мы прибыли без приключений, если не считать встречи со злосчастным ослом, впряженным в тележку уличного торговца и вызвавшим у бабушки неприятные воспоминания. Благополучно добравшись до дому, мы еще долго обсуждали мои планы; я знал, что бабушка рвется домой, знал, что с лондонскими пожарами, с лондонской пищей и карманными воришками она ни минуты не будет спокойна, и потому просил ее не тревожиться обо мне, но уехать, не откладывая, и предоставить мне самому улаживать мои дела.

– За неделю, что я в Лондоне, я обо всем успела подумать, мой дорогой, – сказала она. – В Аделфи сдаются меблированные комнаты, Трот, они тебе как раз подойдут.

После такого краткого вступления она вытащила из кармана объявление, старательно вырезанное из газеты, оповещавшее, что в Аделфи, на Бэкингем-стрит сдается внаем чрезвычайно уютное небольшое помещение из нескольких меблированных комнат, с видом на реку, весьма подходящее для молодого джентльмена, члена какого-нибудь из судебных Иннов[64] или кого-нибудь еще в этом роде. Снять можно немедленно, даже на один месяц, цена умеренная.

– Бабушка! Да ведь это именно то, что нужно! – воскликнул я, с восторгом думая о том, что собственная квартира придаст мне солидности.

– Отправимся сейчас, – сказала бабушка, немедленно надевая шляпку, которую только что сняла. – Пойдем посмотрим.

И мы отправились.

Согласно объявлению обращаться надлежало к миссис Крапп, и мы позвонили в колокольчик у двери подвального этажа, позволявший, по нашим предположениям, вступить в общение с миссис Крапп. Нам пришлось позвонить три или четыре раза, прежде чем мы убедили миссис Крапп вступить в общение с нами, но, наконец, она появилась в образе дородной леди, у которой из-под нанкового платья торчали оборки фланелевой нижней юбки.

– Позвольте нам, сударыня, посмотреть ваши комнаты, – обратилась к ней бабушка.

– Для этого джентльмена? – спросила миссис Крапп, ища в кармане ключи.

– Да, для моего внука, – сказала бабушка.

– Как раз подойдут для него, – сказала миссис Крапп.

Мы поднялись по лестнице.

Помещение находилось на самом верхнем этаже, – это имело большое значение для бабушки, ибо в случае пожара близка была спасительная крыша, – и состояло из маленькой полутемной прихожей, где почти ничего не было видно, из маленькой совсем темной кладовки, где не было видно ровно ничего, из гостиной и спальни. Мебель была старая, но для меня она была достаточно хороша, а из окон в самом деле виднелась река.

Квартира мне понравилась, и бабушка удалилась с миссис Крапп в кладовую, чтобы переговорить об условиях; я остался сидеть на диване в гостиной и едва мог поверить тому, что такая великолепная резиденция приуготована для меня. После довольно длительного поединка они вновь появились, и, к моей радости, я увидел по лицам обеих, – бабушки и миссис Крапп, – что все улажено.

– Это мебель последнего жильца? – осведомилась бабушка.

– Да, сударыня, – ответила миссис Крапп.

– Что с ним сталось? – спросила бабушка. У миссис Крапп начался приступ мучительного кашля, и с большим трудом она выговорила:

– Он заболел здесь, сударыня, и… кхе! кхе! кхс!.. господи! умер.

– Ох! А умер он от чего? – спросила бабушка.

– Он-то? Он, сударыня, умер от спиртного, – сообщила миссис Крапп доверительно. – И от дыма.

– От дыма? Вы хотите сказать, что печи дымят?

– Да нет, сударыня! От сигар и трубок.

– Ну, это, во всяком случае, незаразительно, Трот, – успокоила меня бабушка.

– Да, конечно, – согласился я.

Одним словом, бабушка, видя, как я восхищен квартирой, сняла ее на месяц с правом, по истечении этого срока, оставить помещение за собой еще на год. Миссис Крапп согласилась стряпать и смотреть за бельем; обо всем остальном, что могло мне понадобиться, бабушка уже позаботилась. В заключение миссис Крапп выразительно намекнула, что будет относиться ко мне как к родному сыну. Переехать я мог через день, и, благодарение богу, – сказала миссис Крапп, – теперь у нее есть кого опекать.

На обратном пути бабушка выразила полную уверенность в том, что жизнь, которую теперь я должен буду вести, воспитает во мне твердость духа и укрепит веру в свои силы, которых мне еще не хватает. Она твердила об этом и на следующий день, когда мы обсуждали вопрос об отправке моих вещей и книг, находившихся у мистера Уикфилда. Об этих вещах и о том, как я провел каникулы, я написал длинное письмо Агнес, которое бабушка взялась передать, так как уезжала на следующий день. Я не буду останавливаться на мелочах, добавлю только, что бабушка приняла все меры к тому, чтобы я ни в чем не нуждался в течение испытательного месяца: упомяну также, что, к нашему сожалению, Стирфорт не появился до ее отъезда, что, здравая и невредимая, она села вместе с Дженет в дуврскую карету, предвкушая грядущие поражения праздношатающихся ослов, и что, после отхода кареты, я повернул к Аделфи, размышляя о былых днях, когда я блуждал вокруг подземных его арок, и о счастливых переменах, вынесших меня на поверхность.

Глава XXIV

Мой первый кутеж

Чудесно было владеть этим величественным замком и, закрыв наружную дверь, чувствовать то же, что чувствовал Робинзон Крузо, когда забирался в свою крепость и втаскивал за собой лестницу. Чудесно было бродить по городу с ключом от своей квартиры в кармане и знать, что я могу пригласить к себе любого человека и никому не причиню никакого беспокойства, разве что самому себе. Чудесно было возвращаться домой, приходить и уходить, никому не говоря ни слова, и вызывать звонком миссис Крапп, которая, пыхтя, появлялась из недр земли, когда она была мне нужна и когда… расположена была прийти. Все это, говорю я, было чудесно, но должен сказать, что иной раз становилось очень скучно.

Чудесно бывало по утрам, особенно в погожее утро. При дневном свете жизнь казалась легкой и вольной, и еще более легкой и вольной, если светило солнце. Но с приближением сумерек жизнь тоже как будто клонилась к закату. Не знаю, почему так случалось, но я редко чувствовал себя хорошо при свечах. Мне не хватало Агнес. Не было моей подруги с ее милой улыбкой, и ее места не занял никто. Миссис Крапп как будто находилась бесконечно далеко. Я размышлял о своем предшественнике, который умер от пьянства и курения, и готов был пожелать, чтобы он соизволил остаться в живых и не тревожил меня мыслями о своей кончине.

Прошло два дня, а мне уже казалось, будто я живу здесь целый год и, однако, не возмужал ни на один час; и все так же мучило меня сознание, что я очень молод.

Стирфорт все не появлялся, и я начал опасаться, не заболел ли он, а потому на третий день я рано покинул Докторс-Коммонс и отправился пешком в Хайгет. Миссис Стирфорт очень обрадовалась мне и сообщила, что ее сын уехал с одним из своих оксфордских приятелей навестить другого приятеля, жившего близ Сент-Элбане, и что она ждет его завтра. Я так любил Стирфорта, что стал не на шутку его ревновать к оксфордским приятелям.

Миссис Стирфорт настойчиво оставляла меня обедать, я согласился, и, кажется, мы весь день говорили только о нем. Я рассказал ей, как полюбили его обитатели Ярмута и каким чудесным спутником он был для меня. Мисс Дартл была начинена намеками и загадочными вопросами, но проявила большой интерес к каждой мелочи нашей жизни в Ярмуте и, то и дело повторяя: «Это и в самом деле было так?», выпытала у меня все, что ей хотелось знать. Наружность ее ничуть не изменилась с того дня, как я в первый раз ее увидал, но общество двух леди было так приятно и я чувствовал себя так непринужденно, что спросил себя, не начинаю ли я немножко в нее влюбляться. Несколько раз за этот вечер, а в особенности когда я в поздний час возвращался домой, я невольно подумывал о том, какой милой собеседницей была бы она на Бэкингем-стрит.

На следующее утро перед уходом в Докторс-Коммонс я пил кофе с булкой – поистине удивительно сколько кофе расходовала миссис Крапп и каким жидким он всякий раз оказывался, – как вдруг, к безграничной моей радости, вошел Стирфорт собственной персоной.

– Дорогой мой Стирфорт, я уже начал подумывать, что никогда вас больше не увижу! – вскричал я.

– Меня силой утащили на следующее же утро по возвращении домой, – объяснил Стирфорт. – Маргаритка, да вы здесь живете как заправский старый холостяк!

С великой гордостью я показал ему свою квартиру, не забыв и о кладовке, и он отозвался обо всем с большой похвалой.

– Знаете, что я вам скажу, старина, – заявил он, – я буду здесь останавливаться, приезжая в Лондон, пока вы не предложите мне убираться.

Эти слова привели меня в восторг. Я ответил, что если он ждет такого предложения, то ему придется ждать до Страшного суда.

– Но вы должны позавтракать, – заявил я, берясь за шнурок звонка. – Миссис Крапп сварит вам кофе, а у меня здесь есть голландская плитка для холостяка, и я поджарю бекон.

– Нет, нет, не звоните! – сказал Стирфорт. – Не могу. Я завтракаю с одним из приятелей, который остановился в гостинице «Пьяцца» около Ковент-Гарден.

– Но вы вернетесь к обеду? – спросил я.

– Честное слово – не могу! Мне очень хотелось бы, но я должен побыть с этими двумя приятелями. Завтра утром мы все трое вместе уезжаем.

– Так приведите их сюда обедать. Как вы думаете, они согласятся прийти?

– О, они-то придут, – ответил Стирфорт, – но мы доставим вам столько хлопот. Лучше приходите вы, и мы пообедаем где-нибудь вчетвером.

На это я решительно не мог согласиться, так как мне пришло в голову, что следует отпраздновать новоселье и такого удобного случая никогда больше не представится. Я пуще прежнего возгордился своей квартирой после того, как он ее одобрил, и горел желаньем воспользоваться всеми ее удобствами. Поэтому я взял с него слово, что он придет вместе с обоими своими друзьями и мы назначили обед на шесть часов.

Когда он ушел, я позвонил миссис Крапп и познакомил ее с моим дерзким замыслом. Прежде всего миссис Крапп заявила, что, разумеется, она не может прислуживать за столом, но она знает одного расторопного молодого человека, который, вероятно, согласится, а его условия – пять шиллингов и еще какая-нибудь мелочь, по моему усмотрению. В ответ на это я заявил, что, конечно, мы его пригласим. Затем миссис Крапп довела до моего сведения, что,

разумеется, она не может находиться одновременно в двух местах (это показалось мне не лишенным оснований) и что необходимо нанять «молодую девицу» и поместить ее в кладовке, где она при свече, позаимствованной из спальни, будет не покладая рук мыть посуду. Я осведомился, сколько придется истратить на эту молодую особу, а миссис Крапп высказала мнение, что восемнадцать пенсов вряд ли обогатят меня или разорят. На это я отвечал, что разделяю ее мнение, и вопрос был улажен. Наконец миссис Крапп сказала:

– А теперь займемся обедом.

Прямо-таки любопытно, насколько был лишен предусмотрительности торговец железными изделиями, снабдивший миссис Крапп печным литьем для кухни: на ее плите ничего нельзя было приготовить, кроме отбивных котлет и картофельного пюре! Что касается котелка для рыбы, то миссис Крапп сказала: ну, что ж! Не угодно ли мне самому пойти посмотреть? Ничего другого она, по совести, сказать не может. Не угодно ли мне пойти посмотреть? Я все равно ничего не мог бы понять, даже если бы пошел и посмотрел, а потому отклонил ее предложение, заявив:

– Ничего, обойдемся без рыбы.

Но миссис Крапп сказала:

– Не говорите так. Есть устрицы, почему бы не взять устриц?

И этот вопрос тоже был улажен. Затем миссис Крапп сказала, что она порекомендовала бы следующее: две жареных курицы… из кухмистерской; тушеное мясо с овощами… из кухмистерской; в перерывах между блюдами почки и горячий пирог… из кухмистерской; торт и (если мне угодно) желе… из кухмистерской. Тогда, по словам миссис Крапп, у нее будет полная возможность сосредоточить все внимание на картофеле и подать на стол сыр и сельдерей в надлежащем виде.

Я последовал совету миссис Крапп и сам заказал все в кухмистерской. Возвращаясь оттуда по Стрэнду и заметив в окне мясной лавки какое-то твердое пятнистое вещество, напоминавшее мрамор, но украшенное ярлыком: «Студень из телячьей головы», я купил добрую толику такого студня и, по моим расчетам, этой порции должно было хватить на пятнадцать человек. Миссис Крапп в конце концов согласилась разогреть сей продукт, и в жидком виде он до такой степени «сократился» (по словам Стирфорта), что его оказалось маловато для четверых.

Благополучно завершив эти приготовления, я купил на рынке Ковент-Гарден кое-чего на десерт и сделал солидный заказ в находившейся по соседству винной лавке. Когда я вернулся после полудня домой и увидел бутылки, выстроившиеся в боевом порядке на полу кладовой, их оказалось такое множество (хотя двух и недоставало, к немалому замешательству миссис Крапп), что я не на шутку струхнул.

Одного из друзей Стирфорта звали Грейнджер, а другого – Маркхем. Оба были очень веселые и жизнерадостные ребята: Грейнджер немного старше Стирфорта, Маркхем на вид совсем юный, я дал бы ему не больше двадцати лет. Я заметил, что сей последний всегда говорил о себе неопределенно, в третьем лице, и очень редко употреблял местоимение первого лица единственного числа.

– Человек может прекрасно здесь устроиться, мистер Копперфилд, – сказал Маркхем, разумея при этом самого себя.

– Местоположение неплохое и комнаты удобные, – отозвался я.

– Надеюсь, у вас обоих разыгрался аппетит? – осведомился Стирфорт.

– Честное слово, Лондон как будто возбуждает аппетит у человека, – ответил Маркхем. – Человек весь день голоден. Человек все время ест.

Слегка смущенный в первые минуты, чувствуя себя слишком молодым, чтобы играть роль хозяина дома, я уговорил Стирфорта, когда доложили, что обед подан, занять

председательское место, а сам уселся против него. Все шло превосходно, вина мы не жалели, а Стирфорт так блестяще исполнял свои обязанности, что все веселились от души. Но, увы, мне не удавалось быть таким добрым сотрапезником, каким мне хотелось, ибо мой стул находился против двери и внимание мое отвлекал расторопный молодой человек, который очень часто выходил из комнаты, и немедленно вслед за этим его тень неизменно появлялась на стене передней с бутылкой у рта. «Молодая девица» также причиняла мне некоторое беспокойство – она, правда, не пренебрегала мытьем тарелок, но, к сожалению, их била. Ум у нее был пытливый, она не в силах была сидеть безотлучно в кладовой (вопреки данным ей строгим инструкциям) и то и дело заглядывала к нам, всякий раз пугаясь, что ее заметили. Тут она пятилась, наступала на тарелки, которыми старательно уставляла пол, и производила серьезные опустошения.

Впрочем, все это были мелочи, и они улетучились из памяти, как только убрали скатерть и на столе появился десерт. Когда пирушка достигла этой стадии, выяснилось, что расторопный молодой человек лишился дара речи. Отдав ему потихоньку распоряжение присоединиться к миссис Крапп и увести с собою в нижний этаж «молодую девицу», я предался веселью.

Началось с того, что на душе у меня стало удивительно легко и радостно. Воскресли в памяти всевозможные полузабытые события, о которых хотелось потолковать, и я болтал без умолку, что было мне совсем несвойственно. Я громко смеялся над своими собственными остротами и над остротами собеседников, призывал к порядку Стирфорта, якобы медлившего передавать бутылку, несколько раз клялся приехать в Оксфорд, возвестил, что намерен еженедельно давать точь-в-точь такие же обеды, и в безумии своем взял такую понюшку из табакерки Грейнджера, что принужден был удалиться в кладовку и там, наедине с собой, чихал в течение десяти минут.

Затем я все быстрее и быстрее наполнял рюмки и то и дело брался за пробочник, чтобы откупорить новую бутылку задолго до того, как она могла понадобиться. Я предложил выпить за здоровье Стирфорта. Я назвал его самым дорогим моим другом, «покровителем моего детства и товарищем моей юности». Сказал, что с восторгом предлагаю тост за него. Сказал, что перед ним я в неоплатном долгу и восхищаюсь им больше, чем могу выразить словами. Закончил я возгласом:

– Выпьем за Стирфорта! Да благословит его бог! Ура!

Трижды осушили мы в его честь по три рюмки, а затем еще одну, и в заключение еще одну. Обходя вокруг стола, чтобы пожать ему руку, я разбил свою рюмку и пробормотал, заикаясь:

– Стир…форт! Вы моя… п-путевод… з-звезда!

Вдруг мне послышалось, что кто-то распевает песню. Певцом оказался Маркхем, он пел: «Когда на сердце заботы бремя».[65] Пропев ее, он предложил нам выпить «за женщину». Против этого я возразил, этого я не мог допустить. Я заявил, что предлагать такой тост неучтиво и я никогда не разрешу провозглашать подобные тосты в своем доме, где можно пить только «за леди». Я говорил с ним очень резко, вероятно потому, что видел, как Стирфорт и Грейнджер смеются надо мной, а может быть, над ним или над нами обоими. Он заявил, что человеку нельзя приказывать. Я сказал, что можно. Он возразил, что в таком случае человека нельзя оскорблять. Я сказал, что на сей раз он прав: человека нельзя оскорблять под моей кровлей, где лары священны, а законы гостеприимства превыше всего. Он сказал, что человек не унизит своего достоинства, если признает, что я чертовски славный малый. Я тотчас же предложил выпить за его здоровье.

Кто-то курил. Мы все курили. Курил и я, стараясь справиться с мелкой дрожью. Стирфорт произнес в мою честь речь, которая растрогала меня чуть не до слез. Я ответил благодарственной речью и выразил надежду, что все присутствующие будут обедать у меня

завтра и послезавтра, – словом, каждый день в пять часов, дабы мы могли наслаждаться весь вечер беседой и обществом друг друга. Тут я почувствовал потребность провозгласить за кого-нибудь тост и предложил выпить за здоровье моей бабушки, мисс Вечен Тротвуд, лучшей из представительниц ее пола.

Кто-то высунулся из окна моей спальни и прижимался горячим лбом к холодному каменному карнизу, чувствуя, как – ветерок обвевает его лицо. Это был я сам! Я называл себя «Копперфилдом» и говорил:

– Ну, зачем ты пробовал курить? Мог бы сообразить, что это тебе не под силу.

Потом кто-то неуверенно разглядывал свое лицо в зеркале. Это был опять-таки я. В зеркале я был очень бледен, глаза блуждали, а волосы – только волосы! – казались пьяными.

Кто-то сказал мне:

– Пойдемте в театр, Копперфилд!

И вот уже нет спальни, и снова передо мной появился стол, заставленный дребезжащими стаканами… Лампа… По правую мою руку Грейнджер, по левую Маркхем, напротив Стирфорт – все сидят, окутанные дымкой, где-то очень далеко. В театр? Ну, конечно! Превосходно! Пошли! Но пусть меня извинят: я выйду последним и потушу лампу, во избежание пожара!

Какое-то замешательство в темноте – оказывается, исчезла дверь. Я ощупью разыскивал ее в оконных занавесках, когда Стирфорт, смеясь, взял меня под руку и вывел из комнаты. Один за другим мы спустились по лестнице. На последних ступенях кто-то упал и скатился вниз. Кто-то другой сказал, что это Копперфилд. Меня рассердила такая ложь, но вдруг я почувствовал, что лежу на спине в коридоре, и стал подумывать, что, пожалуй, тут есть доля правды.

Очень туманная ночь, большие расплывчатые кольца вокруг уличных фонарей. Шел бессвязный разговор о том, что на улице сыро. А я считал, что подмораживает. Стирфорт смахнул с меня пыль под фонарем и расправил мою шляпу, которая удивительным образом появилась неведомо откуда, потому что раньше ее на моей голове не было. Потом Стирфорт спросил:

– Вы себя хорошо чувствуете, Копперфилд?

А я ответил ему:

– Зза-мме-чательно!

Из тумана выглянул человек, сидевший в какой-то будочке, принял от кого-то деньги, осведомился, принадлежу ли я к компании джентльменов, за которых сейчас платят, и, помнится, когда я мельком на него взглянул, он как будто колебался, брать ли за меня деньги. Вскоре после этого мы очутились очень высоко, в театре, где было очень жарко, и мы смотрели вниз, в преисподнюю, которая словно дымилась: людей, которыми она была набита до отказу, едва можно было разглядеть. Еще была внизу большая сцена, казавшаяся очень чистой и гладкой после улицы, а на сцене были люди, которые о чем-то говорили, но ничего нельзя было разобрать. Сверкало множество огней, играла музыка, а внизу в ложах сидели леди, и еще что-то там было, не знаю что. На мой взгляд, весь театр имел диковинный вид, как будто он учился плавать, как ни старался я его удержать.

Кто-то предложил спуститься вниз, в ложи, где сидели леди. Перед моими глазами проплыли разодетый джентльмен, развалившийся на диване с биноклем в руке, а также моя собственная особа, отраженная во весь рост в зеркале. Затем меня ввели в одну из лож, и, усевшись, я начал что-то говорить, а вокруг кричали кому-то: «Тише!» – и леди бросали на меня негодующие взгляды, и… что это? Да! – передо мною, в той же ложе, сидела Агнес с леди и джентльменом, которых я не знал. Мне кажется, сейчас я вижу ее лицо яснее, чем видел тогда, лицо и этот незабываемый взгляд, выражающий жалость и изумление и обращенный на меня.

– Агнес! – хрипло сказал я. – Госпо. мил…луй! Агнес!

– Тише! Прошу вас! – неизвестно почему, ответила она. – Вы мешаете публике. Смотрите на сцену!

Повинуясь ее приказу, я постарался удержать в поле зрения сцену и прислушаться к тому, что там происходит, но ничего из этого не вышло. Вскоре я снова взглянул на Агнес и увидел, что она сидит съежившись в углу ложи и прижимает ко лбу руку, затянутую в перчатку.

– Агнес! – сказал я. – Б-боюсь… вам… н-не здоров…

– Нет, нет. Не думайте обо мне, Тротвуд, – возразила она. – Послушайте, вы скоро уйдете отсюда?

– С-скоро… у-уйду… отсюда? – повторил я.

– Да.

У меня явилось дурацкое намерение ответить, что я хочу подождать и проводить ее. Вероятно, я кое-как выразил свою мысль, потому что Агнес, пристально посмотрев на меня, как будто поняла и тихо сказала:

– Я знаю, вы исполните мою просьбу, если я скажу вам, что для меня это очень важно. Уйдите сейчас же, Тротвуд! Уйдите ради меня и попросите ваших друзей проводить вас до дому!

К тому времени она уже успела оказать на меня столь благотворное влияние, что, хотя я и сердился на нее, мне стало стыдно, и, бросив короткое «с-спок… нок» (я хотел сказать: «спокойной ночи»), я встал и вышел. Приятели последовали за мной, и прямо из ложи я шагнул в свою спальню, где был один только Стирфорт, помогавший мне раздеться, а я то уверял его, что Агнес – моя сестра, то принимался умолять принести штопор, чтобы откупорить еще бутылку вина.

Всю ночь, в лихорадочном сне, кто-то, лежавший в моей кровати, бессвязно повторял снова все, что было сделано и сказано, а кровать была бурным морем, не утихавшим ни на минуту. И когда этот кто-то медленно вселился в меня, о! как стала томить меня жажда! И как мучительно было ощущать, что моя кожа превратилась в твердую доску, язык – в дно пустого котла, покрытое накипью от долгой службы и высушенное на медленном огне, ладони – в раскаленные металлические пластинки, которых никакой лед не может остудить!

А какую душевную пытку, угрызения совести и стыд я испытал, очнувшись на следующий день! Ужас при мысли о тысяче нанесенных мною оскорблений, не сохранившихся в моей памяти, – оскорблений, которые ничто не могло искупить… воспоминание о том незабываемом взгляде, какой бросила на меня Агнес… мучительное сознание, что я не могу с ней увидеться, ибо я, негодяй, даже не знал, каким образом попала она в Лондон и где остановилась… отвращение мое при одном только виде комнаты, где происходила пирушка… нестерпимая головная боль… запах табачного дыма, вид рюмок, невозможность выйти из дому или хотя бы подняться с кровати! Ох, что это был за день!

Ох, что это был за вечер, когда я сидел у камина перед чашкой бараньего бульона, подернутого пленкой жира, думал о том, что пошел по стопам моего предшественника, унаследовав не только его квартиру, но и его судьбу, и почти решился лететь в Дувр и покаяться во всем! Ох, что это был за вечер, когда миссис Крапп, пришедшая забрать чашку из-под бульона, подала мне одну-единственную почку на плоской тарелочке для сыра – все, что осталось от вчерашнего пиршества, а я, право же, готов был броситься на ее нанковую грудь и с глубоким раскаянием воскликнуть: «О миссис Крапп, миссис Крапп, пусть сгинут эти объедки!! Мне нестерпимо скверно!» Но даже в этот критический момент я сомневался, можно ли довериться такой женщине, как миссис Крапп.

Глава XXV
Добрый и злой ангелы

После этого горестного дня, ознаменованного головной болью, тошнотой и раскаянием, я вышел поутру из своей квартиры, чувствуя, что в голове у меня все касающееся даты моего званого обеда как-то странно перепуталось, словно полчище титанов вооружилось огромным рычагом и отодвинуло на несколько месяцев назад то, что случилось третьего дня; и тут я увидел посыльного, – с письмом в руке он поднимался по лестнице. Он не спешил исполнить поручение, но, заметив, что я смотрю на него поверх перил с верхней площадки, пустился рысью и добрался до меня, запыхавшись, как будто всю дорогу мчался, пока не изнемог.

– Т. Копперфилд, эсквайр? – осведомился посыльный, прикоснувшись тросточкой к шляпе.

У меня едва хватило сил заявить, что это я, – до такой степени смутила меня уверенность, что письмо от Агнес. Все же я сказал ему, что именно я Т.Копперфилд, эсквайр, а он в этом не усомнился и вручил мне письмо, на которое, по его словам, ждут ответа. Захлопнув перед ним дверь, я оставил его дожидаться ответа на площадке лестницы и вернулся к себе в таком нервическом состоянии, что принужден был положить письмо на обеденный стол и осмотрел его снаружи, прежде чем решился сломать печать.

Наконец я его вскрыл; это была очень милая записка, без единого упоминания о моем поведении в театре. Я прочел:

«Дорогой Тротвуд. Я остановилась в доме папиного агента мистера Уотербрука, на Эли-Плейс, Холборн. Не навестите ли вы меня сегодня в любой час, когда вам будет удобно?

Всегда любящая вас Агнес».

Столько времени понадобилось мне, чтобы написать ответ, хоть отчасти меня удовлетворяющий, что я не ведаю, какие мысли могли возникнуть у посыльного, пожалуй, он подумал, что я учусь писать. Должно быть, я написал не менее полудюжины ответов. Одно письмо я начал так: «Могу ли я надеяться, дорогая Агнес, что когда-нибудь мне удастся стереть в вашей памяти то отвратительное впечатление…», но тут мне что-то не понравилось, и я разорвал его. Другое я начал словами: «Как заметил Шекспир, дорогая моя Агнес, странно, что враг человека находится у него во рту…» Это напомнило мне Маркхема, и дальше я не пошел. Я даже попробовал прибегнуть к поэзии. Одну записку я начал четырехстопным ямбом: «Не вспоминай, не вспоминай…» – но это связывалось с пятым ноября[66] и показалось нелепым. После многочисленных попыток я написал:

«Дорогая Агнес! Ваше письмо похоже на вас. Могу ли я сказать что-либо большее в похвалу ему? Я приду в четыре часа.

Ваш любящий и страдающий Т.К.».

С этим посланием (раз двадцать хотелось мне вернуть его обратно, как только я выпустил его из рук) посыльный, наконец, ушел.

Если бы кому-нибудь из джентльменов в Докторс-Коммонс день показался наполовину таким ужасным, каким был он для меня, я искренне верю, что он искупил бы до некоторой степени свою долю вины за соучастие в этом церковном суде, весьма напоминающем старый, заплесневелый сыр. Я вышел из конторы в половине четвертого и через несколько минут уже бродил близ Эли-Плейс, а назначенный час миновал, и, судя по часам церкви Сент Эндрью в Холборне, было четверть пятого, когда я в отчаянии решился, наконец, дернуть ручку звонка у левого косяка двери, ведущей в дом мистера Уотербрука,

Служебными делами мистер Уотербрук занимался в первом этаже, а его светская жизнь (которой он уделял немало времени) протекала в верхнем. Меня ввели в хорошенькую, но слишком заставленною вещами гостиную; там сидела Агнес и вязала кошелек.

Она казалась такой тихой и доброй и при виде ее у меня возникли столь яркие воспоминания о веселых и счастливых школьных днях в Кентербери и о том, каким пьяным, прокуренным, тупым негодяем был я в тот вечер что я не устоял перед угрызениями совести,

чувством стыда и… повел себя как дурак, благо никого здесь не было. Не стану отрицать, что я расплакался. И по сей час я не знаю, было ли это, в общем, самым разумным, что я мог сделать, или самым нелепым.

– Будь это не вы, а кто-нибудь другой, Агнес, мне было бы не так тяжело, – отвернувшись, сказал я. – Но подумать только, что меня видели вы! Кажется, лучше бы мне было не дожить до этого дня!

На секунду она положила свою руку на мою – ничье прикосновенье не могло сравниться с прикосновением ее руки, – и я почувствовал такое облегчение и умиротворение, что невольно поднес ее руку к губам и с благодарностью поцеловал.

– Садитесь! – весело сказала Агнес. – Не горюйте, Тротвуд. Если вы не можете всецело довериться мне, то кому же тогда вам доверять?

– Ах, Агнес, вы – мой добрый ангел! – воскликнул я.

Она улыбнулась – грустно, как мне почудилось, – и покачала головой.

– Да, Агнес, мой добрый ангел! Вы всегда были моим добрым ангелом!

– Если это и в самом деле так, Тротвуд, то мне очень хотелось бы сделать одну вещь, – сказала она.

Я вопросительно взглянул на нее, но уже догадывался, что она хочет сказать.

– Мне хотелось бы предостеречь вас от вашего злого ангела, – произнесла Агнес, взглянув на меня в упор.

– Дорогая Агнес, если вы говорите о Стирфорте… – начал я.

– Да, Тротвуд, – ответила она.

– В таком случае, Агнес, вы судите о нем превратно. Это он-то мой злой ангел! Да разве он может быть для кого-нибудь злым ангелом? Он всегда был моим руководителем, моей опорой и другом! Дорогая Агнес! Разве это справедливо, разве похоже на вас – говорить так о человеке только потому, что вы видели меня пьяным в тот вечер?

– Я не говорю о нем так только потому, что видела вас пьяным в тот вечер, – спокойно ответила она.

– Но тогда какие же у вас основания?

– Их много… Все это как будто мелочи, но, если взять их вместе, они уже не кажутся мелочью. Я сужу о нем, Тротвуд, отчасти по вашим рассказам и по тому влиянию, какое он на вас оказывает… Я ведь знаю вашу натуру.

Ее кроткий голосок всегда затрагивал во мне какую-то струну, которая отзывалась только на его звук. Всегда этот голос звучал серьезно, но когда она говорила так серьезно, как сейчас, в нем чувствовалось волнение, и это окончательно покоряло меня. Я сидел и смотрел на нее, а она, опустив глаза, принялась за свое рукоделье; я сидел и как будто все еще слушал ее, а образ Стирфорта, которого я так любил, померк.

– Очень смело с моей стороны давать вам так уверенно советы и даже высказывать свое мнение, – снова подняв глаза, сказала Агнес. – Ведь я жила в таком уединении и так мало знаю жизнь! Но я понимаю, чем рождена моя смелость, Тротвуд. Я знаю, что она рождена живым воспоминанием о том, как мы вместе росли, и искренним интересом ко всему, что вас касается. Вот что делает меня смелой. Я не сомневаюсь, что я права. Я в этом совершенно уверена. Когда я предостерегаю вас, говоря, что вы приобрели опасного друга, мне кажется, будто говорю не я, а кто-то другой.

Снова я смотрел на нее, снова я прислушивался мысленно к ее словам, после того как она уже умолкла, и снова его образ, хотя и запечатленный по-прежнему в моем сердце, померк.

– Я не так безрассудна, – продолжала немного погодя Агнес обычным своим тоном, – чтобы воображать, будто вы можете сразу изменить свое мнение, в особенности если оно

укоренилось в вашей доверчивой душе. Вы не должны торопиться с этим. Я только прошу вас, Тротвуд, если вы когда-нибудь обо мне думаете… я хочу сказать… каждый раз, когда вы обо мне подумаете, – добавила она с кроткой улыбкой, так как я хотел перебить ее, а она догадалась почему, – вспоминайте о том, что я вам сказала. Вы прощаете мне эту просьбу?

– Я прощу вам, Агнес, когда вы воздадите должное Стирфорту и полюбите его так же, как и я, – ответил я.

– Только тогда, не раньше? – спросила Агнес.

Я заметил, как затуманилось ее лицо, когда я упомянул о Стирфорте, но она ответила на мою улыбку, и снова мы, как и в былые времена, почувствовали друг к другу полное доверие.

– А когда вы простите мне тот вечер, Агнес? – спросил я.

– Когда о нем вспомню, – ответила Агнес.

Она хотела прекратить разговор, но я был слишком поглощен им, и настоял на том, чтобы рассказать ей, как все это произошло, как я покрыл себя позором и каким образом в цепи случайных обстоятельств театр оказался последним звеном. Я испытывал большое облегчение, подробно рассказывая о том, сколь я обязан Стирфорту за его заботу обо мне, когда я сам не мог о себе позаботиться.

– Помните, Тротвуд, вы всегда должны говорить мне все – не только, когда попадаете в беду, но и когда влюбляетесь, – сказала Агнес, спокойно меняя тему разговора, как только я закончил свой рассказ. – Кто занял место мисс Ларкинс?

– Никто, Агнес.

– Кто-нибудь да есть, Тротвуд! – смеясь и грозя пальцем, возразила Агнес.

– Честное слово, никого нет, Агнес! Правда, у миссис Стирфорт живет одна леди, она очень умна, и мое приятно с ней беседовать… это мисс Дартл… но я не влюблен в нее.

Агнес снова посмеялась своей собственной проницательности и сказала, что, если я буду всегда откровенен с ней, она, пожалуй, начнет вести список всех моих пылких увлечений с указанием даты начала и завершения каждого из них, по образцу хронологической таблицы царствований королей и королев в истории Англии. Потом она спросила, видел ли я Урию Хипа.

– Урию Хипа? – переспросил я. – Нет. – Разве он в Лондоне?

– Он ежедневно бывает здесь в конторе, внизу. – ответила Агнес. – В Лондон он приехал за неделю до меня. Боюсь, что по неприятному делу, Тротвуд.

– По делу, которое, я вижу, беспокоит вас? Что же это может быть?

Агнес отложила в сторону работу, сложила руки и, задумчиво глядя на меня своими прекрасными, кроткими глазами, сказала:

– Мне кажется, он собирается стать папиным компаньоном.

– Что такое? Урия? Этот гнусный подлиза пролезает на такое место? – с негодованием вскричал я. – Агнес, неужели вы не протестовали? Подумайте, каковы могут быть последствия такого договора! Вы должны высказать свое мнение. Вы не должны допускать, чтобы ваш отец сделал этот безумный шаг. Вы должны воспрепятствовать этому, Агнес, пока еще не поздно!

Не сводя с меня глаз, Агнес покачала головой и, пока я говорил, чуть улыбалась моей горячности; потом она сказала:

– Помните наш последний разговор о папе? Вскоре после этого, через два-три дня, он впервые намекнул мне на то, о чем я сейчас вам говорю. Грустно было видеть, как он борется с собой, желая изобразить дело так, словно таково его собственное желание, и в то же время не умеет скрыть, что его к этому принуждают. Мне было очень горько.

– Принуждают, Агнес? Кто же его к этому принуждает?

– Урия Хип добился того, что стал необходимым для папы. – ответила она после минутного колебания. – Он человек лукавый и всегда настороже. Он видел папины слабости,

потакал им и пользовался ими до тех пор, пока… ну, одним словом, Тротвуд, пока папа не начал его бояться…

Для меня было ясно: тут крылось что-то большее, чем она могла сказать, пожалуй, большее, чем она знала или подозревала. Я не в силах был причинить ей боль новыми расспросами, ибо знал, что она скроет от меня правду, щадя своего отца. Я понимал, что дело давно к этому шло; поразмыслив, я пришел к выводу, что это тянется уже очень долго. И я промолчал.

– Его влияние на папу очень велико, – продолжала Агнес. – Он говорит о смирении и благодарности – может быть, он и не лжет, надеюсь, что не лжет, – но власть в его руках, и я боюсь, что он злоупотребляет ею.

Я обозвал его негодяем и в тот момент почувствовал большое удовлетворение.

– В ту пору, о которой я говорю, в ту пору, когда папа завел об этом речь со мною, – продолжала Агнес, – Урия сказал папе, что собирается уйти, что ему очень грустно и не хочется уходить, но перед ним открываются лучшие перспективы. Папа был тогда очень удручен, ни вы, ни я никогда еще не видели, чтобы его так угнетало бремя забот… И мысль сделать Урию своим компаньоном, кажется, доставила ему облегчение, хотя в то же время он был как будто оскорблен и пристыжен.

– А как вы приняли это известие, Агнес?

– Надеюсь, я поступила правильно, Тротвуд, – ответила она. – Я была уверена, что для папиного спокойствия такая жертва необходима, и я умоляла принести ее, я сказала, что это облегчит тяготы его жизни – надеюсь, так оно и будет! – и даст мне возможность больше времени проводить в его обществе. О Тротвуд! – воскликнула Агнес, закрывая руками лицо, чтобы скрыть слезы. – Мне иногда кажется, будто я была врагом ему, а не любящей дочерью… Я знаю, какая произошла с ним перемена из-за его любви ко мне… Знаю, что он сосредоточил на мне все свои помыслы и сузил круг своих обязанностей и интересов. Знаю, что ради меня он отказался от очень многого, а тревога обо мне омрачила его жизнь, отняла силы и энергию, потому что всегда его мысли были устремлены только к одному. О, если бы я могла это изменить! Если бы я могла вернуть ему мужество, я, которая невольно оказалась причиной его слабости!

Никогда еще не видел я Агнес плачущей. Я видел слезы на ее глазах, когда приносил домой из школы новые награды, видел их, когда в последний раз мы говорили об ее отце, и видел, как она отвернулась, когда мы прощались. Но никогда не видел я ее в таком горе. Мне было так грустно, что я мог только глупо и беспомощно твердить:

– Прошу вас, не плачьте, Агнес! Не плачьте, дорогая моя сестра!

Однако Агнес настолько превосходила меня силой характера и самообладанием, хотя тогда я, быть может, этого и не знал (но зато хорошо знаю теперь), что мне недолго пришлось ее умолять. Чудесное спокойствие, столь отличающее ее в моих воспоминаниях от всех других людей, опять вернулось к ней, словно ясное небо очистилось от облаков.

– Вряд ли нам долго удастся побыть вдвоем, – сказала Агнес, – и я пользуюсь удобным случаем, чтобы горячо просить вас вот о чем: относитесь дружелюбно к Урии. Не отталкивайте его. Не возмущайтесь тем, что вам не по душе, – мне кажется, вы вообще к этому склонны. Может быть, он этого не заслуживает, в конце концов мы ничего плохого о нем не знаем. Во всяком случае, думайте прежде всего о папе и обо мне!

Агнес больше ничего не успела сказать, так как дверь открылась и в комнату вплыла миссис Уотербрук, леди очень полная; возможно, впрочем, что на ней было широкое платье, ибо я не мог догадаться, где кончалась леди и где начиналось платье. Я смутно припомнил, словно видел прежде тусклое ее изображение в волшебном фонаре, что она тоже была в театре, но она, очевидно, прекрасно меня запомнила и полагала, что я все еще нахожусь в состоянии опьянения.

Но мало-помалу убедившись, что я трезв и что я (льщу себя этой надеждой) – весьма скромный молодой джентльмен, миссис Уотербрук значительно смягчилась и осведомилась, во-первых, часто ли я прогуливаюсь в парке, а во-вторых, часто ли бываю в свете. На оба эти вопроса я дал отрицательный ответ, и мне показалось, что я снова упал в ее глазах, но она милостиво скрыла это обстоятельство и пригласила меня на следующий день к обеду. Я принял приглашение и откланялся, а уходя, заглянул в контору к Урии и, не застав его, оставил визитную карточку.

Когда на следующий день я явился к обеду и распахнулась парадная дверь, я погрузился в паровую ванну из ароматов жареной баранины и догадался, что не был единственным гостем, так как немедленно опознал переодетого посыльного, нанятого на подмогу слуге и стоявшего у нижней ступеньки лестницы, чтобы докладывать о гостях. Спрашивая доверительно мою фамилию, он старался по мере сил держать себя так, будто никогда в жизни меня не видел, но я прекрасно его узнал, равно как и он меня. Вот что значит совесть – мы оба вели себя как трусы!

Мистер Уотербрук оказался джентльменом средних лет, с короткой шеей и очень высоким воротничком; ему не хватало только черного носа, чтобы походить, как две капли воды, на мопса. Он заявил мне, что счастлив со мною познакомиться, и после того, как я отвесил поклон миссис Уотербрук, он с большими церемониями представил меня очень грозной леди в черном бархатном платье и в большой черной бархатной шляпе; помнится, она походила на какую-нибудь близкую родственницу Гамлета, – скажем, на его тетку.

Звали эту леди миссис Генри Спайкер; присутствовал здесь и ее супруг – человек столь холодный, что голова его казалась не седой, а осыпанной инеем. Чете Спайкер оказывали величайшее внимание; по словам Агнес, это объяснялось тем, что мистер Генри Спайкер был поверенным при чем-то или при ком-то – хорошенько не помню, – имеющем отдаленное отношение к казначейству.

Я обнаружил среди гостей Урию Хипа, облекшегося в черный костюм и глубокое смирение. Когда я пожал ему руку, он сказал, что горд оказанным мною вниманием и чувствует глубочайшую признательность. Я мог только пожелать, чтобы его признательность была менее глубокой, так как, исполненный благодарности, он вертелся около меня весь вечер, и стоило мне сказать словечко Агнес, как я уже был уверен, что за нашей спиной маячит лицо мертвеца и на нас смотрят его глаза, не затененные ресницами.

Были здесь и другие гости – все, как показалось мне, замороженные, словно вино. Но один из них привлек мое внимание еще раньше, чем вошел, так как я услышал, что доложили о нем как о мистере Трэдлсе! Мысли мои устремились в прошлое, к Сэлем-Хаусу. «Неужели это тот самый Томми. – подумал я, – который рисовал скелеты?»

С живейшим интересом я ожидал появления мистера Трэдлса. Он оказался тихим, степенным молодым человеком, скромным на вид, с забавной прической и широко раскрытыми глазами и так быстро забился в темный угол, что я не без труда мог его разглядеть. Наконец я рассмотрел его как следует и пришел к выводу, что, если глаза меня не обманывают, это и в самом деле прежний злополучный Томми.

Я приблизился к мистеру Уотербруку и сказал, что, кажется, имею удовольствие видеть здесь своего бывшего школьного товарища.

– В самом деле? – с удивлением произнес мистер Уотербрук. – Но вы слишком молоды, чтобы могли учиться в школе вместе с мистером Генри Спайкером?

– О, я имел в виду не его! – возразил я. – Я имею в виду джентльмена по фамилии Трэдлс.

– О! Да, да! Вот как! – сказал хозяин дома с гораздо меньшим интересом. – Возможно.

– Если это действительно он, – продолжал я, бросив взгляд в сторону Трэдлса, – то мы вместе были в школе, называвшейся Сэлем-Хаус, и он был превосходным малым.

– О да! Трэдлс – славный малый. – согласился хозяин дома, снисходительно кивнув головой. – Трэдлс очень неплохой малый.

– Странное стечение обстоятельств, – заметил я.

– Да, действительно странно, что Трэдлс вообще попал сюда, – ответил мистер Уотербрук. – Его пригласили только сегодня утром, когда выяснилось, что брат миссис Спайкер нездоров и его место за столом свободно. Брат миссис Генри Спайкер – джентльмен в полном смысле этого слова, мистер Копперфилд.

В ответ я пробормотал слова весьма прочувствованные, если принять во внимание, что я ровно ничего об этом джентльмене не знал; а затем осведомился, какова профессия мистера Трэдлса.

– Этот молодой человек, Трэдлс, готовится стать адвокатом, – отвечал мистер Уотербрук. – Да. Он славный малый, никому не враг, разве что самому себе.

– А себе он враг? – спросил я, огорченный этим сообщением.

– Видите ли, – ответил мистер Уотербрук, поджав губы и с безмятежным и благодушным видом играя цепочкой от часов, – я бы сказал, что он один из тех людей, которые сами себе заслоняют свет. Да, я бы сказал, например, что он никогда не будет стоить пятисот фунтов. Трэдлса рекомендовал мне один мой коллега. О да! Конечно! Он не без способностей, может составить резюме по делу, изложить свои доводы в письменной форме. Я имею возможность иногда подбрасывать Трэдлсу кое-какие дела – для него это нечто существенное. О да, да! Конечно!

На меня большое впечатление произвела чрезвычайно благодушная и самодовольная манера мистера Уотербрука изрекать время от времени: «О да! Конечно!» Это звучало весьма выразительно. Возникало представление о человеке, который родился, скажем, не с серебряной ложкой,[67] а с лестницей, по которой он и поднимался к высотам жизни, одолевая их одну за другой, а теперь с вершины крепостного вала бросает философски-покровительственный взгляд на людей, копошившихся внизу, во рву.

Я все еще предавался размышлениям на эту тему, когда доложили, что обед подан. Мистер Уотербрук повел к столу тетку Гамлета. Мистер Генри Спайкер повел миссис Уотербрук, Агнес, которую я с удовольствием повел бы сам, досталась какому-то глуповато ухмылявшемуся молодому человеку с расслабленной походкой. Урия, Трэдлс и я, как самые младшие среди гостей, спустились вниз последними. Лишившись общества Агнес, я был в какой-то мере вознагражден тем, что имел возможность возобновить на лестнице знакомство с Трэдлсом, который восторженно меня приветствовал. Тем временем Урия извивался и столь смиренно и униженно выражал свое удовольствие, что я с радостью швырнул бы его через перила.

За обедом нас с Трэдлсом разлучили, посадив далеко друг от друга: его – в сиянии красной бархатной леди, меня – в тени тетки Гамлета. Обед тянулся очень долго, а разговор шел об аристократах – о «голубой крови». Миссис Уотербрук несколько раз сообщила нам, что если она и питает к чему-нибудь слабость, то только к «голубой крови».

У меня мелькала мысль, что беседа полилась бы куда более непринужденно, если бы не наша светская утонченность. Разговор наш был таким утонченным, что темы для него было нелегко выбрать. За обедом присутствовали некий мистер и миссис Галпидж, которые имели какое-то косвенное отношение (во всяком случае – мистер Галпидж) к юридическим делам Английского банка, и вот мы вращались только между банком и казначейством, замкнутые в узкий круг наподобие придворных циркуляров, которые не выходят за пределы двора. Следует также добавить, что тетка Гамлета отличалась фамильной слабостью к монологам и бессвязно рассуждала сама с собой на все темы, какие только затрагивались. Правда, их было весьма мало, но поскольку мы неизменно возвращались к «голубой крови», то ей представлялось столь же широкое поле для отвлеченных умозаключений, как и ее племяннику.

Наш обед напоминал обед людоедов – такую кровавую окраску носила наша беседа.

– Признаюсь, я разделяю мнение миссис Уотербрук, – сказал мистер Уотербрук, подняв рюмку на уровень глаз. – Конечно, на свете есть немало хорошего в своем роде, но мне дайте кровь!

– О, ничто иное не может доставить такого удовлетворения! – заметила тетка Гамлета. – И вообще ничто не может быть таким же beau ideal [Прекрасным идеалом (франц.)] для человека! Есть низменные души – хочу верить, что их немного, но они есть, – которые предпочитают заниматься тем, что я назвала бы… преклонением перед идолами. Да, перед настоящими идолами! Перед тем, что они называют заслугами, умом и так далее… Но это вещи неосязаемые. Другое дело – кровь! О крови мы узнаем по носу. Мы видим ее в подбородке и говорим. «Вот она! Это кровь!» Это факт, он перед нашими глазами. Он не вызывает никаких сомнений.

Глуповато ухмыляющийся молодой человек с расслабленной походкой, который вел к обеду Агнес, поставил сей вопрос, по моему мнению, еще более решительно.

– Да, знаете ли, черт побери, мы не должны забывать о крови! – сказал этот джентльмен, с дурацкой улыбкой обозревая стол. – Кровь, знаете ли, нам необходима. Может быть, образование и поведение некоторых молодых людей и не совсем соответствуют их положению, они могут иной раз, знаете ли, сбиться с пути и наделать хлопот и себе и другим… и мало ли что еще… Но, черт побери! Как приятно сознавать, что в их жилах течет голубая кровь! Я лично предпочитаю, чтобы меня сбил с ног человек, у которого в жилах течет эта кровь, чем помог подняться тот, у кого ее нет!

Такая сентенция, выражавшая в сжатой форме самое существо дела, заслужила величайшее одобрение, и пока леди не удалились, упомянутый джентльмен пользовался всеобщим вниманием. А затем я заметил, что мистер Галпидж и мистер Генри Спайкер, которые до сей поры были очень немногословны, заключили против нас, как общего врага, оборонительный союз и повели через стол таинственный диалог, направленный к нашему поражению и разгрому.

– Это дело о первом обязательстве на четыре тысячи пятьсот фунтов обернулось не так, как ожидали, Спайкер, – сказал мистер Галпидж.

– Вы имеете в виду герцога Э.? – спросил мистер Спайкер.

– Графа Б.! – сказал мистер Галпидж. Мистер Спайкер поднял брови и принял озабоченный вид.

– Когда этот вопрос был предоставлен на рассмотрение лорду… мне незачем называть его… – спохватился мистер Галпидж.

– Понимаю, – сказал мистер Спайкер. – лорд N.? Не так ли?

Мистер Галпидж мрачно кивнул головой.

– Когда вопрос представили ему на рассмотрение, его ответ гласил: «Нет денег, нет свободы от обязательства».

– Ах, боже мой! – воскликнул мистер Спайкер.

– Нет денег, нет свободы от обязательства, – твердо повторил мистер Галпидж. – Ближайший наследник под угрозой возврата… вы меня понимаете?

– Баронет? – произнес со зловещей миной мистер Спайкер.

– Вот-вот… Тогда баронет решительно отказался подписать. За ним следовали до самого Нью-Маркета, но он отказался наотрез.

Мистер Спайкер был до того заинтересован, что буквально окаменел.

– В таком положении дело находится и по сей час. – сказал мистер Галпидж, откинувшись на спинку стула. – Наш друг Уотербрук извинит меня, если я воздержусь от каких бы то ни было объяснений, принимая во внимание высокое положение заинтересованных сторон.

Мне показалось, будто мистер Уотербрук был и без того бесконечно счастлив, что о таких заинтересованных сторонах и о таких персонах упоминают, хотя бы туманно, за его столом. Он придал своей физиономии выражение суровое и глубокомысленное (хотя я убежден, что этот разговор был ему понятен не больше, чем мне) и весьма одобрительно отозвался о соблюдении осторожности. Выслушав столь доверительное сообщение, мистер Спайкер, разумеется, пожелал отблагодарить своего приятеля не менее доверительным сообщением; посему за первым диалогом последовал второй, когда очередь удивляться пришла мистеру Галпиджу, а за вторым – третий, когда удивление выражал снова мистер Спайкер: так они и продолжали удивляться по очереди. Все это время мы, непосвященные, были подавлены величием заинтересованных сторон, о которых шла речь, и наш хозяин горделиво взирал на нас, в непоколебимой уверенности, что благоговение и изумление пойдут нам на пользу.

Я очень обрадовался, получив, наконец, возможность подняться наверх, к Агнес, побеседовать с ней в сторонке и представить ей Трэдлса, который робел, но оставался все тем же славным и добродушным малым. Он должен был уйти рано, так как на следующее утро собирался уехать на месяц из города, а потому мы потолковали с ним гораздо меньше, чем мне бы хотелось, но обменялись адресами и дали друг другу слово встретиться, когда он вернется в Лондон. Он очень заинтересовался, узнав, что я видаюсь со Стирфортом, и говорил о нем с такой теплотой, что я заставил его сообщить Агнес, какого он мнения о Стирфорте. Но Агнес только поглядела на меня и слегка покачала головой, когда никто, кроме меня, не мог это заметить.

Так как Агнес жила с людьми, среди которых, мне казалось, не могла чувствовать себя как дома, я почти обрадовался, услыхав, что через несколько дней она уезжает, хотя и был опечален перспективой столь близкой разлуки. Вот почему я не уходил, пока не разошлись все гости. Беседа с ней и ее пение так восхитительно напомнили мне счастливую мою жизнь в степенном старом доме, который она сделала таким прекрасным, что я готов был просидеть здесь до поздней ночи; но, когда угасли все светила, бывшие в гостях у мистера Уотербрука, у меня не было повода оставаться дольше, и я с большою неохотой откланялся. В ту минуту я чувствовал сильнее, чем когда бы то ни было, что она мой добрый ангел, и если я думал о нежном ее лице и кроткой улыбке так, словно на меня взирало существо не от мира сего, подобное ангелу, надеюсь, мне простится эта мысль!

Я сказал, что все гости уже разошлись, но мне следовало сделать исключение для Урии, не причисленного мною к категории гостей; он не переставал вертеться около нас. Когда я спускался по лестнице, он был за моей спиной. Когда я вышел из дому, он шагал подле меня, медленно натягивая на свои длинные костлявые пальцы еще более длинные пальцы перчаток, огромных, как у Гая Фокса.[68]

У меня не было ни малейшего желания находиться в обществе Урии, но, памятуя о просьбе Агнес, я спросил, не хочет ли он зайти ко мне и выпить чашку кофе.

– О, право же, мой юный мистер Копперфилд… – прошу прощения, мистер Копперфилд, – «юный» сорвалось у меня с языка по привычке! – мне бы не хотелось, чтобы вы себя стесняли, приглашая в свой дом такого ничтожного, смиренного человека, как я, – отвечал Урия.

– Никакого стеснения тут нет, – возразил я. – Зайдете?

– Мне бы очень хотелось, – извиваясь, ответил Урия.

– Ну, так идем, – сказал я.

Я невольно говорил с ним резко, но он как будто не обращал на это внимания. Мы пошли кратчайшей дорогой и по пути почти не разговаривали; он с величайшим смирением

продолжал натягивать свои перчатки, пригодные для пугала, и, казалось, не преуспел в этом деле даже к тому времени, когда мы подошли к дому.

Я повел его за руку по темной лестнице, чтобы он не стукнулся обо что-нибудь головой; рука была на ощупь такой влажной и холодной – совсем как лягушка! – что мне захотелось оттолкнуть ее и убежать. Но Агнес и чувство гостеприимства одержали верх, и я привел его к себе. Когда я зажег свечи и комната осветилась, он, в припадке смирения, пришел в экстаз; когда же я стал варить кофе в скромном жестяном котелке, которым предпочитала пользоваться миссис Крапп (думаю, главным образом потому, что он имел другое назначение, а именно – в нем подогревали воду для бритья, и также потому, что в кладовке покрывался ржавчиной дорогой патентованный кофейник), Урия выразил с такой силой свои чувства, что я с удовольствием ошпарил бы его кофе.

– О, право же, мистер Копперфилд, мог ли я когда-нибудь надеяться, что вы будете меня угощать за своим столом! Но, сказать правду, со мной произошло много такого, чего я в своем ничтожестве никак не мог ожидать! Мне кажется, будто на меня так и сыплются всевозможные блага. Вы что-нибудь слыхали о перемене в моей судьбе, мистер Копперфилд?

Он сидел на диване, подобрав длинные ноги и поставив чашку на колени; его шляпа и перчатки лежали подле него на полу; он тихонько помешивал ложечкой кофе, повернувшись ко мне и в то же время не смотря на меня своими красными глазами, которые как будто спалили ему ресницы; противные расплющенные ноздри, уже описанные мною ранее, то втягивались, то раздувались при дыхании, все его тело от подбородка до башмаков извивалось, как змея, и я понял, что питаю к нему величайшее отвращение. Мне было очень неприятно видеть его у себя в гостях, ибо я был тогда молод и не привык скрывать свои чувства, если они были так сильны.

– Может быть, вы что-нибудь слыхали о перемене в моей судьбе, мистер Копперфилд? – спросил Урия.

– Да, кое-что слышал, – ответил я.

– А! Я так и думал, что мисс Агнес должна об этом знать, – спокойно сказал он. – Мне приятно удостовериться, что мисс Агнес об этом знает. О, благодарю вас, мистер Копперфилд!

Я не прочь был запустить в него дощечкой для стягиванья сапог (она лежала тут же на коврике перед камином), ибо он поймал меня в ловушку, заставив проговориться и открыть хотя бы что-то касающееся Агнес. Но я продолжал пить кофе.

– Каким вы оказались пророком, мистер Копперфилд! – продолжал Урия. – Боже мой, каким пророком! Помните, вы сказали мне однажды, что, может быть, я стану когда-нибудь компаньоном мистера Уикфилда и фирма будет называться «Уикфилд и Хип»? Вы-то, пожалуй, этого не помните, мистер Копперфилд, но человек маленький и смиренный, вроде меня, хранит в памяти такие слова!

– Я припоминаю, что говорил об этом, хотя, конечно, в ту пору считал это маловероятным.

– О, кто бы мог считать это вероятным, мистер Копперфилд? – в восторге подхватил Урия. – Уж, конечно, не я! Помню, я сказал, что я человек слишком маленький и смиренный. И таким я и считал себя, говорю истинную правду…

Он сидел с застывшей, словно высеченной на лице, улыбкой и смотрел на огонь, а я смотрел на него.

– Но и самый смиренный человек, мистер Копперфилд, может послужить орудием добра, – снова заговорил он. – Мне утешительно думать, что я служил орудием добра для мистера Уикфилда и, может быть, еще сослужу ему службу. О, какой это достойный человек, мистер Копперфилд, но как он был неосторожен!

– Очень печально это слышать, – сказал я. И невольно добавил довольно колко: – Печально во всех отношениях.

– Совершенно верно, мистер Копперфилд, – подтвердил Урия. – Во всех отношениях. И главным образом из-за мисс Агнес! Вы не помните ваших красноречивых слов, мистер Копперфилд, но я-то хорошо помню, как вы сказали мне однажды, что все должны восхищаться ею, и как я благодарил вас за эти слова! Вы их, конечно, позабыли, мистер Копперфилд?

– Нет, – сухо ответил я.

– О, как я рад, что вы не забыли! – воскликнул Урия. – Подумать только, что вы первый заронили искру честолюбия в мое смиренное сердце и что вы этого не забыли!.. Простите, можно еще чашку кофе?

Многозначительный тон, которым были сказаны слова об этой искре, зароненной в его сердце, и взгляд, который он на меня устремил, заставили меня вздрогнуть, словно он предстал предо мною озаренный ослепительным светом. Его просьба, произнесенная совсем другим тоном, заставила меня опомниться. Я взял котелок, но рука у меня дрожала, я вдруг почувствовал, что он сильнее меня и настороженно ждал, что он еще скажет; моя тревога, я уверен, не ускользнула от его внимания.

Он не сказал ровно ничего. Он помешивал ложечкой кофе, пил его маленькими глотками, тихонько поглаживал подбородок своей ужасной рукой, смотрел на огонь, озирал комнату. Он не столько улыбался мне, сколько растягивал рот, извивался и изгибался со своей обычной раболепной почтительностью, снова помешивал кофе и пил маленькими глотками, но возобновить разговор он предоставил мне.

– Значит, мистер Уикфилд, – заговорил я наконец, – который стоит пятисот таких, как вы… или как я (мни кажется, я просто не мог не запнуться и не сделать между этими словами неловкой паузы), мистер Уикфилд был неосторожен, не так ли, мистер Хип?

– Да, крайне неосторожен, мистер Копперфилд, – скромно вздохнув, ответил Урия. – Чрезвычайно неосторожен! Но я попросил бы нас называть меня Урией. Как в былые времена.

– Хорошо, Урия, – с трудом выдавил я из себя это слово.

– Благодарю вас! – с жаром воскликнул он. – Благодарю вас, мистер Копперфилд! Кажется, будто повеяло прошлым или зазвонили старые колокола, когда я слышу, как вы называете меня Урией… Простите, о чем мы начали говорить?

– О мистере Уикфилде, – напомнил я.

– Ах, да! Совершенно верно. Величайшая неосторожность, мистер Копперфилд! Ни с одним человеком, кроме вас, я не стал был говорить на эту тему. Даже беседуя с вами, я могу только коснуться ее, не больше, если бы в течение последних лет на моем месте был кто-нибудь другой, он придавил бы мистера Уикфилда (а какой это достойный человек, мистер Копперфилд!) одним пальцем. Да, одним пальцем, – очень медленно повторил Урия, протянув свою отвратительную руку над столом и надавив на него большим пальцем так, что стол покачнулся; и вся комната словно бы тоже покачнулась.

Если бы пришлось мне у видеть, как он попирает своею вывороченной ступней голову мистера Уикфилда, вряд ли я мог бы ненавидеть его сильнее.

– О да, мистер Копперфилд, никаких сомнений быть не может, – продолжал он тихим голосом, удивительно противоречившим его жесту, ибо большой палец все еще с тою же силой давил на стол. – Его ожидало бы разорение, позор, бог весть что еще! Мистер Уикфилд это знает. Я смиренное орудие, смиренно служащее ему, и он возносит меня на высоту, которой я не надеялся достигнуть, Как должен я быть благодарен!

Замолчав и повернувшись ко мне лицом, но не глядя ил меня, он снял свой изогнувшийся палец со стола и стал медленно и задумчиво скрести худую щеку, как будто брил ее.

Помню, как негодующе колотилось у меня сердце, когда я смотрел на его лукавую физиономию, к тому же еще освещенную красным отблеском камина: видно было, что он готовится продолжить свою речь.

– Мистер Копперфилд… – начал он. – Но может быть, я не даю вам лечь спать?

– Нет, я обычно ложусь поздно.

– Благодарю вас, мистер Копперфилд! Когда вы впервые обратили на меня внимание, я занимал скромное местечко; правда, с тех пор положение мое изменилось, но я все-таки человек маленький, смиренный. Надеюсь, таким я останусь до конца жизни. Мистер Копперфилд, вы не усомнитесь в моем смирении, если я сделаю вам маленькое признание?

– О нет, – с усилием выговорил я.

– Благодарю вас!

Он вынул носовой платок и начал вытирать ладони.

– Мистер Копперфилд, мисс Агнес…

– Что же дальше, Урия?

– О, как приятно слышать, что вы по собственному желанию называете меня Урией! – вскричал он, дергаясь, словно рыба, выброшенная на сушу. – Не находите ли вы, что сегодня вечером она была очень красива, мистер Копперфилд?

– Я нахожу, что она была такою же, как всегда – во всех отношениях выше людей, ее окружающих! – ответил я.

– О, благодарю вас! Как это справедливо! – воскликнул он. – Как я вам благодарен за это!

– Не за что, – холодно возразил я. – У вас нет никаких оснований благодарить меня.

– Мистер Копперфилд, это и есть то признание, какое я осмеливаюсь вам сделать, – сказал Урия. – Хотя я человек маленький, смиренный, – он еще усерднее стал вытирать руки, посматривая то на них, то на огонь, – хотя моя мать – человек смиренный и жалок наш бедный, но честный кров, образ мисс Агнес… Я могу доверить вам свою тайну, мистер Копперфилд, потому что почувствовал горячую симпатию к вам с той минуты, как имел удовольствие увидеть вас в фаэтоне… Так вот… Образ мисс Агнес уже много лет запечатлен в моем сердце. О мистер Копперфилд, какую целомудренную любовь питаю я к земле, по которой ступает моя Агнес!

Помнится, у меня мелькнула безумная мысль выхватить из камина раскаленную докрасна кочергу и проткнуть его. Я даже вздрогнул, когда эта мысль промелькнула в моей голове, будто пуля, вылетевшая из ружья. Но меня не покидал образ Агнес, оскверненный помыслами этой рыжей твари (я видел, как он сидел весь перекошенный, словно подлая его душонка сжимала в тисках его тело), и я почувствовал головокружение. Казалось, он разбухает и растет на моих глазах, а комната наполняется отзвуками его голоса; и мною овладело странное чувство (быть может, отчасти знакомое каждому), будто все это уже происходило раньше, неведомо когда, и будто я уже знаю, что он сейчас скажет.

Я вовремя подметил в его лице сознание собственной власти и это больше, чем любое усилие, на какое я был способен, помогло мне отчетливо вспомнить мольбу Агнес. Я спокойно спросил его – такое самообладание минутою раньше казалось мне недостижимым, – открыл ли он свои чувства Агнес.

– О нет, мистер Копперфилд! – воскликнул он. – Конечно, нет! Никому, кроме вас! Видите ли, мое положение в обществе было жалкое, и я только-только начинаю подниматься. Я очень надеюсь на то, что она увидит, как я полезен ее отцу, – а я твердо верю, мистер Копперфилд, что буду очень ему полезен! – и как я расчищаю для него дорогу и не даю ему уклоняться с прямого пути. Она так привязана к своему отцу, мистер Копперфилд – о, как прекрасно дочернее чувство! – что, возможно, ради отца будет со временем добра и ко мне.

Я проник в глубину замыслов этого негодяя и понял, почему он открыл их мне.

– Если вы будете так добры и сохраните мою тайну, мистер Копперфилд, – продолжал он, – и вообще не пойдете против меня, я сочту это особой милостью. Ведь вы же не захотите никому вредить. Мне известно, какое у вас отзывчивое сердце… Но вы меня знали, когда я был

ничтожным человеком – мне бы следовало добавить: совсем ничтожным, потому что я и теперь человек маленький, смиренный, – и вот, помимо своей воли, вы можете восстановить против меня мою Агнес. Видите, мистер Копперфилд, я называю ее моей! Есть такая песня: «От всех корон я откажусь, лишь бы она была моей!»[69] Надеюсь, так и будет когда-нибудь.

Милая Агнес! Такой она была любящей, такой доброй, что, казалось мне, нет на свете никого достойного ее. Может ли быть, что ей суждено стать женой этого негодяй!

– Сейчас, знаете ли, спешить некуда, мистер Копперфилд, – снова заговорил Урия елейным голосом, в то время как я сидел, и смотрел на него, и думал свою думу. – Моя Агнес очень молода, а мы с матерью должны пробивать себе дорогу, должны обо многом еще позаботиться, и тогда только можно будет это осуществить. Стало быть, у меня есть время, пользуясь каждым удобным случаем, постепенно подготовить ее, чтобы она свыклась с моими надеждами. О, как я вам благодарен за то, что вы выслушали мое признание! Вы даже не можете вообразить, как приятно убедиться, что вы понимаете наше положение и, конечно, не пойдете против меня – ведь не захотите же вы повредить семейству!

Он взял мою руку – я не посмел ее выдернуть – и стиснул ее своей влажной рукой, а потом посмотрел на свои часы со стертым циферблатом.

– Ах, боже мой, второй час! – сказал он. – Когда говоришь по душам о прошлом, время так и летит, мистер Копперфилд. Уже почти половина второго.

Я отвечал, что мне казалось, будто сейчас гораздо позже. В сущности, я этого не думал, а ответил так только потому, что был не в силах продолжать разговор.

– Боже мой! – воскликнул он, призадумавшись. – В доме, где я остановился – это что-то вроде маленькой гостиницы или пансиона, мистер Копперфилд, близ Нью-Ривер, – там уже часа два назад легли спать.

– Очень жаль, что здесь только одна кровать и что я…

– О, стоит ли говорить о кроватях, мистер Копперфилд! – восторженно воскликнул он, поджимая одну ногу. – Но вы не стали бы возражать, если бы я улегся здесь, у камина?

– Уж коли на то пошло, пожалуйста, займите мою кровать, а я лягу у камина, – отозвался я.

С безграничным изумлением и смирением он отверг это предложение таким визгливым голосом, что, пожалуй, он мог коснуться слуха миссис Крапп, которая, как я полагаю, давно спала в дальней комнате, расположенной на уровне воды в реке, убаюкиваемая тиканьем неисправимых часов: на них она всегда ссылалась в свое оправдание, когда у нас с ней происходили размолвки касательно ее пунктуальности, и все-таки они неизменно отставали на три четверти часа, хотя каждое утро их чинили наилучшие часовщики. Я уговаривал его, насколько это было возможно после такого ошеломительного признания, расположиться в моей спальне, но он, по скромности своей, отказался наотрез. Мне пришлось устроить ему удобное ложе у камина. Тюфячок с дивана (слишком короткий для такого долговязого человека), диванные подушки, одеяло, парадная скатерть со стола, еще одна, свежая скатерть, теплое пальто – все это послужило ему постелью, и он рассыпался в благодарностях. Я оставил его почивать, предварительно вручив ему ночной колпак, который он тотчас же надел и превратился в такое страшилище, что с той поры я никогда больше не носил ночных колпаков.

Никогда не забыть мне этой ночи. Никогда не забыть мне, как я переворачивался в постели с боку на бок, как мучили меня мысли об Агнес и об этой твари, как размышлял я о том, что могу я предпринять и что должен предпринять, и как я в конце концов пришел к решению: ради спокойствия Агнес не предпринимать ничего и хранить в тайне то, что услышал. Если и случалось мне на минутку задремать, мне мерещилась Агнес, ее ласковые глаза, ее отец, с любовью глядящий на нее – о, как часто я видел, бывало, этот любящий взгляд! – и умоляющие их лица возникали передо мной, вызывая в душе моей смутный страх.

А когда я просыпался и вспоминал, что в соседней комнате лежит Урия, мне казалось я вижу страшный сон, и я чувствовал такой ужас, словно приютил какую-то нечисть.

В дремоте мерещилась мне и кочерга, от которой я никак не мог избавиться. Находясь между сном и явью, я видел, будто она все еще докрасна раскалена, а я выхватываю ее из камина и протыкаю Урию насквозь, в конце концов эта мысль превратилась в навязчивую идею – хотя я знал, что она нелепа, – и я крадучись вышел из спальни, чтобы посмотрев на него. Он лежал на спине, вытянув ноги бог весть куда, в горле у него булькало, нос был заложен, а рот открыт, как дверь почтовой конторы. Он казался еще более отвратительным, чем рисовало его мое лихорадочное воображение, и теперь уже отвращение притягивало меня к нему, и чуть ли не каждые полчаса я входил в комнату, чтобы еще разок на него взглянуть. А долгая-долгая ночь казалась все такой же тяжелой и безнадежной, и хмурое небо не сулило рассвета. Когда рано утром он спускался по лестнице (слава богу, еще до завтрака), мне показалось, что сама ночь уходит вместе с ним. Отправляясь в Докторс-Коммонс, я дал наказ миссис Крапп настежь открыть окна и хорошенько проветрить мою гостиную, чтобы и духу его там не осталось.

Глава XXVI

Я попадаю в плен

До отъезда Агнес из города я не видел Урии Хипа. Но когда я пришел в контору пассажирских карет проводить Агнес и попрощаться с ней, я встретил там и его: он возвращался в Кентербери с той же каретой. Я испытал некоторое удовольствие, увидев его дешевенькое темно-красное пальто, со вздернутыми плечами и короткой талией, болтавшееся, как на шесте, – в компании с дождевым зонтиком, напоминавшим палатку, – на краю заднего сиденья на крыше кареты, тогда как Агнес, разумеется, заняла место внутри; быть может, я заслужил эту награду, потому что мне стоило большого труда держаться с ним дружелюбно, когда Агнес смотрела на нас. Как и во время званого обеда, он без устали кружил вокруг нас, словно огромный ястреб, жадно глотая каждое слово, которым мы обменивались с Агнес.

Встревоженный сообщением, которое я от него услышал у моего камина, я много думал о словах Агнес, сказанных ею по поводу нового компаньона фирмы: «Надеюсь, я поступила правильно. Я была уверена, что для папиного спокойствия такая жертва необходима, и я умоляла принести ее». С той поры я не мог отделаться от мрачного предчувствия, что и в будущем она окажет готовность идти на любые жертвы ради отца и в этой готовности будет черпать силы. Я знал, как она его любит. Знал, как она самоотверженна. Из ее собственных уст я слышал, что она считает себя невольной виновницей его ошибок и чувствует себя перед ним в большом долгу, который страстно хочет уплатить. Меня нисколько не утешало сознание, что она столь непохожа на этого рыжего негодяя в темно-красном пальто, так как именно в этом различии между ними – между самоотреченностью ее чистого сердца и гнусной низостью Урии – и таилась главная опасность. Несомненно, он это прекрасно знал и хитро учитывал.

Я был уверен, что перспектива такой жертвы должна погубить счастье Агнес, но видел, по тому, как непринужденно она себя держала, что она еще не предчувствует этой жертвы и тень еще не упала на ее чело, а стало быть я не мог предостеречь ее от надвигающейся опасности, так же как не мог причинить ей зло. И мы расстались не объяснившись; она махала мне рукой из окна кареты и посылала прощальные улыбки, а ее злой гений корчился на крыше, словно уже держал ее, торжествуя, в своих когтях.

Воспоминание об этой прощальной сцене долго еще не давало мне покоя. Получив письмо Агнес о благополучном возвращении, я все еще грустил так же, как и в день разлуки. А стоило мне призадуматься – и картины будущего представали передо мной и удваивали мою тревогу. Не проходило ночи, чтобы они не мерещились мне. Они стали частью моего существования, и были так же неотделимы от моей жизни, как и моя голова.

У меня было много досуга, чтобы предаваться мучительному раздумью: Стирфорт, как он писал, находился в Оксфорде, и в те часы, когда я не бывал в Докторс-Коммонс, я много

времени проводил в одиночестве. Вот тогда-то, мне кажется, я начал питать скрытое недоверие к Стирфорту. Я отвечал на его письмо очень сердечно, но в глубине души, думается мне, был рад, что он не приезжает в Лондон. Подозреваю, что обязан я был этим влиянию Агнес, которое, вероятно, могло бы ослабнуть, если бы Стирфорт был рядом со мной; и это влияние становилось все более сильным, потому что я так много думал и беспокоился о ней.

А дни и недели текли. Я проходил курс обучения в фирме «Спенлоу и Джоркинс». От бабушки я получал девяносто фунтов в год, не считая денег для уплаты за квартиру и на покрытие кое-каких других расходов. Квартира была снята на год, и хотя по вечерам я все еще находил ее мрачной, а вечера длинными, но я привык к своему меланхолическому душевному состоянию и покорно принимался за кофе, которое, помнится мне, поглощал галлонами в ту пору моей жизни. Приблизительно в то же время я сделал три открытия. Во-первых: миссис Крапп является жертвой загадочного недуга, называемого «спазма», от которого у нее сильно краснеет нос, а это требует постоянного лечения мятными каплями; во-вторых: какая-то странная температура моей кладовой приводит к тому, что бутылки с бренди все время лопаются; и в-третьих: я в мире одинок и склонен посетовать об этом обстоятельстве, придерживаясь правил английского стихосложения.

Тот день, когда я формально поступил в обучение, не был отмечен никаким празднеством, если не считать того, что я угостил клерков сандвичами и хересом, а вечером отправился один в театр: я пошел посмотреть «Чужеземца» – пьесу во вкусе Докторс-Коммонс – и возвратился таким удрученным, что не узнал себя в зеркале. По тому же торжественному случаю мистер Спенлоу, после окончания занятий в конторе, сказал, что он был бы рад пригласить меня к себе домой, в Норвуд, дабы по всем правилам отпраздновать начало наших деловых связей, но дома у него беспорядок, так как его дочь, заканчивающая в Париже свое образование, вот-вот должна возвратиться. При этом он выразил надежду увидеть меня у себя, как только его дочь вернется. Я знал, что он вдовец и у него единственная дочь, и поблагодарил за приглашение.

Мистер Спенлоу сдержал свое обещание. Недели через две он напомнил мне о приглашении и сказал, что будет очень рад, если я доставлю ему удовольствие и приеду к нему в ближайшую субботу и останусь до понедельника. Разумеется, я согласился доставить ему это удовольствие, и мы условились, что он отвезет меня к себе в своем фаэтоне, а затем привезет назад.

Когда этот день настал, младшие клерки в конторе взирали с благоговением на мой саквояж, так как для них дом в Норвуде был окутан дымкой священной тайны. Один из них сообщил мне, что, по слухам, мистер Спенлоу ест только на серебре и на китайском фарфоре; другой намекнул, что в этом доме за столом пьют шампанское вместо пива. Старый клерк в парике, мистер Тиффи, бывал несколько раз по делам конторы у мистера Спенлоу, и ему удавалось даже проникнуть в маленькую гостиную. По его словам, там была умопомрачительная роскошь, а темный ост-индский херес, который он там пил, был столь высокого качества, что слезы навертывались на глаза.

В тот день в Суде Консистории слушалось ранее отложенное дело об отлучении от церкви пекаря, не признававшего налога на мощение улиц, установленного приходом; поскольку том свидетельских показаний, по моим подсчетам, ровно вдвое превосходил размерами «Робинзона Крузо», мы закончили дело только к вечеру, тем не менее мы все-таки отлучили пекаря на полтора месяца и приговорили его к уплате бесчисленных судебных издержек, после чего проктор пекаря, судья и адвокаты обеих сторон (которые состояли между собой в родстве) выехали вместе за город, а я уселся с мистером Спенлоу в фаэтон.

Фаэтон – чудесная вещь! Лошади выгнули шею дугой и заработали ногами так, словно знали, что подведомственны Докторс-Коммонс. В Докторс-Коммонс шло жаркое соревнование по всем видам тщеславия, и многие там могли похвастаться прекрасными экипажами. Впрочем, я всегда считал и буду считать, что в мои времена самым главным предметом соревнования

являлось крахмальное белье, на каковое прокторы тратили столько крахмала, сколько человек был в силах вынести.

Мы очень приятно катили в фаэтоне, и мистер Спенлоу стал говорить о моей профессии. Он сказал, что это самая благородная профессия на всем свете и ни в какой мере ее нельзя сравнивать с профессией поверенного – она совсем другого сорта, профессия для избранных, менее рутинная и более доходная. Мы действуем в Докторс-Коммонс куда более свободно, чем где бы то ни было, – сказал он, – и потому находимся в привилегированном положении, стоим, так сказать, особняком. Правда, надо признать неприятный факт – нам доставляют дела главным образом поверенные, но, по его словам, это низшая раса, и все уважающие себя прокторы смотрят на них сверху вниз.

Я спросил мистера Спенлоу, какие дела он считает выгодными. Он ответил, что дела по спорным завещаниям о переходе не обремененных долгами небольших поместий стоимостью в тридцать – сорок тысяч фунтов являются, пожалуй, самыми выгодными. В такого рода делах, по его словам, прежде всего можно очень неплохо поживиться на каждой стадии процесса в ходе подбора доказательств, а таковых, в виде свидетельских показаний, громоздятся целые горы при простых допросах и перекрестных, не говоря уже о первой апелляции в Суд Делегатов, а затем в палату лордов; а поскольку нет сомнений, что судебные издержки, в конечном счете, могут быть оплачены из стоимости поместья, обе стороны бодро и весело пускаются в путь, не думая о расходах. Вслед за тем мистер Спенлоу принялся воспевать хвалу Суду Докторс-Коммонс.

Что особенно поражает (по его словам) в Докторс-Коммонс, – это его компактность. Докторс-Коммонс – наиболее целесообразно организованный суд во всем мире. Это воплощение идеи удобства. Здесь все под рукой. Например, вы возбуждаете дело о разводе или о восстановлении супружеских прав в Суде Консистории. Прекрасно. Вы ведете его помаленьку, в семейном кругу, не торопясь. Предположим, вы недовольны Консисторским Судом. Что вы делаете тогда! Вы передаете дело в Суд Архиепископа. А что такое Суд Архиепископа? Это суд в том же зале, с теми же адвокатами, с теми же учеными консультантами. Только судья здесь другой, ибо здесь судья Консистории может выступать, когда ему захочется в качестве адвоката. И тут игра начинается сначала. Вы все еще недовольны? Прекрасно. Что вы тогда делаете? Вы переносите дело в Суд Делегатов. А кто такие делегаты? Церковные делегаты – это адвокаты без дела, они следили за игрой, которая шла в двух судах, видели, как тасовали карты, снимали колоду и играли, они говорили со всеми игроками. А теперь они становятся судьями и, со свежими силами, решают дело ко всеобщему удовлетворению. Недовольные могут толковать о коррупции в Докторс-Коммонс, о замкнутости Докторс-Коммонс и о необходимости реформировать Докторс-Коммонс, – торжественно сказал в заключение мистер Спенлоу, – но чем дороже на рынке стоит бушель пшеницы, тем больше дел в Докторс-Коммонс. И, положа руку на сердце, каждый может сказать: «Троньте только Докторс-Коммонс – и стране конец!»

Я слушал внимательно. И хотя, признаюсь, несколько сомневался, так ли страна обязана Докторс-Коммонс, как утверждал мистер Спенлоу, но и к этим его словам я отнесся с уважением. Что касается цены на бушель пшеницы, я, по своей скромности, чувствовал, что это превосходит мое понимание, но тем не менее заставляет меня признать себя побежденным. И по сей час я не могу еще справиться с этим бушелем пшеницы. На протяжении всей моей жизни он появляется все снова и снова в связи с самыми разнообразными обстоятельствами и стирает меня в порошок. В сущности, я не знаю, что ему от меня нужно и какое право он имеет по любому поводу меня сокрушать. Но стоит мне увидеть, как притягивают за волосы, ни к селу ни к городу, моего старого друга – бушель (а это происходит, по моим наблюдениям, постоянно), я знаю: моя карта бита.

Но я уклоняюсь в сторону. Не мне суждено было посягнуть на Докторс-Коммонс и потрясти страну. Я выразил почтительным молчанием свое согласие со всем тем, что услышал от особы,

умудренной опытом и годами; затем мы говорили о «Чужеземце», о драме вообще, о паре лошадей, которые везли фаэтон, покуда не подкатили к воротам мистера Спенлоу.

К дому примыкал прекрасный сад, и хотя в это время года садом нельзя было любоваться в полной его красе, но его содержали в таком отменном порядке, что я пришел в восхищение. В саду была и очаровательная лужайка и купы деревьев, в сумерках я мог различить уходящие вдаль аллеи со шпалерами для вьющихся растений и цветов, которые зацветут здесь весной. «Тут мисс Спенлоу гуляет в одиночестве», – подумал я.

Мы вошли в ярко освещенный дом и очутились в холле, где лежали и висели всевозможные шляпы, шапки, пальто, пледы, перчатки, хлысты, трости…

– Где мисс Дора? – спросил слугу мистер Спенлоу.

«Дора! Какое красивое имя!» – подумал я.

Мы вошли из холла в смежную комнату (полагаю, это была та самая достопамятная гостиная, в которой подавали темный ост-индский херес), и я услышал голос:

– Познакомьтесь: мистер Копперфилд. А это моя дочь Дора и ее верный друг.

Да, это был несомненно голос мистера Спенлоу. Но я не узнал его, да и вообще мне было безразлично, чей это голос. Все произошло в один момент. Судьба моя решена! Я пленник, раб! Я люблю Дору Спенлоу до безумия.

Я видел перед собой существо неземное. Это была фея, сильфида, не знаю кто – нечто, чего никто никогда не видел и о чем все мечтают. Во мгновение ока я погрузился в самую бездну любви. Я не раздумывал на краю пропасти, не заглянул в нее, не оглянулся, а стремглав полетел вниз, прежде чем обрел возможность вымолвить хоть слово.

– Я прежде встречалась с мистером Копперфилдом, – вдруг услышал я хорошо знакомый голос, когда я что-то пробормотал и поклонился.

Это не был голос Доры. Нет. Это был голос верного друга – мисс Мэрдстон.

Это меня не очень удивило. Мне кажется, я потерял способность удивляться. Во всем подлунном мире было одно только достойное упоминания существо, которому я мог удивляться, – Дора Спенлоу.

И я сказал:

– Как поживаете, мисс Мэрдстон? Надеюсь, хорошо?

Она ответила:

– Очень хорошо.

Я продолжал:

– А как мистер Мэрдстон?

Она ответила:

– Благодарю, мой брат не может пожаловаться на свое здоровье.

Мистер Спенлоу, кажется, был изумлен и произнес:

– Очень рад, Копперфилд, что вы старые знакомые с мисс Мэрдстон.

– Мы свойственники с мистером Копперфилдом, – холодно сказала мисс Мэрдстон. – Когда-то мы были немного знакомы. Он был тогда ребенком. Обстоятельства нас разлучили. Я могла бы его не узнать.

Я сказал, что узнал бы ее где угодно. И это была сущая правда.

– Мисс Мэрдстон любезно согласилась занять место… если можно так выразиться… верного друга моей дочери Доры, – сказал мистер Спенлоу. – Моя дочь Дора, к несчастью, лишилась матери, и мисс Мэрдстон была так добра, что вызвалась стать ее спутницей и защитником.

Я не мог не подумать, что мисс Мэрдстон, подобно тому карманному оружию, которое называют «кастету», создана не столько для защиты, сколько для нападения. Но эта мысль мелькнула у меня только на миг, как и всякая другая мысль, не имевшая касательства к Доре. Я взглянул на нее, и мне показалось, по ее очаровательно-капризному виду, что она не очень склонна доверять своему другу и защитнику; но тут послышался удар колокола; мистер Спенлоу сказал, что это первый звонок к обеду, и повел меня переодеться.

Да, забавная идея для того, кто влюблен, – переодеваться или вообще что-нибудь делать! Я мог только сидеть перед камином, кусать ключ от своего саквояжа и думать о Доре, об ее пленительной юной красоте, о ее сверкающих глазах. Какая у нее фигурка, какое личико, какие грациозные манеры!

Снова послышался удар колокола, и, вместо того чтобы уделить должное внимание костюму, как того требовали обстоятельства, мне пришлось переодеться с быстротой молнии; затем я спустился вниз.

Гости уже собрались. Дора беседовала со старым, седовласым джентльменом. Хотя он был седовласый да в придачу еще прадедушка, как он сам сказал, но я безумно к нему ревновал.

В каком я был состоянии духа! Я ревновал к каждому, мне невыносимо было думать о том, что кто-то знаком с мистером Спенлоу лучше, чем я! Я слушал разговор о событиях, к которым не имел никакого отношения, и изнывал от мук. Когда весьма любезный джентльмен с ярко блестевшей лысиной спросил меня через стол, впервые ли я сюда приехал, я пришел в бешенство и готов был расправиться с ним.

Не помню, кто там был кроме Доры. Я не имею ни малейшего понятия, что подавали на обед. У меня такое впечатление, что я был сыт одной Дорой, и к полудюжине блюд даже не прикоснулся.

Я сидел рядом с ней. Я говорил с ней. У нее был невыразимо нежный детский голосок, заразительный детский смех, милые, очаровательные детские ужимки, и от всего этого юноша мог потерять голову и стать ее рабом. И вся она была так миниатюрна! А потому еще более мне дорога – таково было мое мнение.

Когда она вышла из комнаты вместе с мисс Мэрдстон (других леди за столом не было), я впал в мечтательность; меня смущало только опасение, не осрамит ли мисс Мэрдстон меня в ее глазах. Любезный джентльмен с ярко блестевшей лысиной рассказывал мне какую-то длинную историю, кажется речь шла о садоводстве. Мне кажется, он несколько раз повторил: «Мой садовник». Мое лицо выражало самое напряженное внимание, но все это время я витал вместе с Дорой в садах Эдема.

Мои опасения, что я буду посрамлен в глазах той, к кому воспылал страстью, возобновились, когда мы перешли в гостиную и я увидел мрачную физиономию мисс Мэрдстон. Но неожиданно они рассеялись.

– Дэвид Копперфилд, мне нужно с вами поговорить, – сказала мисс Мэрдстон, поманив меня к окну. Я стоял лицом к лицу с мисс Мэрдстон.

– Дэвид Копперфилд, я не считаю нужным распространяться о семейных обстоятельствах. Это неподходящая тема, – сказала она.

– Да, сударыня, совсем неподходящая, – сказал я.

– Совсем неподходящая, – подтвердила она. – Я не хочу вспоминать о прежних ссорах или о прежних обидах. Меня оскорбила некая особа – особа женского пола, о чем я с прискорбием, из уважения к моему полу, должна упомянуть, – но без отвращения я не могу назвать ее имени и потому не буду называть.

Я готов был взорваться и выступить в защиту бабушки, но сказал, что, пожалуй, будет лучше не упоминать ее имени, если мисс Мэрдстон не желает. Я не могу допустить

непочтительного о ней отзыва, – добавил я, – и если это случится, то я выскажу свое мнение весьма решительно.

Мисс Мэрдстон закрыла глаза, пренебрежительно качнула головой; затем медленно открыла глаза и сказала:

– Дэвид Копперфилд, я не стану скрывать, что у меня сложилось о вас, когда вы были ребенком, неблагоприятное мнение. Возможно, это мнение было ошибочным, а может быть, теперь вы изменились. Но сейчас не об этом речь. Мой род, насколько мне известно, прославился твердостью, а я не из тех, кто меняется под влиянием обстоятельств. Я могу быть любого мнения о вас. И вы можете быть любого мнения обо мне.

Тут я в свою очередь кивнул головой.

– Но вовсе ни к чему, чтобы эти мнения столкнулись здесь, – продолжала мисс Мэрдстон. – В данной обстановке важно, чтобы этого не случилось. Превратности судьбы снова свели нас вместе и могут еще когда-нибудь свести, и мы должны встретиться здесь как люди мало знакомые друг с другом. Семейные обстоятельства являются достаточным основанием для того, чтобы мы встретились именно так. И нам незачем привлекать к себе внимание. Вы с этим согласны?

– Я считаю, мисс Мэрдстон, что и вы и мистер Мэрдстон обращались со мной с большой жестокостью и относились к моей матери очень дурно. Я буду так думать до конца моей жизни. Но я принимаю ваше предложение.

Мисс Мэрдстон снова закрыла глаза и слегка кивнула головой. Затем, коснувшись концами своих холодных, жестких пальцев моей руки, она отошла от меня, оправляя цепи на запястьях и вокруг шеи; это был все тот же набор цепочек, который я видел у нее раньше. И когда я подумал о характере мисс Мэрдстон, мне пришли на память кандалы, которые вешают у ворот тюрьмы, чтобы оповестить всех, находящихся за ее пределами, что их ждет по ту сторону стен.

Что касается дальнейшего времяпрепровождения в тот вечер, я помню только, что владычица моего сердца, аккомпанируя себе на инструменте, напоминавшем гитару, пела по-французски замечательные баллады – все об одном и том же: что бы ни случилось, мы должны танцевать. Тра-ля-ля, тра-ля-ля! Помню я также, что пребывал в каком-то блаженном безумии: помню, что отказался от предложенных напитков; помню, что душа моя в особенности не принимала пунша; помню, что, когда мисс Мэрдстон уводила Дору под конвоем, она, улыбаясь, протянула мне свою прелестную ручку; помню, что я случайно увидел себя в зеркале, – вид у меня был дурацкий, я походил прямо-таки на идиота; помню, что я ушел спать в совершенно невменяемом состоянии, а проснулся слабоумным и влюбленным.

Было еще рано, утро было прекрасное; мне захотелось пройтись по одной из аллей сада и отдаться своей страсти, погрузившись в созерцание ее образа. Проходя через холл, я увидел ее собачку, которую звали Джип, – уменьшительное от Джипси.[70] С нежностью я подошел к ней, ибо любил даже ее, но она оскалила зубы, забилась под стул и выразительно зарычала, не желая выносить ни малейшей фамильярности с моей стороны.

В пустынном саду было свежо. Я гулял, мечтая о том счастье, которое выпадет мне на долю, если я когда-нибудь обручусь с этим чудесным существом. Что касается брака, денег и подобных вещей, мне кажется, я был тогда почти так же невинен, как и в те времена, когда был влюблен в малютку Эмли – иметь право называть ее «Дора», писать ей, поклоняться, обожать ее, думать, что она меня не забывает, когда находится с другими, – это казалось мне вершиной человеческого счастья, во всяком случае моего. Несомненно, я был тогда сентиментальным, глупым молокососом, но во всем этом проявлялась какая-то душевная чистота, которая не позволяет мне презрительно отозваться об этих воспоминаниях, хотя бы они и казались мне теперь смешными.

Я гулял еще совсем недолго, как вдруг, свернув в боковую аллею, встретил ее.

Еще и теперь, когда воспоминания мои поворачивают в эту боковую аллею, мурашки пробегают у меня по всему телу, с головы до пят, и перо дрожит в руке.

– Вы… так рано… мисс Спенлоу, – пролепетал я.

– Ах! Дома до того скучно! Мисс Мэрдстон до того несносна! И она говорит такую чепуху. Нужно, говорит, чтобы воздух согрелся, прежде чем я выйду из дому. Согрелся! (Она засмеялась удивительно мелодично.) По воскресеньям, утром, я не играю на фортепьяно, надо же мне чем-то заняться. И вчера вечером я сказала папе, что должна выйти. Да к тому же это лучшее время дня. Вы согласны?

Я решился на смелый шаг и сказал (не без запинки), что теперь и для меня это время самое лучшее, но что минуту назад утро было очень мрачным.

– Это комплимент, или погода в самом деле изменилась? – спросила Дора.

Запинаясь еще сильнее, чем прежде, я ответил, что это не комплимент, а истинная правда, хотя никакой перемены погоды я не заметил. Изменилось расположение моего духа, застенчиво добавил я, чтобы покончить с объяснениями.

Мне никогда не приходилось видеть таких локонов, какими встряхнула она, чтобы скрыть свой румянец, да и немудрено – подобных не было на всем белом свете! Что касается соломенной шляпки с голубыми лентами, которая увенчивала эти локоны, каким бесценным сокровищем я обладал бы, если бы мне только удалось ее повесить в моей комнате на Бэкингем-стрит.

– Вы только что вернулись из Парижа? – осведомился я.

– Да. Вы там бывали?

– Нет.

– О! Надеюсь, вы скоро там побываете. Вам так понравится Париж!

Глубокая печаль отразилась на моем лице. Как! Она надеется, что я уеду, она думает, что я могу уехать! Это было непереносимо! Наплевать мне на Париж! Наплевать мне на Францию! Я сказал, что при данных обстоятельствах ни за какие блага в мире не покину Англии. Ничто не заставит меня решиться на это. Одним словом, она снова встряхнула локонами, и тут, к нашему облегчению, прибежала собачка.

Песик смертельно приревновал Дору ко мне и стал на меня тявкать. Тогда она взяла его на руки – о небо! – и начала ласкать, но он продолжал тявкать. Я попытался погладить его, он не дался, за что и получил от нее шлепок. Страдания мои удвоились, когда я увидел, как нежно она шлепает песика, в виде наказания, по его тупому носу, а он моргает, лижет ей руку и все еще рычит, словно крохотный контрабас. Наконец собачка утихомирилась (еще бы ей не утихомириться, когда подбородок с ямочкой прижался к ее голове!), и мы отправились осматривать оранжерею.

– Вы хорошо знаете мисс Мэрдстон? – спросила Дора. – Мой миленький!

Два последние слова относились к собаке. О! Если бы они относились ко мне!

– Нет. Очень мало, – ответил я.

– С ней так скучно, – сказала Дора, надувая губки. – Не знаю, о чем папа думал, когда выбирал мне в компаньонки такую несносную особу. Кому нужен защитник? Во всяком случае, не мне. Джип может меня защитить куда лучше, чем мисс Мэрдстон. Правда, Джип, мой дорогой?

Он только лениво моргнул, когда она поцеловала его круглую макушку.

– Папа называет ее моей наперсницей, но это совсем не так. Правда, Джип? Нам с Джипом не нужны такие сердитые наперсники. Мы возьмем себе наперсников, которые нам понравятся, мы сами выберем себе друзей, нам не нужно, чтобы для нас выбирали… Правда, Джип?

В ответ на это Джип заурчал, слегка напоминая чайник, когда он поет. Что до – меня, каждое слово Доры подобно было новой цепи, приклепанной к прежним моим оковам.

– А это очень нелегко, ведь у нас нет доброй мамы. Вместо мамы у нас – эта сердитая мрачная старая мисс Мэрдстон, которая всегда ходит за нами по пятам… правда, Джип? Ну, ничего! Мы не станем с ней дружить н будем счастливы наперекор ей, и будем ее дразнить, а не радовать! Правда, Джип?

Продлись этот разговор немного дольше, и я упал бы на колени прямо на песок, рискуя их ободрать, а сверх того, немедленно вылететь отсюда. Но, к счастью, оранжерея была близко, мы уже подходили к ней.

Она полна была чудесных гераней. Мы шли мимо них, Дора часто останавливалась то у одной, то у другой и любовалась, и я останавливался и любовался, а Дора, как ребенок, подносила собачку к цветам и, смеясь, заставляла ее нюхать; если мы все трое и не находились в волшебной стране, то я, во всяком случае, там находился. И по сей день запах листьев герани вызывает во мне полукомическое, полусерьезное недоумение, как мог я стать внезапно совсем другим человеком; а потом я вижу соломенную шляпку, голубые ленты, массу локонов и черную собачку, поднятую нежными ручками к стойке, где выстроились цветы с яркими листьями.

Мисс Мэрдстон нас разыскивала. Она нашла нас в оранжерее и подставила Доре свою малособлазнительную щеку с присыпанными пудрой морщинками, чтобы та ее поцеловала. Затем она взяла Дору под руку, и мы двинулись к завтраку, напоминая процессию на военных похоронах.

Сколько чашек чаю я выпил, потому что его заварила Дора, не ведаю! Но я прекрасно помню, что мои нервы, если в ту пору они у меня были, должны были прийти в полное расстройство, – до того усердно накачивался я этим чаем. Немного погодя мы отправились в церковь. Мисс Мэрдстон сидела на скамье между нами. Но я слышал пение Доры, и остальных прихожан для меня не существовало. Была и проповедь… разумеется она относилась к Доре… Боюсь, что больше я ничего не смогу припомнить о церковной службе в то утро!

День был такой мирный… Никаких гостей, прогулка, обед в семейном кругу, вчетвером. Вечером мы разглядываем книги и гравюры. Перед мисс Мэрдстон сборник проповедей, а ее глаза зорко следят за нами. Мистер Спенлоу сидит против меня и дремлет после обеда, набросив на голову носовой платок… Ах, он даже не подозревает, что в мечтах я горячо обнимаю его на правах зятя! А когда вечером я прощаюсь с ним перед сном, он даже не воображает, что ровно минуту назад дал свое согласие на мой брак с Дорой и я призываю на его голову благословение небес!

Мы уехали на следующий день рано утром, так как у нас было дело в Суде Адмиралтейства по иску о премии за спасение судна; дело это требовало точной осведомленности в науке навигации, а так как от нас нельзя было ждать, что мы в Докторс-Коммонс имеем понятие обо всех этих вещах, то судья пригласил помочь ему в добром деле двух старых шкиперов из Тринити-Хауса.[71]

Несмотря на ранний час, Дора снова сидела за столом во время завтрака и разливала чай, а я имел печальное удовольствие помахать ей из фаэтона шляпой, когда она стояла у порога, держа на руках Джипа.

Я не стану делать бесплодных попыток, описывая, чем казался мне в тот день Суд Адмиралтейства и какая была у меня путаница в голове, когда я слушал наше дело; не буду я описывать и того, как мне привиделось имя «Дора», выгравированное на серебряном весле, которое лежало перед нами на столе в знак нашей высокой юрисдикции, и каковы были мои чувства, когда мистер Спенлоу отправился домой один (я питал безумную надежду, что он снова возьмет меня с собой), а я остался, как матрос, корабль которого ушел, покинув его на необитаемом острове. Если бы сие старое, сонное судилище могло пробудиться от своей

дремоты и в какой-нибудь зримой форме ему открылись сны наяву, которые грезились мне о Доре, – оно засвидетельствовало бы истину моих слов.

Я разумею не только единственный тот день, но день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем. В суд я приходил не для изучения судебного процесса, но ради того, чтобы грезить о Доре. Если мое внимание и задерживалось иной раз на делах, медленно развертывавшихся передо мной, то лишь потому, что при разборе матримониальных дел я (помня о Доре) удивлялся, как это возможно, что люди бывают несчастливы в браке, а когда слушались дела о завещаниях, думал о том, какие шаги я предпринял бы немедленно, чтобы жениться на Доре, если бы эти деньги были оставлены мне. Уже в течение первой недели моей страстной любви я купил четыре великолепных жилета – не ради себя (я и не думал ими гордиться), а ради Доры. Тогда же я стал носить на улице палевые лайковые перчатки и заложил фундамент всех мозолей, от которых страдал в моей дальнейшей жизни. Если бы можно было восстановить башмаки, какие я в ту пору носил, и размеры их сравнить с размером моей ноги, они крайне трогательно поведали бы о моих сердечных делах.

Но, превратившись добровольно, во имя Доры, в жалкого калеку, я тем не менее отмахивал ежедневно немало миль, надеясь ее увидеть. Вскорости я не только стал известен так же хорошо, как почтальон, на дороге в Норвуд, но не оставил без внимания и лондонские улицы. Я бродил вокруг лучших модных лавок, как привидение, я повадился в Базар,[72] я колесил во всех направлениях по Парку,[73] хотя уже давно пребывал в полном изнеможении. Иногда, очень редко, мне удавалось ее повидать. То я видел ее перчатку, которой она мне махала из окна кареты, то встречал ее на прогулке с мисс Мэрдстон и, на минутку к ним присоединившись, беседовал с ней. В этих случаях я чувствовал себя после встречи совсем несчастным, думая о том, что ровно ничего не сказал о самом для меня важном, или о том, что она не имеет никакого понятия о беспредельном моем обожании, или о том, что ей до меня нет дела. Легко можно себе представить, как я томился, ожидая нового приглашения мистера Спенлоу. Но, увы, меня всегда подстерегало разочарование, ибо он меня не приглашал.

Должно быть, миссис Крапп была женщина проницательная, потому что не прошло и нескольких недель с начала моей любви, и я только-только набрался храбрости и туманно написал Агнес, что я, мол, посетил дом мистера Спенлоу, «чья семья», добавил я, «состоит из единственной дочери», – как миссис Крапп, женщина проницательная, говорю я, открыла мою тайну. Однажды вечером, когда я находился в меланхолическом расположении духа, она поднялась ко мне, чтобы осведомиться (у нее был приступ той самой хвори, о которой я упоминал выше), не найдется ли у меня настойки кардамона с ревенем и с прибавлением для запаха семи капель гвоздичной эссенции, ибо такое лекарство ей весьма помогает; если же у меня этой настойки нет, то немного бренди может ее заменить. Правда, добавила она, бренди не столь приятно на вкус, но ничего не поделаешь, можно обойтись и одним бренди… О первом лекарстве я не имел никакого понятия, но второе всегда держал у себя в кладовой и потому дал ей рюмку второго, а она тотчас же решила его принять в моем присутствии, дабы у меня не было ни малейшего подозрения, что она употребит его не по назначению.

– Не унывайте, сэр! – сказала миссис Крапп. – Я прямо-таки не могу вас видеть в таком состоянии. Ведь я сама мать.

Я не совсем понял, какое отношение это обстоятельство имеет ко мне, но улыбнулся миссис Крапп как можно приветливее.

– Прошу прощенья, сэр. Я знаю, в чем загвоздка. Тут замешана леди, – продолжала миссис Крапп.

– Что вы, миссис Крапп! – воскликнул я, покраснев.

– Клянусь богом! Но не вешайте нос, сэр! – Миссис Крапп тряхнула головой, чтобы ободрить меня. – Не падайте духом! Если она вам не улыбается, так улыбнутся другие. Вы,

мистер Копперфулл, такой молодой джентльмен, что вам многие улыбнутся. Знайте себе цену, сэр!

Миссис Крапп обычно называла меня мистер Копперфулл:[74] во-первых, это происходило, несомненно, потому, что меня звали иначе, а во-вторых, я склонен был подозревать, что у нее эта фамилия как-то связывалась с днем стирки.

– Отчего вы думаете, миссис Крапп, что тут замешана молодая леди?

– Я сама мать, мистер Копперфулл! – сказала с большим чувством миссис Крапп.

В течение некоторого времени миссис Крапп могла только прижимать руку к своей нанковой блузке в том месте, где у нее была грудь, и защищаться от нового приступа недомогания, потягивая лекарство. Затем она снова заговорила:

– Когда ваша дорогая бабушка наняла для вас эту квартиру, мистер Копперфулл, я сказала себе, что теперь у меня есть кого опекать. «Слава богу! – так я сказала. – У меня есть теперь кого опекать!» Вы плохо кушаете, сэр, и мало пьете!

– На этом вы и строите, миссис Крапп, свои предположения?

– Сэр! – произнесла миссис Крапп назидательным тоном. – Я вела хозяйство и у других молодых джентльменов. Молодой джентльмен может чересчур заботиться о своем туалете и может совсем не заботиться. Он может чересчур заниматься своей прической или вовсе ею не заниматься. Он может покупать себе башмаки или слишком большие, или слишком маленькие. Это зависит от того, какой у молодого джентльмена характер. Но и в том и в другом случае, в какую бы крайность ни ударился молодой джентльмен, тут всегда бывает замешана молодая леди!

Миссис Крапп тряхнула головой столь решительно, что у меня была выбита почва из-под ног.

– Вот, например, джентльмен, который умер здесь перед вами… – продолжала миссис Крапп. – Он влюбился… в буфетчицу… и сузил свои жилеты, хотя и сильно раздался от спиртного.

– Миссис Крапп, я должен просить вас не смешивать молодую леди, о которой вы упомянули, с подобными особами!

– О мистер Копперфулл! – воскликнула миссис Крапп. – Я сама мать и совсем не это имела в виду. Прошу прощения, сэр, если я лезу не в свое дело. Я не люблю лезть туда, куда меня не зовут. Но вы молодой джентльмен, мистер Копперфулл, и мой вам совет – не унывайте, сэр, не падайте духом и знайте себе цену! Поиграйте в кегли, это полезно для здоровья и вас развлечет.

С этими словами миссис Крапп поблагодарила меня величественным реверансом, стараясь не расплескать бренди, хотя рюмка была уже пуста; затем она удалилась.

Когда она исчезла за дверями, у меня мелькнула мысль, что этот совет, пожалуй, является маленькой вольностью со стороны миссис Крапп. Но в то же время я был доволен: «Имеющий уши – да слышит, – подумал я, – впредь я буду лучше хранить мою тайну».

Глава XXVII

Томми Трэдлс

Может быть, причиной тому был совет миссис Крапп, а может быть, созвучие слов «кегли» и Трэдлс,[75] но на следующий день мне захотелось повидаться с Трэдлсом. Срок, о котором он говорил, давно миновал. Я знал, что он живет на какой-то уличке неподалеку от Ветеринарного колледжа, в Кемден-Тауне;[76] по словам одного из наших клерков, жившего в том районе, эта улица была населена главным образом джентльменами-студентами, которые покупали живых ослов и производили опыты с этими четвероногими у себя на квартирах. Клерк подробно рассказал, как мне найти вышеозначенное научное заведение, и в тот же день я отправился повидать моего старого школьного товарища.

Уличка оставляла желать лучшего и показалась мне не совсем подходящим местом для Трэдлса. Обитатели ее имели склонность выбрасывать все, что им не могло пригодиться, на мостовую, и потому, в дополнение к грязи и сырости, она была усеяна капустными листьями. Впрочем, отбросы были не только растительного происхождения; разыскивая нужный мне номер дома, я собственными глазами увидел в различных стадиях разрушения: башмак, искореженную кастрюлю, черную шляпку и зонтик.

Это место живо напомнило мне те времена, когда я жил вместе с мистером и миссис Микобер. Неопределенный оттенок весьма поблекшего аристократизма, лежавший на этом доме, который я искал, и выделявший его из ряда других домов, – хотя все они были построены по одному и тому же скучному образцу и напоминали неумелые опыты ребенка, который учится строить дома, – еще ясней вызвал в моей памяти образы мистера и миссис Микобер. Эти воспоминания о мистере и миссис Микобер сделались еще более яркими, когда я подошел к открытой двери, у которой стоял разносчик молока.

– А когда же они заплатят должок? – спрашивал молочник молоденькую служанку.

– Хозяин сказал, что постарается заплатить как можно скорей, – отвечала служанка.

– Потому как, – продолжал молочник, не обратив ни малейшего внимания на ее слова (судя по его тону, он обращался не к молоденькой служанке, а говорил для назидания кому-то, находившемуся в доме), – потому как слишком долго мне не платят, вот я и начал думать, что денег уж не получишь, пиши пропало!.. Э, нет! Так не пройдет!

Молочник, повысив голос и вглядываясь в глубину коридора, бросил туда эти слова.

Он торговал деликатным товаром – молоком, но его поведение расходилось с этой профессией. Такой свирепый тон скорее подходил бы мяснику или торговцу бренди.

Молоденькая служанка отвечала чуть слышно, но по ее губам я догадался, что речь идет о незамедлительной уплате долга.

– Вот что я вам скажу, – проговорил молочник, впервые взглянув на нее в упор и беря ее за подбородок, – вы любите молочко?

– Да, люблю, – ответила та.

– Ну, так вы его завтра не получите. Слышите? Ни капли молока завтра не получите.

Перспектива получить молоко сегодня, мне кажется, утешила ее. Молочник мрачно покачал головой, отпустил ее подбородок, нехотя открыл свой жбан и отлил обычную порцию в ее кувшин. После этого он отошел, что-то бормоча, и гневно заорал у соседней двери, возвещая о своем приходе.

– Здесь живет мистер Трэдлс? – осведомился я.

Таинственный голос из глубины коридора ответил: «Да». Молоденькая служанка вслед за ним повторила: «Да».

– Он дома? – спросил я.

Снова таинственный голос ответил утвердительно, и снова служанка отозвалась как эхо. Я вошел и, следуя указанию служанки, стал подниматься по лестнице: проходя мимо двери гостиной, я чувствовал, что за мной следит некий таинственный глаз, принадлежащий, быть может, той же особе, которой принадлежал и таинственный голос.

Когда я поднялся на верхнюю площадку лестницы, – в доме было всего два этажа, – меня встретил Трэдлс. Он очень обрадовался и с чрезвычайной сердечностью меня приветствовал. Его комната выходила окнами на улицу, она была очень опрятна, но меблирована крайне скудно. Другой комнаты у него не было, ибо тут же стоял диван, заменявший кровать, а сапожные щетки и вакса покоились за словарем, среди книг, на шкафу. Стол покрывали бумаги. На Трэдлсе был старый домашний костюм – очевидно перед моим приходом он сидел за работой. Я ни к чему не присматривался, но, усаживаясь, окинул обстановку одним взглядом и увидел все, вплоть до церковки, изображенной на его фарфоровой чернильнице; эта

способность также возникла у меня во времена Микобера. Хитроумные приспособления для того, чтобы скрыть комод, башмаки, бритвенное зеркало и тому подобные предметы, особо красноречиво свидетельствовали, что передо мной тот же самый Трэдлс, который некогда мастерил из писчей бумаги клетки для слонов и сажал туда мух, а после побоев утешался шедеврами искусства, частенько мной упоминаемыми.

В углу комнаты находился под большой белой скатертью какой-то предмет, но что это такое, я не мог угадать.

– Трэдлс, я очень рад вас видеть! – сказал я, усевшись, и снова мы пожали друг другу руки.

– И я очень рад вас видеть, Копперфилд! – отозвался он. – Очень рад! Вот потому-то я и дал вам этот адрес вместо адреса моей конторы. Я был в таком восторге, когда встретил вас на Эли-Плейс, и убедился, что и вы мне очень обрадовались.

– О! У вас есть контора! – сказал я.

– Мне принадлежит четверть конторы и коридора, а также четверть клерка. Мы вчетвером объединились и сняли контору, – деловой вид, знаете ли, вещь немаловажная! – и на четыре части поделили клерка. Он мне стоит полкроны в неделю.

В его улыбке, с которой он это говорил, отражались знакомая незлобивость и добродушие; она свидетельствовала также и о прежней его неудачливости.

– Вы понимаете, Копперфилд, я вовсе не из гордости избегаю давать адрес моей квартиры, – продолжал он. – Происходит это потому, что тем, у кого есть ко мне дела, пожалуй, не понравится сюда приходить. Что же касается меня, то я, по мере сил, борюсь с трудностями, и было бы смешно, если бы я притворялся, будто занимаюсь чем-то другим.

– Я слышал от мистера Уотербрука, что вы готовитесь к работе в суде, – сказал я.

– Вот-вот. Я готовлюсь к работе в суде, – повторил Трэдлс, медленно потирая руки. – Я уже приступил к учению, правда после довольно долгой проволочки. Принят я был раньше, но плата сто фунтов очень уж высока. Очень высока!

И Трэдлс состроил гримасу, словно ему выдернули зуб.

– Вот я сижу с вами, Трэдлс, и знаете, о чем думаю? – спросил я.

– Нет.

– О голубом костюмчике, который вы носили.

– Да что вы! Ох, какой он был тесный! – захохотал Трэдлс. – Боже мой! Счастливые были времена! Ведь правда?

– Владелец нашей школы мог бы позаботиться о том, чтобы они были для нас более счастливыми, это не повредило бы нам. Таково мое мнение, – ответил я.

– Да, мог бы. Но все-таки как мы тогда веселились! – сказал Трэдлс. – Помните ночи в дортуаре? А наши ужины? А ваши рассказы? Ха-ха-ха! И помните, как меня взгрели за то, что я плакал о мистере Мелле? Эх, старина Крикл! Хотел бы я его снова повидать.

– Но он расправлялся с вами зверски, Трэдлс! – воскликнул я с негодованием, потому что его незлобивость вызвала во мне такое чувство, словно его отколотили только вчера на моих глазах.

– Вы так думаете? В самом деле? – отозвался Трэдлс. – Да, пожалуй. Но все это было так давно. Эх, старина Крикл!

– Вы были тогда на попечении дяди? – спросил я.

– Вот именно. Я все собирался ему писать. И все не мог собраться, помните? Ха-ха-ха! Да, тогда у меня был дядя. Он умер вскоре после того, как я оставил школу.

– Да что вы!

– Да. Он был… как это называется… мануфактурщик, торговец мануфактурой. Потом он ушел от дел. И назначил меня наследником. Но когда я вырос, он меня невзлюбил.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил я.

Он говорил таким серьезным тоном, что я подумал, не скрыт ли в его последних словах какой-нибудь тайный смысл.

– Эх, Копперфилд! Я хочу сказать, что, к несчастью, он совсем меня разлюбил, – ответил Трэдлс. – Он утверждал, будто я обманул его ожидания, а потому он и женился на своей экономке.

– А что вы делали? – спросил я.

– Да ничего особенного. Я жил с ними, ожидая, что он меня куда-нибудь пристроит, пока в один прекрасный день его подагра не перебросилась, к несчастью, на живот, и он умер. А тогда она вышла замуж за молодого человека, и я оказался без средств.

– Он вам так ничего и не оставил, Трэдлс?

– Оставил пятьдесят фунтов, – сказал Трэдлс. – Никакой профессии у меня не было, и поначалу я решительно не знал, что мне с собой делать. Но тут мне помог сын одного адвоката, Яулер, тот, что с кривым носом. Он был в Сэлем-Хаусе, помните?

– Нет. Он не учился со мной. В мое время носы у всех были прямые.

– Ну, неважно, – продолжал Трэдлс. – Так вот, благодаря его поддержке я начал переписывать судебные документы. Но эта работа приносила мне немного, и тогда я стал составлять для их конторы бумаги, делать выборки и прочее. Я умею работать как вол, Копперфилд, и вот я научился неплохо справляться с таким делом. Тогда я вбил себе в голову, что буду изучать право, и на это ушел весь остаток моего наследства. Яулер рекомендовал меня в две-три конторы, – между прочим и мистеру Уотербруку, – и работы у меня хватало. К тому же мне повезло – я познакомился с издателем, который затевал энциклопедию. Он поручает мне кое-какие статьи; кстати (он кинул взгляд на стол)… в данный момент я тружусь для него. Я неплохой компилятор, Копперфилд, – Закончил Трэдлс все так же весело и доверчиво, – но у меня решительно нет никакой выдумки, ни на грош! Ох! Мне кажется, оригинальности у меня меньше, чем у кого бы то ни было из молодых людей.

Трэдлс умолк, словно ожидая, чтобы я подтвердил его слова; я кивнул головой, и он продолжал с той же бодрой покорностью – лучшего определения я не могу найти.

– Стало быть, мало-помалу, живя очень скромно, я наскреб в конце концов сотню фунтов, и, слава богу, они уже уплачены, хотя это было… надо сказать… – тут Трэдлс снова скорчил гримасу, словно ему выдернули второй зуб, – это было трудновато. Я живу на тот заработок, о котором только что говорил, но надеюсь рано или поздно стать журналистом, а это для меня все равно что выиграть игру. Послушайте, Копперфилд, вы совсем не изменились! Вы по-прежнему такой же милый, а я так рад вас видеть, что ничего не буду скрывать… Ну так знайте: я помолвлен!

Помолвлен! О Дора!

– Она дочь помощника приходского священника в Девоншире, у него десять человек детей. – Он поймал мой взгляд, упавший, помимо моей воли, на рисунок, изображенный на чернильнице. – Да, это та самая церковь. Надо выйти из калитки, повернуть налево, – он водил пальцем по чернильнице, – и тут, где сейчас кончик моего пера, стоит дом, окна его выходят прямо на церковь…

Восхищение, с каким он пустился во все эти подробности, вспомнилось мне только позже, ибо в своем эгоизме я занят был тем, что припоминал точное расположение дома и сада мистера Спенлоу.

– Какая она милая! Немного старше меня, но такая милая! – продолжал он. – Говорил я вам, что уезжал из Лондона? Да, я был там. Я отправился туда пешком и пешком вернулся. Как

там было чудесно! Возможно, наша помолвка будет длиться долго, но наш девиз: «Жди и надейся!» Мы всегда это повторяем. Мы всегда говорим: «Жди и надейся!» И она будет ждать, Копперфилд, хоть до шестидесяти лет, будет ждать сколько угодно… ради меня.

Трэдлс встал и с торжествующей улыбкой положил руку на белую скатерть, которую я заметил раньше.

– И все-таки это отнюдь не значит, что мы не начали готовиться к семейной жизни. О нет! Мы уже начали. Мы будем готовиться постепенно, но начало уже положено. Вы видите, здесь, – он бережно и с большой гордостью приподнял скатерть, – находятся два предмета обстановки, которые, так сказать, кладут начало… Вот этот горшок для цветов с подставкой купила она. Его можно поставить у окна в гостиной, – тут он отступил назад и с восхищением обозрел покупку, – в горшке будет какое-нибудь растение. Вот как! А этот круглый столик с мраморной доской (два фута десять дюймов в окружности) купил я. Скажем, вам понадобится положить книгу или кто-нибудь придет повидать вас или вашу жену, и надо будет, знаете ли, угостить его чашкой чаю – пожалуйста, к вашим услугам! Это прелестная вещь и крепкая, как скала.

Я горячо похвалил оба приобретения, после чего Трэдлс столь же бережно снова накрыл их скатертью.

– Пусть это еще не так много, но все-таки уже кое-что, – продолжал Трэдлс. – Столовое белье, наволочки и всякие прочие вещи – вот что особенно меня обескураживает, Копперфилд. И еще кухонная посуда, ящики для свечей, рашперы и прочее. Все это, знаете ли, дорого стоит. Но «жди и надейся»! А какая она милая, если бы вы знали!

– Я в этом уверен, – сказал я.

– Чтобы покончить с этими прозаическими личными делами, скажу только одно: покуда я делаю, что могу, – продолжал Трэдлс, снова усаживаясь на стул. – Много я не зарабатываю, но и расходы у меня невелики. Столуюсь я с жильцами нижнего этажа, это славные люди. Мистер и миссис Микобер немало повидали в жизни и составляют мне прекрасную компанию.

– Милый Трэдлс, о ком вы говорите? – вскричал я. Трэдлс посмотрел на меня так, словно он в свою очередь не понимал, о чем говорю я.

– Мистер и миссис Микобер! – повторил я. – Да ведь я очень хорошо их знаю!

Как раз в этот момент послышался двойной стук во входную дверь внизу, хорошо знакомый мне со времен Уиндзор-Тэррес, – никто, кроме мистера Микобера, не мог так стучать в эту дверь. Тут все мои сомнения рассеялись, и я окончательно уверился в том, что речь идет о старых моих друзьях. Я попросил Трэдлса позвать наверх хозяина квартиры. Трэдлс, перегнувшись через перила, окликнул его, и вот мистер Микобер, ни чуточку не изменившийся, – такие же узкие панталоны, та же трость, такой же воротник сорочки и монокль, – вошел в комнату, столь же элегантный и моложавый, как и раньше.

– Прошу прощения, мистер Трэдлс! – сказал мистер Микобер, перестав мурлыкать песенку, и в голосе его послышались знакомые переливы. – Я понятия не имел, что в вашем святилище находится особа, чуждая сему дому.

Мистер Микобер слегка поклонился мне и подтянул воротничок сорочки.

– Как поживаете, мистер Микобер? – сказал я.

– Вы очень любезны, сэр. Я нахожусь in status quo [В прежнем состоянии (лат.)].

– А миссис Микобер? – продолжал я.

– Слава богу, сэр, она также находится in status quo.

– А дети, мистер Микобер?

– Я рад сообщить, сэр, что они также пребывают в добром здравии.

На всем протяжении этой беседы мистер Микобер стоял лицом к лицу со мной, но меня не узнавал. Уловив мою улыбку, он стал пристально в меня вглядываться, затем отступил на шаг, воскликнул: «Возможно ли! Ужели я снова имею удовольствие видеть Копперфилда?!», схватил меня за обе руки и потряс изо всех сил.

– О небеса, мистер Трэдлс! Узнать, что вы знакомы с другом моей юности, товарищем прошедших лет! – воскликнул мистер Микобер. – Дорогая моя! – крикнул он миссис Микобер уже с площадки, а Трэдлс, конечно, пришел в недоумение, услыхав, как он меня отрекомендовал. – Дорогая моя! Здесь, в комнате мистера Трэдлса, находится джентльмен, которого он хочет вам представить, любовь моя!

В тот же момент мистер Микобер снова появился в комнате и снова приветствовал меня рукопожатием.

– А как поживает, Копперфилд, наш добрый друг доктор и все наши друзья в Кентербери? – спросил он.

– До меня доходят добрые вести о них.

– Чрезвычайно рад это слышать. В последний раз мы встречались с вами в Кентербери, говоря фигурально, под сенью церковного сооружения, которое обессмертил Чосер,[77] под сенью этого древнего пристанища пилигримов, стекавшихся из самых дальних мест, одним словом – мы встретились поблизости от собора.

Я это подтвердил. Мистер Микобер продолжал разглагольствовать, но по его физиономии я заключил, что он прислушивается к звукам, доносящимся из соседней комнаты, где миссис Микобер, по-видимому, мыла руки и возилась с ящиками комода, которые туго выдвигались и задвигались.

– В настоящее время, Копперфилд, – продолжал мистер Микобер, искоса поглядывая на Трэдлса, – наше положение скромное и, я бы сказал, непритязательное, но вам хорошо известно, что в течение моей карьеры я преодолевал немало препятствий и неоднократно справлялся с затруднениями. Вы знаете также, что были в моей жизни периоды, когда мне приходилось выжидать наступления заранее предусмотренных мною благодетельных перемен. В эти периоды я вынужден был несколько отступить, дабы сделать… хочу думать, что меня не обвинят в самонадеянности, если я скажу: дабы сделать прыжок! И сейчас я также нахожусь на одном из важнейших этапов своей жизни. Вы застали меня, когда я отступил, но только для того, чтобы сделать прыжок. И, смею думать, скачок будет весьма энергический…

Я только-только успел выразить свою радость по тому поводу, как вошла миссис Микобер; одета она была несколько более неряшливо, чем обычно, – впрочем, быть может, я отвык от ее вида, – хотя она и принарядилась, чтобы показаться в обществе, и даже надела коричневые перчатки.

– Дорогая моя, – сказал мистер Микобер, подводя ее ко мне, – вот джентльмен, которого зовут Копперфилд, и он желает возобновить с вами знакомство.

Судя по тому, как все обернулось, было бы куда лучше, если бы он сделал это сообщение более осторожно, так как миссис Микобер, находившаяся в интересном положении, была столь потрясена и почувствовала себя настолько дурно, что мистер Микобер, объятый страхом, побежал вниз, на задний двор, где стояла бочка, и принес в миске воды, чтобы смочить лоб своей супруге. Скоро она очнулась и выразила непритворную радость при виде меня. Наша беседа продолжалась не менее получаса; говорили мы с миссис Микобер о близнецах, каковые, по ее словам, «стали совсем большие», не забыли и о юном мистере Микобере и о мисс Микобер, превратившихся, по ее утверждению, «в гигантов»; но никто из них на этот раз не появился.

Мистеру Микоберу очень захотелось, чтобы я остался обедать. Против этого я не стал бы возражать, если бы не прочел в глазах миссис Микобер явного беспокойства касательно того,

хватит ли на всех холодной говядины. Поэтому я сослался на другое приглашение и, увидев, что миссис Микобер немедленно приободрилась, не дал себя уговорить.

Но, прежде чем откланяться, я просил Трэдлса, а также мистера и миссис Микобер назначить день, когда они смогли бы прийти ко мне пообедать. Трэдлс не имел возможности прервать свою работу, и пришлось отложить на некоторое время день встречи, но в конце концов такой день, подходящий для всех нас, был назначен, и после этого я ушел.

Мистер Микобер проводил меня до угла (якобы для того, чтобы показать мне кратчайший путь), намереваясь, по его словам, сделать доверительное сообщение старому другу.

– Дорогой мой Копперфилд, – начал мистер Микобер, – нет нужды говорить вам, какая для нас, в теперешних условиях, великая отрада иметь под нашей кровлей душу, которая сияет… да, смею сказать… сияет в вашем друге Трэдлсе. Соседняя с нами дверь ведет к прачке, в окне своей гостиной она выставляет миндальные леденцы для продажи; в доме напротив живет агент с Боу-стрит,[78] и вы легко можете представить себе, что общество мистера Трэдлса является источником утешения для меня и для миссис Микобер. В настоящее время, дорогой Копперфилд, я занимаюсь комиссионной продажей зерна. Это занятие не относится к числу тех, которые приносят значительную прибыль, другими словами, оно не приносит… ровно ничего, и следствием такого положения вещей являются временные затруднения денежного порядка. Однако именно сейчас, – рад обратить на это ваше внимание, – у меня есть основания ждать, что в самом непродолжительном времени счастье улыбнется (я еще не вправе говорить более определенно), и это позволяет мне верить, что я смогу обеспечить не только себя, но и вашего друга Трэдлса, к которому я питаю живейшую симпатию. Быть может, вас не удивит, если вы узнаете, что состояние здоровья миссис Микобер делает вполне возможным прибавление к тому залогу любви, который… который… одним словом, прибавление семейства… Родне миссис Микобер благоугодно выражать недовольство по сему поводу. Со своей стороны, могу только сказать, что, по моему мнению, это не их дело, и я отвергаю с презрением и отвращением выражение их чувств!

Засим мистер Микобер снова пожал мне руку и удалился.

Глава XXVIII

Мистер Микобер бросает перчатку

До того дня, на который я пригласил старых друзей, вновь мною обретенных, я жил главным образом Дорой и кофе. От безнадежной любви у меня пропал аппетит, чему я был очень рад, ибо почитал здоровый аппетит за обедом изменой Доре. Многочисленные мои прогулки также не приносили никакой пользы, поскольку обманутые надежды сводили на нет благие последствия моциона на свежем воздухе. Сомневаюсь также – и эти сомнения основаны на опыте, приобретенном мною в ту пору моей жизни, – может ли человеческое существо, претерпевающее мучение от узких башмаков, испытывать наслаждение от мясной пиши. Мне кажется, конечности не должны быть ничем стеснены, и тогда только желудок способен вести себя достаточно энергически.

На сей раз я не делал каких-либо особых приготовлений к приему гостей. Я заказал только камбалу, небольшую баранью ногу и пирог с голубями. Когда я робко попросил миссис Крапп сварить рыбу и зажарить мясо, она взбунтовалась и с чувством собственного достоинства, которому я нанес оскорбление, заявила:

– Нет, сэр, нет! Не просите меня о подобных услугах! Вы меня достаточно знаете, и вам должно быть известно, что я не могу делать ничего, противного моим чувствам!

Но в конце концов компромисс был найден, и миссис Крапп согласилась совершить этот подвиг при условии, что я не буду обедать дома в течение последующих двух недель.

Пожалуй, тут уместно будет упомянуть, что тирания миссис Крапп причиняла мне несказанные мучения. Никого и никогда я так не боялся. По каждому поводу я должен был идти на компромисс. Если я не уступал, у нее начинался приступ этой удивительной болезни,

которая всегда таилась в недрах ее организма, готовая в любой миг подвергнуть опасности ее жизнь. Если после бесчисленных робких попыток вызвать ее колокольчиком наверх я дергал за шнур нетерпеливо и, наконец, она появлялась (а это бывало отнюдь не всегда), взгляд ее выражал упрек, она опускалась, еле переводя дух, на стул у двери, хваталась за грудь, обтянутую нанковой блузкой, и ей становилось так плохо, что я бывал рад избавиться от нее, принеся в жертву бренди или что-нибудь подобное. Если я выражал недовольство, что моя постель оставалась неубранной до пяти часов дня (я и теперь считаю это весьма неудобным), достаточно было миссис Крапп сделать слабый жест рукой по направлению к тому месту, где, под покровом нанки, таилась ее столь болезненная чувствительность, и я, заикаясь, начинал бормотать извинения. Одним словом, я готов был идти на все уступки, не наносившие ущерба моему достоинству, только бы не оскорбить миссис Крапп. Она прямо-таки внушала мне ужас.

Готовясь к этому званому обеду, я купил подержанный столик на колесиках для бутылок и тарелок вместо того, чтобы снова приглашать расторопного молодого человека, против которого у меня возникло некоторое предубеждение после того, как я встретил его однажды в воскресенье на Стрэнде в жилете, весьма напоминавшем один из моих жилетов, исчезнувший с того дня, когда молодой человек мне прислуживал. Но «молодую девицу» я снова пригласил с тем, однако, условием, чтобы она только подавала на стол, а затем уходила на площадку лестницы, откуда ее сопение не долетало бы до моих гостей и где она была лишена физической возможности наступать на тарелки.

Я запасся всем необходимым для пунша, приготовление которого я предполагал доверить мистеру Микоберу; расставил на своем столике перед зеркалом (для туалета миссис Микобер) флакон лавандовой воды, две восковые свечи, пачку булавок и подушечку для булавок, затопил камин у себя в спальне (для удобства миссис Микобер), собственноручно накрыл на стол и стал ждать с полным спокойствием.

В назначенный час мои гости появились все втроем. Мистер Микобер надел еще более высокий воротничок и украсил монокль новой ленточкой; миссис Микобер захватила с собой чепец в коричневом бумажном мешочке; Трэдлс нес этот мешочек и поддерживал под руку миссис Микобер. Все были в восторге от моей резиденции. Я подвел миссис Микобер к туалетному столику, и она, увидев сделанные для нее приготовления, пришла в такой восторг, что подозвала мистера Микобера, чтобы и он посмотрел.

– О! Как роскошно, дорогой Копперфилд! – воскликнул мистер Микобер. – Такой образ жизни напоминает мне времена, когда я был холостяком, а у миссис Микобер еще никто не домогался обета супружеской верности пред алтарем Гименея.

– Он хочет сказать, мистер Копперфилд, что он не домогался, – лукаво заметила миссис Микобер. – Как он может отвечать за других!

– У меня нет никакого желания, дорогая моя, отвечать за других, – отпарировал мистер Микобер с неожиданной серьезностью. – Я слишком хорошо знаю, что по неисповедимой воле Судьбы, предназначавшей вас для меня, вы тем самым были предназначены человеку, обреченному после длительной борьбы пасть жертвой денежных затруднений. Я понимаю ваш намек, моя любовь! Сожалею о нем, но да простится он вам!

– Микобер! – вскричала миссис Микобер и залилась слезами. – Разве я это заслужила? Я никогда вас не покидала, Микобер! И никогда вас не покину!

– О моя любовь! – растрогавшись, воскликнул мистер Микобер. – Простите же мне – а наш давний, испытанный друг Копперфилд, не сомневаюсь, тоже простит – терзания израненной души, которая стала так чувствительна после недавнего столкновения с клевретом Власти… другими словами, с грубияном, облеченным полномочиями отпускать воду… Простите и не осудите такой крайней чувствительности!

Засим мистер Микобер обнял миссис Микобер и пожал мне руку, а из легкого его намека я понял, что сегодня семейство осталось без воды вследствие некоторой небрежности в оплате счетов водопроводной компании.

Чтобы отвлечь мистера Микобера от этой невеселой темы, я сказал, что возлагаю на него обязанность приготовить чашу пунша, и подвел его к лимонам. Его уныние, – чтобы не сказать, отчаяние, – испарилось мгновенно. Я не видел никого, кто наслаждался бы ароматами лимонной корки и сахара, запахом горящего рома и закипающей воды так, как наслаждался в тот день мистер Микобер. Приятно было видеть его лицо, сиявшее в легком облаке пахучих испарений, когда он смешивал, взбалтывал, пробовал… Казалось, будто он не пунш готовит, а обеспечивает благосостояние своего семейства и всех отдаленнейших своих потомков. Что же касается до миссис Микобер, не знаю, какова была причина – чепчик, лавандовая вода, булавки, камин или восковые свечи, но из моей спальни она вышла очаровательной, – говоря, разумеется, весьма относительно. И никогда жаворонок не бывал более весел, чем эта превосходная женщина.

Мне кажется, – я, конечно, не осмелился спросить, но так мне кажется, – что миссис Крапп, поджарив камбалу, стала жертвой своего припадка, так как после этого блюда у нас все разладилось. Баранья нога была очень красная внутри, и очень бледная снаружи, да к тому же еще вся усыпана какими-то чужеродными крупинками, наводящими на мысль, что она свалилась прямо в золу прославленной кухонной печи. Но по качеству соуса мы не могли об этом судить, ибо «молодая девица» разлила его по всей лестнице, где, кстати сказать, он и оставался, пока его не затерли ногами. Пирог с голубями был неплох, но это был обманчивый пирог – его корка напоминала голову, приводящую в отчаяние френолога: вся в шишках и бугорках, а под ними ровно ничего. Короче говоря, банкет не удался, и я был бы в самом угнетенном состоянии духа (я хочу сказать – из-за неудавшегося банкета, ибо мысль о Доре угнетала мой дух непрерывно), если бы не величайшее добродушие моих гостей и остроумный совет, поданный мистером Микобером.

– Друг мой Копперфилд, – сказал мистер Микобер, – неудачи бывают и в наилучшим образом устроенных домах, и в таких домах, где семейные дела не руководятся влиянием, которое освящает и возвышает… э-э… одним словом, влиянием женщины, исполняющей великое… э-э – назначение супруги… Тут эти неудачи надо ждать со всем спокойствием и переносить философически. Я возьму на себя смелость заметить, что из всех съестных припасов нет ничего лучше жареного мяса, приправленного перцем, и полагаю, что при разделении труда мы могли бы достигнуть превосходных результатов, если только ваша молодая помощница раздобудет рашпер. А тогда я вам докажу, что эту маленькую беду легко можно поправить.

В кладовой хранился рашпер, на котором обычно поджаривалась моя утренняя порция бекона. Мы немедленно его достали и приступили к осуществлению идеи мистера Микобера. Разделение труда, о котором он упомянул, выглядело так: Трэдлс резал баранину на ломтики, мистер Микобер (такого рода работу он исполнял превосходно) обмазывал их горчицей, солил и посыпал черным и красным перцем; я клал мясо на рашпер, вилкой перевертывал ломтики и снимал их под руководством миссис Микобер, а сама миссис Микобер подогревала и непрерывно размешивала в кастрюльке грибной соус. Наконец ломтиков оказалось достаточно, чтобы приступить к еде, и, покуда новые куски мяса шипели на рашпере, мы уселись за стол, все еще с засученными рукавами, и принялись за еду, деля свое внимание между бараниной на тарелках и бараниной, которая еще поджаривалась на огне.

Занимаясь этой необычной стряпней, мы суетились, то и дело вскакивали и подбегали к камину, снова садились и поедали горячие ломти баранины, только что снятые с рашпера, хлопотали, раскрасневшись от огня, веселились, вдыхали аромат жаркого, слушали его шипенье… и в результате обглодали баранью ногу до кости. Чудесным образом мой аппетит вернулся. Стыдно признаться, но мне в самом деле кажется, что на какой-то срок я забыл о

Доре. Если бы для такого пира мистеру и миссис Микобер пришлось продать собственную кровать, они не могли бы больше веселиться, чем теперь, и это очень меня радовало. Трэдлс хохотал, ел и стряпал одновременно и с одинаковым увлечением, да и все мы от него не отставали. Смею сказать, успех был невиданный.

В самый разгар веселья, когда мы, каждый на своем посту, прилагали все усилия, чтобы довести до предела совершенства последние ломтики баранины, которые должны были увенчать наше пиршество, в комнате появилась некая фигура. Передо мной, держа шляпу в руке, стоял невозмутимый Литтимер.

– Что случилось? – вырвалось у меня.

– Прошу простить, сэр, меня направили прямо сюда. Мой хозяин не у вас, сэр?

– Нет.

– Вы его не видели, сэр?

– Нет. Разве вы пришли не от него?

– Не совсем так, сэр.

– Он вам говорил, что будет здесь?

– Не вполне определенно, сэр. Но, полагаю, он может быть здесь завтра, раз его нет здесь сегодня.

– Он вернулся из Оксфорда?

– Простите, сэр, – почтительно сказал Литтимер, – быть может, вы изволите сесть, а мне разрешите заняться вашим делом.

С этими словами он взял из моей руки вилку, – причем я не оказал ни малейшего сопротивления, – и наклонился над рашпером, на котором, по-видимому, сосредоточил все свое внимание.

Должен сказать, что нас не очень смутило бы появление самого Стирфорта, но мы совсем оробели перед его респектабельным слугой. Мистер Микобер, мурлыча какую-то песенку, дабы показать, что чувствует себя вполне непринужденно, уселся на стул, причем из-под лацкана его фрака торчала ручка вилки – впопыхах он спрятал ее туда, и теперь казалось, будто он собственноручно себя заколол. Миссис Микобер надела коричневые перчатки и приняла томный вид. Трэдлс взъерошил маслеными руками волосы так, что они стали дыбом, и смущенно пялил глаза на скатерть. Что до меня, то, сидя во главе своего обеденного стола, я превратился в младенца и едва осмеливался взглянуть на этот феномен респектабельности, появившийся бог весть откуда, дабы навести порядок в моем доме.

Литтимер тем временем снял баранину с рашпера и степенно начал обносить гостей. Мы все взяли понемногу, но аппетит у нас пропал, и мы только делали вид, что едим. Когда мы отодвинули тарелки, Литтимер бесшумно убрал их и поставил на стол сыр. Покончено было с сыром, и Литтимер унес блюдо, убрал со стола, нагромоздил всю посуду на столик с колесиками, подал нам бокалы и, по своему собственному почину, покатил столик в кладовую. Все это проделано было самым достойным образом, и он ни разу не поднял глаз, поглощенный своей работой. Но и в те мгновения, когда он поворачивался ко мне спиной, даже локти его как будто выражали твердую уверенность, что я совсем юнец.

– Что еще прикажете сделать, сэр? Я поблагодарил его, сказал: «Ничего», – и спросил, не пообедает ли он сам.

– Нет, очень вам признателен, сэр.

– Мистер Стирфорт вернулся из Оксфорда?

– Простите, сэр?

– Мистер Стирфорт вернулся из Оксфорда?

– Полагаю, он может быть здесь завтра, сэр. Я думал, он будет здесь сегодня, сэр. Это, конечно, моя ошибка, сэр.

– Если вы увидите его раньше, чем я… – начал я.

– Простите, сэр, я не думаю, что увижу его раньше, чем вы.

– Но все-таки, если это случится, передайте ему мое крайнее сожаление, что его не было здесь сегодня, так как здесь был его старый школьный товарищ.

– Непременно, сэр! – отвесил он поклон нам обоим – мне и Трэдлсу, бросив взгляд на последнего.

Затем он неслышно направился к двери; сделав отчаянную попытку заговорить естественным тоном, что мне никогда не удавалось в обращении с этим человеком, я воскликнул:

– Ах, да! Литтимер!

– Да, сэр?

– Долго вы оставались тогда в Ярмуте?

– Не очень долго, сэр.

– Вы не видели – клиппер уже готов?

– Да, сэр. Я оставался там, чтобы дождаться, когда он будет готов.

– Это я знаю. (Он почтительно взглянул на меня.) Мистер Стирфорт еще не видел его?

– Не могу сказать, сэр. Полагаю… нет, не могу сказать, сэр. Доброй ночи, сэр!

Он отвесил всем присутствующим почтительный поклон и удалился. Когда он ушел, мои гости, казалось, вздохнули свободней. Я же почувствовал огромное облегчение, так как помимо стеснения, порожденного странной уверенностью, будто в присутствии этого человека я всегда показываю себя в невыгодном свете, внутренний голос шепотом напоминал мне, что я не доверяю его хозяину, и меня охватило сильное беспокойство, как бы Литтимер этого не обнаружил. Не удивительное ли дело, что я, которому нечего было скрывать, всегда боялся, как бы этот человек меня не разоблачил?!

От этих размышлений, смешивавшихся – не без угрызений совести – с боязнью увидеть самого Стирфорта, пробудил меня мистер Микобер, воспевая панегирик ушедшему Литтимеру как весьма респектабельному и образцовому слуге. Кстати говоря, мистер Микобер принял главным образом на свой счет общий поклон Литтимера и ответил на него снисходительно и величаво.

– Но ведь пунш никого не ждет, в этом отношении он подобен времени и приливу, дорогой Копперфилд! – воскликнул мистер Микобер, пробуя напиток. – Какой аромат! Вот теперь в самый раз – Как ваше мнение, моя дорогая?

Миссис Микобер объявила, что пунш превосходен.

– В таком случае, если мой друг Копперфилд разрешит мне такую вольность, – сказал мистер Микобер, – я выпью за те времена, когда мы оба были моложе и с боем прокладывали путь в жизни бок о бок. О себе и о Копперфилде я мог бы сказать, как в той песне, какую мы пели некогда и по разным поводам:

Мы продирались сквозь кусты,

Пред нами хляби разверзались.

Это надо понимать в фигуральном смысле, – продолжал мистер Микобер, а в голосе его послышались знакомые переливы, и вид у него был неописуемый (так бывало всегда, когда ему казалось, что он выразился особенно изящно). – Должен признаться, я хорошенько не знаю, что такое «хляби», но когда они разверзались, мы с Копперфилдом частенько хлебали бы их, если бы это было возможно.

И мистер Микобер отхлебнул пунша. А за ним и мы. Трэдлс, по-видимому, недоумевал, в какие такие далекие времена мы с мистером Микобером были соратниками в битве жизни.

– Кха… – прочистил горло мистер Микобер, согреваясь пуншем и огнем камина. – Еще бокал, моя дорогая?

Миссис Микобер попросила несколько капелек, но ни в коем случае не больше, однако мы воспротивились, и бокал был налит до краев.

– Здесь мы все люди свои, мистер Копперфилд, – начала миссис Микобер, попивая маленькими глотками пунш, – ведь мистер Трэдлс тоже как бы член нашего семейства, и мне хотелось бы посоветоваться с вами о видах на будущее мистера Микобера, потому что торговля зерном, – продолжала она тоном оратора, приводящего веские аргументы, – как я уже не раз говорила мистеру Микоберу, конечно, дело, достойное джентльмена, но невыгодное. У нас скромные притязания, но если за две недели он получил комиссионных два шиллинга девять пенсов, то это никак не назовешь выгодным делом.

Мы с этим согласились.

– А затем, – продолжала миссис Микобер, гордясь, что видит вещи в их подлинном виде и благодаря своей женской мудрости направляет мистера Микобера прямым путем, а не то он свернул бы в сторону, – затем я задаю себе вопрос: если на зерно нельзя положиться, то на что можно? Можно ли положиться на уголь? Никоим образом! По совету моего семейства, мы уже проделали этот опыт, но пришли к заключению, что это дело ненадежное.

Мистер Микобер заложил руки в карманы, откинулся на спинку стула и, поглядывая искоса на нас, кивал головой, словно говоря, что яснее и не опишешь положения.

– Итак, мистер Копперфилд, зерно и уголь исключаются, – продолжала миссис Микобер еще более решительно, – и я, разумеется, осматриваюсь вокруг и задаю себе вопрос: на каком поприще человек, обладающий талантами мистера Микобера, может подвизаться с надеждой на успех? Комиссионные дела я исключаю, так как комиссионные дела не дают твердой обеспеченности. А именно твердая обеспеченность, по моему мнению, больше всего необходима мистеру Микоберу, столь непохожему на других людей.

Мы с Трэдлсом сочувственно пробормотали, что это великое открытие касательно мистера Микобера безусловно имеет основание и делает ему честь.

– Не скрою от вас, дорогой мистер Копперфилд, – продолжала миссис Микобер, – что, по моим наблюдениям, мистеру Микоберу решительно подошло бы пивоварение. Поглядите на Баркли и Перкинса! Поглядите на Трумэна, Хэнбери и Бакстона! Вот на какой широкой арене мистер Микобер, которого я так хорошо знаю, показал бы себя во всем блеске! А доходы! Мне говорили, что они грандиозны! Но что делать, если мистер Микобер не может войти в эти фирмы, которые даже не ответили на его письма, а в них он писал о своем согласии занять хотя бы скромный пост, – что делать и какой смысл обсуждать эту идею? Никакого! Я глубоко убеждена, что мистер Микобер благодаря своим манерам…

– Хм… Ну, что вы, моя дорогая! – перебил мистер Микобер.

– Помолчите, любовь моя! – Тут миссис Микобер положила свою коричневую перчатку на руку супруга. – Я глубоко убеждена, мистер Копперфилд, что мистер Микобер благодаря своим манерам прямо-таки создан для банкового дела. Я знаю по себе: если бы у меня был вклад в банке, манеры мистера Микобера, как представителя банкирского дома, внушили бы мне полное доверие к банку и содействовали бы его успеху. Но что, если банкирские дома не дают мистеру Микоберу никаких возможностей проявить свои таланты и даже пренебрежительно отвергают его услуги? Что делать и какой смысл обсуждать эту идею? Никакого! Что касается основания нового банкирского дома – я знаю, что некоторые члены моего семейства, если бы пожелали вручить свои деньги мистеру Микоберу, могли бы принять участие в основании такого предприятия. Но что, если они не пожелают вручить свои деньги мистеру Микоберу – а

они этого совсем не желают, – какая польза думать об этом? Я снова прихожу к заключению, что мы ни на шаг не подвинулись вперед

Я кивнул головой и сказал:

– Ничуть.

И Трэдлс кивнул головой и тоже сказал:

– Ничуть.

– Какой я делаю из этого вывод? – продолжала миссис Микобер, по-прежнему убежденная в том, что она очень ясно излагает дело. – Знаете ли, дорогой мистер Копперфилд, к какому неизбежному заключению я пришла? Ошибусь ли я, если скажу, что мы должны жить?

Я ответил: «О нет!», и Трэдлс ответил: «О нет!», а затем я глубокомысленно добавил, что человек должен либо жить, либо умереть.

– Совершенно верно! – согласилась миссис Микобер. – Это именно так. Но надо сказать, дорогой мистер Копперфилд, что мы не сможем жить, если только обстоятельства в ближайшее время не изменятся и счастье нам не улыбнется. А я убедилась и не раз уже говорила мистеру Микоберу, что счастье ни с того ни с сего не улыбается. В какой-то мере мы должны помочь ему улыбнуться. Может быть, я ошибаюсь, но таково мое мнение. Мы с Трэдлсом выразили горячее одобрение.

– Прекрасно. Итак, что же я советую делать? – продолжала миссис Микобер. – Вот здесь, перед нами, мистер Микобер, человек разнообразных дарований, огромного таланта…

– Что вы, любовь моя! – перебил мистер Микобер.

– Прошу вас, мой дорогой, разрешите мне кончить. Здесь, перед нами, мистер Микобер, человек разнообразных дарований, огромного таланта… Я могла бы сказать – человек гениальный, но, быть может, я как жена пристрастна к нему…

Мы с Трэдлсом пробормотали: «Нет!»

– И этот самый мистер Микобер не имеет ни положения, ни занятий, которые ему приличествуют. Кто несет за это ответственность? Разумеется, общество! И вот я хочу обнародовать этот позорный факт, а также потребовать у общества, чтобы оно загладило свою вину. Мне кажется, дорогой мистер Копперфилд, – продолжала миссис Микобер энергически, – вот что должен сделать мистер Микобер: он должен бросить перчатку обществу и заявить: «А ну поглядим, кто ее поднимет! Пусть этот человек немедленно выступит вперед!»

Я осмелился спросить миссис Микобер, как же это сделать.

– Объявить во всех газетах! – ответила миссис Микобер. – Из чувства долга перед самим собой, из чувства долга перед своим семейством и – я позволю себе сказать – из чувства долга перед обществом, которое до сей поры не обращало на него внимания, мистер Микобер, по моему мнению, обязан поместить объявления во всех газетах, ясно указав, кто он такой, какие у него таланты и закончив так: «А теперь дайте мне прибыльное занятие, обращайтесь письменно, оплатив почтовые расходы, по адресу: Кемден-Таун, почтамт, до востребования, У.М.».

– Эта идея, осенившая миссис Микобер, и есть, собственно говоря, тот самый прыжок, на который я намекал вам, дорогой Копперфилд, прошлый раз, когда имел удовольствие вас видеть, – сказал мистер Микобер, искоса на меня поглядывая и погружая подбородок в воротник сорочки.

– Объявление дорого стоит, – неуверенно заметил я.

– Вот именно. Совершенно правильно, мой дорогой мистер Копперфилд, – тем же рассудительным тоном подтвердила миссис Микобер. – То же самое я говорила мистеру Микоберу. Вот поэтому я и считаю, что мистер Микобер обязан, – как я уже говорила, из чувства долга перед самим собой, из чувства долга перед своим семейством, из чувства долга перед обществом, – обязан достать некоторую сумму… под вексель.

Мистер Микобер, откинувшись на спинку стула, играл моноклем и смотрел на потолок; но мне показалось, что он наблюдал за Трэдлсом, который не отрывал глаз от огня в камине.

– Если никто из членов моего семейства не проявит естественного желания дать деньги по векселю… кажется, есть какое-то более подходящее деловое выражение для обозначения того, что я имею в виду…

– Учесть! – подсказал мистер Микобер, продолжая созерцать потолок,

– Учесть этот вексель… тогда, мне кажется, мистер Микобер должен отправиться в Сити, предъявить вексель на бирже и получить сколько возможно. Если дельцы на бирже заставят мистера Микобера пойти на большие жертвы – это дело их и их совести. Что до меня, то я твердо считаю это выгодным помещением капитала. И я советую мистеру Микоберу, дорогой мистер Копперфилд, поступить именно так, полагать такое помещение капитала надежным и быть готовым на любые жертвы.

Не знаю почему, но мне казалось, что такой шаг со стороны миссис Микобер действительно является актом самоотречения и преданности; я даже что-то пробормотал в этом духе. Нечто подобное пробормотал и Трэдлс, подражая мне и по-прежнему не отрывая глаз от огня в камине.

– Больше я ничего не могу прибавить к тому, что я сказала о денежных делах мистера Микобера, – заявила миссис Микобер, допивая свой пунш, и набросила на плечи шарф, собираясь удалиться в мою спальню. – Здесь, у вашего очага, дорогой мистер Копперфилд, в присутствии мистера Трэдлса, – хотя он не такой старый друг, как вы, но мы считаем его своим человеком, – я не могла удержаться, чтобы не познакомить вас с тем, какой путь я советую избрать мистеру Микоберу. Я чувствую, что настало время, когда мистер Микобер должен заявить о себе и – я бы сказала – о своих правах, и упомянутые средства представляются мне наиболее верными. Я только женщина, а в подобных вопросах суждениям мужчин придают больше цены, но я не должна забывать, что, когда я жила дома с папой и мамой, мой папа всегда повторял: «Эмма на вид очень слабенькая, но в уменье проникнуть в суть дела никому не уступит». Конечно, папа был пристрастен ко мне, но мой долг перед ним и мой разум повелевают мне сказать прямо: на свой лад он был знаток людей!

С этими словами, отвергнув наши просьбы почтить нас своим присутствием, покуда мы разопьем вкруговую оставшийся пунш, миссис Микобер удалилась в мою спальню. И право же, я почувствовал, что она доблестная женщина – женщина, которая могла бы стать римской матроной и совершить великие деяния в эпохи политических смут.

Взволнованный этой мыслью, я поздравил мистера Микобера, обладающего таким сокровищем. Трэдлс тоже его поздравил. Мистер Микобер пожал нам обоим руки и закрыл себе лицо носовым платком, запачканным табаком в большей мере, чем это, по-видимому, было известно его обладателю. Затем, чрезвычайно развеселившись, он снова принялся за пунш.

Он был очень красноречив. Он сообщил нам, что мы возрождаемся в наших детях и что при денежных затруднениях нужно сугубо приветствовать приращение семейства. Он сказал, что в последнее время миссис Микобер выражала сомнения по этому поводу, но что он их рассеял и успокоил ее. Что касается ее родных, то они совершенно недостойны ее, и до их суждений ему нет никакого дела, и они могут – я привожу подлинные его слова – убираться ко всем чертям.

Засим мистер Микобер рассыпался в похвалах Трэдлсу. По его мнению, Трэдлс обладал такими надежными добродетелями, на которые он, мистер Микобер, не может претендовать, но которыми, – благодарение небесам! – может восхищаться. Он трогательно намекнул на неведомую молодую леди, удостоенную Трэдлсом любви и в свою очередь наградившую его своей любовью. Мистер Микобер провозгласил за нее тост. Я сделал то же самое. Трэдлс искренне и простодушно поблагодарил нас обоих, и – мне это простодушие показалось очаровательным.

– Поверьте мне, я вам очень признателен. Если бы вы только знали, какая она милая! – сказал он. Тут мистер Микобер воспользовался случаем и крайне деликатно и церемонно намекнул на мои сердечные дела. Ничто, кроме решительного опровержения со стороны его друга Копперфилда, сказал он, не может его разубедить в том, что его друг Копперфилд любит и любим. Я сильно покраснел, мне стало не по себе, я запинался, разубеждал, но в конце концов поднял бокал и провозгласил: «Пусть так! Пью за здоровье Д.!» – а это привело мистера Микобера в такое восхищение, что он помчался с бокалом пунша в мою спальню, дабы миссис Микобер могла тоже выпить за здоровье Д. Та выпила с великим восторгом, пронзительно закричала: «Браво! Дорогой мистер Копперфилд, я страшно рада! Браво!» – и, словно аплодируя, забарабанила руками по стене.

Потом разговор принял более низменный характер. Мистер Микобер сказал, что жить в Кемден-Таун очень неудобно и он немедленно переедет оттуда, как только счастье улыбнется после помещения вышеупомянутых объявлений. Он упомянул о домах, выходящих на Гайд-парк в западном конце Оксфорд-стрит; на эти дома он давно уже обращал внимание, но все еще не уверен, снимет ли он один из них тотчас же, ибо хозяйство, поставленное на широкую ногу, потребует слишком значительных расходов. Вполне возможно, сказал он, что придется с этим повременить и удовольствоваться верхним этажом в каком-нибудь другом доме, например на Пикадилли, над респектабельным магазином, что понравилось бы миссис Микобер. К такому дому можно было бы пристроить окно-фонарь, возвести еще один этаж или сделать какие-нибудь другие изменения, после чего там можно будет жить с удобствами и не умаляя своего достоинства в течение нескольких лет. Но, во всяком случае, добавил он, где бы ему ни пришлось поселиться и какова бы ни была дальнейшая его судьба, мы можем не сомневаться, что у него всегда найдется комната для Трэдлса и место за столом для меня. Мы поблагодарили его за доброе отношение, а он попросил извинить ему этот разговор о хозяйственных мелочах, быть может простительный для человека, задумавшего начать нового жизнь.

Тут миссис Микобер снова постучала в стену, чтобы узнать, не готов ли чай, и прервала нашу дружескую беседу. Она любезно начала разливать чай и каждый раз, когда я подходил к ней за чашками или бутербродами, тихонько спрашивала меня о Д.: блондинка ли она, или брюнетка, какого роста и так далее; сознаюсь, эти вопросы не были мне неприятны. После чая мы сидели у камина и болтали на разные темы, а миссис Микобер была так мила, что спела крохотным, слабым голоском (помнится, когда я впервые познакомился с ней, он показался мне превосходным) свои любимые баллады «Храбрый белый сержант» и «Крошка Тэффлин».[79] Этими двумя песенками миссис Микобер прославилась еще тогда, когда жила дома с папой и мамой. Мистер Микобер не преминул сообщить, что, когда он впервые увидел ее под родительской кровлей, она привлекла к себе особое его внимание, исполняя первую из этих двух песенок, а когда дело дошло до «Крошки Тэффлин», он решил либо завоевать эту женщину, либо погибнуть.

Был одиннадцатый час, миссис Микобер поднялась, вложила чепчик в коричневый бумажный пакет и надела шляпку. Воспользовавшись моментом, когда Трэдлс надевал пальто, мистер Микобер сунул мне в руку письмецо и шепнул, чтобы я прочел его на досуге. Мистер Микобер уже спускался по лестнице, ведя за собой миссис Микобер, за которой следовал Трэдлс с бумажным пакетом в руке; я шел позади, освещая им путь свечой, и, также воспользовавшись моментом, задержал Трэдлса на площадке.

– Трэдлс! – шепнул я. – Мистер Микобер никому не хочет зла. Но на вашем месте я бы ему, бедняге, ничего не давал взаймы.

– Дорогой Копперфилд, да у меня ведь нет ничего! – улыбаясь, ответил Трэдлс.

– Но у вас есть имя, – сказал я.

– О! Так вот что вы имеете в виду… – задумчиво сказал Трэдлс.

– Конечно.

– Так, так… Верно. Благодарю, Копперфилд, но… боюсь, что я уже дал его взаймы…

– Для векселя, который является выгодным помещением капитала?

– Нет, – ответил Трэдлс. – Не для этого векселя. О нем я услыхал сейчас впервые. Должно быть, по дороге домой он предложит мне подписать его. Но я дал для другого дела.

– Как бы чего худого не вышло, – сказал я.

– Думаю, не выйдет. Надеюсь на это, потому что на днях мистер Микобер сказал, что у него есть обеспечение. Так и сказал: «есть обеспечение».

Тут мистер Микобер посмотрел на нас, и я едва успел еще раз предостеречь Трэдлса. Тот поблагодарил и спустился с лестницы. Но, увидев, как благодушно он несет пакет с чепчиком и предлагает руку миссис Микобер, я почувствовал сильнейшее опасение, что его все-таки поволокут на биржу.

Я вернулся к камину и стал размышлять о характере мистера Микобера и наших отношениях; думал я о нем то серьезно, то посмеиваясь, как вдруг услышал шаги – кто-то быстро поднимался по лестнице. Сперва у меня мелькнула мысль, не вернулся ли Трэдлс за какой-нибудь вещью, забытой миссис Микобер, но шаги приближались, и я их узнал и почувствовал, как забилось у меня сердце и кровь прилила к голове. Это был Стирфорт.

Я никогда не забывал Агнес, она всегда пребывала в святая святых моего сердца – да будет мне позволено так выразиться – и обитала там с первого дня нашего знакомства. Но когда вошел Стирфорт и протянул мне руку, тень, лежавшая на нем, исчезла, и засиял свет, и мне стало очень стыдно, что я сомневался в том, кого так искренне люблю. Агнес я любил не меньше, по-прежнему я почитал ее благословением моей жизни, моим кротким ангелом-хранителем; я упрекал не ее, а себя за то, что был несправедлив к Стирфорту, и готов был искупить свою вину, но не знал, как это сделать.

– Маргаритка, старина, да вы ошалели! – захохотал Стирфорт, крепко потряс мне руку и затем шутливо оттолкнул ее. – Снова после пирушки? Я застиг вас врасплох, сибарит? Таких кутил, как эти парни из Докторс-Коммонс, во всем Лондоне не сыскать. Куда нам до них, благонравным оксфордцам!

Опускаясь против меня на диван, который недавно находился в распоряжении миссис Микобер, он весело осматривал комнату, а потом начал ворошить уголь в камине.

– Я так растерялся, что даже не поздоровался с вами, Стирфорт, – сказал я, приветствуя его со всей сердечностью, на какую был способен.

– О да, вид мой радует взор, как говорят шотландцы! Но и ваш также. Вы в полном расцвете, Маргаритка. Как поживаете, мой милый вакхант? – засмеялся Стирфорт.

– Прекрасно. Но сегодня никакой вакханалии не было, хотя, должен сознаться, у меня опять было трое гостей, – сказал я.

– Я встретил их на улице, и они во весь голос вас расхваливали. Кто этот ваш друг в узких панталонах?

В нескольких словах я постарался нарисовать ему портрет мистера Микобера. Он искренне хохотал, слушая мое неумелое описание этого джентльмена, и заявил, что с таким человеком стоит познакомиться и он с ним непременно познакомится.

– А как вы полагаете, кто второй друг? – спросил я.

– Бог его знает. На вид он весьма скучен. Надеюсь, это не так?

– Это Трэдлс! – сказал я торжествующим тоном.

– А кто это? – небрежно спросил Стирфорт.

– Вы не помните Трэдлса? Трэдлса в нашем дортуаре, в Сэлем-Хаусе?

– А! Тот самый! – сказал Стирфорт, разбивая кочергой кусок угля в камине. – Такой же простак, как и раньше? Где вы его выкопали?

В ответ я стал превозносить Трэдлса, насколько это было в моих силах, так как почувствовал, что Стирфорт относится к нему пренебрежительно. Стирфорт улыбнулся, покачал головой, отказываясь говорить на эту тему, и заметил только, что не прочь повидаться также и с Трэдлсом, ибо тот всегда был чудаком; затем он спросил, могу ли я дать ему поесть. В паузах между этими фразами, которые он произносил с лихорадочной живостью, он лениво разбивал кочергой угли в камине. Я обратил внимание, что он не оставил этого занятия и тогда, когда я доставал остатки пирога с голубями и другую снедь.

– Да ведь это королевский ужин, Маргаритка! – воскликнул он, очнувшись от молчаливого раздумья и садясь за стол. – Воздадим ему должное – ведь я приехал из Ярмута.

– Я думал, что вы из Оксфорда, – заметил я.

– Нет. Я учился морскому делу, это куда лучше!

– Сегодня здесь был Литтимер и справлялся о вас, – сказал я, – из его слов я понял, что вы в Оксфорде. Но теперь я припоминаю, что он этого не говорил.

– Литтимер глупее, чем я думал, если он меня разыскивает! – весело сказал Стирфорт, налил себе бокал вина и выпил за мое здоровье. – А если вы что-нибудь поняли из слов Литтимера, то вы умнее многих из нас, Маргаритка!

– Пожалуй, вы правы, – согласился я, придвигая свой стул к столу. – Значит? вы были в Ярмуте, Стирфорт? Долго там пробыли?

Мне хотелось узнать все подробности.

– Нет. Вырвался на недельку.

– Как они все поживают? Малютка Эмли, конечно, еще не вышла замуж?

– Еще не вышла. Но собирается – через несколько недель, а, может быть, месяцев, точно не знаю. Я редко их видел. Да! У меня есть для вас письмо.

Он отложил нож и вилку, которыми орудовал весьма энергически, и начал рыться в карманах.

– От кого?

– От вашей старой няни, – ответил он, вытаскивая из бокового кармана какие-то бумажки. – Кажется, вот…

Дж. Стирфорту, счет гостиницы «Добро пожаловать»… Нет, не то… Терпение! Сейчас мы его разыщем. Старик, – не помню, как его зовут, – болен. Кажется, об Этом она и пишет.

– Вы имеете в виду Баркиса?

– Да, – подтвердил он, продолжая рыться в карманах и бегло просматривая их содержимое. – Боюсь, что песенка бедняги Баркиса спета. Я видел аптекаря, – а может, это лекарь, не помню, – того самого, который помог вашей милости появиться на свет. Он мне говорил об его болезни разные ученые вещи, а напоследок сказал, что, надо полагать, возчик отправился в свою последнюю поездку. А ну-ка, засуньте руку в боковой карман моего пальто, оно вон на том стуле. Кажется, письмо там. Нашли?

– Нашел.

– Прекрасно,

Письмо было от Пегготи. Короткое и написанное менее разборчиво, чем обычно. Она писала, что состояние ее мужа безнадежно, и намекала, что он стал «скуповатее», чем раньше, а стало быть, очень нелегко заботиться о его собственных удобствах. Ни одним словом она не обмолвилась о своих бессонных ночах и усталости, но горячо восхваляла мужа. В этом безыскусственном послании была подлинная жалость и глубокая, неподдельная искренность; кончалось оно словами: «Шлю привет моему любимому»; «любимый» – это был я.

Покуда я разбирал ее послание, Стирфорт продолжал есть и пить.

– Что и говорить, жалко. Но солнце заходит ежедневно, и люди умирают ежеминутно, и нас не должен страшить общий жребий. Ну что ж, пусть смерть стучится то в ту, то в другую дверь – мы должны взять свое. Иначе все упустим! Вперед, только вперед! Если можно – выбирай дорогу получше, если нет – то по любой дороге, но только вперед! Бери все препятствия и постарайся выиграть игру.

– Какую игру? – спросил я.

– Да ту, какую начал… Только вперед!

Помнится, когда он замолк, слегка откинув назад красивую голову и подняв бокал, я впервые заметил, что на его свежем, покрытом морским загаром лице появились следы чрезмерного напряжения, порожденного какой-то лихорадочной энергией, которая, если пробуждалась, то всегда с огромной силой. Я хотел было упрекнуть его за безрассудство, с которым он увлекается своими фантазиями – например, эти плавания по бурному морю и борьба с непогодой, – но тут я вспомнил разговор, который мы только что вели, и сказал:

– Если ваше возбуждение, Стирфорт, не помешает вам меня выслушать…

– Я хозяин своих настроений и готов слушать все, что вам угодно, – перебил он, пересаживаясь снова от стола к камину.

– Тогда я скажу вам вот что: мне хочется съездить к моей старой няне. Пользы от меня ей никакой не будет, и едва ли я ей чем-нибудь помогу, но она так привязана ко мне, что один мой приезд принесет ей и пользу и помощь. Он будет ей утешением и поддержкой. Поехать к ней – не такая уж жертва, если принять во внимание, какой она верный друг… Разве вы не потратили бы денек на эту поездку, будь вы на моем месте?

Он о чем-то размышлял; подумав, он тихо сказал:

– Ну, что ж, поезжайте. Вреда не будет.

– Вы только что оттуда вернулись, и, наверно, нет смысла спрашивать, поедете ли вы со мной?

– Разумеется, – ответил он. – Сейчас я отправляюсь в Хайгет. Я давно не виделся с матерью и чувствую угрызения совести. Ведь что-нибудь да значит быть любимым так, как она любит своего блудного сына… Впрочем, все вздор! Вы собираетесь ехать завтра?

И он положил руки мне на плечи и слегка отстранил меня от себя.

– Да, должно быть…

– Подождите еще денек. Я хотел, чтобы вы приехали на несколько дней к нам. Я нарочно заехал за вами, чтобы вас пригласить, а вы летите в Ярмут.

– Кому-кому, а не вам, Стирфорт, говорить, что я улетаю. Это вы вечно улетаете неведомо куда!

С минуту он глядел на меня, не говоря ни слова, а затем, все еще продолжая держать руки на моих плечах, встряхнул меня и произнес:

– Ну, так решено? Отложите поездку на один денек и завтрашний день проведите с нами. Кто знает, когда мы снова увидимся! Решено? На один денек! А меня вы избавите от удовольствия оставаться наедине с Розой Дартл.

– А не то вы слишком полюбите друг друга, если меня не будет?

– О да! Или возненавидим, – засмеялся Стирфорт. – Либо одно, либо другое. Решено? На один денек?

Я согласился. Он надел пальто, закурил сигару и собрался идти домой. Видя это, я тоже надел пальто, но сигары не закурил (довольно было для меня той единственной сигары) и проводил его до самой дороги в Хайгет – скучной дороги в ночную пору. Он был очень возбужден. Когда мы расстались и я увидел, как легко и бодро он зашагал, мне вспомнились

его слова: «Бери все препятствия и постарайся выиграть игру!» И тут впервые мне захотелось, чтобы игра была достойна его.

Я уже раздевался в своей комнате, как вдруг на пол упало письмо мистера Микобера. Тогда только я вспомнил о нем и сломал печать. Оно было написано за полтора часа до обеда. Не уверен, упоминал ли я о том что мистер Микобер, находясь в отчаянном положении, всегда прибегал к своеобразной юридической манере изложения, которая, по-видимому, сама по себе должна была возвещать о крушении всех его дел.

«Сэр… ибо я не решаюсь написать: „Дорогой Копперфилд".

Мне надлежит вас известить, что нижеподписавшийся повержен во прах. Может быть, вы обратили внимание, что сегодня он делал слабые попытки избавить вас от преждевременного ознакомления с его бедственным положением, но на горизонте нет никаких надежд и нижеподписавшийся повержен во прах.

Настоящее извещение написано в присутствии (я не хотел бы сказать: в обществе) некоего субъекта, нанятого аукционистом и находящегося в состоянии, близком к опьянению. Сей субъект есть законный владелец всего помещения по причине невзноса арендной платы. Им описано не только движимое имущество разного рода, принадлежащее нижеподписавшемуся как съемщику, арендующему на год сие помещение, но также имущество, принадлежащее постояльцу – мистеру Томасу Трэдлсу, члену высокопочтенной корпорации Иннер-Тэмпл.[80]

Если бы не хватало одной только капли горечи в той чаше, какая «уготована» (говоря словами бессмертного писателя) для уст нижеподписавшегося, то такой каплей бесспорно является прискорбное обстоятельство, что вексель с дружеской передаточной надписью вышеупомянутого мистера Томаса Трэдлса на сумму 23 фунта 4 шиллинга 9 пенсов в пользу нижеподписавшегося просрочен, и по нему не уплачено; а равно и то обстоятельство, что житейская ответственность, лежащая на нижеподписавшемся, должна увеличиться, согласно законам природы, вследствие появления еще одной невинной жертвы, какового появления можно ждать – в круглых цифрах – по истечении шести лунных месяцев от настоящего числа.

После вышеуказанного нет необходимости добавлять, что навсегда покрыта прахом и пеплом голова

Уилкипса Микобера».

Бедняга Трэдлс! К тому времени я уже хорошо знал мистера Микобера и предвидел, что он-то оправится от удара. Но думы о Трэдлсе и о дочке девонширского священника – одной из десяти – такой милой девушке, которая будет ждать Трэдлса (о, зловещая похвала!) хотя бы до шестидесяти лет, а если понадобится, то еще дольше, – вот какие думы мешали мне заснуть в эту ночь.

Глава XXIX

Я снова посещаю Стирфорта

Утром я сказал мистеру Спенлоу, что на короткое время должен уехать, а так как жалованья я не получал и, стало быть, не зависел от неумолимого Джоркинса, то возражений не последовало. Воспользовавшись случаем, я выразил надежду, что мисс Спенлоу находится в полном здравии, и при этих словах почувствовал, как перехватило у меня дыхание и все поплыло перед глазами; в ответ на это мистер Спенлоу не проявил решительно никаких эмоций, словно речь шла о самом обыкновенном существе, и сообщил мне только, что он весьма признателен, а она совершенно здорова.

Мы, клерки, проходившие обучение, – молодая поросль патрицианского ордена прокторов, – находились на особом положении и могли почти свободно располагать своим временем. Отправиться в Хайгет я собирался часа в два, и, поскольку в это утро слушалось небольшое дело об отлучении от церкви, – так называемый «Долг судьи», по доносу Типкинса

на Буллока ради спасения души последнего, – я провел довольно приятно часа два, присутствуя в суде вместе с мистером Спенлоу. Дело возникло из-за драки между двумя церковными старостами: один из них, как было указано в доносе, толкнул другого под насос, и так как ручка насоса находилась в тени школьного помещения, а школьное помещение находилось под щипцом церковной кровли, то этот толчок мог почитаться кощунством. Забавное это было дело, и покуда я ехал в Хайгет на крыше почтовой кареты, я размышлял о Докторс-Коммонс и о том, можно ли, затрагивая Докторс-Коммонс, потрясти всю страну, как о том говорил мистер Спенлоу.

Миссис Стирфорт рада была видеть меня, так же как и Роза Дартл. Я был приятно удивлен, убедившись, что Литтимера нет и нам прислуживает скромная маленькая горничная в чепчике с голубыми лентами; куда отраднее было случайно встретиться взглядом с ней, чем с этим весьма респектабельным человеком. Уже во вторые полчаса моего пребывания особенно бросилось мне в глаза, что мисс Дартл внимательно следит за мной – следит исподтишка, словно изучая мое лицо и лицо Стирфорта, чтобы поймать нас на том, не обмениваемся ли мы взглядами. Стоило мне посмотреть в ее сторону, как я видел все то же напряженное лицо, нахмуренный лоб и черные, мрачные глаза, на меня устремленные; через миг ее взор уже впивался в лицо Стирфорта или перебегал с его лица на мое. И она так мало заботилась о том, чтобы скрыть свою рысью настороженность, что, когда я перехватывал ее взгляды, они становились еще более пронизывающими. Решительно не ведая о том, в каких кознях она меня подозревает, ибо я был ни в чем не повинен, я не мог выносить голодного блеска ее глаз и стал избегать странного ее взгляда.

В течение всего дня она как будто присутствовала везде и всюду. Если мы беседовали со Стирфортом в его комнате, из небольшой галереи доносился шелест ее платья. Когда мы, вспомнив старину, бегали и прыгали на лужайке за домом, в окнах мелькало ее лицо, словно блуждающий огонек; пока она не задерживалась у какого-нибудь окна и не начинала следить за нами. Когда же мы во второй половине дня отправились вчетвером на прогулку, она сжала, как тисками, мой локоть своей тощей рукой, пропуская вперед Стирфорта с матерью, и, когда те не могли нас услышать, прошептала:

– Вас давно здесь не было. В самом деле ваша профессия так увлекательна, что поглощает все ваше внимание? Я люблю, чтобы меня просвещали, если я чего-нибудь не знаю. Скажите, так ли это?

Я ответил, что профессия мне действительно нравится, но, конечно, нельзя сказать, чтобы я был занят все время.

– О! Как я рада, что это слышу. Я всегда рада, когда исправляют мои ошибки. Вы считаете свою профессию суховатой, правда?

– Да, пожалуй, ее можно назвать чуть-чуть суховатой, – ответил я.

– О! Вот почему вам нужен отдых, перемены… развлечения… правда? Ну, конечно, конечно. Но не кажется ли вам, что для него… это пожалуй, немножко… Я имею в виду не вас.

Быстрый ее взгляд, брошенный на Стирфорта, который вел под руку мать, дал мне понять, кого она имеет в виду. Но, кроме этого, я ничего не понял. Не сомневаюсь, что на моем лице отразилось замешательство.

– Не кажется ли… Я совсем не хочу что бы то ни было утверждать, мне хотелось бы только знать… не слишком ли это его поглощает… не стал ли он… как бы это сказать… отлынивать от поездок к матери, которая так слепо любит его… Как вам кажется? А?

И снова быстрый взгляд на Стирфорта и его мать, и взгляд на меня – взгляд, который пытался проникнуть в сокровенную глубину моих мыслей.

– Пожалуйста, не думайте, мисс Дартл… – начал я.

– Да что вы! – перебила она. – Избави бог! Неужто вам кажется, будто я что-то думаю? О, я совсем не подозрительна! Я только спрашиваю. Я ничего не утверждаю. Я хотела бы, составляя свое мнение, опереться на ваши слова. Значит? Это не так? Ах, как я рада это узнать!

– Разумеется, я не виноват в отлучках Стирфорта из дому более длительных, чем обычно, – если только дело обстоит таким образом, – ответил я, несколько смущенный. – Но об этих отлучках я не знал ничего вплоть до нашего теперешнего разговора. Все это время я его не видел. Мы встретились только вчера вечером.

– Не видели?

– Не видел, мисс Дартл!

Она смотрела мне прямо в глаза, и лицо ее как-то вытянулось и побледнело, а старый шрам резко выступил на верхней изуродованной губе, потом на нижней, а затем протянулся вкось еще ниже. Это было ужасное зрелище, и столь же ужасными показались мне ее блестящие глаза, когда она спросила, пристально глядя на меня:

– Что же он делает?

Растерявшись, я повторил этот вопрос, обращаясь скорее к самому себе, чем к ней.

– Что же он делает? – снова спросила она с такой страстностью, что казалось, ее пожирает какой-то внутренний огонь. – И в чем помогает ему этот человек, который всегда смотрит на меня такими лживыми глазами? Я не прошу вас предавать вашего друга, если вы честны и благородны! Но я прошу сказать, что с ним происходит? Что его сейчас гложет – злоба, ненависть, гордость, тревога, какая-нибудь дикая фантазия, любовь?

– Как мне вас убедить, мисс Дартл, что я знаю о Стирфорте не больше, чем тогда, когда приехал сюда в первый раз, – сказал я. – Я ничего не могу вам сказать. Я уверен, что ровно ничего и нет! Я даже не понимаю, что вы имеете в виду.

Не отрываясь, она смотрела на меня, и судорога пробежала по этому зловещему шраму, что всегда связывалось у меня с представлением о боли; уголок ее рта приподнялся, словно от презрения или от жалости, не чуждой презрению. Она мгновенно прикрыла шрам рукой – худой и хрупкой, напоминавшей прозрачный фарфор в те минуты, когда она, сидя у камина, защищала ею свое лицо от огня… Затем она торопливо и задыхаясь от волнения прошептала: «Заклинаю вас, молчите об этом!» – и больше не произнесла ни слова.

Присутствие сына доставляло миссис Стирфорт огромную радость, а на этот раз Стирфорт был особенно почтителен и внимателен к ней. Очень интересно было следить за ними, когда они находились вместе, не только потому, что их связывала взаимная любовь, но и потому, что они походили друг на друга, причем его страстность и надменность приобрели у нее благодаря ее полу и возрасту оттенок какого-то благородства и изящества. Не раз я думал, что, к счастью, никогда меж ними не возникало серьезного повода для ссор, ибо людям с такими натурами, – вернее, тем, у которых одна натура, но с разными оттенками, – куда трудней помириться, чем людям, у которых характеры совсем несходны. Должен сознаться, пришел я к такой мысли не самостоятельно, но меня натолкнули на нее слова Розы Дартл.

За обедом она сказала:

– Ох! Если бы кто-нибудь мог ответить мне на вопрос, который занимает меня целый день!

– Что же вас занимает, Роза? Не будьте такой загадочной, – сказала миссис Стирфорт.

– Загадочной?! – воскликнула та. – Да что вы! Вы считаете, что я загадочная?

– Разве я не убеждаю вас все время говорить просто и ясно? – заметила миссис Стирфорт.

– Ох! Значит, я говорю не просто? Но будьте ко мне снисходительны. Я ведь задаю вопросы только для того, чтобы узнать то, чего не знаю! А мы никогда не знаем самих себя.

– Эта привычка стала вашей второй натурой, – сказала миссис Стирфорт, не проявляя ни малейшего неудовольствия, – но я помню, Роза, да и вы тоже должны помнить, что раньше вы держались по-другому. Вы были тогда более доверчивой и не такой скрытной.

– Да, конечно, вы правы. Дурные привычки укореняются. Не так ли? Более доверчивой и не такой скрытной! Не могу только понять, как это я изменилась, сама того не замечая. Очень странно. Постараюсь стать такой, какой была прежде.

– Это было бы хорошо, – сказала миссис Стирфорт, улыбаясь.

– О! Вот вы увидите! – воскликнула Роза Дартл. – Буду учиться искренности у… ну, скажем, у… Джеймса.

– Лучшей школы, Роза, вы не найдете, – быстро сказала миссис Стирфорт, так как слова Розы Дартл всегда звучали несколько саркастически, хотя бы она и говорила самым невинным тоном.

– Я в этом нисколько не сомневаюсь, – отозвалась та с необычным жаром. – Если я вообще в чем-нибудь не сомневаюсь, то именно в этом.

Миссис Стирфорт, как мне показалось, пожалела о своем легком раздражении, ибо сказала благодушно:

– Прекрасно, дорогая Роза, но вы нам не объяснили, что же вас тревожит.

– Что меня тревожит? – переспросила Роза с подчеркнутым спокойствием. – Только одно: если два человека походят друг на друга своим моральным обликом… Можно ли так выразиться?

– Выражение не хуже, чем любое другое, – вставил Стирфорт.

– Благодарю. Так вот: если два человека походят друг на друга своим моральным обликом, то не грозит ли опасность, что между ними, в случае серьезной размолвки, возникнет вражда более длительная и глубокая, чем между людьми разными?

– Пожалуй, – сказал Стирфорт.

– Вы так думаете? – отозвалась Роза Дартл. – Боже мой! Предположим теперь… ведь мы можем предполагать самые невероятные вещи, не правда ли?.. Предположим, у вас с матушкой произойдет какая-нибудь серьезная ссора…

– Предположите что-нибудь другое, дорогая Роза, – добродушно засмеялась миссис Стирфорт. – Слава богу, нас с Джеймсом связывает чувство долга.

– Так-так… – Тут мисс Дартл задумчиво кивнула головой. – Конечно… Это может помешать? Совершенно верно. Вот именно. Ах, какая я глупая, что высказала такое предположение! Как приятно узнать, что помешать может чувство долга! Я вам очень, очень благодарна.

Я не могу пройти мимо одного обстоятельства, связанного с мисс Дартл, ибо у меня были основания вспомнить о нем впоследствии, когда открылось то, что уже нельзя было исправить. В течение всего дня, а в особенности после этого разговора, Стирфорт, – продолжая держаться на редкость легко и непринужденно, – прилагал все старания к тому, чтобы обворожить это странное существо и сделать мисс Дартл приятной собеседницей. Я не удивился, что он достиг своей цели. Не удивился я также и тому, что она сопротивлялась очарованию его несравненного искусства, – несравненной натуры, как я думал тогда, – ибо я знал, что Роза Дартл временами бывает желчной и упрямой. Я видел, как постепенно менялось выражение ее лица и изменился тон. Я видел, как она начинает смотреть на него с восхищением; я видел, как она пытается бороться с его всепобеждающим обаянием, и как ослабевает эта борьба, и как она сердится на себя, осуждая свою слабость. И в конце концов я увидел, что острый взгляд ее начинает смягчаться, улыбка становится кроткой, и я перестал ее бояться, – как боялся в течение целого дня, – и все мы сидели у камина и болтали и хохотали, не смущаясь и не сдерживая себя, словно малые дети.

То ли потому, что мы сидели там так долго, то ли потому, что Стирфорт хотел сохранить за собой завоеванные позиции, – не знаю, но мы не оставались в столовой и пяти минут после ухода Розы Дартл.

– Она играет на арфе, – прошептал Стирфорт, подходя к двери гостиной. – Вот уж три года как никто ее не слышал, разве что моя мать.

Он сказал это, странно усмехаясь, но усмешка мгновенно исчезла. Мы вошли в гостиную, где, кроме нас троих, никого не было.

– Да не вставайте, дорогая Роза, не вставайте! (Она уже встала.) Ну, будьте милой хоть разок – спойте нам ирландскую песню.

– Вам так нужна ирландская песня? – отозвалась она.

– Очень нужна, – ответил Стирфорт. – Больше, чем все другие! Вот и Маргаритка ужасно любит музыку. Спойте нам ирландскую песню, Роза! А я посижу и послушаю, как бывало.

Он не коснулся ее, не прикоснулся к стулу, с которого она поднялась, но уселся сам около арфы. Она стояла рядом с арфой и как-то странно перебирала правой рукой струны, не извлекая ни звука. Затем опустилась на стул, судорожно придвинула к себе арфу, заиграла и запела.

Не знаю, в голосе ее или в игре было нечто такое, от чего песня казалась неземной; никогда я не слышал ничего подобного, не слышал и даже представить себе не мог. Было в ней что-то пугающее. Словно ее никто не написал, не положил на музыку, а она сама вырывалась из глубины страстной души, которая искала и не находила выражения в тихих переливах голоса и снова замирала, когда звуки смолкали. Я не мог произнести ни слова, когда Роза Дартл снова склонилась над струнами и начала правой рукой перебирать их, не извлекая звуков.

Минуту спустя я пришел в себя, так как Стирфорт поднялся со стула, подошел к ней, смеясь обнял ее за талию и сказал:

– А теперь, Роза, мы будем очень любить друг друга.

Тут она ударила его, оттолкнула с яростью дикой кошки и выскочила из комнаты.

– Что такое с Розой? – спросила миссис Стирфорт, входя в гостиную.

– Она некоторое время была ангелом, мама, а теперь, для равновесия, ударилась в другую крайность, – ответил Стирфорт.

– Ты не должен ее сердить, Джеймс. Помни: характер у нее стал раздражительный, не надо ее дразнить.

Роза не возвратилась, и о ней не было сказано ни слова, пока я не пришел со Стирфортом в его комнату, чтобы попрощаться с ним перед сном. Он посмеялся над ней и спросил меня, приходилось ли мне видеть такое неистовое и непостижимое существо.

Я подивился от всей души и спросил, догадывается ли он, почему она так неожиданно сочла себя оскорбленной.

– А бог ее знает! – ответил Стирфорт. – Какая угодно причина, а может быть, никакой. Я уже вам говорил, что она решительно все, включая самое себя, тащит к точильному камню, чтобы отточить. Она походит на острый клинок и требует весьма осторожного обращения. Она существо опасное. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, дорогой Стирфорт. Утром я уеду, прежде чем вы проснетесь. Спокойной ночи.

Он не хотел меня отпускать, стоял передо мной, положив руки мне на плечи, как тогда у меня в комнате.

– Маргаритка, – сказал он, улыбаясь, – хотя ваши крестные отец с матерью не нарекли вас этим именем, но я люблю вас так называть… И я бы хотел – о, как бы я хотел! – чтобы вы могли называть меня так!

– Ну, что ж, я мог бы, если бы пожелал, – сказал я.

– Маргаритка! Если что-нибудь нас разлучит, вспоминайте только самое хорошее, что есть во мне, старина! Давайте заключим договор. Вспоминайте только самое хорошее, если обстоятельства бросят нас когда-нибудь в разные стороны.

– Для меня в вас нет ни самого хорошего, ни самого плохого, Стирфорт, – сказал я. – Я вас всегда люблю одинаково нежно и неизменно.

Как мне стало совестно, что иной раз я бывал, хотя бы мысленно, несправедлив к нему! Это признание готово было сорваться с моих уст. И оно сорвалось бы, если бы я не боялся предать доверившеюся мне Агнес и если бы знал, как заговорить, не рискуя ее предать, – сорвалось бы раньше, чем он сказал: «Да благословит вас бог, Маргаритка. Спокойной ночи». Но, пока я колебался, оно застыло у меня на губах. И мы пожали друг другу руку и расстались.

* * *

Встал я на рассвете. Оделся, стараясь не шуметь, и заглянул к нему в комнату. Он спал глубоким сном, подложив под голову руку, – так, бывало, спал он и в школе.

Очень скоро пришла пора, когда я готов был удивляться, как же это ничто не потревожило его покоя в эти мгновения, которые я провел возле его постели. Но он спал… вот таким я вижу его снова… спал так, как, бывало, спал в школе. И в этот тихий час я покинул его.

Никогда больше не коснуться мне с дружеской любовью этой безвольной руки… Да простит вам бог, Стирфорт! Никогда, никогда!..

О романе

«Жизнь, приключения, испытания и наблюдения Дэвида Копперфилда-младшего из Грачевника в Бландерстоне, описанные им самим (и никогда, ни в каком случае не предназначавшиеся для печати)» – таково было первоначальное полное заглавие романа. Первый выпуск его был издан в мае 1849 года, последующие выходили ежемесячно, вплоть до ноября 1850 года. В том же году роман вышел отдельным изданием под заглавием «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим».

Хотя в этой книге Диккенс и рассказал о некоторых действительных событиях своей жизни, она не является автобиографией писателя. Используя отдельные факты своей биографии, Диккенс свободно видоизменял их в соответствии с планом романа; рисуя образы своих героев, он брал лишь отдельные черты действительно существовавших людей. Рассказывая, к примеру, о тяжелом детстве маленького Дэвида, о его работе на винном складе и о крушении его детских надежд, Диккенс описал свои собственные переживания тех лет, когда ребенком он работал на фабрике ваксы. Он рассказал о своих занятиях юриспруденцией, но совершенно изменил условия, в которых эти занятия протекали; он описал свои занятия стенографией, сделав Дэвида парламентским репортером, но ничего не поведал о постепенном превращении своем из газетного репортера в известного писателя.

Примечания

1

Предисловие автора. – Настоящее предисловие было предпослано изданию 1869 года. Оно почти полностью повторяет предисловие к первому изданию (декабрь 1850 года), отличаясь от него лишь последним абзацем.

2

Бабуин – обезьяна из семейства павианов.

3

Бабу – обращение, принятое в Индии в XIX веке и соответствующее английскому «мистер».

4

Бегума – так называлась в Индии принцесса или знатная дама мусульманского вероисповедания.

5

…получило при крещении имя Пегготи? – Это имя напоминает слово «пейген» (pagan), то есть язычник.

6

…хлопчатой бумагой из ювелирной лавки. – Во времена Диккенса в иных случаях специально обработанная бумага заменяла вату; на такой бумаге ювелиры обычно раскладывали драгоценности у себя в лавках.

7

…какой-нибудь владелец фабрики… – Город Шеффилд был центром производства металлических изделий в Англии.

8

…словно он был глаголом из английской грамматики. – «Эм» (am) – первое лицо единственного числа настоящего времени от глагола «быть» (to be).

9

…перемешаны, как сухари с водой. – Имеется в виду вода, настоенная на сухарях, – популярный в Англии прохладительный напиток, напоминающий квас.

10

…был в далекие времена некий ребенок… – Вероятно, намек на евангельский рассказ о том, как мальчик Иисус беседовал в Иерусалимском храме с учеными («Евангелие от Луки», II, 46–50).

11

Родрик Рэндом, Перигрин Пикль, Хамфри Клинкер – герои романов английского писателя XVIII века Т. Смоллета («Приключения Родрика Рэндома», «Приключения Перигрина Пикля», «Путешествие Хамфри Клинкера»), Том Джонс – герой романа Г. Фильдинга (1707–1754) «История Тома Джонса найденыша». Векфилъдский священник – герой одноименного романа английского писателя XVIII века О. Гольдсмита.

12

Блекхит – плато в графстве Кент, памятное в истории Англии; здесь в 1381 году Уот Тайлер собирал восставших крестьян, жителей Кента, для похода на Лондон.

13

Боро. – Имеется в виду южный район Лондона Саутуорк, за рекой Темзой, который сохранил старинное название «Боро», некогда присваиваемое поселениям, получившим право представительства в парламенте.

14

Бидл – низшее должностное лицо городского прихода (административного района), избираемое на один год жителями и утверждаемое в своей должности мировым судьей.

15

Грамматическая школа – средняя школа, где основное внимание уделяется преподаванию древних языков.

16

Дельфин – эмблема и название гостиницы.

17

Ну, если не «раддер», так «стир»… – «Стир» (to steer) по-английски «отчаливать», «раддер» (rudder) – «руль». Таким образом, искажение фамилии не лишено смысла: оба слова имеют отношение к мореходству.

18

«Книга мучеников» Фокса – сочинение английского богослова Джона Фокса (1516–1587), в котором он пересказал жития христианских мучеников.

19

Пороховой заговор – католический заговор в Лондоне, имевший целью взорвать парламент в день его открытия королем Иаковом 5 ноября 1605 года (упоминания об этом заговоре неоднократно встречались в предыдущих томах наст. изд. и подробно комментировались).

20

Блек-фрайерс – район Лондона на берегу Темзы.

21

Процессия лорд-мэра – ежегодная театрализованная процессия в честь вновь избранного мэра. Лорд-мэр и два шерифа должны были оплатить все расходы по процессии. В 1841 году, например, эти расходы достигали двух с половиной тысяч фунтов стерлингов, а общие расходы лорд-мэра из его собственных средств превышали в том же году десять тысяч фунтов; иными словами, главой лондонского магистрата мог быть только очень состоятельный человек.

22

Уотермен – специальный слуга на стоянке пассажирских и почтовых карет; на его обязанности было поить лошадей и следить за очередностью посадки пассажиров.

23

Аделфи – квартал в Лондоне.

24

…песенку о красотке Нэп, усладе Джека. – Имеется в виду одна из многочисленных песен, написанных композитором и поэтом Чарльзом Дибдином (1745–1814).

25

Тюрьма Королевской Скамьи – долговая тюрьма, находившаяся в лондонском Боро.

26

…закутанный только в старое одеяло… – Речь идет об одном из персонажей романа Т. Смоллета «Приключения Родрика Рэндома», поэте Мелопойне, заключенном за долги в тюрьму, чей рассказ является историей неудачного литературного дебюта самого Смоллета.

27

Монумент – колонна, воздвигнутая в 1677 году в память о лондонском пожаре 1666 года; она стоит вблизи того места, дальше которого пожар не распространился.

28

Тауэр – старинная лондонская крепость на берегу Темзы, строившаяся начиная с XI века н. э. и превращенная с течением времени в главную тюрьму для государственных преступников, которых там же пытали и казнили.

29

По Закону о несостоятельности… – По Закону о несостоятельности должник, находившийся в крайней нужде и владеющий имуществом, оцененным не свыше двадцати фунтов освобождался от заключения в долговой тюрьме.

30

Флип – подогретая и подслащенная смесь пива с водкой.

31

Тпру, Доббин! Но, Доббин! – популярная народная песенка.

32

Обелиск – колонна, воздвигнутая в 1771 году на площади Сент-Джордж за Темзой, в южном Лондоне, в честь лорд-мэра Кросби, который добился освобождения из тюрьмы владельца типографии, заключенного в тюрьму за печатание отчетов о прениях в парламенте.

33

«Смерть Нельсона» – популярная песня композитора Брэма.

34

…выходит за какого-то убийцу… – фамилия Мэрдстон созвучна слову «мэрдерер» (murderer) – убийца.

35

Урна – сосуд для кипятка, несколько напоминающий самовар.

36

…вот как зовут этого джентльмена! – Джек – уменьшительное имя от «Ричард».

37

…бросить взгляд на… собор. – Речь идет о знаменитом Кентерберийском соборе, законченном постройкой в XVI веке.

38

Доктор Уотс – английский богослов и писатель Исаак Уотс (1671–1748).

39

Испанское море – часть Атлантического океана, примыкающая к северным берегам Южной Америки.

40

…говаривал… языком Катана… – Марк Порций Катан Старший (234–149 гг. до н. э.) – один из крупнейших политических деятелей и писателей древнего Рима. Борясь против влияния греческой культуры (которая, по его мнению, губительно действовала на староримскую простоту нравов), он сам хорошо знал греческий язык, литературу и философию, в частности – произведения крупнейшего греческого философа-идеалиста Платона (427–347 гг. до н. э.)

41

Пентонвилл – пригород Лондона.

42

Генеральный атторни – высший чиновник ведомства юстиции, являющийся представителем короля и выступающий как глава прокурорского надзора.

43

«Остролист» – популярная народная шотландская песенка на слова Р. Бернса (1759–1796).

44

…словно в «Макбете» – призрачная голова в шлеме. – Голова в шлеме появляется перед Макбетом в сцене вызова духов ведьмами (акт IV, сц. 1-я).

45

…обветшалое заведение «Золотой крест». – Упоминание об этой гостинице свидетельствует, что действие этой главы развертывается до 1829 года, так как гостиница «Золотой крест» была снесена в упомянутом году.

46

Патены – деревянная подошва с металлическим ободком; прикреплялась к обуви ремешками. Во времена Диккенса патены заменяли калоши.

47

Хайгет – в ту пору дачная местность на холме в пяти милях к северо-западу от Лондона.

48

Панорама – Диккенс имеет в виду выставленную в 1827 году панораму Лондона работы художника Хорнера.

49

…лилии долин, которые не трудятся и не прядут – цитата из «Евангелия от Матфея», VI, 28.

50

…подобно древним письменам на стене. – Намек на библейскую легенду о вавилонском царе Валтасаре, на стене дворца которого появилась, во время пира, надпись, возвещавшая смерть Валтасара и гибель Вавилонского царства (см. «Книга пророка Даниила», V).

51

«Когда буйный ветер дует, дует, дует» – песня на слова шотландского поэта Томаса Кемпбелла (1777–1844), использовавшего английскую народную балладу XVII века, в которой каждая строфа кончалась этими словами.

52

«Уж нет его – и человек я снова!»… – слова Макбета на пиру после исчезновения призрака Банко (акт III, сц. 4-я).

53

Иксион – легендарный царь Фессалии, домогавшийся любви богини Геры; за это преступление он был прикован в подземном царстве к вечно вращающемуся огненному колесу.

54

Фамилия его была Уокер… – Слово «уокер» (walker) может означать «да неужто!», «ой ли!», «врешь!» и т. п.

55

Фатима – персонаж арабской сказки об Аладине.

56

«Бой соир» – искаженное французское «bon soir» (бон суар) – «добрый вечер».

57

Проктор – адвокат при суде Докторс-Коммонс (см. ниже), судопроизводство в котором сильно отличалось от судопроизводства в общих судах. Прокторы были выделены в особую корпорацию, и кандидаты в прокторы проходили специальную подготовку. После ликвидации суда Докторс-Коммонс прокторы вошли в корпорацию поверенных (солиситоров).

58

Докторс-Коммонс – ряд зданий некогда принадлежавших корпорации юристов, которые вели дела клиентов в церковном суде (этому суду, также размещавшемуся в одном из вышеуказанных зданий, подсудны были, кроме чисто церковных, дела семейные, наследственные и, равным образом, связанные с функциями адмиралтейства). Постепенно

самый суд тоже стал называться Докторс-Коммонс, а все здания, расположенные вокруг него, оказались занятыми многочисленными конторами прокторов.

59

Поверенный. – Диккенс употребляет здесь термин «солиситор». Солиситор – это юрист, который дает клиентам советы, ведет их внесудебные дела и подготавливает материал для судебного процесса; но на суде выступал не он, а специальный адвокат, имеющий на это право (см. более подробно в статье «Быт англичан 30-60-х годов» в 1-м томе наст. изд. и в комментариях к 2-му и 3-му томам).

60

…во времена Эдуардов… – то есть в XШ-XVI веках, когда Англией правили шесть королей, носивших имя Эдуард.

61

«Пасквили»… – Слово «libel» (клевета, пасквиль) в юридической терминологии означает «прошение».

62

«Суд Архиепископа»… «Суд Делегатов». – Перечисляемые Диккенсом суды, количество которых удивило Дэвида, являлись нелепым пережитком той эпохи, когда церковное право конкурировало с общеобязательными правовыми нормами светской власти и когда параллельно системе светских судов существовал ряд судов, подчиненных церковным властям, где порядок судопроизводства был совершенно особый. Такое положение создавало все предпосылки для появления касты законоведов и непомерной судебной волокиты, которую Диккенс, хорошо знакомый с юридической практикой его дней, достаточно ясно разоблачил в «Дэвиде Копперфилде» применительно к церковным судам, заседавшим в Докторс-Коммонс. Для неимущих классов было невозможно добиться в этих церковных судах правосудия, так как судебная волокита сильно удорожала ведение процесса, требовавшего, даже без волокиты, больших денежных затрат. В 1857 году упомянутые учреждения Докторс-Коммонс были ликвидированы, а церковные суды раскассированы; впрочем в светском суде, куда перешли дела, подлежавшие ведению раскассированных судов, сохранился старый порядок судопроизводства.

63

Панч – герой английского народного театра кукол, напоминающий русского Петрушку.

64

…члена какого-нибудь из судебных Иннов… – то есть адвоката, имеющего право выступать в судах и являющегося членом одной из корпораций юристов, называемых «Иннами». Вплоть до наших дней существует четыре Инна, возникших еще в XIII веке и монополизировавших с тех пор право подготовки полноправных юристов. В прошлом Инны были строго аристократическими корпорациями, и хотя с течением веков доступ в них формально стал более свободным, но и теперь каждый юрист, пожелавший выступать в судах, должен для получения звания барристера (адвоката с правом выступления в судах) не только пройти начальные испытания, но представить рекомендации о своем добром имени, пробыть в одном из Иннов три года и внести значительную сумму (до 200 фунтов) за окончательные испытания (см. более подробно в комментариях к 2-му тому наст. изд.).

65

«Когда на сердце заботы бремя» – песенка из популярной «оперы нищих» порта Джона Гэя (1685–1732), написанная на мотив, известный еще в XVII веке.

66

…это связывалось с пятым ноября… – Диккенс намекает на песенку, начинавшуюся так: «Помни, помни о пятом ноября и о заговоре Пороховом». Эта песенка распевалась

ежегодно 5 ноября во время народного гулянья в городах Англии, в годовщину так называемого «Порохового заговора» 1605 года (Пороховой заговор – католический заговор в Лондоне, имевший целью взорвать парламент в день его открытия королем Иаковом 5 ноября 1605 года (упоминания об этом заговоре неоднократно встречались в предыдущих томах наст. изд. и подробно комментировались)). В эпоху, описываемую в «Дэвиде Копперфилде», такие гулянья еще происходили в Лондоне.

67

…с серебряной ложкой… – Английская поговорка «родиться с серебряной ложкой во рту» означает родиться счастливым.

68

…перчаток, огромных, как у Гая Фокса. – Гай Фокс – один из главных участников Порохового заговора; на него была возложена обязанность поджечь бочки с порохом в подвалах парламента, где он и был обнаружен. По традиции его изображали в огромных перчатках.

69

«От всех корон я откажусь, лишь бы она была моей!» – популярная песенка Д. Хука на слова Макналли.

70

Джипси – по-английски «цыган».

71

Тринити-Хаус – корпорация моряков торгового флота.

72

Базар – двухъярусный «пассаж» под стеклянной крышей с различными магазинами.

73

Парк. – Диккенс имеет в виду крупнейший (вместе с соседними Кенсингтонскими садами) из лондонских парков – Гайд-парк, в западной части города.

74

Копперфулл (Copperfull) – медный котел, наполненный до краев.

75

Кегли – по-английски «скитлс» (skittles).

76

Кемден-Таун – один из бедных районов северной части Лондона, где жил в детстве сам Диккенс.

77

…которое обессмертил Чосер… – В классическом произведении Д. Чосера (1340–1400) «Кентерберийские рассказы» рассказывается о путешествии группы паломников из Лондона в Кентербери.

78

…агент с Боу-стрит – полицейский сыщик; на Боу-стрит в Лондоне находилось управление уголовного розыска.

79

«Храбрый белый сержант» и «Крошка Теффлин». – Первая песенка написана Бишопом, вторая – Сторэйсом (опера «Трое и черт», 1806).

80

Член… корпорации Иннер-Тэмпл – адвокат, член одного из судебных Иннов (см. прим. к стр. 419). Эти судебные Инны носили названия: Линкольнс-Инн, Грейс-Инн, Миддл-Тэмпл (Средний Тэмпл) и Иннер-Тэмпл (Внутренний Тэмпл.).
